1971
ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1971

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЦК ВЛКСМ

МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ

1971

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1971



Р2
П75

Составители
В. ПОНИЗОВСКИЙ, В. СМИРНОВ

Художник
Ю. БАЖАНОВ

$\frac{7-3-2}{211-71}$

ПОВЕСТИ

Ал. Азаров, Вл. Кудрявцев
ИДИТЕ С МИРОМ

Владимир Караханов
СИГНАЛ НА ПУЛЬТЕ

Сергей Жемайтис
ПОБЕГ

Юлий Файбышенко
КШИСЯ

Глеб Голубев
ПИРАТСКИЙ КЛАД

РАССКАЗЫ

Алексей Леонтьев
В УЕЗДНОМ ГОРОДКЕ

Юрий Авдеенко
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК

Леонид Словин
ДЕБЮТЫ СЕРЖАНТА ДЕНИСОВА

АЛ. АЗАРОВ, ВЛ. КУДРЯВЦЕВ

Идите с миром



1. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. ЭКСПРЕСС СИМПЛОН — ВОСТОК. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОСТАНОВКА В БЕЛГРАДЕ

— У вас нет семьи. В известном смысле это совсем не плохо.

— Легко сказать... А вам разве никогда не хочется торопиться домой и знать, что тебя ждут? Вам не нужно ни тепла, ни уюта, ни слов, сказанных женщиной?

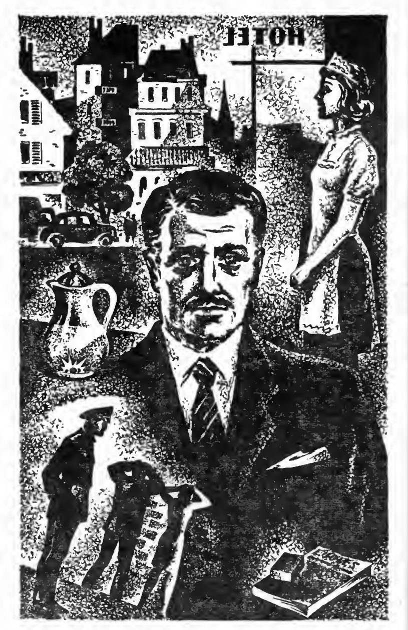
— И все-таки, согласитесь, при определенных обстоятельствах человеку лучше быть одному.

— Может быть, оставим эту тему?

Я ненавижу мелкий дождь. Не то что он действует мне на нервы, но при виде капель, тянущихся по оконному стеклу, у меня возникает озноб. Мир с его серым небом кажется собором, где идет панихида по усопшему. Хочется вынуть платок и промокнуть глаза.

Дождь преследует нас от самой границы. Сначала это была гроза с ударами грома, похожими на бомбежку, потом она перешла в ливень, а сейчас выродилась в мелкую дребедень, которая и не думает сделать передышку. Во всяком случае, до вечера у неба хватит запасов воды — пепельные клочья, плывущие в зените, с каждой минутой все плотнее смыкают строй, сливаются в безнадежную темную тучу.

Отправление затягивается, и я стою на перроне, разглядывая воробьев, прячущихся под навесом. Они мокры и невеселы, и перья у них топорщатся, как иглы. Птицам


HOTEL

тоже плохо, и даже крошки булки, брошенные мной на асфальт, не привлекают их внимания. Мне тоже не хочется есть, хотя я еще не завтракал, а ранний вчерашний ужин мой состоял из двух бутербродов с колбасой и чашки жидкого кофе.

Я всегда плохо ем и сплю в дороге.

Усатая итальянка — первое купе, место номер 2 — прогуливает по перрону сизую от влаги болонку. Болонка брезгливо обходит лужи и нервно зевает, показывая обложенный налетом язык. Судя по налету, у нее должны быть глисты. Я касаюсь пальцами полей шляпы и выдавливаю улыбку.

— Доброе утро, синьора!

— Доброе утро... Почему мы так долго стоим?

— Никто ничего не говорит. Даже радио онемело.

Сначала я думал, что нас держат, чтобы пропустить воинский эшелон. Он грузился у соседней платформы — полтора десятка вагонов третьего класса, один штабной и три открытых с танкетками. Унтер-офицеры со вздыбленными от ваты плечами носились вдоль состава, цукая солдат. Прямо на перроне стояла низкая и длинная зеленая машина с флажком на радиаторе; у водителя, обер-ефрейтора, было лицо профессионального лакея. Стоило только видеть, с какой холуйской миной сорвался он с места, чтобы распахнуть дверцу лимузина перед коротышкой в полковничьих погонах!

Машина, рявкнув, сорвалась с места, унося коротышку в город, а минуту спустя без гудка, почти бесшумно отчалил от платформы эшелон. Унтер-офицеры стояли на площадках, угрюмые, как памятники самим себе.

После этого прошло полчаса, но экспресс Симплон — Восток продолжает ждать чего-то у закрытого семафора. Стоит ли верить проспектам железнодорожной дирекции, рекламирующей Симплон как самый лучший из поездов, всегда идущий по расписанию?

Итальянка нежно гладит мокрую болонку.

— Не капризничай, Чина; тебе уже давно пора пи-пи...

Усы у итальянки как у д'Артаньяна, но это не мешает ей кокетничать вовсю. Кажется, она не прочь со мной подружиться — до Милана еще так далеко, а в дороге скучно.

В нашем вагоне пустует половина купе. Война. Сейчас по Европе путешествуют только те, кого гонит в дорогу необходимость. Я тоже, честно говоря, охотнее сидел бы дома или в своей конторе на улице Графа Игнатиева. В такую погоду Мария сварила бы мне крепкого кофе, и я пил бы его из крохотной чашечки — горький, густой, взбадривающий каждый нерв. Кофе с сахаром я не пью.

— Ну же, Чина, делай пи-пи!

Я вздрагиваю и смотрю на итальянку. Она озабочена. Болонка крутится возле моей ноги, прилаживаясь намочить мне на ботинок. Строю милую улыбку и отодвигаюсь. И снова вздрагиваю, ибо черный раструб перронного репродуктора внезапно обретает дар речи. Слова хрустят, как жесть.

— Пассажиров экспресса Симплон просят занять места в вагонах!.. Повторяю: дамы и господа, займите свои места в вагонах! Соблюдайте порядок!

Диктора-немца сменяет итальянец; он говорит то же самое, только мягче, без командных интонаций; третьим объявление читает серб. Д'Артаньян в юбке подхватывает на руки свое мохнатое сокровище и торопится в вагон; я помогаю ей одолеть ступеньки и удостаиваюсь многообещающей благодарности.

— Грация!

Одно слово, но как оно сказано! Придется, видимо, при случае намекнуть д'Артаньяну на какую-нибудь свою болезнь потяжелее, а до этого постараться как можно реже выходить в коридор и держать дверь на цепочке. И почему это мне всегда так везет? Куда бы я ни ехал и как бы пуст ни был вагон, в нем всегда отыскивается одинокая дама, безошибочно угадывающая во мне холостяка и считающая долгом пустить в ход чары и средства обольщения.

Итальянка наконец скрывается в купе, а я, не теряя времени, почти бегу в другой конец вагона. Мне почему-то кажется, что объявление по радио отнюдь не означает конца затянувшейся остановки и связано с каким-то сюрпризом для пассажиров. Если это так, то лучше будет смирно сидеть на месте, сменив обычную обувь на теплые домашние туфли без задников и погрузившись в чтение детективного романа.

Так я и делаю; заодно достаю с верхней полки верб-

люжий халат и набрасываю его поверх пиджака. Согревшись, закуриваю и жду.

Тихие шаги в коридоре. Негромко брошенная фраза, в которой мелким и сухим горошком перекатывается буква «р», и вслед за проводником в коричневой курточке через порог купе перешагивает Вешалка с обвисающим с плечиков костюмом. Костюм черный, в скромную тонкую полоску... Сюрприз, хотя и не тот, о котором я думал.

Вешалка складывается пополам и опускается на диванчик напротив. Загромождая проход, на коврик укладывается желтый кожаный кофр — весь в ремнях, как полицейский на смотре, — а рядом с кофром протягиваются две жерди в брюках, такие длинные, что проводник, выходя, едва не спотыкается о них.

— Мерзкая погода, — говорит Вешалка вместо приветствия. — Э?

Я соглашаюсь:

— Совсем не похоже на лето...

У Вешалки четкий берлинский акцент и серые волосы. Не сразу поймешь, что это — естественная окраска или седина. Нахожу необходимым представиться:

— Слави Багрянов. Коммерсант.

— Фон Кольвиц.

И все. Ни имени, ни профессии. Так и должно быть: для немца, да еще обладателя приставки «фон» перед фамилией, болгарский торговец — парвеню, неровня. Тем лучше, путешествие пройдет без утомительной дорожной болтовни, после которой чувствуешь себя обворованным.

Фон Кольвиц, грея, потирает ладони. Пальцы у него сухие, узкие; на мизинце правой руки перстень с квадратным темным камнем. Банковский служащий высокого ранга или промышленник? Не следует ли предложить ему сигарету?

Пока я раздумываю, в коридоре вновь возникает шум — на этот раз громкий, с вплетенным в него характерным бряцаньем оружия. Звонкий молодой голос разносится из конца в конец вагона, обрываясь на высоких нотах:

— Внимание!.. Проверка документов!.. Приготовить паспорта!..

Стараясь не спешить, достаю из внутреннего кармана паспортную книжку с золотым царским львом и внушаю себе успокоительную мысль, что позади уже три такие проверки: две на границе, при переезде, и одна в Софии. Фон Кольвиц продолжает массировать пальцы, словно втирает в них гигиенический крем. По стеклу ползут, набухая по дороге, тусклые длинные капли. И когда он кончится, этот дождь?

Кладу паспорт на столик и снова закуриваю. Теплый дым приятно кружит голову. После проверки надо будет хоть немного поспать.

— Документы!

В дверях — трое. Молча ждут, пока я дотянусь до столика и возьму паспорт. Так же молча разглядывают его все трое. Чувствую, что ладони у меня начинают потеть, и, глубже, чем хотелось бы, затягиваюсь сигаретой.

Короткий разговор, похожий на допрос.

— Куда едете?

— В Рим. По делам фирмы... Вот моя карточка.

Визитная карточка переходит из рук в руки. В ней сказано — на болгарском и немецком: «Слави Николов Багрянов. София. «Трапезонд» — сельскохозяйственные продукты, экспорт и импорт. Тел. 04-27».

На руках у всех троих черные одинаковые перчатки. Серо-зеленая полевая форма; у старшего погоны оберлейтенанта. Странно, что нет штатских. Странно и то, что фон Кольвиц, кажется, не собирается предъявлять документов.

Руки в черных перчатках, отчетливо шелестя страницами, перелистывают паспорт. Три пары глаз подолгу вглядываются в каждую запись, и от этого придирчивого внимания мне становится не по себе. Я знаю, что паспорт в полном порядке и все положенные штампы, отметки и визы стоят на своих местах, но тем не менее на какой-то миг сомнение закрадывается в мою душу: а вдруг что-нибудь не так?

— Кем выдана виза?

— Германским посольством в Софии. Лично его превосходительством посланником Адольфом Хайнцем Беккерле...

А вот и штатский — он, словно статист в пантомиме, возникает за спинами троих и забирает у них мой пас-

порт. Из-под тирольской шляпы с оранжевым перышком на меня устремляется острый, но пока еще равнодушный взгляд. Установив сходство фотографии и оригинала, он принимается прямо-таки ощупывать документ — строчку за строчкой... Это уже не абвер, это гестапо... Может показаться странным, откуда я это знаю, и вообще, откуда у коммерсанта такая интуиция на дорожные сюрпризы, но если вспомнить, что я только и делаю, что езжу и в пути держу уши и глаза открытыми, то все станет на свои места. Ну и, кроме того, я с детства отличался догадливостью. Сейчас опыт и прирожденная сообразительность позволяют мне, например, безошибочно определить причину инертности фон Кольвица. Готов держать пари, что он предпочтет объясниться с патрулем в коридоре.

Гестаповец все еще вчитывается в документ.

— Вы говорите, что виза выдана лично Бекерле? Но здесь не его подпись.

— Разумеется. Подписывал первый секретарь. Его превосходительство посланник только дал указание.

— Вы едете в Рим? Почему же виза до Берлина?

— Видите ли... — я на миг запинаюсь, прикидывая, как бы ответить покороче. — Рим — всего лишь промежуточная остановка. Цель моей поездки — переговоры с имперскими органами.

— С какими именно?

— С министерством экономики.

В подтверждение своих слов я могу продемонстрировать письмо — официальный бланк министерства, где черным по белому написано, что меня рады будут видеть в Берлине, на Беренштрассе, 43, в любой день между 20 июля и 5 августа, однако я предпочитаю не спешить. Этот бланк — последнее звено в моей кольчуге. Поддайся оно, и окажется открытым для удара меча беззащитное, подвластное смерти тело...

Гестаповец с неохотой возвращает мне паспорт.

— В порядке...

Поворачивается к фон Кольвицу.

— А вы? Чего вы ждете?

Вопреки моим предположениям фон Кольвиц не делает попыток выйти в коридор. Очевидно, болгарский коммерсант, едущий в рейх по делам, связанным с интересами империи, не представляется ему человеком, от которого следует особенно таиться... Удостоверение в

черной кожаной обложке и берлинский акцент... Интересно, в каком он звании и чем занимается в РСХА *?

Три руки взлетают под козырек; четвертая протягивает документ владельцу. Ничего не скажешь, Гиммлер выучил немцев быть почтительными с представителями учреждения, расположенного на Принц-Альбрехтштрассе!

— Счастливого пути, господа! Приятной поездки, оберфюрер! Поезд сейчас отойдет — задержка из-за проверки.

Вот и все. Можно откинуться на спинку дивана — патруль уже покидает вагон, сопровождаемый сварливым лаем болонки. По опыту знаю, что эта порода собак становится отважной тогда, когда противник показывает тыл.

Сигарета еще не успела догореть, и я курю, вслушиваясь в истерику, закатываемую Чиной. Болонка заходится в лае, кашляет, визжит и наконец давится — очевидно, собственной слюной. В наступившей тишине возникает и исчезает короткий гудок паровоза.

Вагон вздрагивает и начинает плыть. Точнее, плывет не он, а засыпанный дождем мир за окном: чугунные столбы, рифленый навес над перроном, белые эмалированные таблицы с надписями «Белград» и «Выход в город».

Открываю саквояж и достаю бутылку «Плиски». Самое время выпить за остающихся и путешествующих. По маленькой рюмочке. И спать.

С пестрой обложки детективного романа на меня смотрит черный зрак пистолета. Эту книгу мне предстоит читать до самого Берлина. Дома я бы и не прикоснулся к ней, ибо терпеть не могу сказки о благородных сыщиках. Но так уж мне суждено — делать не то, что хочется, и подчиняться обстоятельствам. Недаром Мария считает меня самым покладистым человеком во всей Софии.

Фон Кольвиц делает вид, что игнорирует бутылку. Еще меньше его интересует роман, и все-таки я, словно бы случайно, заталкиваю книгу под подушку. До самого Берлина у меня не будет другой.

— За счастливую дорогу?

Секундное колебание на лице фон Кольвица и короткий корректный кивок. Молча чокаемся и пьем. Я — за

* РСХА — Главное управление безопасности гитлеровской Германии.

благополучный отъезд из Белграда, а фон Кольвиц — не знаю уж за что, может быть, за здоровье обожаемого фюрера.

Дождь за окном все усиливается. Стекло запотевает и становится совсем мутным; сквозь него почти не проглядываются дома. Симплонский экспресс набирает ход, но так и не может убежать от тучи. Ненавижу дождь!

2. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. ЭКСПРЕСС СИМПЛОН — ВОСТОК. ПЕРЕГОН БЕЛГРАД — ТРИЕСТ

— Ну а на этот раз куда ты едешь? Только серьезно.

— На север. И, кроме того, на юг.

— И на запад, и на восток? Все шутишь?

— Представь себе, нисколько!

Меня мутит. Меня ужасно мутит. Синий ночник ускользает от взгляда, из полумрака выплывают оранжевые обручи серсо, и я чувствую себя во власти морской болезни. Не надо было столько пить. Мой желудок чувствителен к алкоголю и сейчас протестует против недавнего испытания. Пять, нет, семь рюмок «Плиски» и еще шнапс из запасов фон Кольвица. Водка после коньяка — это уже варварство.

Никогда бы не подумал, что и фон Кольвиц способен набраться, как губка. Под конец он был совершенно пьян и забыл о своем нордическом достоинстве. Проводник, прежде чем унести пустые бутылки и постелить белье, долго трудился, очищая коврик и поливая его сосновым экстрактом.

Фон Кольвиц опьянел столь неприлично быстро, что я вначале подумал, что это блеф, игра. После третьей дозы он сделался высокомерным и подозрительным. Пришлось показать письмо из министерства экономики и предложить тост за торговлю и промышленность. Следующую рюмку мы опрокинули за СС. Письмо лежало на диванчике фон Кольвица, и я боялся, что оно запачкается. Ладони у меня снова стали потеть.

Фон Кольвиц спросил:

— Вы уже бывали в министерстве?

Я ответил: нет, и стал ждать, о чем он еще спросит.

— Чем вы торгуете — хлебом?

— И табаком, и мясом... чем придется.

— А станками? Прокатом? Или, может быть, парашютным шелком?

— Это шутка?

— Нет, почему же... Просто хочу понять, что общего между вашим «Трапезондом» и министерством экономики, занимающимся исключительно промышленностью.

Он уже и раньше ставил мне ловушки. С самого начала. Зубцы капканов были неважно замаскированы, и мне доставляло удовольствие наблюдать, как, захлопываясь, они захватывают воздух. Любой мальчишка в Софии мог ответить на вопрос, где находится германское посольство и сколько в доме этажей. Моя контора была в трех шагах от него — каждое утро, сворачивая с улицы Патриарха Евтимия на улицу Графа Игнатиева, я имел счастье любоваться угловым особняком в стиле бельведер. Куда труднее было припомнить внешность его превосходительства посланника, но я припомнил, и капкан опять сработал вхолостую.

После того как мы прикончили «Плиску», я отважился спросить фон Кольвица, едет ли он только до границы или мы окажемся попутчиками до самого Милана. Не то чтобы меня распирало любопытство, но надо же было знать, как долго продлится наша познавательная беседа.

— Я еду домой, — сказал фон Кольвиц. — Маленький отпуск... Где вы остановитесь в Берлине?

— Где удастся.

— Если будут трудности, позвоните мне... позвоните дежурному офицеру — семь-шестнадцать-сорок три, — и он меня разыщет...

— Вы так любезны! Еще вина?

— За болгар! За наших союзников! Прозит!

И вот на тебе: после такого тоста, после номера телефона, явно не числящегося ни в одном берлинском справочнике, вопрос о министерстве, на который я бессилен ответить.

Вид у меня, надо полагать, был достаточно глупый, хотя я изо всех сил старался заинтересоваться этикеткой на бутылке шнапса. На ней был изображен веселенький

пастушок, играющий на свирели. Фон Кольвиц взял у меня бутылку и наполнил рюмки.

— Ну, ну, можете не отвечать, если не хотите. Я привык уважать чужие секреты, господин Багрянов.

— Как вы догадались?

— На письме есть пометка моего друга доктора Делиуса — маленький крючок в самом низу листа.

— Доктор Делиус — торговый атташе посольства, и я знакомил его с письмом.

— Это я и имел в виду. Прозит!

Мы выпили еще, и фон Кольвиц совсем расклеился. Его умения держаться хватило ровно настолько, сколько требовалось, чтобы выслушать мой рассказ о встречах с доктором Делиусом — рассказ, расцвеченный подробным описанием внешности доктора и обстановки его кабинета. Выпить за своего друга Отто Делиуса фон Кольвиц не успел — начались неприятности, пришел проводник и, убрав бутылки стал вычищать коврик. Фон Кольвиц смотрел на него, как на привидение.

Дождь все еще шел. Я долго чистил зубы в туалете и пытался высмотреть в окно, как там обстоит дело по части туч, но стекла окончательно замутнели, и я поплелся спать, утешая себя мыслью, что все кончается на этом свете — в том числе и дождь.

Во сне я продолжал пьянствовать и вел себя чрезвычайно непристойно. Мы с фон Кольвицем — оба в верблюжьих халатах — плясали на столе канкан и сообщали друг другу на ухо государственные секреты. При этом я все время не забывал, что с самой первой рюмки был намерен напоить оберфюрера до положения риз и познакомиться с содержимым его карманов. Фон Кольвиц, идя мне навстречу, безостановочно выбалтывал тайны и, не противясь, дал себя обыскать. У меня был «Менокс», и я, запершись в туалетной комнате, нащелкал множество интересных кадров... Единственное, чего я не сделал во сне, — так и не сумел решить, какую именно разведку я представляю: СИС, «Дузьем бюро» или «Джи-ту» *.

Проснулся я от толчков и лязга и обнаружил, что у меня раскалывается голова. Надо встать и умыться, но нет ни сил, ни желания.

---

* СИС — британская секретная служба; «Дузьем бюро» — разведка французского генштаба; «Джи-ту» — армейская разведка США.

Я лежу и вслушиваюсь в тоненький храп фон Кольвица. Морская болезнь вызывает ни с чем не сравнимые страдания. Кроме того, меня познабливает от мысли, что фон Кольвицу, вполне возможно, снится тот же сон, что и мне.

Самое скверное, если при оберфюрере на самом деле окажутся секретные документы. Один шанс на тысячу, что это так, и дай бог, чтобы он не выпал на мою долю.

«Спокойно, Слави!» — твержу я себе и пытаюсь привести мысли в порядок. Конечно, нельзя исключить печальную возможность, что, проснувшись, фон Кольвиц в приступе полицейской подозрительности ссадит меня в Триесте и сдаст в контрразведку. Он, конечно, не выбалтывал секретов, а я не пытался их выведать, но будет ли он поутру уверен в этом? Или, спаси господь, после попойки у оберфюрера наступил провал памяти и содержание наших невинных разговоров выветрится, уступив место сомнениям: «А не сболтнул ли я лишнего?» Если так, то в гестапо мне трудно будет доказать, что в «Плиску» не была подмешана какая-нибудь дрянь, развязывающая языки.

Господи, как безобразно он храпит, этот фон Кольвиц! Что за рулады — скрипка, фагот и флейта. «Спокойно, Слави, спокойно...» Вагон мерно колышется, проскакивая стыки. Синяя лампочка освещает голову фон Кольвица, блаженно прильнувшую к подушке. Скоро Триест, а я еще ничего не решил.

Есть ли при оберфюрере служебный пакет? Пожалуй, нет. Его никто не сопровождал, а уважающий себя чиновник РСХА не рискнет везти секретные бумаги без охраны. Тем более в долгую командировку.

Он сказал: «В отпуск, Слави!»

Как бы не так! Хотел бы я найти отпускника, избирающего самую длинную и неудобную дорогу домой. Белград — Триест — Милан — Берн или Женева — добрый кусок Франции, и только потом уже, через Страсбург или Париж, автострадой до Берлина. Не лучше ли было срезать путь вдвое и ехать в родные пенаты через Вену и Мюнхен? Правда, я и сам не следую истине, гласящей, что прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками, но Слави Николов Багрянов — коммерсант, а не контрразведчик, стосковавшийся по семье и тихим комнатам без крови на обоях.

Я закуриваю и, закинув руки за голову, вытягиваюсь во весь рост на диване. В таком положении меньше качает и легче думать. Светящийся кончик сигареты выхватывает из темноты вершину желтого лысого бугра. Я рассматриваю ее, скосив глаза, и в тысячный раз огорчаюсь: разве это нос?! Толстый, приплюснутый — никакого намека на сходство с классическими образцами.

Моя внешность всегда расстраивает меня. Сказать, что я не красавец, — значит ничего не сказать. У меня мясистые щеки, широченный рот и редеющие волосы. Такие лица заполняют страницы юмористических журналов, а в жизни принадлежат, как правило, доверчивым мужьям и добродушным простакам, обкрадываемым своими экономками. Примет ли фон Кольвиц, восстав ото сна, мою внешность в расчет или же его подозрительность окажется безграничной?

Ответа нет, и я покладисто расстаюсь с размышлениями о грядущих последствиях, чтобы перейти к двум деталям, затронутым в разговоре. Обе они не таят опасности, и думать о них — сущее удовольствие.

Прежде всего Делиус. Признаться, я и не догадывался, что он связан с секретными службами империи. Для меня, как, впрочем, и других коммерсантов, он был и оставался торговым атташе, малозаметной спицей в колеснице его превосходительства посланника Бекерле. Теперь я повышаю ему цену и мысленно одеваю в подходящий мундир. Друг оберфюрера не может быть в чине ниже майорского. Так и запишем.

Вторая деталь связана с письмом. Точнее, с визой в левом нижнем углу, играющей, как выяснилось, роль «сезама» при общении с чинами РСХА. Отныне и до самого Берлина письмо будет храниться не менее бережно, чем детективный роман с пистолетом на обложке. Ну, ну, это уже кое-что...

Докуриваю сигарету и ощупью давлю ее в пепельнице. Так не хочется вставать, но храп фон Кольвица нестерпимо режет перепонки, и я должен бежать от него в спасительную тишину коридора. Пойду умоюсь.

В туалетной я долго держу голову под холодной струей. Мало-помалу боль стихает, концентрируясь где-то у затылка. Глотаю на всякий случай таблетку аспирина и делаю несколько приседаний. Сейчас я не отказался бы от чашечки кофе.

Проводник не спит. Хотя после внеочередной уборки он и не чувствует ко мне симпатии, но, будучи рабом железнодорожных правил, не осмеливается протестовать и заваривает кофе на спиртовке. Пять динаров несколько улучшают его настроение, а другие пять — за бутерброд с мармеладом — делают это настроение, на мой взгляд, превосходным. Мы становимся почти друзьями, выкурив по сигарете.

— Еще кофе?

— Лучше утром.

— Одну чашку?

— Две, и покрепче.

Помня об усатом д'Артаньяне, я выскальзываю из служебного купе на цыпочках. Но чему суждено быть, то неминуемо происходит. Первой меня настигает Чина — уже в середине коридора; следом долетает голос хозяйки, окликающей собаку, а заодно и меня. Мысленно подняв руки кверху, оборачиваюсь и капитулирую перед распахнутым халатиком и чарующей улыбкой.

— Это вы? Не спите? Как странно...

— Я, знаете ли, звездочет.

Синьора тихо смеется и запахивает халат. Подносит руку к груди. Чина юркает в купе и рычит на меня, давая синьоре повод продолжить разговор.

— Маленький чертенок! Она совсем отбилась от рук... А я не мужчина и не могу ее наказать.

От меня требуют рыцарства, и я вынужден играть в донкихота.

— Поручите это мне.

— А вы можете?

— Вряд ли...

— Я так и думала: вы не похожи на человека, способного обидеть беззащитного.

По-итальянски я говорю хуже, чем по-немецки, но все же достаточно бойко, чтобы ответить галантностью:

— Вы так благосклонны, синьора...

В результате три минуты спустя я уже сижу в купе попутчицы и любуюсь ее розовыми коленками, нескромно выглядывающими из-за халатика. Синьору зовут Диной. Дина Ферраччи — виконтесса делля Абруццо. Представляясь, я именую ее «эччеленца», но она протестует:

— Просто Дина.

— Тогда — просто Слави.

Поразительио, как быстро сближаются люди, оказавшись в вагоие-люкс Симплоиского экспресса. И суток ие прошло, а я уже иа короткой иоге с оберфюрером СС и итальянской аристократкой. Сам факт пребываиия в литерном вагоие замеияет для людей известиого круга рекомеидательиые письма и все такое прочее.

Чииа примирилась с моим присутствием и спит иа моих колеиях. Брюки мокнут от ее слюиы. Я воспитаиио не замечаю этого и забавляю синьору Ферраччи рассказом о коте, боявшемся мышей. Дииа тихо воркует, и бриллиаиты у иее в ушах горят, как радуга.

— Вы едете в Милаи?

— В Рим.

— И ие остаиовитесь в Милаие?

— У меия иет там зиакомых, сииьора.

— Мы же условились — Дииа... А я? Бог покарает меня, если я откажу вам в гостеприимстве.

Не слишком ли оиа решительна для иежиой аристократки? Впрочем, кто его знает, быть может, у Диины свое поиимаиие иорм приличия. Кольцо иа левой руке говорит о том, что оиа вдова. К тому же ей, если отмыть грим, никак ие меиьше сорока.

Чина продолжает портить мои парадиые брюки.

— Благодарю за честь, — бормочу я и осторожно спускаю болоику иа коврик. — Если обстоятельства позволят...

— Но нельзя же ие осмотреть Милаиа! Увереиа: вы никогда себе ие простите, если проедете мимо. Без Милаиа иет иастоящей Италии.

— Рад буду убедиться.

— Я зиала, что вы согласитесь. У вас хороший характер, Слави.

Все хвалят мой характер, ио ие мое лицо. И эта тоже. Впрочем, я и ие очаровывался иа ее счет. Дине нравлюсь ие я — Слави Багряиов, тридцатипятилетиий толстяк, а мое положение состоятельиого холостяка. Когда жеищине за сорок, трудио рассчитывать на более блестящую партию.

Дииа опять тихо смеется — голубица, завидевшая корм.

— Ночь... тишииа... Как странно...

Пора уиосить иоги.

— Весь мир — великая страниость, — изрекаю я и встаю.

Наклоняюсь, чтобы поцеловать Дине руку, и лоб мой обдает телесиое тепло, настояиное на духах. Дина не торопится запахнуть вырез халатика...

В коридоре тихо и светло. Сияют начищениые ручки; в полироваином орехе панелей отражается блеск хрустальиых бра. Оскальзываясь иа ковре, добираюсь до своего купе и вхожу.

Фои Кольвиц не спит. Сидит в полном облачении и читает мой детектив. Словно и не он полчаса назад храпел, перегрузившись спиртиым. Окно наполовину опущено, и сырой сквозняк гуляет по полу.

Фон Кольвиц отрывается от моей книги. Губы его сухо поджаты. Он расцепляет их и говорит холодно и трезво:

— Виноват... Книга попалась мне на глаза, и я воспользовался ею без вашего разрешения. Нет лучшего средства от бессонницы, чем уголовный роман.

— Вы так находите? — говорю я и сажусь на свое место. — Меия она ие убаюкала.

Я отлично помню: книга лежала под подушкой и никак не могла попасть фои Кольвицу на глаза. Эта ложь лежит на его совести... О том, что иа совести оберфюрера СС лежит и многое другое — отвратительное и страшное, — я стараюсь ие думать, ибо догадываюсь, что фон Кольвиц из той породы, которой дано умение читать мысли по выражению лица. До самого Триеста он теперь будет наблюдать за мной, и один черт ведает, чем все это кончится.

3. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. ТРИЕСТ. ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ТАМОЖНЯ

— Одним спокойствие дается сравнительно легко, другим труднее — все завнсит от человека н условий; но абсолютно спокойиы только мертвецы.

— Ну, я-то, слава богу, еще жив!

— И спокойиы иа все сто процентов?

— Вообще-то, я привык рассчнтывать на себя. До известного предела, разумеется.

Солнце. Здесь его сколько угодно, даже, пожалуй, больше, чем требуется для обогрева и освещения. Симплон — Восток стоит на запасном пути и, накаляясь под

лучами, медленно превращается в духовку. За ночь он потерял хвост и голову: в Загребе отцепили вагон «Вена — Прага — Берлин», а утром, на разъезде у самой границы, убрали красовавшуюся перед паровозом платформу с песком. Присутствие ее прозрачно намекало на перспективу вознесения к небесам при встрече с партизанской миной.

Отныне, очевидно, преждевременный полет в рай нам не угрожает: вместе с платформой исчезли пулеметчики, дежурившие на боковых площадках паровоза. Пятнистые маскировочные накидки делали их похожими на впавших в спячку жаб.

Мы стоим уже больше часа, и опять никто ничего не знает. Пассажирам приказано не покидать перрона до особого распоряжения. Мы гуляем и ждем. Ждем и гуляем, каждый сам по себе. Занятие неутомительное, но скучное. Хуже всех себя чувствует оберфюрер. Он возмущен нерасторопностью итальянцев и скверной выправкой карабинеров *, занявших посты у выхода с перрона. Магические документы фон Кольвица утратили в Триесте силу, о чем ему дали понять еще в вагоне. Пограничники не посчитались с желанием Вешалки остаться в купе и, игнорируя его командный тон, проводили до двери. Я слышал, как они смеялись, передразнивая акцент фон Кольвица и журавлиную походку, и мимоходом отметил про себя, что итальянцы не жалуют союзников.

Карабинеры смеялись, а я нет. С приближением к границе — бог ведает, какой на моем счету! — у меня, как правило, атрофируется врожденное чувство юмора. В обычное время я готов захохотать по любому приличному поводу; в детстве для этого оказывалось достаточно просто пальца; но сейчас меня не развеселил бы и Фернандель. Я разглядываю рекламный щит с его физиономией и уговариваю себя не волноваться. «Спокойно, Слави дорогой... Как говорится, еще не вечер».

Фон Кольвицу явно претит прогулка по перрону. Краем глаза наблюдаю, как он ведет переговоры с карабинерами. Похоже, они договорились; во всяком случае, когда я, налюбовавшись Фернанделем, поворачиваюсь к выходу, Вешалка уже миновал турникет и скрывается

* Карабинеры — рядовой и сержантский состав итальянской жандармерии.

в вокзале. Его сопровождает малосимпатичная личиость в чериой форме.

Это совсем ие тот случай, по которому веселятся, хотя, с другой стороны, еще ие повод для слез. Раскрываю детектив, сдвигаю шляпу иа лоб, чтобы ие мешало солнце, и иачинаю упиваться похождеиии благородиого сыщика. Толстый ромаи — отрада путешествующего. Его друг и спутник, стоимостью двадцать марок и пятьдесят пфеннигов. Ои куплеи, судя по пометке, до войны у известного берлииского букииист — довольио редкое издаиие «Маиии старого Деррика» Эдгара Уоллеса в переводе иа немецкий.

Скучио. Одииоко. Жарко. Солиице ведет себя безобразио, превращая крахмальный воротиичок в противоаигииный компресс. В детстве я часто страдал аигииами, и с тех пор воспомииаиия о бесчислеиииых компрессах, приятиых и удобиых, как петля иа висельиике, возиикают в памяти — была бы причииа. «Ах, Слави! — выговариваю я себе. — Ты все остришь, стариииа! Чувство юмора — это прекрасио, ио ие кажется ли тебе, что примеиительио к даииым обстоятельствам оио являет пример перехода достоинства в иедостаток?»

Плиты иа перроие излучают жар адского котла. Между иими растет трава, украшеииая мусором и коифетными бумажками. Изучаю ее с обстоятельиостью человека, не зиающего, куда девать свободиое время. Кроме оберток, чаще всего встречаются горелые спички и окурки. Не попадется ли моиетка иа счастье?

— Чем это вы заияты, Слави?

Сииьора Ферраччи с Чииой на руках и в обществе римского патриция в шикариой фашистской форме. У патриция гордый иос и масса золота во рту.

— Мой кузеи, — говорит Дииа и склоияет голову иабок, словио любуясь иами. — Вы что-иибудь потеряли?

— Только терпеиие, синьора. И иадежду увидеть вас.

— Знакомьтесь, пожалуйста.

Обмеииваемся с патрицием пожатиями, и я получаю возможность целую мииуту любоваться ослепительиым рядом золотых короиок. Кузеиа Дииы зовут Альберто Фожолли, и, если верить произиосу, он сицилиец. Перестав улыбаться, он выпячивает иижиюю челюсть — модиое для Италии движение, введеииое в фашистский обиход синьором дуче. Портрет Муссолиии красуется как

раз за спиной Фожолли — на фасаде вокзала, повыше часов. Он огромен и служит образцом для сотни других портретов, значительно меньших, которые прибиты везде, куда только можно вколотить гвоздь. Ничего не скажешь, фашисты умеют делать рекламу!

Легким зонтиком из китайского шелка Дина пытается спасти меня от солнца и пронизывающего взора дуче, но зонт слишком мал, и тени хватает только на болонку. Мило улыбаясь, Дина вовлекает меня в разговор.

— Я так люблю тепло... А вы?

— Разумеется.

— Если поезд задержится, Альберто свезет нас на набережную. О мадонна, есть ли что-нибудь изумительнее пальм и моря?

— Придется вызвать машину из квестуры *, — говорит Альберто и солидно вздергивает плечи. — К сожалению, я, как и ты, приехал поездом.

— Это так мило — встретить меня здесь. Я не особенно рассчитывала.

— Ты же знаешь...

Дальше разговор скачет, как козлик по горной тропке. Намеки, понятные Дине и Альберто и недоступные мне, сыплются камешками, не задевая моего внимания. Из них я улавливаю только одно: кузен Дины — важная шишка в фашистской партии.

Я не видел Дину с ночи. Фон Кольвиц гипнотизировал меня до утра, и я уснул перед самой границей. Осмотр при переезде был поверхностным и формальным, югославская стража, усиленная пожилым лейтенантом вермахта, откровенно тяготилась своими обязанностями, и проводник, еще с вечера собравший наши анкетки и паспорта, быстро увел ее в свое купе пить кофе. Пробудившись на время осмотра, я тут же вновь принялся досматривать отложенный сон, а фон Кольвиц остался бдеть, как на карауле.

Окончательно я проснулся в Триесте, когда поезд уже стоял и чернорубашечники очищали вагоны от пассажиров. Проходя мимо первого купе, я заглянул в него, но там не было ни Дины, ни ее вещей. Наши чемоданы — в том числе и кофр фон Кольвица — остались на местах: проводник объявил, что досмотр начнется позже.

---

* Квестура — полицейское управление.

Об исчезновении синьоры Ферраччи и ее багажа я думал не дольше секунды, поглощенный наблюдением за фон Кольвицем и его маневрами. Но сейчас я искренне рад обществу Дины, а еще больше приятному знакомству с кузеном.

— Я умираю от жажды, — говорит Дина. — И Чина тоже.

Альберто делает приглашающий жест.

— Ресторан к твоим услугам.

— Вы с нами, Слави?

— Увы, — отвечаю я и указываю на карабинеров у турникета. — Италия взяла меня в плен.

Альберто пожимает плечами.

— У вас будет повод оценить итальянское гостеприимство. Обещаю вам... А эти — что ж? — они выполняют приказ. Потерпите немного, формальности не длятся долго.

— Бедняжка, — говорит Дина. — Я принесу вам воды. Самой холодной. Что вы предпочитаете — карлсбад или виши?

Мне ровным счетом все равно, но я тяну с выбором, ибо вижу, как из дверей вокзала выходят двое штатских, с очень характерными напряженными лицами. Лавируя в толпе, они идут в нашу сторону. Карабинеры возле турникета подтягиваются и замирают в стойке пойнтеров.

— Нарзан, — говорю я и тут же поправляюсь. — Я имел в виду виши...

«А может быть, ессентуки? — шепчет мне тихий внутренний голос. — Или боржоми из источника? Где и когда ты пил их, Слави?» Дина удаляется, а я стыну столбом, охваченный дурными предчувствиями.

Предчувствия, как правило, редко обманывают меня. Эти — тоже. Штатские, держа правые руки в карманах, подходят ко мне. Бесполезно делать вид, что беззаботно лорнируешь публику.

— Синьор прибыл с этим поездом?

— Да, конечно...

— Каким вагоном?

— Белград — Триест — Милан.

— Ваше имя?

— Багрянов Слави, коммерсант из Софии.

— Следуйте за нами.

Пересиливая внезапную немоту, задаю положенный вопрос.

— Кто вы такие?

— Там узнаете... Следуйте за нами!

«Там» оказывается тесной комнаткой; единственное окно затемнено решеткой. Письменный стол, закапанный чернилами, расчехленный «ундервуд» и громадный портрет дуче. Два стула. Телефон. Вот и все.

Фон Кольвица в комнате, разумеется, нет, но дух его незримо витает за спинами моих конвоиров. Значит, оберфюрер все-таки донес. Почему? Просто поддался мысли о том, что мог быть излишне откровенен минувшей ночью или же в чем-то усомнился? В чем?.. Один из штатских садится за стол, извлекает из кармана мой паспорт и погружается в его изучение, давая мне несколько минут, чтобы продолжить размышления. Все-таки я склонен думать, что фон Кольвиц только страхуется. Иначе он пошел бы ва-банк, приказав арестовать меня, не доезжая границы. Скандала с болгарским консульством при наличии улик он мог бы не опасаться... Другое дело — деликатные сомнения. Их лучше разрешать руками ОВРА *, предоставив ей, в случае чего, самой выпутываться из истории, связанной с протестами нашего консула. Кроме того, в гестапо я мог бы кое-что рассказать о склонностях оберфюрера и его пристрастии к спиртному — это его, конечно, не опорочит до конца, но все-таки припорошит пылью безупречный мундир.

«Не спеши, Слави!»

Паспорт раскрыт на моей фотографии.

— Куда вы едете?

— В Берлин.

— Почему через Италию?

— У меня дела в Риме.

— С кем?

— С родственными фирмами, торгующими хлебом.

— Ваша виза не дает вам права быть в Риме.

— Я полагал...

— Что вы полагали?

* ОВРА — разведка и контрразведка фашистской Италии.

«Действительно, что я полагал? Надеялся, что сумею добиться разрешения миланской квестуры на поездку в столицу? Удовлетворит ли господ такой ответ?»

— Где его багаж?

Ответ доносится из-за моего плеча.

— Его понесли на досмотр.

— Что вы везете?

— Ничего... То есть ничего запрещенного. Одежда, белье, рекламные проспекты... Немного денег.

— Сколько?

— Если пересчитать на лиры...

— Сколько и в какой валюте?

— Это допрос?

— А вы думали — интервью?

— Тогда я отказываюсь отвечать. Я — подданный Болгарии и требую вызвать консула.

— Понадобится — вызовем.

— Вы, кажется, грубите?

Тот, что сидит за столом, возмущенно вскидывает брови, но я не реагирую, так как думаю не о нем, а о своем чемодане — старом фибровом чудовище, оклеенном этикетками отелей. Не покажется ли таможникам подозрительным его вес, когда они вытряхнут вещи? Впрочем, у него массивные стальные наугольники, которые при всем желании нельзя не заметить.

Следующая серия вопросов посвящена моим анкетным данным и сведениям о «Трапезонде». В соответствии с избранной тактикой я закрываю рот на замок. Нет ничего хуже, чем менять поведение при допросе. Кроме того, солидное положение коммерсанта дает мне право не терять головы, даже находясь в самой ОВРА.

Не добившись ответа, контрразведчики, как видно, решают не настаивать. Они явно чего-то ждут. Или кого-то?

Не пора ли рискнуть?

— Мне кажется, господа, что вы перебарщиваете. Наши страны и наши правительства дружески сотрудничают в войне, я приезжаю к вам, чтобы предложить первосортную пшеницу вашим солдатам, а вы учиняете насилие и произвол. Арест без ордера и прокурора! Это уже скандал, господа!

Сидящий за столом отрывается от паспорта.

— Кто вам сказал, что вы арестованы?

— А разве я свободен? Не хватает только наручников!

— Вы бы давно ушли отсюда, но для этого надо сначала ответить...

— Повторяю: только в присутствии консула.

Значит, я прав: у них ничего нет против коммерсанта Багрянова. Только устный донос оберфюрера, оберегающего свою карьеру. Не самая страшная яма, из которой есть шансы выкарабкаться.

— Мой поезд уйдет, — говорю я и демонстрирую часы — золотой «лонжин» на увесистом браслете. При взгляде на него у господина за столом загораются глаза.

— Успеете, — говорит он, и в голосе его проскальзывает колебание.

Чего он все-таки ждет?

Оказывается, телефонного звонка. По тому, с какой поспешностью снимается трубка и как каменеет лицо представителя ОВРА, я понимаю, что в этом телефонном звонке таится моя судьба.

— Здесь Беллини. — Пауза. — Ну и что же? — Еще одна. — Понимаю. Вы пробовали рентген? — Третья пауза — очень длинная и неприятная. — Нет, нет, ни в коем случае. Я говорю: ломать не надо... Сложите все и несите ко мне.

Старый добрый чемодан, милое фибровое чудовище со старомодными металлическими углами. Я проклинал тебя, таща в руках до вокзала в Софии и изнемогая от твоего непомерного веса. Сейчас, если только я что-нибудь смыслю в логике, тебя принесут сюда, и начнется заключительный акт церемонии. Надеюсь, не самый неприятный.

Снимаю шляпу и обмахиваюсь ею, как веером. Мне и в самом деле душно.

— Я могу сесть?

— Да, да, конечно... Пеппо, подвинь стул господину.

С достоинством опускаюсь на сиденье и наваливаюсь на спинку. Стул скрипит. Господи, где они откопали такую рухлядь?

Кладу шляпу на колени, прикрыв ею Э. Уоллеса. Кто знает, не захотят ли эти двое напоследок заинтересоваться книгой? В ней ничего нет ни в переплете, ни между страницами, но представители ОВРА могут не удовольствоваться поверхностным осмотром и растерзать облож-

ку. «Не люблю растрепанные книги, — думаю я. — Между прочим, мне никто не сказал, что на таможне в Триесте рентген. Надо будет запомнить...»

Коротая время, достаю сигареты. Предлагаю Беллини и Пеппо. Беллини с видом знатока смакует каждую затяжку. Натянуто улыбается.

— Не будьте в претензии, синьор Багрянов. Поверьте мне, Италия самая гостеприимная из стран в Европе.

— В мире, — поправляет Пеппо.

В третий раз я слышу все те же слова о гостеприимстве. Неужели ими встретят меня в Швейцарии и Франции? И кто в итоге окажется самым гостеприимным — швейцарская БЮПО, полиция генерала Дарнана* или имперское гестапо?

— Чего мы ждем, синьоры?

— Ваш багаж.

— Он нужен вам?

— Нам? Нет, синьор.

— Тогда почему его несут сюда, а не в вагон?

Беллини тянется к телефону. Прижав трубку к уху и набирая номер, говорит:

— Я думал, вы захотите убедиться, что ничего не пропало.

— А могло пропасть?

— О, что вы! — И в трубку: — Беллини... Закончили паковать? Хорошо... Тогда несите прямо в вагон.

Закончив разговор, Беллини встает... Я слушаю его извинения с видом посла на приеме у Бориса Третьего. Обмен рукопожатиями происходит под аккорды взаимных улыбок, после чего Пеппо устремляется к двери, чтобы коммерсант Багрянов не утруждал себя возней с замком.

Пеппо же сопровождает меня до перрона. Киваем друг другу и расстаемся — дай бог, навсегда. Хотя инцидент и исчерпан, хотя Беллини ничего не записал в процессе разговора, я склонен полагать, что в Милане меня не обойдут вниманием. Все, что требуется, господа из триестинского вокзального пункта ОВРА выудят при

---

* БЮПО — бюро политической полиции Швейцарии. Генерал Дарнан — начальник вспомогательной французской полиции в годы фашистской оккупации.

чтении моей въездной анкеты и сообщат, куда надо. Имя, возраст, место рождения, адрес и так далее.

У вагона нахожу Дину и Альберто. В руках у Дины бутылка виши. Кажется, они и не подозревают о причине моего отсутствия; в противном случае Дина не была бы так заботлива. Альберто протягивает мне бумажный стаканчик. Вода теплая, но я пью с удовольствием. Выпиваю всю бутылку и не отказался бы от второй.

Скверные новости: обстоятельства складываются так, что мне, вполне вероятно, не суждено съездить в Рим. А между тем, именно в Риме находится посольство Швейцарии, без визы которого нельзя попасть в Женеву. В Софии визу не удалось раздобыть; остается надеяться на снисходительность консульства в Милане. Если оно там есть.

4. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. ТРЕУГОЛЬНИК МИЛАН — ГОЛЛАРДЕ — КОМО. МИЛАН

> — Представьте, что на вашем пути высокая стена. Перелезть не удастся. Как вы поступите? Обогнете ее или выроете подкоп?
>
> — Я адски устал от задач на сообразительность.
>
> — Эта последняя.
>
> — Поищу дверь...

Интересно, что испытывает собака, потерявшая хозяина? Я нередко встречал таких, но как-то не задумывался над их ощущениями. Бежит по улице пес с растерянной мордой, тыкается носом в углы — ну и пусть себе бежит... Двухдневные поездки — сначала в Рим, потом в Галларде и Комо, — сопряженные с непрерывными и безуспешными поисками, заставили меня вспомнить об осиротевших собаках и проникнуться к ним сочувствием. Особенно, когда поиски зашли в тупик.

На миланском вокзале я распрощался с Вешалкой. Фон Кольвиц после триестинского испытания вновь проникся доверием и подтвердил желание поговорить со мной по телефону в Берлине. Я поблагодарил его, дав себе слово забыть и номер телефона, и сам факт суще-

ствования оберфюрера СС. И потом — когда и как я попаду в Берлнн?

Прежде чем думать о Берлние, следовало добраться до Рнма, и здесь мне помог Альберто. Короткого звонка в полицню — прямо из будкн на вокзале — оказалось достаточным, чтобы через час я получнл разрешенне на недельное прожнванне в Мнлане н поездку в столнцу. Альберто с шиком довез меня до квестуры на своем «фнате», таком огромном н черном, что его можно было прннять за катафалк. Я поцеловал руку Днны н удостоился многозначнтельного пожатня.

— Не забывайте нас, — сказала Днна. — Мнлан наполнен соблазиамн, но лучшее, что в нем есть, — это друзья.

Адрес Днны я запнсал еще в вагоне. Альберто, сопя, протянул мне мягкую вялую лапу.

— Не обнжайте малышку...

«Фнат» сверкнул отмытым лаком н умчался в сторону центра, а я остался — круглый снрота в огромном городе, о котором знал чуть больше, чем о Снрнусе. Улнцы закружилн меня, запутали, углубнв ощущенне одиночества роскошной отчужденностью реклам. «Бреда», «Снна вискоза», «Монтекатннн», «Фальк», «Пнрелли» — все это было ие для меня, как не ко мне обращены были отверстые входы в Торговый банк н Итальянский кредит. Прежде чем втнснуться в переполненный трамвай н полужнвым выйтн из него у вокзала, я до пресыщения налюбовался вывескамн концернов в центре, древностямн Старого города н проннкся сознанием своей незначнтельностн перед уннжающим слабую плоть велнчнем Мнланского собора.

Визнт в Рнм оказался бесплодным. Выходя нз швейцарского посольства, я пожалел, что отпустнл таксн — весь разговор заиял десять мннут. Пока я ловнл машииу, чтобы вернуться на вокзал, подробностн, всплывавшне в памятн, отравлялн душу, н Вечный город показался мне дурацким скопнщем дворцов, хаижески подиовленных церковных развалин и рваного белья, сохнувшего иа веревках в переулках. Впрочем, настроенне мое нспортнлось несколько раньше, когда завершилась беседа с чиновннком в посольстве Германии. Немецкнй днпломат по манерам и обхождению оказался почтн двойииком швейцарского чнновннка и отличался от иего только

одеждой. Если немец был обряжен в полувоенное и серо-зеленое, то гельвет прочим покроям предпочел пиджачную пару, а цветам и оттенкам — шоколадный.

— Не думаю, чтобы что-нибудь вышло, — сказал швейцарец и слегка поднял бровь. — Почему вы не обратились в посольство у себя на родине?

— Меня лимитировали сроки.

— Напрасно. Софийские коллеги навели бы справки, не затягивая. Здесь это сделать труднее: кто знает, как скоро будет получен официальный ответ.

— Но...

Бровь опустилась на место. Ах, есть «но»?

— Я не собираюсь задерживаться в Берне или Женеве. Мне нужна транзитная виза. Это меняет дело?

— В известной степени.

— Я могу надеяться?

— На всякий случай заполните эти бумаги и побеспокойтесь о финансовом поручительстве вашего посольства... Не понимаю, почему вы не хотите действовать ординарным путем — через свой консульский отдел?

— Сколько это займет?

— Месяца два, я полагаю.

— Вот видите! Потому я и рискнул прийти непосредственно к вам.

— Боюсь, что все-таки напрасно, господин Багрянов. Хотя я и попробую что-нибудь для вас сделать... Для начала запаситесь официальным подтверждением вашей кредитоспособности. Это многое упростит.

— У меня есть чековая книжка.

— Этого недостаточно... Весьма сожалею.

Можно было уходить, но я решил проявить непоятливость.

— Чем плоха чековая книжка?

— Деньги нетрудно одолжить на короткий срок, внести в банк и по миновании надобности закрыть счет. Не обижайтесь, господин Багрянов. Вы сами понудили меня к ненужной прямоте. Если б вы только догадывались, сколько людей стремится укрыться в Швейцарии от войны! И каждый готов предъявить чековую книжку, а, когда приезжает, оказывается, что республика вынуждена кормить его и одевать.

— Не забывайте, я еду транзитом.

— Из каждой сотни транзитных гостей пятьдесят пытаются остаться в Швейцарии, и один бог ведает, каких хлопот стоит политическому департаменту уговорить их следовать дальше. Вы не поверите, но многих приходится отправлять до границы под конвоем...

На стенах бюро полыхали сочной альпийской зеленью плакаты с видами Давоса и Сен-Морица. Чиновник проследил мой взгляд.

— Да, да, обязательно побывайте на курортах. Ни с чем не сравнимая красота! Надеюсь, получив визу, вы выберете денек-другой и погостите в горах.

Он распространялся бы еще, но мне не хотелось зря тратить время. После неудачи у немцев и неутешительного итога в посольстве Швейцарии у меня поубавилось терпения. И кротости тоже.

До самого вокзала я обдумывал положение. Пользуясь этим, шофер, очевидно, решил проверить свой драндулет на выносливость в дальних пробегах; допускаю также, что он просто демонстрировал мне Рим. Так или иначе, для начала мы измерили длину Корсо-Умберто I, развернулись вправо на Плацца-дель-Пополо и, промчавшись по Виа-дель-Бабуино, через туннель вынеслись на Виа-Милано, где мне наконец наскучила роль жертвы.

— Стой, бамбино! — сказал я. — Мне нужна не Виа-Милано, а вокзал, чтобы ехать в Милан! Направляйся туда и отыщи дорогу покороче!

— Синьор опаздывает?

— Нет, но я не миллионер.

После этого диалога мы довольно быстро добрались до вокзала, и я погрузился в недра поезда, следующего в Милан.

Итак, все осложнилось. В германском посольстве ни болгарский паспорт, ни письмо министерства экономики не произвели впечатления. Третий секретарь, принявший меня, был вежлив, и только. Он решительно отказался помочь мне добраться морем до любого из французских портов, чтобы оттуда ехать в империю.

— Германские суда используются для войск, и распоряжаются ими военные власти. Советую снеситься с ними не самому, а через посредство болгарских официальных лиц. Что же касается итальянских пакетботов, то чем я могу быть полезным? Поверьте, нам приходится

предельио считаться с местиой адмииистрацией. Ее амбиция так болезиеииа, что в корие меияет представлеиие о иормах такта... Сомиеваюсь, что итальяицы пойдут вам иавстречу, и рекомеидую ехать через Швейцарию. Все-таки проще с визой и формальиостями: Швейцария ие воюет...

Стеиа, ио есть же где-то дверь?

За последиие сутки лишь одиажды передо миой забрезжила иадежда. Это было в коице переговоров со швейцарцем, и я иавострил уши, соображая, иельзя ли замеиить посольское поручительство баиковским. Одиако лучик угас ровио через миг.

Я, коиечио, могу явиться в болгарское посольство, заполиить ворох аикет и иастроиться иа ожидаиие. Но что из этого выйдет — вот вопрос. Помимо письма в баик, политический отдел, как водится, затребует из Болгарии свидетельство о благоиадежиости. Ограиичься сыскной интерес одиим софийским периодом, я бы спал спокойио и, подобио прочим туристам, бегал бы по Риму, скупая поддельиые сестерции и сомнительиую чекаику Беивеиуто Челлиии, ио где гараития, что почта раио или поздио ие доиесет казеииую бумагу с орлом до села Бредова, озиачеииого в моем паспорте в качестве места рождеиия? И как будет реагировать директория полиции иа ответ, что я, Слави Николов Багряиов, в даииый момеит благополучио иахожусь в селе, заиятый своим полем с пшеиицей и тютюиом?

В Софии триста левов помогли мие избежать раздвоеиия личиости. Квартальиый иадзиратель был любезеи и ие утруждал себя посылкой запросов. Мы скрепили отиошеиия ракией и «Плиской», подаииыми Марией в мой кабииет, а белый коиверт с баикиотами довершил дело. Свидетельство было составлеио и тем же вечером завереио гербовой печатью и автографом господииа директора.

Я расцеловал Марию в обе щеки и поспешил иа экспресс, оставив свое второе «я» пребывать в заботах об урожае. Две тысячи левов — в обмеи иа паспорт — здорово помогли ему зимой выпутаться из затрудиеиий. Я, в свою очередь, тоже был доволен: иначе как бы мне удалось стать главой такой славиой фирмы, как «Трапезоид», продаииой прежиим владельцем со всеми потрохами с торгов и за сущий бесцеиок?

«Трапезонд» был моей удачей. Вместе с подержанной мебелью и общественным положением я получил уборщицу Марию, возведенную мною в ранг домоправительницы. Преклонный возраст и сварливый нрав не мешали Марии заботиться о моих рубашках и готовить крепкий кофе. Большего я и не требовал.

Мне и сейчас не много надо. Я неприхотлив. От судьбы я прошу самую малость: помочь мне найти в стене крохотную дверку, можно — щель, скользнув в которую одно из «я» Слави Николова Багрянова сумело бы проникнуть в Швейцарию. Готов поручиться чем угодно, что Слави Багрянов ни на один лишний час не задержится на территории республики и даже глазом не поведет в сторону Давоса и Сен-Морица. Что же касается вопроса о средствах, то господин чиновник зря сомневался: они у Слави есть. И вполне достаточные.

Путь до Милана я проспал как убитый, прижавшись к толстому плечу немолодой ломбардки. Плечо пахло чесноком и навевало мысли о борще.

Следующие сутки поставили меня перед катастрофой. Галларде и Комо никак не походили на двери в стене. Близость к границе и полное отсутствие возможностей ее пересечь только усугубили мое разочарование. К тому же Комо оказался битком набитым берсальерами * в походной форме, и я, сократив до предела осмотр города и пограничного озера, расстался с ними без грусти.

Теперь я опять возвращаюсь в Милан. Треугольник Галларде — Комо — столица Ломбардии замкнулся.

Поезд идет медленно; его качает из стороны в сторону на виражах, и внутренности мои подскакивают к горлу. Измученный поездками и неудачами, я с осторожностью альпиниста, покидающего Монблан, бочком спускаюсь с вагонной лесенки на перрон в Милане.

В туалетной комнате привожу себя в порядок. Чищу брюки и обувь, скребу щеки «жиллетом». Из зеркала на меня глядят усталые глаза пожилого неудачника. Неужели я так постарел за какие-нибудь два дня?

Бульон, ножка цыпленка, салат и большая чашка кофе придают мне сил. Обед стоит дорого, но я не экономлю. Перед встречей с Диной я должен быть в форме.

---

* Берсальеры — солдаты ударных частей.

Дина — одна из последних моих надежд. По крайней мере, сейчас лучшего я не в состоянии придумать... Что я знаю о ней? Почти ничего. Вдова, имеет брата-фашиста, живет в собственном особняке. Скорее симпатична, чем неприятна; во всяком случае, достаточно женственна. И главное — в ее паспорте есть швейцарская виза. Я заметил это, когда проводник Симплонского экспресса возвращал пассажирам документы в Триесте; Дина развлекала меня и Альберто, заставляя Чину ловить свой хвост.

Поскольку рассчитывать на швейцарское посольство неразумно, а на поиски контрабандистов в Комо или Галларде, если таковых не пересажали полиция и пограничная стража, уйдут недели, остается одно: выдать себе въездную визу самому. Для этого надо знать, какая она из себя, чем выполнена — штемпельной краской или специальными чернилами, какими защитными атрибутами снабжена, кем подписана, отмечается ли в полиции и так далее и тому подобное. Остальное — дело техники. Кисточки, краски, рейсфедер и прочие мелочи, по-моему, нетрудно приобрести в любом писчебумажном магазине. Не в одном, так в нескольких.

Труднее заполучить паспорт синьоры Дины Ферраччи, виконтессы делля Абруццо, в свое распоряжение на два-три часа. И все же я должен попытаться это сделать.

Телефон на столике метрдотеля соблазняет меня позвонить Дине немедленно. Удерживаюсь от искушения, допиваю кофе и прошу официанта принести телефонный справочник. Нахожу в нем адрес маленького банка и, расплатившись, покидаю ресторан. По дороге мимоходом сворачиваю в камеру хранения, чтобы убедиться в сохранности своего фибрового чудовища. Не распотрошили ли его за эти сорок восемь длинных часов?

Убедившись, что все в порядке, я выхожу на площадь и, поймав такси, еду на Виа-Прато, где прошу шофера подождать.

Банк не производит впечатления процветающего, но мне нужен именно такой. В больших служащие избегают взяток, разве что их дает добрый знакомый и счет идет на тысячи лир. Здесь же я надеюсь обойтись двумя-тремя сотнями.

Первую бумажку сую швейцару — самому осведомленному человеку в любой конторе. Совет, произнесен-

ный на ухо, стоит мне всего пятьдесят лир. Недурное начало. Швейцар настолько любезен, что провожает меня в глубь зала и приподнимает деревянный барьер, разделяющий закуток счетовода и посетительскую. В закутке происходит короткий обмен словами и едва заметный — жестами, после чего я возвращаюсь в такси без двухсот пятидесяти монет, но со вторым бесценным советом.

— Контора адвоката Карлини. Район Большого госпиталя.

Шофер вымогательски щурится:

— Не хватит бензина.

— Тогда впряжетесь сами.

— За двадцать лир!

— По рукам...

Сколько с меня сдерет адвокат?

Синьор Карлини быстр и деловит. И все понимает с полуслова. Чувствуется опыт в части подпольных махинаций, а возможно, и сводничества.

— Я от синьора Модесто Терри. Из банка.

— Вот как? Присаживайтесь.

— Вы не могли бы?..

Карлини оседлывает нос очками.

— Синьор Терри — такой маленький и лысый?

— Мне он показался моложавым и очень худым. У него бледные странные уши — настоящий лопух.

— Да, да, конечно. Я перепутал. Так что, вы говорите, привело вас?

— Я коммерсант. Иностранец. Мое имя...

— Это излишне.

— Благодарю... Меня интересует синьора Дина Ферраччи.

— Синьора или ее текущий счет?

— И то и другое.

— Соблаговолите подождать.

У адвоката, несомненно, недурная картотека. Возможно, он сотрудничает в полиции, но это меня не пугает. Наведение справок коммерсантом о партнере — обычная и узаконенная вещь. Вполне безопасная, если, разумеется, у партнера нет связей с ОВРА.

Собственно, только это меня и интересует. Окажись синьора Ферраччи причастна к контрразведке, Карлини

под любым предлогом предложил бы мне прийти завтра, чтобы дать полицейским возможность во всех ракурсах запечатлеть мою физиономию на пленке.

Полчаса спустя я расширяю круг познаний о Дине. И частично об Альберто. Узнаю даже адрес последнего любовника синьоры Ферраччи, которого она бросила год назад... Ничего неожиданного.

Теперь можно звонить.

Телефон-автомат принадлежит церкви. Об этом свидетельствует эмблема на будке. Будем считать, что само провидение на моей стороне и мои шаги осенены святостью. Опускаю монету в прорезь телефона и кредитку в кружку; набираю номер. Как это выразился Альберто: «не обижайте малышку»?

Дина узнает меня сразу. Лжет, что в полном восторге, и предлагает приехать. Когда? Лучше прямо сейчас. Вечером она ждет нескольких дам — маленький бридж. Чем еще развлекаться свободной женщине?.. Если я не прочь остаться и на вечер, меня познакомят с очень приятными людьми.

— Грация, — говорю я как можно нежнее и устремляюсь к такси.

Шофер выразительно потирает пальцы.

— Получишь, — обещаю я. — Но сначала помоги мне купить цветы. Большой букет... Или нет — лучше маленький, но дорогой. Где тут у вас торгуют орхидеями?

Все-таки как-никак Дина виконтесса!

5. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. МИЛАН — ГЕНУЯ

— Иногда меня подмывает спросить: ты действительно оптимист или притворяешься им?

— Не похож?

— В чем-то да...

— А ты бы бросилась в реку, не надеясь ее переплыть?

Дина — само сочувствие; она обещает что-нибудь придумать. У Альберто такие связи!.. Слушая ее, я пытаюсь затолкать орхидеи в вазу с узким горлышком — пятый букет за эти дни. Предыдущие четыре тихо увя-

дают в углах гостиной. Цветы, пятнистые, как ситец, пахнут парфюмерным магазином.

Дина в курсе моих затруднений. С ловкостью, сделавшей бы честь комиссару полиции, она мало-помалу выудила из меня все подробности. Формализм швейцарцев и инертность немцев ее возмущают. Чуть-чуть больше, чем следовало бы.

— Альберто все уладит. Наберитесь терпения, Слави.

Синьор Фожолли звонил из Рима и обещал приехать. Дина, кажется, рассказала ему все.

Я молча расправляюсь с орхидеями и осторожно отталкиваю Чину, пробующую мои брюки на крепость. Альберто приезжает дневным курьерским, и я готов ко встрече с ним.

Мои отношения с Диной балансируют на грани дружбы и постели. Итогом может быть и то и другое; право выбора Дина оставляет за собой. Она еще ничего не решила и не торопит события. В вагоне мне показалось, что виконтесса Ферраччи более прямолинейна, но, познакомившись с Альберто, я стал догадываться, что игра будет не так проста.

Завтра истекает срок разрешения квестуры. Если Фожолли не вмешается, мне остается одно — убраться из Италии и поискать другой путь в Берлин. Я почти жалею, что не воспользовался вариантом Белград — Вена — Прага. Что из того, что я восемь месяцев работал в Вене и был связан делами с ПКСВ — правлением компании спальных вагонов? Разве судьба так уж и обязана сыграть со мной фатальную шутку, нос к носу столкнув на вокзале с кем-нибудь из старых друзей Ганса Петера Канцельбаума, поразительно напоминающего собой Слави Николова Багрянова — коммерсанта из Софии?

Пожалуй, я все-таки плюну на все и поеду через Вену.

— Будете завтракать, Слави?

Медленно и тихо целую руку Дины.

— Благодарю... Я перекусил в отеле.

— Мы же условились...

— Голод — превосходный корректор.

— Тогда кофе?

Одна из горничных — их у Дины три — приносит

поднос с китайскими чашками. Запах «Мокко» в момент забивает парфюмерную сладость орхидей. Надкусываю печеньице и делаю глоток — ровно полчашки. Терпеть не могу ореховое печенье.

Дина возвращается к животрепещущей теме.

— Бедный мой Слави! Вот увидите, все отлично устроится. Стоит только Альберто захотеть, и вы отплывете, как Цезарь.

— Захочет ли он?

— Это зависит от вас.

— Если сделка в Берлине сорвется, мне придется туго. Не уверен, сумею ли я выпутаться без потерь.

— Все так скверно?

— Если б вы видели мои склады, вы бы не спрашивали. Еще немного, и пшеница начнет гореть.

Дина доливает мне кофе. Рука у нее полная; оспинки у плеча едва заметны, но не настолько, чтобы не навести на мысли о возрасте синьоры Феррачча. У тридцати и даже тридцатипятилетних нет на руках этих шрамов — еще до первой мировой войны Европа научилась делать прививки на бедре.

Дина проявляет рассудительность:

— Может быть, стоило продать на месте? В Софии обязательно должны быть представители германской торговли.

В третий или четвертый раз терпеливо объясняю, что скупщиков хлеба в Болгарии — пруд пруди. Но платят они гроши. Вся надежда — самому побывать в Берлине и заключить прямой контракт.

Причины поездки — одна из тем, к которым Дина возвращается при каждом удобном случае. Слушать она умеет, и память у нее отличная. Беру ее руку в свою и опять целую, пытаясь одновременно поймать ее взгляд. Долгая пауза заполнена игрой в гляделки, и Дина начинает медленно краснеть.

— Ах, Слави!..

Словно ничего не случилось, принимаюсь за кофе и печенье. Следующей темой должна быть моя поездка в Рим. Дина все еще не убеждена, что я не был нигде, кроме посольств. Помогая ей, со смехом вспоминаю шофера, устроившего мне экскурсию по Вечному городу. Говорю о выражении его лица, когда он понял, что хит-

рость разоблачена; при этом как можно точнее описываю приметы водителя, по которым, надеюсь, полиция уже успела его отыскать. Если Дина действительно прочит меня в мужья, то надо отдать ей должное — ее проверка не идет в сравнение с моим визитом к Карлини.

Вспомнив о Карлини, мысленно улыбаюсь. Разговор с ним — очко в мою пользу. Если Альберто, разумеется, не профан. Осторожность ценится высоко во все времена и у всех народов. Не так ли, мой бесценный синьор Фожолли?

Остаток дня разбавлен ленивой скукой и пустой болтовней. Слишком жарко, чтобы выезжать на прогулку, да и, признаться, у меня нет настроения осматривать город. Пять суток в Милане — достаточный срок, чтобы исчерпать туристскую любознательность; для настоящего знакомства понадобились бы годы.

Самые жаркие два часа провожу в саду. Полулежу в шезлонге, закрыв лицо «Газетте дель пополо». Сад у Дины отличный, с многолетним газоном и хорошо расчищенными дорожками. Здесь так чисто и тихо, что кажется, будто вилла отделена от центра города сотней километров, а не тремя кварталами. Лишь иногда с площади, отразившись от стен замка Сфорца или собора, вместе с ветром долетают гудки.

Хорошо быть желанным гостем!

Альберто приезжает в три пополудни. С сожалением расстаюсь с газетой и пытаюсь привстать с шезлонга. Мягкая лапа успокаивающе взбалтывает воздух:

— Сидите, Слави... Я так устал, что последую вашему примеру и сяду. Вы не возражаете?

Сегодня Альберто в штатском. Превосходный костюм из тонкой шерсти; галстук завязан широким свободным узлом. Патриций на отдыхе.

— Позвольте представить вам...

Спутника Альберто я разглядел еще минуту назад — нехитрый прием с дырочкой в газете, весьма скомпрометированный кинофильмами, но тем не менее не потерявший ценности.

— Умберто Тропанезе.

— Слави Багрянов.

— Будущий магнат из Софии, — добавляет Альберто, проявляя склонность к юмору.

Скромно пожимаю плечами.

— Скорее нищий на паперти любой из церквей.

Фожолли утешает:

— Не впадайте в пессимизм, синьор Багрянов. Сестра подняла из-за вас на ноги весь Рим. Меня, например, она буквально вырвала с заседания фашистского совета. Хотел бы я знать, кто, кроме нее, оказался бы способным на такое?

— Синьора так добра...

— Она поссорит меня с дуче.

Спутник Фожолли не вмешивается в разговор. У него осиная талия, широкие плечи и тонкое лицо с исключительно правильными чертами. Он мог бы сделать состояние, рекламируя костюмы от Пакэна или кремы Коти́. Черная форма придает ему изящество.

— Завтра мы расстанемся, — говорю я с непритворной грустью. — Увидимся ли? Так жаль...

— Возвращаетесь домой?

— А что мне остается?

Прекрасная штука правда. Не надо напрягаться в разговоре, опасаясь сболтнуть что-нибудь не то.

— Поеду в Софию, — продолжаю я, умалчивая, разумеется, что решающим обстоятельством оказалась полная невозможность добраться до паспорта Дины. Он — я это выяснил — лежит в сейфе, вне пределов досягаемости.

— Большие потери?

— Еще столько же — и точка.

— Вы откровенны... — Фожолли встает и вяло машет рукой. — Пойду умоюсь с дороги. Тропанезе составит вам компанию. Он занятный собеседник и — что важнее! — отзывчивый человек.

Он, несомненно, думает, что оригинален. Кроме того, шофер такси, само собой, нашелся и подтвердил рассказ о маршруте. Мои поездки в Комо и Галларде служат последним доказательством, что Слави Багрянов загнан в угол и мечется в отчаянии. Можно не церемониться.

До появления Тропанезе я еще допускал, что ошибся и Дина интересуется Слави-холостяком, а не коммерсантом Багряновым, рыскающим по Европе в поисках сделок. Странным казалось только несоответствие титула виконтессы делля Абруццо с попытками привлечь

к себе внимание. Как бы ни торопил Дину возраст, между торговцем с Балкан и миланской дворянкой лежит пропасть, мостик через которую способны перекинуть одни лишь миллионы. А я не миллионер; состояние моего текущего счета вряд ли способно очаровать Дину — у людей ее круга сверхъестественное чутье на все, что связано с деньгами.

Итак, поскольку я не богат, как Крез, не записной красавец и не принадлежу к высшему свету, то что, собственно, привлекает Дину и вынуждает быть настойчивой?.. Две детали дали мне нить: синьора Ферраччи ехала из Югославии и имела швейцарскую визу...

Тропанезе, вздернув брюки, присаживается в покинутый Альберто шезлонг. Доброжелательно улыбается.

— Командор Фожолли просил помочь вам.

— Это возможно?

— Сознаюсь: трудно.

— Тогда не стоит и говорить...

— И вы готовы нести потери?

Пожимаю плечами.

— Вы уже бывали в Берлине?

— Нет... Но если бы сделка удалась, нынешний визит был бы не последним.

Мой паспорт, побывав в квестуре на регистрации, подвергся изучению. Утром я спросил портье, где мои документы, и услышал, что их еще не вернули. Значит, можно не упоминать о недавней поездке в Венгрию — Тропанезе доложили о всех визах и отметках.

— По-моему, путь через Вену короче?

Самое слабое место. Но я готов.

— Всегда ищешь максимум пользы для себя. Не секрет, что Виши остро нуждается во многом. В том числе и в хлебе.

— Да, в Зоне голодновато.

— Вот я и думал через Женеву и Лион завернуть в Виши или Марсель. На пару дней, не больше. И прогадал...

— Что вам посоветовали немцы?

— Ничего. Я намекнул на любовь к морю, но, как выяснилось, ключи от портов у военных властей и у вас. Пустой номер.

Тропанезе откидывается в шезлонге. Говорит неопределенно:

— Море...

Голос у него мечтательный.

Достаю сигареты н протягиваю их итальянцу. Он отказывается, а я закуриваю и пытаюсь нанизать кольца на тонкую струю дыма. Безуспешно.

— Вы знаете кого-ннбудь в Берлине?

— Нет, — говорю я.

— У меня там приятельница. Немка. Пишет, что никак не может выбраться — муж полковник и чертовски ревнив. Я рассчитывал на Дину. Но не у вас одного неудачи, синьор Багрянов... Днннна поездка в Берлин отпала нз-за болезни.

Выдерживаю паузу.

— А вы и не знали?

— Ни о поездке, ни о болезнн.

— Да, Дина скрытна... У нее почки, но это между нами.

— Ах, почки?

— Да. Одним мешают болезни, другим — интриги.

— Не понимаю!

— О синьор Багрянов! Вы удивнтельно наивны! Неужели вы думаете, что германские дипломаты так уж бессильны и не в состоянии устроить вас на корабль?

— Что же им помешало?

— Ваша маленькая ссора с соседом по купе. Фон Кольвицем, кажется?

Изображаю изумление.

— Мы не ссорились.

— И тем не менее синьор Кольвиц явился к властям с просьбой обратить на вас внимание.

Превосходно доведенная до моего сведения угроза. Форма изложения почти безупречна. Теперь я обязан немножко испугаться, чтобы не лишнть Тропанезе удовольствия. Потрясенно развожу руками.

— Чем я ему не угодил?!

— Слишком много выпивки, синьор Багрянов. Офицеры гестапо не любят тех, кто чокается с ними первым. Вы и этого не знали?

— Откуда?.. Но, боже мой, как все глупо!.. Поверьте, я н не предполагал...

Может быть, возмутиться н вскочить с шезлонга?.. Сижу. Курю. Стараюсь выглядеть раздавленным.

Вербовать он меня не станет. По крайней мере, в этот раз. Для начала предложит привезти из Берлина маленькую посылочку от знакомой. Какой-нибудь милый и безвредный пустячок... Дина у итальянской разведки что-то вроде курьера. Работа с агентурой не входит в ее задачи, и я по чистой случайности подвернулся ей под руку. Болгарин, нейтрал, с хорошими документами. И едет в Берлин. Почему бы не воспользоваться? Фон Кольвиц в известной степени помог итальянцам, дав повод для обыска и словно натолкнув на решение... Видимо, немцы не очень довольны поездками итальянских курьеров, в том числе и дипломатов, в третий рейх. Дружба дружбой, а табачок врозь. Уверен, что были случаи, когда дипкурьеры и охрана крепко засыпали в своих купе, а сумки с почтой подвергались деликатным операциям. Склонен думать также, что синьора Феррачи примелькалась в Берлине и рада найти себе хотя бы временную замену... «Спокойно, Слави! Держи ушки на макушке».

Тропанезе, дав Багрянову впасть в отчаяние и измерить всю глубину бездны, извлекает его со дна и держит на краю обрыва. В таком положении легче сделать выбор.

— Еще не все потеряно, синьор Багрянов.

— Легко сказать!

— Но это так. В Триесте ведь все обошлось? Вот видите...

— А отказ посольства помочь?

— Формализм. Обычное явление... Да, забыл сказать, что я работаю в отделе, связанном с морскими перевозками. Командор Фожолли позвонил мне, и, как видите, я здесь.

— Вы воскрешаете меня!

— Просто оказываю пустячную услугу и счастлив, что это в моей власти.

— Хотел бы отплатить вам тем же.

Тропанезе слегка улыбается.

— Вы предвосхитили мою мысль. Могу я просить об одолжении?

— Ваш слуга!

Как я и полагал, речь идет о посылке. Приятельница Тропанезе, оказывается, давно мечтает прислать своему итальянскому другу редкое издание евангелия. Почтой это делать опасно — из сумок исчезают и менее

ценные вещи. Тропанезе рассчитывал на Дину, но поездка сорвалась так некстати, лишив влюбленных радости дарить и получить подарок.

Договариваемся о деталях. Жена полковника найдет меня в отеле «Кайзергоф»; она позвонит сама и назовется Эрикой. Мне следует помнить, что полковник ревнив; поэтому Тропанезе лишен возможности дать мне адрес или номер телефона своей пассии. Вполне логично и то, что наша встреча с Эрикой должна состояться подальше от посторонних глаз: полковник доставит мне кучу неприятностей, если накроет с супругой.

— Я буду осторожен, можете положиться.

— Хочу надеяться, что так... Да, и не пейте больше с сотрудниками гестапо!

Смеемся. Весело, как и подобает людям с чистой совестью, полюбовно завершившим сделку. Намек на попойку должен предостеречь меня от желания передать посылку в РСХА: в этом случае доносу фон Кольвица будет дан ход и даже болгарский МИД не спасет меня от возмездия.

Тени в саду становятся все длиннее и длиннее; воздух свежеет, и с площади приплывает звон колоколов. Тропанезе механически крестится и смотрит на часы.

— Сейчас позовут к обеду.

— Я не приглашен.

— Значит, Дина ввела меня в заблуждение. А мне показалось, что в вашу честь готовится чуть ли не парадный прием!

Тропанезе в упор смотрит на меня.

— Хорошо быть богатым и позволять себе все. Синьора Ферраччи славится на весь Милан своими приемами. Еще бы! С такими средствами! Впрочем, что я говорю: адвокат Карлини уже ввел вас в курс дела?

Отвечаю прямым взглядом.

— Я коммерсант, а следовательно, нуждаюсь в лоцмане. Без надежного кормчего трудно плыть в море экономики.

— Это верно. Пойдемте?

Тропанезе пропускает меня вперед и, дав сделать шаг, добавляет:

— Ради всего святого, будьте с моей Эрикой так же благоразумны, как в случае с лоцманом.

В голосе его я слышу одобрение.

...Обед и начало вечера проходят весело и сумбурно. Много вина и шуток. Альберто изощряется в остроумии, а Дина грустна. Отводит меня к окну и спрашивает, когда я вернусь.

— Я еще не уверен, что уеду...

— Альберто не сказал вам?

— Ни слова.

— Завтра утром. Кажется, из Генуи... Вы и вправду не знали?

— Клянусь вам.

— Узнаю Альберто: не может без сюрпризов.

Официально о времени отплытия мне сообщает Тропанезе. После обеда. Все обставляется так, будто он и сам только недавно выяснил это, позвонив в Геную.

— А паспорт? А разрешение?

— Паспорт захвáтите по дороге; разрешение будет ждать в порту. Если вы не против, поедем машиной. Так удобнее.

Дина ласково держит меня под руку. Ей, по-моему, кажется, что я заслуживаю награды. При желании я мог бы попросить ее показать мне спальню. Вино и волнение усиливают готовность синьоры Ферраччи отплатить добром за добро.

Ровно в восемь Альберто встает из-за стола.

— Ты превзошла себя, дорогая. Суп из черепахи был неподражаем.

— Не я, мой повар!

— За здоровье путешествующих?

Прежде чем выпить, кланяюсь и благодарю.

— Поверьте, Альберто, такое не забывается!

— Пустое, — великодушничает Фожолли и любуется бокалом. — Сохрани вас господь в пути...

Дина провожает нас до самой ограды. Прижимается к моему плечу. Альберто открывает шествие, мы замыкаем, и поэтому Дина смело целует меня в губы.

— Я буду ждать...

Меня или евангелие? Благоразумно воздержавшись от вопроса, возвращаю Дине поцелуй в качестве маленькой компенсации за несостоявшуюся экскурсию в спальню. Пусть ждет и надеется.

— Чао, Слави!

С этим и отбываю. По пути на несколько минут сворачиваем к отелю, грузим в багажник фибровое чудови-

ще, и «фиат», с места развив сумасшедшую скорость, устремляется из Милана в Генуя.

Меня клонит ко сну.

Сквозь полудрему слышу, как Тропанезе приказывает шоферу поторопиться. Тону в мягчайших кожаных подушках и блаженно думаю о причудах удачи. Что там ни толкуй, но удача приходит к тем, кто ее ищет. Банальная истина? Пусть так. Но от этого она не становится хуже... Я знаю только один случай, к которому закон об удаче, идущей навстречу ищущему, оказывается неприложимым. Он касается тех, кто стеснен в деньгах и пытается отыскать бумажник на дороге. Таких счастливчиков я еще не встречал.

5. ИЮЛЬ 1942 ГОДА. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДНО «ВОЛЬТЕРРА». ГЕНУЯ — МАРСЕЛЬ

— Тебе бывает страшно?

— Еще как!.. И уж если не врать до конца, то гораздо чаще, чем хотелось бы.

— А я-то думала...

— Это с виду. С виду я лев..!

От второго завтрака до ужина, с перерывом на обед, в кают-компании идет игра в шмен-де-фер. Счастье покинуло меня: получаю или мелочь, или баккара и потихоньку облегчаю бумажник от франков. Кредитки скапливаются у пожилого немца в полувоенной форме, мрачно мечущего банк.

— Еще? Даю!

— Прикупаю... Пять.

— Дамбле!

С нами играют экзальтированный француз неопределенного возраста и смуглый молодой итальянец, утверждающий, что в Париже его ждут не дождутся на Монпарнасе. Он эксперт по живописи новой школы, хотя причисляет Модильяни к художникам конца девятнадцатого века. Эти двое играют осторожно; набрав четыре или пять, не прикупают, а немцу, как назло, идут комбинации, близкие к девятке.

«Вольтерра» — вспомогательное судно итальянского королевского флота — жмется к берегу, к мелкой воде. Так безопаснее. Француз утверждает, что британские

подводные лодки торпедируют в среднем каждый третий пароход, если, конечно, его не успевает потопить морская авиация. Мсье Каншон работает инженером тулонских доков и говорит с полным знанием дела. После каждого его рассказа о сгинувших в пучине кораблях немец прикупает, не глядя в карты. Я сижу слева от него и вижу, что дважды он брал к восьмерке; но судьба есть судьба: выходил туз, и получалось девять.

Перед ужином выходим на палубу подышать воздухом. Вдоль борта, на крюках, развешаны спасательные круги и капковые пояса. На корме у зачехленной пушчонки хлопочут пожилые солдаты с зелеными от качки лицами. Им поручено мужественно отразить нападение воздушных и морских эскадр врага, но, по-моему, они больше надеются не на свой «эрликон», а на пробковые жилеты и близость берега. Немец, сутулясь, разглядывает героических защитников «Вольтерры» и хрустит суставами сцепленных пальцев. Качает головой:

— И это солдаты? Инвалидная команда.

В голосе у него горечь и обреченность. Крупный выигрыш доконал его. Судя по форме и кое-каким жаргонным словечкам, он военный строитель; мрачность же и тусклые глаза свидетельствуют, что из Марселя ему предстоит ускоренный марш на фронт.

Осторожно зондирую почву.

— В Берлин?

— Почему вы спрашиваете?

— Я еду туда и был бы рад иметь вас попутчиком.

Немец, как подхлестнутый, распрямляет плечи. В глазах такого штафирки, как я, носитель арийского духа должен при любых обстоятельствах выглядеть Зигфридом. Даже если предвкушение фронта вызывает сердечный спазм, а фатальное везение в картах согласно безошибочной офицерской примете предвещает досрочное прощание с жизнью.

Эксперт по живописи болтается возле рубки, нисколько не интересуясь нашим разговором. В зубах у него зажата сигарета в длинном дамском мундштуке. Мизинец изящно отставлен.

Некоторое время слушаю немца, объясняющего мне, что место каждого, кто предан фюреру, там, где решает-

ся судьба империи, — на Востоке, но вскоре отвлекаюсь. Мне очень не нравится подвижная черная букашка, возникшая у горизонта и обнаруживающая намерение сблизиться с нами. С тех пор как сторожевые катера, сопровождавшие «Вольтерру» до Сан-Ремо, отвернули, предоставив судну самому выпутываться в случае чего, я уже не раз прикидывал шансы добраться вплавь до берега. Их не так уж много.

Букашка довольно долго маячит в открытом море, то приближаясь, то удаляясь, и наконец исчезает. Продрогнув, спускаюсь в кают-компанию. Эксперт предлагает продолжить игру, но не встречает поддержки: немец окончательно ушел в себя, а мсье Каншон решает отправиться спать.

Мы уже обогнули мыс Де-Солен и плетемся со скоростью десять узлов в виду берегов Франции. Завтра в полдень будем в Марселе. Хочется думать, что будем.

Когда-то мне уже представлялся случай тонуть, и я прекрасно помню, что ощущение было не из приятных. Особенно противной показалась мне зеленая гидра водорослей, обвивших ногу и словно бы приглашавших погостить на дне подольше. Даже через месяц я вспоминал о них с содроганием и старался избегать разговоров о морских ваннах.

— Покер? — предлагает эксперт.

— Вдвоем?

— Почему бы и нет — надо же убить время.

Он или очень неопытен, или чрезмерно нагл. Я, конечно, не надеялся, что Тропанезе оставит меня без призора, но все-таки можно действовать деликатнее! Мало того что мы с экспертом соседи по каюте, он буквально из кожи вон лезет, стремясь заполучить меня в партнеры или собеседники. И главное, «Вольтерра» так мала, что от него не скроешься.

Эксперта зовут Ланца. Марио Ланца — полный тезка прославленного певца. Марио утверждает, что тоже поет, и неплохо, и в доказательство попытался исполнить что-то неаполитанское. У него приятный по тембру тенор и верный слух. Какими только талантами не располагает итальянская разведка.

Марио сдает карты, выбросив мне пару дам. Добираю и блефую с таким видом, словно получил карре. Марио морщит лоб и погружается в расчеты. Предлагает раскрыться, но я набавляю — столько и столько

4*

же. Интересно, что он станет делать, проиграв жалованье и проездные?

Два валета Марио подрывают его кредитоспособность на триста с лишним франков. Еще талия, и Ланца побежит к капитану занимать на обратную дорогу. Покер — это прежде всего психология и только потом уже мастерство. И еще чувство меры.

Дав Марио неоспоримое доказательство, что с чувством меры у него не все в порядке, подсчитываю итог и отправляюсь спать. Становится темно, и встреча с британской авиацией откладывается на завтрашнее утро. Что же касается подводных лодок, то им все равно, день или ночь, а посему лучше о них забыть. Так я и делаю.

Сухо раскланиваюсь с немцем и ухожу, оставив его бодрствовать в обществе Ланца. Немец сражен своим выигрышем, а Марио проигрышем, и они, надо думать, найдут общий язык.

Сплю без снов.

Утром выясняется, что мы опаздываем и попадем в Марсель не раньше вечера. О картах никто не заикается, и, позавтракав, слоняемся по «Вольтерре» с носа на корму и с кормы на нос, мешая матросам. Прислуга у «пушки» тренируется в отражении воздушного нападения. Тонкий ствол описывает круги, зарождая у Ланцы желание поделиться своими военными познаниями. По его словам, снаряд делает в «харрикейнах» дыру величиной со спасательный круг. Даже побольше. Каншон в восторге. О-ля-ля! Так им и надо, этим воздушным пиратам!

Немец, выждав паузу, выливает на Каншона ушат ледяной воды.

— Фугасная бомба, самая маленькая, способна разорвать «Вольтерру» пополам...

И Каншон сникает.

Обедаем в гробовой тишине, подчеркнутой громким сопением Каншона, очищающего косточку отбивной. Страх не лишил его аппетита; зато немец ест лениво, оставляя на тарелке почти не тронутые куски. За десертом возникает ссора. Поводом служит панорама Тулона, открывшаяся в иллюминаторе и заставившая Каншона вскочить с места.

— Смотрите, флот!.. Французский флот, господа!

В глазах Каншона вызов.

Военные корабли, укрывшиеся в бухте, мертвы, как на кладбище. Обреченный флот поверженной страны. Против кого он повернет свои огромные пушки?

Немец брезгливо подбирает губы.

— Отличная цель для авиации... Из каких соображений англичане ее щадят, господин Каншон?

— Из тех же, что и Берлин! — парирует француз.

— Что вы сказали?!

Лаица всплескивает руками. Я придвигаюсь к Каншону, но больше ничего не происходит. Немец медленно складывает салфетку и, вдев ее в кольцо, лишает нас своего общества. Каншон с ненавистью смотрит ему вслед.

В молчании доканчиваем обед. Расходимся. Француз бледен и суетлив; руки у него ходят ходуном... Был ли он на «линии Мажино»?

«Вольтерра» крадется вдоль берега, вздрагивая на волне. Спасительный мрак все ниже опускается с небес, и, когда тьма сгущается, оказывается, что мы почти у цели. Браво, «Вольтерра»! Слави Багрянов весьма обязан тебе.

До причала нашу четверку, теперь уже окончательно разобщенную, доставляет портовый катер; «Вольтерра» остается на внешнем рейде в обществе других судов, опоздавших к адмиральскому часу. Катер проскакивает в лазейку меж боями и, постукивая мотором, долго лавирует среди затемненных пароходов. Каншону не терпится:

— Нельзя ли прибавить ход, капитан?

Его посылают к черту, и я посмеиваюсь, слыша, как он сердито сопит, не решаясь, впрочем, затевать перебранку. В полной темноте выгружаемся на причал, где матросы подхватывают наш багаж и быстро закидывают его в кузов маленького грузовичка.

— Не отставайте, господа! Иначе вещи убегут от вас.

Рассаживаемся и едем. Лаица насвистывает песенку о солнечном Сорренто; Каншон вполголоса проклинает тряску.

До рассвета дремлем в приемной комендаита порта. У нас нет ночных пропусков, и охрана отказывается выпустить в город; исключение делается только для немца, за которым приезжает камуфлированный вез-

деход. Немец расправляет плечи и прощается со мной и Марио, обойдя рукопожатьем взбешенного Каншона. В знак презрения к грубияну француз вызывающе справляется у часового — с каких это пор удобрение возят в вездеходах? Так как дверь за немцем уже закрылась, оба смеются — громко и независимо.

Ланца скромненько помалкивает в кресле.

Утром, нагруженный фибровым чудовищем, еду через весь Марсель на вокзал. Автобус, чихая дымом, взбирается вверх по Канебьеру, и я высовываюсь в окно, чтобы бросить последний взгляд на порт. Пытаюсь найти «Вольтерру», но она затерялась среди десятков судов.

Ланца без церемоний набился мне в попутчики. Каншон задержался в порту. Я видел, как его документы понесли зачем-то в кабинет коменданта. Уж не донес ли на него часовой? Все может быть...

Формальности с префектурой были улажены молниеносно. Паспорта — мой и Марио — комендант отправил к префекту с мотоциклистом и вручил их нам, уже снабженные штампами. Тропанезе, оставшийся в Италии, как видно, умудрился простереть свое покровительство через Лигурийское море и половину Лионского залива.

Осталась последняя забота — избавиться от Ланца. У меня нет ни малейшего желания тащить его за собой, тем более что до Парижа я должен сделать в пути краткую остановку.

Автобус все карабкается вверх. Сижу у окна и мусолю роман Уоллеса. Еще грузясь на «Вольтерру», я извлек его со дна фибрового чудовища и переложил в боковой карман пиджака. Судно могло идти ко дну и унести туда же мои пожитки, но «Мания старого Деррика» была слишком большой библиографической редкостью, чтобы такой экономный господин, как я, тратил время и двадцать марок пятьдесят пфеннигов на покупку нового экземпляра...

Ланца, причмокивая, посасывает пустой мундштук. Взгляд его безоблачен. Итальянец прекрасно понимает, что с тяжелым чемоданом я никуда не денусь, и буквально выворачивает шею, стараясь заглянуть в вырез платья соседки слева. Если бы в трамвае было потеснее, он обязательно ущипнул бы девицу за бедро.

Кондуктор громко объявляет остановки. Скоро вокзал, а я так ничего и не придумал, чтобы отделаться от Ланца. Слабая надежда, что он упустит меня в толпе пассажиров.

— Вокзал! — возвещает кондуктор.

Предоставляю Марио возможность помочь мне вынести чемодан и зову носильщика. Объясняю, что мне нужен билет до Парижа, и вопросительно смотрю на итальянца. Он посасывает мундштук, как леденец.

— А вы?

Ланца щурит глаза и весело смеется.

— Я задержусь... Счастливого пути, синьор! Надеюсь, маки́ не убьют вас до Парижа.

Он круто поворачивается и идет прочь, покачивая пухлыми бедрами. Кажется, я не сразу захлопываю рот, потрясенный его великолепной наглостью. Однако не слишком ли самоуверен синьор Тропанезе?

Носильщик возвращает меня на землю:

— Спальное до Парижа, мсье? А пропуск?

— Все в порядке, — говорю я.

— Вам надо к коменданту.

— Хорошо, пойдем...

Задумчиво плетусь следом за носильщиком и его тележкой. Чемодан, привязанный ремнями, важно сверкает массивными наугольниками. Трюк, выкинутый Марио, мне пока непонятен, но я искренне надеюсь со временем добраться до разгадки.

До отхода поезда час. Он весь, без остатка, убит на то, чтобы сначала выстоять очередь к коменданту, а потом в кассу. В купе попадаю за несколько секунд до отправления, усталый и расстроенный. Прежде всего тем, что мой поезд скорый и не делает остановки в Монтрё, о чем я узнал, уже купив билет. Вторая причина лежит вне связи с предыдущей и намного серьезнее. Она возникла в тот миг, когда я занес ногу на лесенку вагона и, сам не ведаю почему, огляделся по сторонам. Именно в это мгновение мне и показалось, что в соседний вагон поднимается мсье Каншон — инженер, чей путь лежит в Тулон и чьи документы задержаны комендантом порта.

«Хороший урок тебе, Слави!» Сказав это, я мысленно снимаю шляпу и раскланиваюсь с синьором Тропанезе, предусмотрительность и заботливость которого недооценил.

7. 31 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА 1942 ГОДА. СКОРЫЙ МАРСЕЛЬ — ЛИОН — ПАРИЖ. МОНТРЁ, УЛИЦА КАПУЦИНОВ, 2

— Как быть с вашими письмами?

— Эти прошу отсылать с промежутками в два-три месяца; а вот это, в синем конверте, бросьте ближе к Новому году.

— Ясно. А пакет?

— Его прошу вручить лично и в самом крайнем случае.

Проводники спальных вагонов — самые лучшие мои друзья. Долгие разлуки с родными пенатами и многообразие дорожных знакомств делают их или мизантропами, или, напротив, душой общества. В моем вагоне царствует мизантроп. Он ненавидит все и вся, но не коньяк. Рюмочка-другая «Плиски» сближают нас настолько, что я удостаиваюсь беседы.

После третьей рюмки сообщаю, что огорчен отсутствием остановки в Монтрё. Проводник высокомерно посасывает коньяк и издает легкий орлиный клекот, заменяющий у него смех.

— Сразу видно, что вы портплед!

— Простите?

— Портплед. Пассажир, который все теряет и ничего не находит.

— Остроумно!

Проводник языком выбирает из рюмки последние капли. Решительно накрывает ладонью, видя мое намерение наполнить ее вновь.

— Баста! День только начинается, и, кроме того, к Парижу я должен быть в порядке.

Разговор на несколько минут уклоняется от главной темы. Выслушиваю суровый приговор пассажирам, таким же, как я, портпледам, которые спят от самого Марселя с перерывами на жратву, а с утра надоедают занятым людям. Робко извиняюсь:

— Право, мне так неловко, мой друг!

— Зачем вам в Монтрё? Какая-нибудь юбка?

— Мы познакомились в Марселе...

— Я вижу, вы не теряете времени: с парохода и в постель. Впрочем, это ваше дело. — Легкий клекот, —

Так вот, перед Монтрё будет мост; мы простоим не меньше минуты. Если хотите, я выпущу вас.

Обдумываю предложение. Мост, наверное, охраняется. Надо решать.

— А как я перейду на другую сторону? Охрана — немцы?

— Полиция. Днем пропускают беспрепятственно... Если вы не запаслись, чем следует, аптека у вокзала.

— Черт возьми, мне повезло, что я познакомился с вами. Ваше здоровье!

— Так как — сойдете?

— А мой багаж? Тащиться через мост с таким чемоданом...

Последняя рюмка «Плиски» была перебором. Проводника начинает развозить. Он оттаивает на глазах, и клекот становится раз от разу все продолжительнее.

— Положитесь на старого Гастона, мой друг. Когда-то и я был парень не промах! Помню, в том же вашем Монтрё у меня была одна — жила у собора и наставляла мужу рога... Оставьте мне ваш чемодан. Я сдам его в Париже на ваше имя. Пять франков за хранение — недорого и удобно.

Бедный мсье Каншон. Он будет так огорчен, не найдя меня на вокзале. Не кинется ли он в местное гестапо, чтобы ускорить свидание?..

— Меня могут встречать.

— Отдать ваш чемодан?

— Нет, не стоит.

— Тогда я скажу, что вы отстали в Сансе.

Перед Монтрё достаю из фибрового вместилища новый костюм и свежую рубашку и, закрывшись в туалете, быстро переодеваюсь. Шляпу заменяю беретом. Все вещи французского производства, хотя и куплены в Софии; в магазинах за каждую метку «Дом Диор» и «Пакэн» с меня содрали по лишней десятке. Проводник одобряет перемену.

— Теперь вы настоящий кавалер! Не то что раньше... О, нигде не шьют так, как во Франции, и на вашей родине тоже... Кстати, где это вы наловчились так болтать по-французски?

— Набрался ума у гувернера.

— Тогда понимаю, почему вы так быстро столковались со своей красоткой. Желаю удачи. И смотрите не подцепите какую-нибудь гадость!

У моста поезд с лязгом и пыхтением тормозит, и проводник выпускает меня из клетки. Спрыгиваю на гравий и, делая вид, что не вижу ориентирующих жестов проводника, быстро иду к хвосту поезда — подальше от вагона, в котором едет мсье Каншон. Убежден, что в Париже он все-таки постарается обойтись без услуг немцев. Вряд ли Тропанезе простит ему шаг, способный навлечь на меня подозрение РСХА, поскольку этим самым будет возведена стена между Слави Багряновым и Эрикой, ожидающей его появления в «Кайзергофе».

Поезд, простояв не больше минуты, показывает мне тыл, а я, закурив, ступаю на мост и иду, сопровождаемый равнодушными глазами полицейского наряда. На середине сплевываю с высоты в желтые волны Ивонны и делаю это трижды — на счастье.

Полдела сделано. Ау, мсье Каншон! Будете в Милане — кланяйтесь Дине и Альберто. И скажите, что усики Дине к лицу, хотя связи с ОВРА способны оттолкнуть и более пылкого поклонника, чем я. И еще передайте, что использовать шикарных дам в качестве курьеров — старо и неосторожно. Они так приметны, что полиции просто не остается ничего другого, как зарегистрировать их в картотеке и отечески опекать в поездах... Прощайте, мсье Каншон!

Завтракаю я в бистро скудно и невкусно; у меня нет карточек, а без них к кофе подают бриош и кусок острого вонючего сыра. Кофе — смесь желудей и еще каких-то эрзацев. Но зато горячий.

Пью и рассматриваю объявление на стене у окна. Немецкий комендант извещает, что эксцессы караются смертью. Запрещаются демонстрации, сборища, вечеринки и прогулки в лодках по Ивонне. Наказание — заключение в концентрационный лагерь. Рядом с объявлением физиономия генерала Дарнана. Еще один герой! В Софии это был царь Борис с нафиксатуаренным пробором, в Италии — дуче, чьи портреты по размерам всегда превышали картинки с профилем короля; Марсель намозолил мне глаза отечными мешками и склеротическим носом Петена, выставленного, как для про-

дажи, в витринах магазинов и лавок. Оккупированная Франция оригинальнее в выборе символов: портрет начальника полиции точно отражает суть и дух режима. «Будь осторожен, Слави. Помни: тебя ждут в Берлине».

— Гарсон!

Расспрашиваю официанта, как отыскать собор. Надо, оказывается, вернуться к станции и, взяв влево, идти прямо, никуда не сворачивая.

— Мсье хочет послушать мессу?

— Просто помолиться.

— Это можно. А вот службы — они теперь бывают редко. Власти не любят, когда много людей. На каждый случай нужно разрешение.

— Везде одно и то же, — говорю я.

— Мсье — француз?

«Я же предупреждал: осторожнее, Слави!..»

— Я из Эльзаса.

— У вас такой акцент... Значит, держите прямо и не сворачивайте. Улица Капуцинов, два. И не стремитесь на площадь — там комендатура.

Решительно встаю. Голос мой сух и строг.

— Вам не кажется, мой милый, что кое-кто оценил бы ваш совет как нелояльность? Получите с меня. Без сдачи.

Выходя, слышу свистящий шепот официанта, адресованный буфетчику: «Этот тип из Эльзаса; настоящий коллаборационист!..» На сердце у меня тревожно.

...Улица Капуцинов, 2.

Католический собор сер и угрюм. Его башенки и своды заштрихованы сизым голубиным пометом. Самих голубей что-то не видно. Вымерли или сдобрили постные супы горожан. Мраморные ступени, истонченные подошвами, безукоризненно чисты. При входе окунаю палец в чашу со святой водой и останавливаюсь, давая глазам привыкнуть к полумраку. Сквозь цветные витражи с библейскими сценами льется меркнущий где-то на полпути багровый свет. Иисус Христос, распятый на кресте, улыбается кроткой улыбкой мученика. У алебастровых ступеней трепетно колышутся огоньки тоненьких свечек.

Тишина. Такая глубокая, что кружится голова.

Мне нужен священник, отец Данжан, но как оты-

скать его, не задавая вопросов? Иду вдоль стены, описывая круг, и вспоминаю приметы Данжана. Среднего роста, коренастый; нос с горбинкой, серые глаза... Попробуй разобрать в полумраке цвет глаз! «У него привычка часто и негромко кашлять. Ищи кашляющего, Слави».

Впереди меня дама. Черное платье, черные волосы. Вдова? Надо держаться за ней — вдовы в храмах по большей части не только молятся, но ищут утешения в беседе со служителями церкви.

Шаг за шагом подходим к кафедре. Священников целых пять! Коленопреклоненные, они шепотом молятся, перебирая четки. Который из них Данжан? И вообще, есть ли он здесь?

Дама замирает, и я следую ее примеру. Неверие в чудеса и догматы не лишает меня обязанности уважать чужие обряды. Один из священников оборачивается и через плечо долго и пристально смотрит на нас. Поднимается с колен. Он сед, аскетически сух и призрачно бледен.

— Мадам?.. Мсье?

Женщина судорожно протягивает руку.

— Отец Антуан! Помогите мне!

— Но чем, дочь моя?

Короткий придушенный кашель доносится до моих ушей. Отец Антуан успокаивающе гладит даму по плечу.

— Не отчаивайтесь. — И ко мне: — Мсье?

— Сначала мадам, — говорю я.

Священник проницательно смотрит на меня.

— Вы не из нашего прихода?

— Я издалека, святой отец.

Еще один — в темных одеждах — поднимается с коленей. Мягко ступая, подходит к нам. Кашляет.

— Вы впервые в нашем храме?

— Да, — говорю я.

— Хотите облегчить душу молитвой?

— Нет, исповедаться.

— Я готов принять вашу исповедь...

Он действительно почти непрерывно кашляет — скорее всего это запущенная нервная болезнь. Идем в исповедальню, куда совсем некстати направляется и отец Антуан в сопровождении дамы.

В кабинке тесно и пахнет свечами. Бархат тяжело обволакивает стены, глуша голос; сквозь окошечко в пологе мне видна часть лба отца Данжана.

— Говорите, сын мой. Мы одни, и только господь и я, его слуга, слышим вас в эту минуту.

— Я впервые в храме — не только в вашем. Как начать и о чем рассказывать?.. Все, что я помню и знаю, это слова к окончанию службы: «Идите с миром! Месса окончена!»

Молчание. Слышу неразборчивый шепот из соседней кабинки — там исповедуется вдова. Отец Данжан — если это он! — слишком медлит с ответом.

— Это так. «Идите с миром!»

— Где Жоликер?

— Подождите! — быстро говорит священник и мучительно кашляет. — Одну минуту... — И громко: — Неужели у вас нет иных грехов?

— Сколько угодно! — говорю я облегченно. — Во-первых, я чревоугодник и пьянчужка. Во-вторых, волочусь за каждой юбкой. И наконец, я ужасный трусишка. Каков букет?

Шепот по-соседству смолкает. Шорохи и тишина.

— Где Жоликер? — повторяю я. — У меня мало времени — несколько часов. Говорите же! Почему он замолчал в мае?

— Он арестован.

Так... Сижу в тесной, как карцер, кабине, лишенной воздуха и света. Мне душно, и я расстегиваю пуговицу у воротника.

— Это случилось в мае?

— Да, в ночь с восьмого на девятое.

— Кто арестовал его?

— Немцы.

— За что?

— Выяснить не удалось.

— А вы пытались?

— Могли бы не спрашивать...

Прощай, Жоликер! Прощай, товарищ! Из гестапо не возвращаются. Как оно добралось до тебя? С помощью техники или предательства?... Вряд ли отец Данжан поможет мне разобраться и установить причины. Он только участник Сопротивления, честный француз, но не специалист по контрразведке. Жоликер для

него был, есть и будет Анри Жоликером, хозяином маленькой велосипедной мастерской, приехавшим в город после оккупации и едва вошедшим в контакт с франтирерами и маки́. Его арест — рядовая потеря для организации Сопротивления, а для меня тяжелый удар. Крылья беды простираются над исповедальней...

— После Жоликера что-нибудь осталось?

— Ничего!

— Вы не доверяете мне?

— Я же говорю с вами...

— Это не ответ!

У Данжана новый приступ кашля. Он долго отхаркивается, и я чувствую, что у меня начинает першить в горле.

— Вы знаете больше меня, мсье. Даже то, что Жоликер *замолчал*. Не хочу быть бестактным и спрашивать вас, что это значит.

— Хорошо. Но он не мог ничего не оставить. Он ждал меня.

— Это так. В начале мая Анри пообещал принести чемоданчик.

— Где он?

— Не торопите меня, мсье!.. Я говорю: обещал, но не сказал: принес. Мы должны были встретиться в воскресенье здесь, но не встретились.

— Еще один вопрос, и я ухожу. Можно побывать у хозяйки Жоликера? Она, вероятно, что-нибудь знает.

— Лучше идите прямо в гестапо.

— Понимаю...

— Если вы действительно издалека, то уезжайте с первым же поездом.

— Спасибо. Прощайте.

— Не знаю, грешны вы или нет, но отпускаю вам все грехи. Идите с миром! Прощайте!

Окошко закрыто. Ни звука. Данжан растворился, как дым церковных свечей. Тем лучше — нам больше незачем видеть лица друг друга. Отныне мы не встретимся — разве что на небесах, куда таким неверующим, как я, вход, по всей вероятности, закрыт.

«Что ждет тебя в Париже, Слави?»

8. 1 АВГУСТА 1942 ГОДА. МОНТРЕ

— Пока господин не вернется, я буду молиться святому Петру за его благополучие...

— Спасибо, Мария. Помолись лучше, чтобы скорее кончилась война.

Очень неуютно чувствуешь себя, когда в спину между лопаток упирается ствол автомата. Хочется закрыть глаза и — раз, два, три! — перенестись в детство. Маленьким я умел становиться невидимым. Это было просто. Стоило только произнести сказочное «Шнип, шнап, шнуре!», и волшебная шапочка сама собой оказывалась у меня на голове, а враги застывали с разинутыми ртами. В детских играх вообще все удается удивительно просто...

— Эй ты, руки на затылок!.. И не дергайся, пока не вывел меня из терпения!.. Руки!

Немолодой французский полицейский подталкивает меня к стене.

— Стойте тут. И не шевелитесь!

— Позовите офицера...

— Лечу, мсье!

Адская боль в крестце, и звезды перед глазами. Ноги подламываются в коленях. Сосед справа поддерживает меня плечом. Шепчет:

— Ради бога, прикусите язык!

— За что они нас?..

— Тише... Говорят, под мостом нашли немца. Убитого.

— А мы-то при чем?

Полицейский, отошедший было к окну, возвращается и, на этот раз без предупреждения, бьет меня сапогом. Слышу свой крик и валюсь на соседа. На какое-то время возникает чувство покоя и умиротворенности, а потом снова боль и мерзкая вонь захоженного пола. Поднимаю голову и, слабый, как дитя, сажусь, опираясь на руки... Ну и ну, здорово же он натренировался!

— Внимание! Всем повернуться ко мне! А вас это не касается, красавчик?

Схваченный за шиворот, почти взлетаю и оказываюсь нос к носу с приземистым господином в штатском. По бокам его толпятся полицейские. У выхода из

комнаты, расставив ноги, пасхальным херувимом улыбается часовой в полевой немецкой форме. На серо-зеленом сукне вермахта петлицы и знаки различия СС. Немца явно забавляет мой полет.

Приземистый господин обводит глазами комнату, и я невольно делаю то же. Задержанных человек пятнадцать. Три женщины. Кое-кого я видел раньше, на перроне вокзала, откуда несколько минут назад меня привели под конвоем в эту комнату, не сказав за что и не слушая протестов.

— Я инспектор Готье, — говорит господин негромко и миролюбиво. — Сейчас вы подойдете к этому столу и положите документы. Без шума и вопросов. Подходите слева.

...Все началось с того, что полиция внезапно оцепила перрон. Я ждал поезда и думал о Жоликере и прозевал момент, когда ажаны закупорили входы и выходы, что в принципе не меняло дела, ибо все равно никто не дал бы мне улизнуть. Если уж привыкшие к облавам и внезапным проверкам французы не успели навострить лыжи, то что можно требовать от зеленого новичка?

Ажаны были настойчивы, но вежливы. Специалист по блуждающим почкам, чьи удары в крестец мешают мне сейчас разогнуться, на перроне держался вполне порядочно. Судя по возрасту и умению понимать обстановку, он профессионал с довоенным стажем, а не энтузиаст из набора Дарнана. Первый подзатыльник я получил от него не раньше чем дверь отгородила нас от зала ожидания и сочувственных взглядов железнодорожников. Дарнановец, по-моему, ни за что не стал бы ждать так долго.

— Я иностранец, — сказал я с наивным возмущением. — Я еду в Берлин!

Полицейский нехотя толкнул меня к стене.

— Руки на затылок. И заткните пасть...

Задержанных вводили по одному и группами и расставляли вдоль стены. Странно, но никто не протестовал и даже, кажется, не был особенно испуган. Моим соседом справа оказался узкоплечий пеликан в синей курточке ведомства почт и телеграфа. Огромный нос пеликана нервно раздувался.

— Чего от нас хотят? — шепнул я.

— Тсс... Тише...

— Но мы...

— Набернтесь терпення.

В своем классе пелнкан, наверно, был первым подсказчнком. Шепот его угасает где-то у самых губ, не давая ажану возможностн прндраться.

...Инспектор Готье отходнт к столу.

— Началн!

Задержанные по одному отделяются от стен, кладут документы н возвращаются на место. Готье подравннвает стопку, следя, чтобы нн однн лнстик не соскользнул на пол. Херувнм у дверн мечтательно вперился в юную девушку, почтн подростка, ежащуюся как на ветру. Поднятые рукн девушкн натягнвают платье на маленькой грудн, открывают выше коленей полудетскне ногн, н немец со вкусом раздевает ее глазамн.

Делаю шаг н, ломая очередь, оказываюсь перед инспектором. Ажан хватает меня за рукав, но Готье делает знак.

— Отпустнте его. — И ко мне: — Почему вы нарушаете порядок?

— Инспектор! — говорю я горячо. — Разве полнция н произвол одно н то же? Я нностранец, мои документы в порядке, но нnкто не выслушал меня, а сержант оскорбнл действнем! И это Франция?!

— Ваш паспорт?

— Вот он!

— Очень хорошо.

Готье, не раскрывая, кладет мой паспорт поверх остальных.

— Где вас задержалн?

— Я ждал поезда.

— Другне тоже.

— Я ннчего не совершил.

— Этн же слова скажет любой...

— За что же в таком случае нас задержалн?

— Прошу вас, говорнте только о себе. Вы лнчно доставлены сюда для проверкн документов.

— Так проверяйте же, черт возьмн!

— Вы, кажется, прнказываете мне?

— Я подам на вас жалобу, инспектор.

Готье подравннвает стопку документов, добнваясь педантнчной прямнзны.

— Дайте ему кто-ннбудь стул и посаднте отдельно... Вннмание, все! Сегодня экстремистами убнт шарфю-

рер СС. Труп обнаружили под мостом, и, естественно, в первую голову проверяются лица, стремящиеся покинуть город. Надеюсь, всем понятно?.. Сейчас придут машины, и вы поедете в комендатуру. Там с вами побеседуют, с каждым в отдельности... При посадке ведите себя смирно — нам приказано применить оружие при попытках к бегству... Где стул для мсье?

Поезд, конечно, уйдет без меня. Когда будет следующий?.. В комендатуре надо требовать немедленного освобождения. В Монтрё я приехал, чтобы справиться о местных ценах. Каких и на что, надо додумать по дороге. При осложнении прибегну к защите консула. Кроме него, у меня в запасе берлинский телефон фон Кольвица и мсье Каншона...

С ноющей спиной, но почти спокойный иду к машине. Нас выводят через пустой зал и быстро заталкивают в кузов крытого «бенца». Не успеваю и глазом моргнуть, как машина, стуча мотором, ныряет влево, и в проеме поверх голов возникают и скрываются башенки собора. У заднего борта на корточках, с автоматами наизготовку, угрожающе безмолвствуют два солдата СС. Сесть не на что, и мы стоим, цепляясь друг за друга, чтобы не упасть на поворотах. От толчка хватаюсь за что-то теплое и живое; тут же выпускаю и вновь хватаюсь, скользя ладонью по мокрой мягкой коже. Это щека, и принадлежит она девушке, притиснутой ко мне тяжелыми телами.

— Вы плачете? — говорю я. — Не надо, все обойдется... Сейчас достану платок...

— Еще чего!

— Обопритесь на меня.

— Заткнись! — Девушка высовывает язык. — Толстая крыса!

На что еще может рассчитывать субъект, толкующий с инспектором как с равным? Иностранец такого сорта, вполне очевидно, союзник бошей и пусть не лезет со своим сопливым платком!.. Так или примерно так я перевожу ответ девушки и не пытаюсь продолжать разговор.

Машина сворачивает в распахнутые железные ворота и тормозит.

— Всем выйти! Поживее!

Едва успеваю соскочить, как новая команда:

— Руки назад! Не оглядываться!

Раз, раз — и мы в коридоре, узком и слабо освещенном. Все проделывается быстро, в темпе, противопоказанном для полноты и возраста коммерсанта Слави Багрянова.

— Мужчинам снять пиджаки и обувь, сложить у стены. Вывернуть карманы брюк. Не копаться!

Французских полицейских не видно. Нет и инспектора Готье. Солдаты СС и один унтер-офицер в звании гауптшарфюрера. Свертываю пиджак подкладкой вверх; цепляя носками за задники, стаскиваю туфли. Приготовления вселяют в меня тревогу: что-то не похоже на ритуал, предшествующий проверке документов... Дорого бы дал я, чтобы оказаться сейчас в Париже. Даже в обществе несносного мсье Каншона.

— Господин офицер! Разрешите вопрос?

— Кто это сказал? Шаг вперед!

Выхожу из шеренги. Гауптшарфюрер — руки в перчатках — держит стопку документов. Белый чубчик выползает из-под пилотки... Перехожу на немецкий и произношу приготовленную фразу о своем подданстве, непричастности к происшествию и желании быть представленным коменданту.

Гауптшарфюрер мерит меня взглядом.

— Вы с ума сошли! Это не комендатура, а гестапо! Почему вы молчали на вокзале? Кто вас задержал? Где документы?

Слишком много вопросов, и отвечаю только на основной:

— У вас. Взгляните, пожалуйста, на мой паспорт... Слави Николов Багрянов...

— Отойдите в сторону. Без вещей!.. Всех по камерам.

Коридор пустеет. Последней выводят девушку и носатого пеликана. Худенькие руки девушки сложены на спине, как крылья.

— А вы ждите...

— Разрешите одеться?

— Успеете. Я должен доложить. Багрянов? Поляк?

— Болгарский промышленник. Мы союзники, господин офицер.

— Ладно, одевайтесь, но не садитесь. Это запрещено.

Мог бы и не предупреждать: в коридоре нет ни стула, ни скамьи. Стою у стены, словно приговоренный к

расстрелу. Не хватает только взвода и повязки на глаза. Подумав об этом, я мысленно сплевываю: тьфу, тьфу, как бы не напророчить...

В коридоре три двери. Войлочная обивка украшена изящными медными кнопками. Пол лоснится, натертый до немыслимого блеска, и густо пахнет мастикой. Сияют бронзовые ручки — львиные морды в оскале. Благопристойная тишина.

Как я очутился в Монтрё? Каким поездом? В расписании на вокзале я прочел, что с утра через Монтрё должны были пройти почтовый и два местных — до Саиса. Но я не уверен, что расписание соблюдается, как закон, а любая ошибка ценится на вес моей головы. Если б только я догадался расспросить железнодорожников! Нет, перекрестного допроса мне не выдержать. Сотни «что» и десятки «почему» и «зачем» камня на камне не оставят от попыток солгать. Что же выбрать? Молчание?

Дверь приоткрывается, и гауптшарфюрер манит меня согнутым пальцем.

— Заходите!

Одергиваю пиджак и вхожу.

Кабинет просторен и прохладен. На столе жужжит вентилятор, он колышет светлые волосы угловатой личности, безмолвно взирающей на меня из глубины кресла. Моя улыбка, надетая еще в коридоре, не производит впечатления. Короткое движение подбородком можно истолковать как приветствие и как приглашение сесть. Чисто выговаривая слова, личность произносит по-французски:

— Криминаль-ассистент и оберштурмфюрер Лейбниц готов выслушать вас. Изложите вашу жалобу. Вы ведь жалуетесь, не так ли?

Отвечаю на немецком и улыбаюсь.

— Теперь нет. Я понимаю, что это значит — выполнять долг.

Лейбниц тянется через стол, выключает вентилятор и снова кивает.

— Вы протестуете или нет?

— О?.. Сознаюсь, полицейские погорячились.

— Вы сказали им об этом?

— Сразу же, как только имел честь познакомиться с инспектором Готье. Но... мне не хотелось бы, чтобы у инспектора были неприятности.

Криминаль-ассистент кивает в третий раз.

— Отлично! Но я так и не услышал, зачем вам потребовался комендант? Все это вы могли изложить и гауптшарфюреру.

«Ну и скотина, — думаю я, все еще улыбаясь. — Привыкай, Слави».

Развожу руками.

— Вы совершенно правы. Недоразумение не так значительно, чтобы вмешивать высшие инстанции. Теперь, когда все позади, не смею обременять вас своим присутствием. Как вы полагаете, я успею на дневной поезд?

Кажется, Слави Багрянов, коммерсант и друг империи, выбрал верный тон. Немец поворачивается к гауптшарфюреру.

— Где Готье, Отто?

— Был в канцелярии.

— Позови его, если он не уехал. И пусть захватит свой список.

Лезу за сигаретами. Долго и обстоятельно разминаю «софийку». Лейбниц предостерегающе поднимает палец.

— Я не разрешал вам курить.

— Разве я арестован?

— Все несколько хуже, чем вы представляете.

— Простите?

— Условимся: сейчас говорю я... Так вот, все не то и не так. Вы не задержаны и не арестованы. Вы заложник. Один из пятнадцати. И только.

— Я?!

Сигарета падает на пол.

— Сегодня утром убит шарфюрер СС. Хороший, старый солдат, заработавший право на работу во Франции беспорочной и доблестной службой на Востоке. Убийца не найден. Скверное дело: уберечься от пули русского партизана и пасть здесь, в тылу, под ножом бандита. Согласны?.. Так вот, повторяю, как видите, все не то и не так. Мне приказано взять пятнадцать заложников, и я взял их. Если в течение суток убийца не отдаст себя в руки германских властей, заложники будут казнены. Все!

— Это неслыханно!

— Не надо слов. Где вы застряли, Отто?

Гауптшарфюрер задыхается от быстрой ходьбы. Кладет на стол папку.

— Готье уехал.
— Обойдемся без него. Он завизировал свой список?
— Конечно.

Из кожаного футляра извлекаются тонкие, без оправы, очки. Две странички, соединенные скрепкой, голубеют на столе. Отмеряя строчки ногтем, Лейбниц бормочет:

— Багрянов? Значит, на «б»... Номер три — Бартолемью Арнольд, портной... фамилия иудейская. Проверь, Отто! — Гауптшарфюрер кивает. — Номер девять: Бижу Гастон-Серж-Апполинер, почтовый служащий, пятьдесят два года. — Пеликан?! Бедный, бедный пеликан! — Одиннадцатый: Багрянов Слави-Николь. Очевидно, вы?.. Итак, посмотрим. Без подданства, без места жительства, без определенных занятий... Тут говорится о каком-то бродяге. Это вы?

— Я не бродяга. Мой паспорт у вас!

Я почти кричу, и Лейбниц хмурит лоб.

— Тихо!.. Не ссылайтесь на паспорт. Чему я должен верить: списку, составленному чиновником полиции, или фальшивым бумажкам, которые ты купил на «черном рынке»? Ну, отвечай!

— Я гражданин Болгарии и подданный его величества царя Бориса Третьего...

— Здесь нет граждан. Запомни. В этом кабинете бывают мужчины и женщины, но не граждане. Обыщи его, Отто, и отправь в камеру.

Я встаю. Терять мне нечего.

— Это убийство! Грязное убийство! Вы великолепно знаете, что я болгарин, и лицемерите, боясь ответственности. Потом вы свалите мою смерть на Готье, а тот — на какого-нибудь сержанта. Это заговор: вам безразлично, кого убить, лишь бы было пятнадцать и счет сошелся!

Гауптшарфюрер тащит меня к двери. Я сильнее и вырываюсь.

— Меня знают в Берлине. В министерстве экономики и самом РСХА! Позвоните оберфюреру фон Кольвицу, семь-шестнадцать-сорок три...

Рука в перчатке зажимает мне рот, но я и так сказал уже все, что требовалось. Даю гауптшарфюреру возможность дотащить меня до двери.

— Минутку, Отто.

Неужели передумал?

Остановка.

— Что у него в кармане?

— Книжка.

— Ну-ка обыщи его!

Не сопротивляюсь. Бесполезно. Носовой платок, деньги, бумажник, ключ от фибрового чудовища и роман Уоллеса перекочевывают на стол. Лейбниц заинтересованно перелистывает книгу.

— Эдгар Уоллес... Англичанин или янки?.. Послушайте, Багрянов, вы не очень огорчитесь, если я позаимствую ваш роман? Я дежурю до следующего утра... Не беспокойтесь, его потом уложат в ваши вещи. Отто подтвердит, какой я аккуратный читатель. Никогда не загибаю страницы и не слюнявлю пальцев.

— О да! Лейбниц исключительно аккуратен, — говорит Отто.

9. 2 АВГУСТА 1942 ГОДА. МОНТРЕ

— Хочу подчеркнуть, что в нашей работе меньше всего следует полагаться на случайности и авось.

— Позвольте не согласиться. Авось и случайность, на мой взгляд, не одно и то же. Первая — есть слепой расчет на везение; вторая, — образно выражаясь, точка на графике закономерности.

— Игра слов!

— Ладно... Останемся, как говорится, при своих.

В бледный квадрат зарешеченного окна заглядывает желтый серп. Он торчит перед глазами, холодный и неживой, связанный с живыми непрочными нитями отраженного света... В виде почетного исключения Отто поместил меня в одиночку и распорядился выдать одеяло. Я попросил сигареты, и гауптшарфюрер вернул мне «софийки», сказав, что о спичках я должен позаботиться сам. Первый же надзиратель, услышав просьбу дать огня, пообещал переломать мне кости, если я вздумаю стучать еще раз и отвлекать его от дела. Это были не пустые слова — всю ночь из камер справа и слева доносились стоны, а под утро кто-то кричал так страшно и дико, что я вскочил с койки и замер, придавленный чужим непереносимым страданием. Мужчина — судя по голосу, молодой и сильный — звал мать, и этот крик:

«Мама!» — перешедшнй в вопль, заставнл меия содрогиуться. Что нужно сделать с человеком, чтобы ои так кричал?

С полуночи часов до трех я зябко спал, исчерпав весь запас надежд. Бродяга Багрянов, стоявший вне закона, ие мог прибегнуть к защнте извне, а логнка и аргументы, вполне очевндно, былн отброшены Лейбннцем как философская шелуха.

Так бездарно дать арестовать себя! Без улик, даже без подозрений, а единствеиио в силу случайиости, одной нз тех, которых до недавнего времени Слави Багрянов ухнтрялся избегать. Отвлекаясь от этнх рассужденнй, я вспомииал Софию, «Трапезонд» н Марию с ее восхнтнтельным кофе. Утром в конторе я всегда выпнвал две большие чашкн н целый день чувствовал себя богатырем... Дальше «Трапезонда» я запретил себе путешествовать в прошлое. До него было мертвое царство, пустыия в бнографии Багрянова, поскольку Слави Николов Багрянов в моем облике возник в этом мире уже вполне взрослым человеком, какнм-то образом миновавшим стадин детства, отрочества н юностн. Вполне естественно, что такой странный индивнд ие нмел ни семьн, ни друзей, ин определенных привычек... Ннчего не имел.

Но это не зиачнло, что Славн готов бесстрастио покинуть жизнь. Отсутствие прошлого ие мешало ему быть во всем остальном вполне обычным человеком, крепко связанным с реальным бытнем всякими там нниточками и веревочками. И он не хотел умирать.

Снdя на койке с ногамн и завернувшись в одеяло, я перебирал мыслн, как четкн, постепеино прнходя к выводу, что нн болгарскнй консул, ии магнческое «шинп-шнап-шнуре» мне не помогут. До консула Слави ие докрнчаться, а заветные слова теряют снлу за пределами детства. Все мы — девочка, назвавшая меня крысой, почтовый пеликан, остальные двенадцать и я — былн обречены.

Мие не раз задавалн вопрос: боюсь ли я смерти? Чаще я отшучивался, иногда злился, но инкогда не отвечал «нет». Лгу я только по иеобходнмостн, а не нз желання пофаифароннть и набнть себе цену. И бывает, наживаю иепрнятностн из-за своего языка. Илн правильнее будет при даиных обстоятельствах говорить «бывало»?

Утром нас повесят или расстреляют. Как выразился Лейбниц, жизнь «старого солдата СС» оценена в пятнадцать других. Насильник и бандит, «старый солдат», отдавая богу душу, не удовольствовался кровью, лежащей на его совести. Ему понадобилось прихватить с собой тех, кто вдесятеро, нет, в тысячу раз достойнее его и в этом мире не подали бы ему руки. Воистину мертвый хватает живого! Сколько миллионов людей отправит в могилы, рвы и печи крематориев нацизм, прежде чем засмердит сам, уничтоженный человечеством?

Есть смерть и смерть. Гибель в атаке и умирание под случайным трамваем. Бессмысленность...

Нет, Слави Багрянов должен выйти из гестапо! Должен! Иначе «старые солдаты» на час или на минуту дольше будут разгуливать по земле и, подыхая, тащить за собой нас целыми народами и нациями.

Лицо Лейбница, покачиваясь, формируется из мрака — лицо калькулятора смерти, аккуратного читателя книг. Невыразительное лицо... Кем он был в прошлом? Чиновником? Полицейским? Служащим фирмы? Вопросы не праздные, ибо каждая профессия накладывает отпечаток на человека и его психологию, а мне необходимо безошибочно и точно провести с криминаль-ассистентом еще один, последний, разговор... К сожалению, Лейбниц так безлик, что я ничего не могу угадать. Четкий, прилежный механизм, не загибающий углов и не слюнявящий пальцы. Это единственное, что я знаю достоверно. Остальное не дает зацепок.

Итак, аккуратность и прилежность, сочетаемая с идеальной дисциплинированностью. Приказано пятнадцать — будет пятнадцать, даже если один представляет дружественное государство. Это не от ненависти к славянам, а от пренебрежения к мелочам ради главного. В данном случае — приказа. Впрочем, и ненависть есть тоже.

Аккуратность... Оказывается, я все время помню о ней, и не только потому, что Отто выделил это слово интонацией. Просто, как качество, само по себе незначительное, оно обязательно должно стоять в ряду других, родственных, среди которых найдется место и исполнительности... Хотел бы я знать, есть ли в инструкциях гестапо пункт о том, что заявления заключенных должны регистрироваться и подвергаться проверке? И если есть, то хватит ли у Лейбница исполнительности,

чтобы последовать ему?.. До, а не после моей смерти, разумеется!

«Пора, Слави!»

Сбрасываю одеяло и, подойдя к двери, решительно стучу. «Кормушка» отваливается, и в квадрате возникает форменная бляха на поясе надзирателя. Говорю быстро и отчетливо:

— Чрезвычайное заявление! Я хочу сделать признание господину Лейбницу. Немедленно!

Бляха не трогается с места.

— Заявишь утром!

— Я заложник. Утром меня казнят... Скажите господину Лейбницу, что мне известно такое... Он будет в восторге!

Ответа нет. «Кормушка» захлопывается, и я, приникнув к двери ухом, тщетно пытаюсь уловить звуки удаляющихся шагов. Похоже, надзиратель и не трогается с места. Стучу еще раз, кричу:

— Слушайте, в пять тридцать склад будет взорван!.. Ровно в пять тридцать!

Свет. Оглушительная затрещина. Вопрос:

— Что ты сказал?

Губы у меня разбиты, но я стараюсь, чтобы каждое слово колом засело в ушах надзирателя. Получаю еще одну затрещину и в два шага преодолеваю довольно длинный коридор — надзиратель здоров, как бык, и справляется с моим весом почти шутя...

Знакомая дверь с медными пуговичками. Костяшки пальцев скребут ее, становясь учтивыми и мягкими... Лейбниц отрывается от книжки и смотрит на нас, заложив страницу пальцем.

— В чем дело, эсэсман?

Грохот каблуков. Рапорт:

— Этот тип заявил, что в пять тридцать взорвут склад! Сейчас три с минутами, оберштурмфюрер.

Лейбниц механически отворачивает манжету и, бегло глянув на часы, прикусывает губу. Смотрит на меня.

— Признаться... вы меня удивляете, Багрянов.

— Обещайте мне жизнь...

— Хорошо, хорошо... Вот что — пришлите сюда Отто и протоколиста. И живо!

Выйдя из-за стола, Лейбниц подталкивает меня к стулу.

— Садитесь. О каком складе речь? В Монтрё полным-полно складов. Вы что — язык прикусили?

Он прав. Я действительно прикусываю язык. В прямом и переносном смысле. Монтрё для меня — белое пятно на карте: где какая улица, площадь, переулок? Где склады?

— Я все скажу, — бормочу я и облегченно вздыхаю: в комнату входят Отто и ефрейтор с заспанным лицом — протоколист. — Вы не опоздаете...

Протоколист бесшумно пристраивается у стола. Зевает, показывая острые куньчьи зубки.

— Я записываю, оберштурмфюрер?

Лейбниц раздраженно кивает.

— Конечно!

— Тогда спросите его, пожалуйста, об анкетных данных. Для протокола. Я пока отмечу время — три семнадцать, второе августа тысяча девятьсот сорок второго. Допрос ведет криминаль-ассистент Лейбниц при участии гауптшарфюрера Мастерса. Так?

Лейбниц присаживается на край стола.

— Имя, фамилия, место и время рождения, адрес? Отвечайте точно и без задержки. Вы поняли?

— Да... Я Багрянов Слави Николов, родившийся в Бредово, Болгария, шестого января тысяча девятьсот седьмого года от состоявших в церковном браке Николы Багрянова Петрова и Анны Стойновой Георгиевой. Проживаю в Софии по улице Графа Игнатиева, пятнадцать. Подданный его величества царя Бориса Третьего. Холост. По профессии — торговец, владелец фирмы «Трапезонд» — София, Болгария.

Протоколист скрипит пером. Спрашивает:

— «Трапезонд» — через «е» или «и»?

— Через «е».

Лейбниц щелкает пальцами.

— Записал? Отметь: признание принято криминаль-ассистентом Лейбницем... Ну, рассказывайте.

Дело идет на лад. Но теперь мне не нужны свидетели. Изображаю крайний страх и говорю, запинаясь:

— Умоляю... выслушайте меня наедине... Я скажу все и быстро... Вы же обещали мне жизнь!.. Маки, если дознаются о нашем разговоре, убьют меня... Протокол — улика!..

Лейбниц морщится.

— Чепуха! Поторопи свой язык!

— Не могу, — настаиваю я. И напоминаю: — Через двадцать минут будет поздно. Вы не успеете...

Сообразив, очевидно, что так оно и есть, Лейбниц сдается.

— Отто! Жди в канцелярии и приготовь дежурный взвод. Пусть строится во дворе у машин.

Протоколист зевает.

— А что делать с этим?

— Зарегистрируй и впиши в журнал, что арестованный дал показания лично мне. Понял: лично!

О жажда лавров! Скольких она погубила и скольких погубит еще, прежде чем исчезнуть в числе отмирающих качеств. Лейбницу предстоит поплатиться разом за чрезмерное желание отличиться и врожденную аккуратность. Надо только потянуть минуты две-три, пока протоколист зарегистрирует документы положенным образом и увековечит факт пребывания болгарского подданного в отделении гестапо Монтрё. Болгарского подданного, а не бродяги...

А теперь — по существу... Я достаю сигареты и вопросительно смотрю на Лейбница.

— Ну, что еще?

— Огня, — кротко говорю я. — Я так волнуюсь...

Лейбниц щелкает зажигалкой.

— Начинайте. Что вы там болтали о складе и связях с маки?

— О связях? Пока ничего. Но могу начать с них.

Делаю паузу и говорю намеренно безразлично, словно в пространство:

— Пожалуй, пора... Как вы считаете, протоколист уже сделал записи? Наверно, нет... Подождем?

Наслаждаюсь бешенством в глазах Лейбница и продолжаю:

— Итак, о связях... Наберитесь терпения, я начну издалека... И не тянитесь, пожалуйста, к кнопке — звонок кончится для вас печально, Лейбниц... Ну, оставьте звонок в покое!..

— Ты!..

Лейбниц спрыгивает со стола и... соображает.

— Поздно, — говорю я и глубоко затягиваюсь сигаретой. — Поздно, Лейбниц. Протоколист ни за какие блага на свете не порвет документ. За это его отправят так далеко, откуда редко кто возвращается. Надо было думать раньше, есть ли разница между безвест-

ным бродягой и гражданином союзного государства. Вряд ли теперь вам удастся спихнуть дело на Готье, а это пахнет для вас не штрафной ротой, а кое-чем похуже. Не верите?

Встаю и подхожу к Лейбницу вплотную.

— За такую неловкость, как расстрел богатого болгарина, едущего в Берлин, чтобы предложить германскому солдату хлеб в его рацион, — за эту маленькую глупость рейхсфюрер СС вздернет тебя здесь же на самом надежном пеньковом галстуке. Понял, Лейбниц?

Чистенькие щечки вызывают у меня непреодолимое желание вернуть Лейбницу все пощечины, полученные от гестапо в кредит... Ах, как не хочется быть вежливым... Делаю пару глубоких затяжек и, любуясь дымом, говорю:

— Впрочем, готов допустить, что болгарский посол не пользуется в Берлине достаточным авторитетом. Не берусь также гарантировать, что оберфюрер фон Кольвиц ринется разыскивать Багрянова — одним славянином больше, одним меньше, какая в принципе разница? Допускаю, наконец, крамольную мысль, что даже МИД Болгарии не пошевельнет пальцем, чтобы защитить меня. Меняет дело? О нет...

Старое мудрое правило: выдай сомнения оппонента за свои собственные и опровергни их. В любом приличном учебнике логики есть куча примеров — от древних времен до наших дней. Мой мог бы стать не самым худшим.

Лейбниц, белый от ненависти, тихо качает головой.

— Ты... Знаешь, что я с тобой сделаю за это?.. Не знаешь?..

«А он не трус, — говорю я себе. — И, по-моему, садист. Какие выцветшие глаза... Но не осел же?»

Стряхиваю пепел на пол и продолжаю:

— Остается одна мелочь, не взятая вами в расчет. Итальянский консул в Париже. Позвоните ему и убедитесь, что он ждал меня вчера и, если я не появлюсь завтра, затрезвонит во все колокола. Вы ведь, естественно, не знали, что в Риме я подписал кучу контрактов, очень выгодных для итальянской стороны?

Надо во что бы то ни стало втянуть Лейбница в разговор. Иначе все осложнится. Ненависть заглушит страх, а мелочное чиновничье упрямство станет преградой на пути к жизни и свободе.

— Знаете что, — говорю я просто. — Я не мастер угрожать. В последнее время страх в разной форме и пропорциях стал господствующим чувством в Европе... Я сказал вам правду и о консуле и о контрактах. Попробуйте сообразить, что это так. Допустите также, что, кроме министерства экономики и болгарского МИДа, о моей поездке знают по меньшей мере трое влиятельных лиц. Один из них — доктор Отто Делиус, атташе в Софии, выполняющий специальные обязанности; другой — Альберто Фожолли, мой друг и член Высшего фашистского совета; третья — женщина, чье имя вам ничего не скажет, но чей вес при итальянском дворе огромен. Она моя любовница... Вот так, господин Лейбниц. У вас нет вопросов?

Лейбниц дотрагивается до виска.

— Только один: вы сумасшедший?

— Позвоните в Париж. Итальянский консул будет отличным экспертом... Или фон Кольвицу, телефон — Берлин, семь-шестнадцать-сорок три... Сейчас вы слушаете меня и говорите себе: этот человек борется за жизнь и все лжет. Но попробуйте взглянуть на дело иначе, и тогда вы скажете: этот болгарский торговец хочет жить, страх смерти обострил его ум и память; надо прислушаться к его доводам и, если он прав, потушить пожар в самом начале... Пока не поздно!

Щеки Лейбница розовеют. Кажется, он понял.

— Взвод ждет, — говорю я.

Лейбниц трет лоб.

— Ну и шутку сыграли вы со мной... А мина, а маки?..

— Чистейшая ложь. Поймите: у меня не было иного способа быть выслушанным до конца. Вы позвоните в Париж итальянскому консулу?

Лейбниц колеблется — мгновение, не дольше. Тянется к трубке.

— Отто?.. Распустите людей... Да! И заготовьте пропуск Багрянову — он едет на вокзал.

Сердце у меня останавливается, а комната тает, расползаясь и становясь безграничным полем... Снег... Белая, туманная пелена... Слави Багрянов всегда жаловался на слабое сердце, но то, что нервы у него как у институтки, это для меня, признаюсь, настоящее открытие.

10. АВГУСТ 1942 ГОДА. ПАРИЖ — ФРАНКФУРТ — НЮРНБЕРГ — ЛЕЙПЦИГ — БЕРЛИН

— Во Франции не задерживайся, проскакивай молнией. Опасно.

— Печетесь о моей нравственности?

— Нет, о голове...

— Приближаемся к границе. Приготовьте документы, господа.

Проводник — бригада немецкая — не торопясь шествует от купе к купе. На секунду задерживается в дверях и весело притрагивается к козырьку фуражки.

— Господа могут полюбоваться бывшей границей.

Лейтенант люфтваффе восторженно прилипает к оконному стеклу.

— Господин майор, господа, смотрите!

— Сядьте, Гюнтер.

— Но, господин майор...

Папаша и сынок. Едут домой в отпуск, но ведут себя как в строю. Господин майор считает долгом одергивать и воспитывать господина лейтенанта, подавая пример корректного поведения. Оба донельзя приличны; поужинав на салфеточке, убирают остатки в вощеные бумажки, не оставляя после себя ни крошки на столе. Лейтенант, перед тем как закурить, испрашивает разрешения и обращается к отцу в третьем лице. Он юн и переполнен впечатлениями. В Париже спал со всеми уличными девками подряд, нажил гусарский «насморк», вылечился и теперь горит желанием дополнить список побед соотечественницами. Обо всем этом я узнал, когда господин майор пребывал в туалете: дорога и манящие перспективы делают лейтенанта общительным.

— Осмелюсь заметить, — вмешиваюсь я, угадывая желание лейтенанта. — Зрелище границ поверженного противника...

— Может дурно повлиять на дух офицера!

— То есть?

— Думают не о прошлом, а о будущем.

Глубокая мысль. Но как ее понимать? Майор не уверен в победе или, напротив, убежден, что немцам предстоит стереть с карт немало других границ?.. Глаза майора полуприкрыты тяжелыми веками; жесткая ще-

точка усов тщательно выровнена; два ряда ленточек над клапаном кармана. Старый кадровый военный, уволенный Брюнингом и призванный фюрером под знамена. Хотя мы сидим друг против друга и наши колени почти соприкасаются, нас разделяет пропасть, точнее — то, что французы именуют «дистенгэ». Словечко емкое и труднопереводимое. В нем — разница в социальном положении, намек на личное превосходство одного и недостатки другого и капелька вежливого презрения. Короче, «дистенгэ»!

Границы нет, но кордоны сохранились. Солдаты в боевых шлемах стоят у шлагбаума. На полуразрушенных укреплениях растет трава — длинная и сочная. Такая обычно бывает на кладбищах, на заброшенных могилах; тлеющие останки питают ее, доказывая, что жизнь неистребима. В тридцать девятом здесь около недели шли бои.

Солдаты не утруждают себя досмотром багажа. Мои отпускники везут в родной фатерланд столько барахла, что на перетряхивание ушла бы целая неделя. Естественно, что и фибровое чудовище не удостаивается внимания. Тонкие перчатки взлетают к козырькам: «Можете пока погулять. Но не отходите далеко...» Майор принимает предложение сына выйти и размяться. Наблюдаю в окно, как они размахивают руками и приседают по системе Мюллера. Нет, эти не сомневаются ни в чем. Для лейтенанта война — короткий марш во Францию и сладкие победы над бульварными шлюхами; для папаши — хорошее белье, фарфор, двойное жалованье и твердые ценности, захваченные у побежденных.

Редкий случай, когда Слави Багрянов, пользуясь отсутствием посторонних, позволяет себе думать то, что хочет. Мысли человека и его лицо слишком тесно связаны, а физиономия Слави — незамутненное зеркало его простодушной и преданной интересам коммерции души. Война и политика существуют для таких, как он, только в одном аспекте — деловом... К приходу немцев у меня беспечный вид и огромный бутерброд в руках. Ветчина, смазанная пфальцской горчицей, на пышном ломте хлеба — что может быть более изумительным?

От границы идем по расписанию, часто и ненадолго останавливаясь у беленьких вокзальчиков. Они одно-

лики, словно яйца от одной курицы, и различаются надписями на вывесках. Не сразу привыкаю к готическому шрифту и солдатским взводам кустарника по краям платформ. Порядок и аккуратность. Аккуратность и порядок.

Майор и лейтенант спят, расстегнув воротнички и приспустив форменные галстуки. У майора даже во сне значительное и важное лицо. Как ему это удается?

Спать сидя я не умею. Приваливаюсь к жестковатой коленкоровой спинке и пытаюсь дремать. Пасмурно. Собирается дождь... Ненавижу мелкий дождь.

В Париже я пробыл не дольше трех часов. На вокзальной почте получил конверт до востребования, оставленный обязательным Гастоном, достал из него квитанцию на чемодан, купил билет — и оревуар, Пари!.. При этом меня все время сопровождало противное ощущение, что мсье Каншон вертится где-то рядом на перроне, надзирая за моим отбытием. Это была, разумеется, игра воображения; я точно знал, что Каншон не посмеет показаться на глаза, но тем не менее чувствовал я себя прескверно. После Монтрё и одиночки мне изменяет выдержка.

Лейбниц тогда сам отвез меня на вокзал в дежурной машине. Сознание вины делало его неловким; к обычной угловатости прибавилась резкость жестов.

— Надеюсь, вы не опоздаете в Берлин...

— Как вам мой Уоллес?

— В Париже побывайте в пассаже...

— Ночь, а тепло...

Совершенно необязательные фразы, лишенные настоящего смысла. Мы обменивались ими до прихода поезда. Испытывая облегчение, я поднялся на подножку.

— Счастливого пути!..

— Прощайте. Не подаю руки — занята.

— Я понимаю.

Представляю, с каким наслаждением он поставил бы меня к стенке!

В Париже я накупил газет; холодными руками раскрывал их, ища сообщение из Монтрё. Ни слова. Длинные статьи военных обозревателей. Объявления магазинов. Колонки пустой чепухи... Гадалка мадам Паскье извещает, что изменила часы приема... Четырнадцать человек ждут казни — и ни строчки нонпарели. Руки де-

вочки, сложенные за спиной, как крылья; я не забуду этого до конца дней...

В голове — каша из событий, лиц, слов и воспоминаний. В Монтрё, уже на вокзале, меня прошиб пот. Что было бы, если Лейбниц связался бы с итальянским консульством и оказалось, что Каншон и не подумал докладывать о моем исчезновении? Звонил ли в Париж Тропанезе? Потом возникла Дина и протянула мне руку для поцелуя. Я успокоился: ОВРА — не самая незначительная шестерия в государственном механизме Италии, а Дина, помимо служебного интереса, кажется, испытывает ко мне и обычное человеческое расположение.

...Начинается дождь, углубляя сон моих попутчиков. У лейтенанта лицо спящего младенца. Этот еще не убийца, но станет им. «Гитлерюгенд», школа и истинно нацистское семейное воспитание сделали из него надежного солдата фюрера. Поменяйся с ним Лейбниц местами, и девочка с руками-крыльями не обрела бы надежды на спасение. Он придет домой и будет хвастать перед родными своей формой и своей силой; через год горничная и служанка из соседней лавки родят «детей фюрера», а лейтенант, научившись убивать, без содрогания сбросит бомбу на головы негерманских младенцев и напишет сентиментальное письмо невесте с клятвами в любви. «Германия, Германия, ты превыше всего!..»

Во Франкфурт въезжаем ночью. Город затемнен; стекла в окнах вокзала заклеены бинтами. Высокий чин майора охраняет наше купе от вторжения солдат, ищущих свободного местечка. С грохотом рванув дверь и галдя, они цепенеют на пороге, захлопывают рты и на цыпочках пятятся в коридор. Лейтенант причмокивает во сне и складывает губы колечком.

Дождь испещряет окно потеками и разводами. Говорят, дождь — отличная примета, сулящая легкую дорогу. Я лично этому не верю: после фон Кольвица и допроса в триестском отделении ОВРА приметы отнесены мной в разряд вредных предрассудков. Кроме того, перед Берлином не стоит настраиваться на благодушный лад.

Так уж было однажды — я расслабился, поверил в везение и поплатился за это. Паспорт Багрянова и «Трапезонд», приобретенный без затруднений, сделали

меия неосмотрительиым. Не проведя разведки, я ринулся за визой в швейцарское посольство в Софии и иарвался иа Геири.

О, какой убийствеиио долгой была пауза после того, как Геири сообразил, что Багряиов и я, очевидно, одио лицо!.. Два года иазад он работал в швейцарском отделеиии Бюро путешествий Кука и иесколько раз оформлял мне билеты. Он был расторопеи, пуиктуален, и я предпочитал его другим агеитам и посредиикам этого бюро.

Медлить было иельзя, и я быстреиько свалил виию на служителя, проводившего меия в кабииет и отрекомеидовавшего «господииом Багряиовым».

— Какая встреча, Генри!.. Глазам не верю!.. Вот будет огорчеи Слави — я бы познакомил вас и, увереи, сдружил бы!

— Слави?

— Ну да, Слави Багряиов. Я представляю его персону в качестве частиого повереииого...

Объясиеиие было ие из лучших, но другого у меня не иашлось. Слава богу, в аикете еще отсутствовала фотография, и Геири, кисло улыбаясь, уделил несколько миіут мие и воспомииаииям о Жеиеве. Я сидел как иа иголках, пил кюммель и прикидывал, сообщит ли Геири в полицию после того, как я уберусь, или удовольствуется получеииым разъясиеиием.

Неделю спустя, убедившись, что полиция не крутится вокруг коиторы, я позвоиил Геири и огорчил его известием о длительиой болезии Багряиова. В эту минуту в моем кармане лежал билет иа Симплои — Восток... Опасная вещь благодушие.

...Под утро будим гудком иосильщиков иа Нюрибергском вокзале, полчаса стоим, меняя паровоз, и, сопровождаемые безостаиовочиым дождем, начииаем отмерять километры колеи, идущей через Лейпциг к Берлииу.

Лейпциг — последияя крупиая стаиция иа перегоие. Майор и лейтеиаит, суетясь, собирают многочислеииые чемодаиы, баулы, кофры, портпледы, несессеры, сумки и шляпиые картоики. Из всех углублений и со всех сеток извлекается и сиимается тяжелое, иадежио перевязаииое и зачехлеииое добро. На каждой вещи ярлычок с четкой иадписью: имя, зваиие, адрес. Носильщики едва справляются с этой грудой и завистливо погляды-

вают на господ. Лейтенант счастлив: на вокзале его встретила тощая белобрысая Гретхен в юбке выше коленей. Кроме нее, на перроне переминаются с ноги на ногу в нетерпении толстая седая дама, еще две — помоложе, хорошенький сорванец в форме «Гитлерюгенда», и толстяк в визитке. Семейство майора приветствует своего главу поднятием рук и «Хайль!» — сплоченная ячейка немецкого общества, единодушная и единомыслящая.

Лейтенант на прощание искренне вздыхает:

— Счастливец, едете в Берлин.

— Лейпциг тоже неплохо, — говорю я. — Тем более когда встречает невеста...

— Да, но Берлин есть Берлин!

Поля. Дома. Поля. Дома... Чередование пятен, заштрихованных дождем. Черные мокрые шоссе, серые дороги. Опять поля. Опять дома. Монотонный дождь и монотонные картины... Слави едет по Германии и, не поручусь, что радуется своему путешествию. Жаль, что занимательный детектив уложен в чемодан, и глаза поневоле прикованы к окну... Поля... Дома... Шоссе...

Поезд, размеренно бренча железом, минует переезд. У барьера, открытая дождю, ждет забрызганная машина. В ее кузове женщины. Стоят, свесив руки вдоль бедер. Темные платья, промокшие до нитки, обтягивают угловатые тела. На головах серые платки, и такого же цвета большие нашивки на груди. Провожают поезд взглядами и ежатся. Скорость мала, и я успеваю прочесть черные надписи на нашивках: «ОСТ».

...Как я сойду в Берлине с такой прокушенной губой?

11. АВГУСТ 1942 ГОДА. БЕРЛИН, ОТЕЛЬ «КАЙЗЕРГОФ»

— Берлинские отели в основном «хитрые»; в пансионах относительно спокойнее, хотя гестапо имеет там осведомителей.

— Предлагаете пансион?

— Напротив, отель.

— Что ж, в этом есть своя логика.

Из всех своих галстуков выбираю самый скромный. Коричневый с красной ниткой — намек на партийные цвета. Прикусив губу, пытаюсь завязать его нужным

узлом, ие слишком свободиым, ио и ие малеиьким. Все должно быть в меру, солидио и скромио. Волосы согласио моде зализываю щеткой иа косой пробор; в маижеты рубашки вдеваю темные запоики. В последиий раз рассматриваю себя в зеркало и, почти удовлетвореииый, добавляю к аксессуарам туалета толстый перстеиь из дутого золота. Ои ужасающе вульгареи и тем хорош. Любой мало-мальски сообразительный гестаповец, только гляиув иа иего, определит, что Слави Багряиов иеумеи, тщеславеи и лезет из кожи вои, чтобы выглядеть богачом. Я же достаточио учтив и ие хочу лишать господ из службы безопасиости осиований лишиий раз почувствовать себя людьми, для которых иет тайи.

В двеиадцать пятиадцать меия ждут в мииистерстве. Мой звоиок туда иемало удивил мииистериальдиригеита доктора Гольдберга, до которого я вчера добрался ие без труда, потревожив половиину иомеров министерского коммутатора... Слави Багряиов из Софии? По какому делу?.. Поставки пшеиицы и табака? Это какая-то ошибка. Попробуйте обратиться в аппарат рейхслейтера Дарре *, возможио, там что-иибудь зиают... Ах, письмо? Кем подписаио?.. Увы, советиик, давший вам ответ, перемеиил место службы...

И так далее и тому подобиое... Словом, получается довольио удачио. Советиик убыл иа фроит и, иадеюсь, убит, в мииистерстве иикто толком ие может ответить, и мииистериальдиригеит Гольдберг должеи в корректиой форме послать меня ко всем чертям. Тем более что поставки табака и хлеба действительио отиосятся к Дарре и его штабу, послаицы которого иаводияют Балкаиы.

Товарищ, оргаиизовавший письмо, знал, что делал. Дия два-три обескуражеииый Слави Багряиов еще потолкается в приемиых, вырвет из своих редеющих волос иебольшую прядь и, подсчитав убытки от поездки, двииется иазад, через всю Европу, ие солоио хлебавши.

Не без труда иастраиваюсь иа скорбиый лад. Одио за другим примеряю выражеиия. Разочароваиие. Последияя иадежда. Отчаяиие. Не раио ли? Остаиавливаюсь на озабочеииости и, вздохнув, украшаю ею лик. Звоиию гориичиой.

---

* Дарре — имперский партийиый руководитель по вопросам сельского хозяйства в гитлеровской Германии.

— Я ухожу и буду вечером. Где и чем можно развлечься в Берлине?

Меня нисколько не интересуют развлечения, но горничная должна знать, что Багрянов проотсутствует целый день. В «хитром» отеле «Кайзергоф» действует правило проверять багаж постояльцев. Не по подозрению, а так, на всякий случай. Вчера я слишком быстро завершил обед, и знакомство с моим чемоданом было прервано на самом интересном месте. Вещи оказались сдвинутыми с мест, но пыль из карманов брюк, уложенных в самом низу, не перешла на брючины.

Горничная кокетничает.

— Развлечения? Это зависит от вкуса.

— Я серый провинциал. И у меня нет дамы.

— Ни за что не поверю...

— А вы не согласитесь?

Пошленький спектакль, разыгрываемый большинством постояльцев. Девушка должна устать от него и возненавидеть постель. Отдаваться по обязанности, лгать, изображая внезапно вспыхнувшую непреодолимую страсть, а потом идти в гестапо и, боясь что-нибудь забыть или перепутать, писать подробное донесение — для этого нужно быть или стервой по призванию, или идейной нацисткой. Ей лет двадцать, не больше. В меру хороша собой, в меру глупа — с виду, конечно. Свежая шейка и подтянутая лифчиком грудь должны действовать на мужчин неотразимо; горничные в «Кайзергофе» подобраны тщательно и, согласно инструкции, обязаны разбирать кровати на ночь...

Девушку зовут Марика. Она не ломака.

— Я работаю до завтрашнего утра.

— Жаль; признаться, я рассчитывал, что вы составите мне компанию. Выпьем вечером по чашке кофе?

— После одиннадцати. Раньше я не смогу.

— Идет... А пока принесите мне чистой и холодной воды. Вам кто-нибудь говорил, что вы прелестны, Марика?

Как ни испорчена женщина, она умеет быть благодарной за искреннюю похвалу себе. Приватные обязанности скорее всего превратили Марику в бесполое существо, но тем не менее она отвечает мне улыбкой признательности. Роясь в моих вещах, она будет помнить комплимент.

Марика меняет в графине воду и выскальзывает в коридор. Присаживаюсь в кресло и осматриваю комнату. Номер не из дорогих, мебели в нем немного. Спартанская обстановка, в которой тумбочка для телефона выглядит предметом роскоши. Тем лучше. Если я не профан, то все места, пригодные для тайников, Марика и ее коллеги по гестапо давным-давно взяли на учет. Чтобы лишний раз убедиться в этом, подхожу к панцирной кровати и, приподняв ее, снимаю с ножки резиновую галошку. Под галошкой — углубление... Хорошее хранилище. Слишком хорошее, чтобы им пользоваться.

Приятно соревноваться с неглупыми людьми... Думая об этом, я осторожно выдвигаю из-под кровати фибровое чудовище и монеткой отвинчиваю крепления наугольников. В пространстве под ними, в ватках, нахожу четыре камня. Четыре довольно крупных бриллианта, прекрасно ограненных и сверкающих всеми цветами радуги. Держу их на ладони, понимая, что передо мной — выдающийся образец ювелирного искусства.

Война. Она меняет значение ценностей. Для кого-то золото и камни становятся предметом безумного ажиотажа. Для других — оружием, приближающим победу. Я довез его до места назначения и должен передать в руки тех, кто ведет свой бой здесь, на самом переднем крае...

Завтра оружие будет передано... Завтра...

Бриллианты лежат на моей ладони — холодные камни с живой и теплой игрой. Осторожно ссыпаю их в графин и теряю из виду. У чистой воды и алмаза почти одинаковый коэффициент преломления — фокус, известный любому кристаллографу, но навряд ли знакомый прелестной Марике. Весь вопрос в том, не захочет ли она поменять воду? Нет, не должна. Уважающая себя горничная не станет дважды делать одну и ту же работу... Отливаю в раковину немного воды и прислушиваюсь, нет ли стука. Камни, невидимые взору, бесшумно скользят по дну. Все в порядке.

Возвращаю наугольники на места и, достав со дна потрепавшегося в дороге Уоллеса, небрежно бросаю его рядом с телефоном. Завтра вместе с камнями не дочитанный мною роман отправится к тем, кто его ждет, и превратится в шифровальную книгу. После всего, что случилось, она им так нужна! Слово-ключ отмечено карандашной точкой.

Три вещн никогда не доставляли мие удовольствня: дождь, выпнвка н детективиые романы. Не люблю благородных сыщнков. Одиако Марнке совсем ин к чему знать это. Вспомнив о ней, перекладываю «Манию старого Деррика» под подушку и сую между страниц, поблнже к концу, использоваиный билет на поезд Парнж — Берлни. Вот теперь хорошо: гестапо монмн заботами нзбавлено от трудов по наведеиию справок о точном времеии прнбытня Багряиова в столнцу фатерланда. Почему бы н не оказать занятым людям маленькую услугу, тем более что тебе она инчего не стоит?

До свндаиня с доктором Гольдбергом еще больше двух часов, а меия ие тяиет гулять по улнце, таща за собой две тенн — собствеиную н фнлера. Не лучше ли пока позвоннть фон Кольвнцу н обрадовать его перспектнвой встречн? Телефоиные разговоры должны прослушиваться, и я бы иа месте сотрудннков реферата * по наблюденню за иностранцами обязательно взял на заметку многозиачнтельный факт знакомства славянина с оберфюрером СС. Если к тому же сегодня нлн завтра позвонит Эрика н иазначнт мне рандеву, то у гестапо прнбавнтся забот по распутыванню узелков, и нх как раз хватнт иа тот срок, который нужен мне, чтобы доехать до Рима.

Телефои занят. С небольшими перерывами звоню сиова и достигаю целн.

— Дежурный по реферату штурмфюрер Траксель.

— Мне нужен оберфюрер фон Кольвиц.

— Кто говорнт?

Называю себя. Пауза, за которой угадывается уднвлеине.

— Оберфюрер дома. Позвонnте ему туда.

— Я не знаю иомера.

— Сожалею, ио не могу помочь. Что передать?

— Скажите, что я приехал вчера и буду польщен, еслн оберфюрер навестнт меня в отеле «Кайзергоф».

Любуюсь собственным нахальством и добавляю совсем уже нагло:

— Боюсь, что дневиые часы будут заняты деламн. Оберфюреру лучше рассчнтывать иа вечера.

---

* Отделенне.

Пока суд да дело, пока изучение связей Багрянова с фон Кольвицем и Отто Делиусом, завизировавшим письмо министерства, поглотит время и внимание чиновников реферата и внесет некоторую путаницу в их представление о болгарских коммерсантах, я могу быть относительно спокоен за свою безопасность. Эрика и евангелие довершат остальное. Если даже гестапо пока и не догадывается о ее контактах с ОВРА, то после нашей встречи обязательно попытается логически установить, какие обстоятельства мешают жене полковника пользоваться почтой при сношениях с Римом. Отсюда рукой подать до вывода, что Багрянов — курьер разведки союзника, проверяющий надежность канала «Милан — Берлин». Запросы в Париж и Марсель выявят любопытный факт существования синьора Ланца и мсье Каншона, обеспечивающих страховку, и дадут почву для второго непреложного вывода: Багрянов еще не раз и не два посетит столицу рейха со своими деликатными делишками... Фон Кольвиц — РСХА, Делиус — скорее всего абвер, Эрика — ОВРА; клубок, в котором не сразу найдешь концы. Третий и окончательный вывод: пусть Багрянов спокойно едет в Рим и думает, что перехитрил всех. Когда он объявится в Берлине еще раз, мы возьмем его в оборот и вытряхнем из него всё...

Еще раз... Увы, господа, должен вас разочаровать: другого раза не будет, поскольку у меня чертовски много обязанностей в качестве владельца «Трапезонда». События складываются так, что София скорее всего надолго прикует к себе мои интересы. Об этом уже предупредил меня Центр. Двойная игра царя Бориса, пропустившего германские войска по болгарским дорогам на территорию Румынии и открывшего порты для стоянок подлодок гроссадмирала Деница, не оставляет сомнений, куда и как повернут руль болгарской политики. Если бы не трагедия в Монтрё и не провал берлинского радиста, Центр ни за что не передвинул бы меня из Софии в эти трудные месяцы. Но Москве нужно было знать точно, что же случилось с Жолнкером, а берлинская группа без средств и нового шифра как без рук — и вот я здесь... Охраняйте меня получше, господа!

Я бросаю взгляд в зеркало и огорчаюсь. Куда подевалось лицо, над которым Багрянов трудился целое утро? Это не легкая озабоченность, а усталость, раздумья, тревога — совсем не то, что необходимо при

визите в имперское министерство экономики. Улыбнись-ка, Слави! Нет, не так — чуть-чуть, самую малость, чтобы чувствовалась искорка надежды и просвечивала подобострастность. Ты ведь будешь говорить с министериальдиригентом Гольдбергом — ответственным чиновником министерства... Вот так, совсем хорошо. А теперь поклонись. И поправь галстук... Удачи тебе, Слави!

Дверь номера не закрываю, словно по рассеянности. С портфелем под мышкой прохожу мимо комнаты горничной и, заглянув, нахожу в ней Марику.

— До вечера, Марика. Помните: вы обещали мне разделить мой кофе.

— После одиннадцати.

— Я вернусь в семь.

— Переключить телефон на портье?

— Да, так будет правильно... А завтра пойдете со мной в кино?

— Если вы обещаете себя вести прилично вечером...

— О Марика, разве я похож на донжуана?

Говоря так, я легонько поглаживаю бедро Марики. Последний штрих, без которого она просто не поверит в правдивость Багрянова.

12. АВГУСТ 1942 ГОДА. БЕРЛИН, ОТЕЛЬ «КАЙЗЕРГОФ» — ОСТРОВ МУЗЕЕВ

Месяц и год рождения: январь 1907.

Место рождения: Ярославль.

Соцпроисхождение: из семьи рабочих.

Партийность и партстаж: член ВКП(б) с 1928 года.

Образование: незаконченное высшее, курсы, самообразование.

Воинское звание: майор.

Все кончилось плохо — все кончилось прекрасно. Смотря как к этому относиться. Министериальдиригент доктор Гольдберг был прохладно-официален. Возвращайтесь домой, господин Багрянов, и договаривайтесь в самой Софии. Штаб рейхслейтера Дарре? Что же, рискните, хотя надежд питать не стоит... Не произвело впечатления и письмо бывшего советника. Гольдберг равнодушно вернул его мне: господин советник часто действовал непродуманно, за это и переведен в другое

ведомство... Позвольте предложить вам кофе?.. Мы выпили по чашечке и расстались довольные: доктор Гольдберг моей податливостью, а я его ответами. Словом, мы славно отделались друг от друга.

С Марикой вышло не так просто... Я заснул под утро с головой, гудящей не только от кофе. Расставаясь, мы условились о встрече, чтобы провести денек вне стен «Кайзергофа». Мои печали так глубоко тронули Марику, что я чуть было не поверил в ее прекраснодушие, но вспомнил о втором обыске в чемодане и принялся соревноваться с ней в фарисействе. Да, фибровое мое драгоценное чудовище, несомненно, подвергалось обследованию с пристрастием. Обыск был произведен опытной рукой профессионала — все вещи я нашел на своих местах, кроме одной: микроскопический кусочек сиреневой промокашки соскользнул с белья и бесследно исчез. Ну и бог с ним!..

Эрика и фон Кольвиц все еще не подают вестей о себе. Я справился у портье, не было ли звонка или пакета, и, услышав, что нет, наказал в случае чего передать, что Багрянов покидает Берлин послезавтра. Немота фон Кольвица не так уж и волнует меня, но где Эрика? Где евангелие, без которого синьор Тропанезе почувствует себя отвергнутым любовником? И кто она — миленькая блондиночка или гладко выбритый господин с незаметной внешностью? Увлекательное дело — решать головоломки.

Еще одну — пожалуй, последнюю — мне надо решить сейчас, не покидая угла Зейдлицштрассе и Альте-Якобштрассе, куда с минуты на минуту придет долгожданная Марика. Она живет неподалеку, и, будучи кавалером галантным, я предложил встретиться поближе к дому. Для меня это было вдвойне неудобно: плохое знание Берлина заставило сделать ненужный крюк, и «тень» — если она есть — могла упустить меня в толпе и осложнить пребывание Слави в столице тревожным рапортом. Впрочем, я, кажется, неплохо справился с задачей, добираясь до угла самым медленным шагом и по наименее людным улицам. Остальное было уже вне моей воли.

Теперь мне необходимо заставить Марику пригласить меня в музей. Штука скользкая, как лимонная корка. Присутствие Марики избавит меня от соглядатая и даст надежного и беспристрастного свидетеля кристальной

чистоты моих мыслей, слов и поступков. Поэтому разговор о музее должен начать не я — сегодня во всем инициатива принадлежит прелестной представительнице слабого пола.

Марика точна. Угол Зейдлицштрассе и Альте-Якобштрассе украшается ее присутствием ровно в одиннадцать тридцать. Наглухо закрытое платье и отсутствие грима предупреждают меня, что на людях она не потерпит изъявления чувств. Марика-гид и Марика-горничная с вызывающими манерами — два разных лица, и оба на работе... А дома?..

Решая попутно и эту задачу, предоставляю Марике возможность определить маршрут. Куда мы идем? Парк, ресторан, кино, музей?.. Есть такой простенький, но безотказный карточный фокус. Запоминаете нижнюю карту и кладете колоду в карман. Напустив на чело тумана, спрашиваете: каким двум мастям отдать предпочтение? При этом все время помните, что в вашем кармане, первая внизу, лежит, ну, скажем, дама треф... Итак? Ах, пики и черви? Следовательно, остались бубны и трефы? А из них? Туман, сплошной туман... Выбраны бубны, трефы остались. Если случится наоборот не беда: так даже проще... Вы уже не вы, а факир, гипнотизер и уполномоченный духов по сношениям с миром... Верхняя часть колоды или нижняя; картинки или прóстые? И так далее. В результате вас просят достать даму треф, не глядя, конечно, и такой-то по счету... Шнип-шнап-шнуре!.. Внимание — и дама в ваших руках, все хлопают глазами, а вы рассуждаете о преимуществах черной магии перед белой. Все так просто!

Минуты три Марика с серьезным видом обсуждает варианты, не подозревая, что в итоге обязательно достанет из колоды карту с надписью «Музей». Четвертая минута посвящена маленьким дебатам — какому отдать предпочтение? Быстро уточняем, что Марика не любит этнографии, а я не перевариваю античную живопись, и в конце концов прелестная Марика — сама! — предлагает Музей кайзера Фридриха... Кайзер Фридрих — это звучит величественно. Браво, Марика! Я согласен. А потом в ресторан? Ну скажите: да! Боже мой, Марика, дорогая, не подозревал, что вы так упрямы! Ну скажите, разве я плохо вел себя вчера? Последний аргумент: я-то согласился на музей! — и дело улажено. Наверно, ей подсказали, что основные события — всякие там слу-

чайные встречи и обмены паролями — происходят в ресторанах. Боится что-нибудь проглядеть и пытается отложить поход на завтра, чтобы запастись инструкциями и подкреплением... Все-таки здорово ее вышколили: не верит никому и ничему!

Я подхватываю Марику под локоть, и мы идем, не сворачивая, по Зейдлицштрассе до оживленного перекрестка, от которого пятью лучами разлетаются улицы, в том числе и широченная Лейпцигерштрассе. Болтая о том о сем, минуем перекресток, по Линденштрассе добираемся до моста через канал и попадаем на знаменитый Остров музеев. Их здесь пруд пруди: Новый и Старый, Национальная галерея, Пергамон-музеум, еще какие-то и в дальнем конце, в омываемом водами канала и Шпрее квартале, Музей кайзера Фридриха — древнехристианское искусство, европейская скульптура, нумизматика, Персия и Византия.

В прохладных залах народу немного, и Марика успокаивается. На Линденштрассе ее случайно оттерли от меня, заставив поволноваться. Сказывается отсутствие навыков наружного наблюдения... Ну и сидела бы себе в отеле! В конце концов, Слави вовсе не обязан создавать для гестапо максимум удобств.

Ах, если бы не алиби!

Делать нечего, я подождал Марику при входе на мост и даже привстал на цыпочки, чтобы ей было легче меня увидеть. При этом пиджак на груди у меня некрасиво оттопырился — утром я еле запихнул в карман Эдгара Уоллеса. Если не будет аварийного сигнала, через час я избавлюсь от него и спичечного коробка, на дне которого в фольге от шоколадки лежат бриллианты. Марика должна присутствовать при этом, но ничего не увидеть. От ловкости моих рук зависит полдела; другая половина связана с Марикой и сигналом... А если не удастся?.. Музей открыт лично для Слави каждый вторник с двенадцати до трех. Только по вторникам и только в эти часы... Тогда через неделю?.. Это будет уже не очень-то просто.

В холле музея покупаю груду проспектов, прекрасно изданных и стоящих отчаянно дорого. Марика осуждающе качает головой: по ее мнению, я транжира и мот, не знающий цены деньгам. Типичный славянский недочеловек. На эти марки она приобрела бы несколько пар чулок и французские бюстгальтеры. Придется перед не-

утешным расставанием подарить ей все это и еще какую-нибудь вещицу — сережки или кольцо. Алиби Багрянова стоит дорого.

Утром я долго рассматривал бриллианты. Они ослепительно сверкали и, будучи неодушевленными, не догадывались о своей судьбе. Берлинские ювелиры отвалят за них кучу марок, которые, в свой черед, превратятся в лампы и детали передатчиков, загородную конспиративную квартиру, запасной костюм или паспорт для товарища, если ему придется скрываться.

Нет, я не имею права выжидать неделю. Все будет сделано сегодня.

С проспектами в руках путешествуем по залам. Пользуясь отсутствием свидетелей, Марика изредка прижимается ко мне теплым бедром — намек на вчерашнее и невинная признательность за предстоящий обед в ресторане. Обещаю себе, что покорю ее щедростью.

Зал нумизматики. Всякие там драхмы, сестерции и дукаты. Вид золотых монет захватывает Марику. Ноздри ее трепещут. Она, точно гончая, втягивает воздух, любуясь древним полновесным золотом, покоящимся на атласных подушечках... Слава богу, кроме нас, никого, и я, отметив упадок интереса к музеям со стороны практичных берлинцев, мысленно соглашаюсь с выбором товарищей: да, лучшего места для нашего дела, пожалуй, не сыскать.

Монет так много, что на осмотр нумизматического кабинета можно потратить целую жизнь. Ящички, плоские витрины, стенные шкафы с длиннейшими полками, и на атласе — десятки тысяч драгоценных символов, эквивалентных человеческому труду.

Крайний стенной шкаф слева. Левая панель. Царапины нет, и с души у меня падает гранитная скала. Нет аварийного сигнала — нет и провала. Все в порядке.

Марика держится рядом, не отставая ни на шаг. Бедро ее так и норовит прижаться к моему. Спрашивается, к чему тогда было надевать глухое платье? Поведение и костюм — одно целое, а не случайные детали, отделенные от сути.

— Нравится?

— О да!

— Хотели бы их иметь?

У Марики задумчивые глаза.

— Я и так многое имею! А скоро каждый немец станет богачом!

— Да, — говорю я. — Гений фюрера обеспечит это. Не так ли?

Говоря так, я выпускаю из рук проспекты, и они разлетаются по полу. Едва не стукнувшись лбами, бросаемся их поднимать и смеемся над моей неловкостью. Марика сидит на корточках; коленки округло высовываются из-под юбки. Я целую ее крепко, еще крепче, со страстью, и, когда она закрывает глаза, отвечая, быстро заталкиваю в щель между шкафом и стеной сначала Уоллеса, а следом и коробок. Марика тяжело дышит...

— Вы... Ты... о, ты!..

Помогаю ей встать и, все еще прижимая к себе, оглядываюсь: никого. Только монеты видели все; они же были свидетелями того, как я минуту назад за спиной Марики вынул Уоллеса и положил под проспекты. Это было трудно: слишком много стекла, отражающего каждое движение. Не легче оказалось и уронить бумаги так, чтобы один из проспектов и книга остались в руках, — но теперь все позади.

Марика приводит волосы в порядок. Сердится.

— Нельзя же так! Не знала, что в вас столько страсти, мой дорогой... Это — и в музее?

Она, наверно, слегка презирает меня: еще бы, недочеловек! Совершенно не умеет держаться в рамках приличия...

Каюсь, как умею заглаживаю вину. Сейчас меня трудно обидеть. Все сделано! Все!.. Кто-то, кого я никогда не увижу, придет сюда и возьмет вещи. Завершен еще один маневр в войне, безжалостной и кровавой, которую ведем все мы, солдаты разных родов оружия, лицом к лицу сошедшиеся в бою с чудовищной машиной смерти «третьего рейха»...

— Что с вами? — говорит Марика.

— Так, ничего. Пойдем?

Остальное неинтересно. Бродим по залам, замедляя шаги. Картины, скульптуры, вазы — такое обилие всего, что утомляется взор и наступает пресыщение красотой. Марика и так уж, видимо, раскаивается, что выбрала музей, а не кино: интимный полумрак зала создал бы отличный переход к посещению ресторана. А так —

после ослепительных красавиц иа полотнах — не потускнеет ли банальиая мнловидность горинчной в глазах Слави Багрянова?

Отметаю возможиые опасеиня Марикн н говорю:

— Я проголодался. Помннте, вы обещали...

В отеле я запасся сведеииями о ресторанах, где можно прнлнчио пообедать без карточек и найти у оберкельнера настоящее вино на ценнтеля...

...После ресторана иастает черед Марнки доказывать свою щедрость. Она слегка пьяна и смело предлагает проводить меня до отеля. У порога «Кайзергофа» — немая сцена, следующая за рнтуалом целоваиня рукн н вопросом, сумеет ли прелестиая Марнка иайти таксн.

— Мы оба устали,—говорю я. — До завтра, дорогая.

Марнка ие так глупа, чтобы настанвать. Целует меня в щеку.

— Все было так хорошо... Как в сказке... Жаль, что вы не иемец, Славн. Все было так хорошо...

Это точно. Присутствне Марики в музее обеспечнло мне исчезновение возможной «тени» и стопроцентиое алнби у гестапо.

— Спасибо, Марика, — говорю я серьезио. — До завтра...

Туриикет отщелкивает повороты за моей спниой. Подхожу к портье — такому недоступиому, словно ои переодетый раджа.

— Нет лн известий для меия?

Мы внделись утром, но портье не нзволнт меия узиавать.

— Ваш иомер?

— Сто шесть.

— Момент... — Портье сверяется с записямн. — Да, вам звоинли. Оберфюрер фон Кольвнц и госпожа Рнтберг.

— Что-нибудь важное?

— Госпожа Ритберг будет звонить еще раз, а господии фон Кольвиц просилн передать, что постараются обязательио навестнть вас до отъезда.

Ну вот и Эрика. И евангелие. От Лукн или от Матфея? В бронзе нли в коже? Там сказаио: «Идите с миром!» И я пойду. Мой путь далек и ие скоро приведет меня домой. Не раньше, чем окончнтся войиа.

Второй раз за одии вечер теряю коитроль над собой. Ловлю на лице портье отраженне своих чувств и при-

хожу в себя. Слави Багрянов и я сливаемся в одно целое, чтобы продолжать жить.

— Да, да... И пусть мне пришлют счет. За все. Завтра я уезжаю. Поездом до Парижа — закажите мне билет!

— Слушаюсь.

— Если придет дама, проводите ее ко мне. И без вопросов!

В номере включаю все лампы. Когда Эрика будет здесь, я запомню ее лицо с первого раза и навсегда. Лицо одного из врагов...

Сажусь в кресло и жду. Ждать я умею. Спешить мне некуда.

Тишина. И кажется мне, что иду я полем — я, а не Слави, или мы оба, ибо он тоже пока еще я.

Завтра в дорогу...

Владимир КАРАХАНОВ

Сигнал на пульте

БУДНИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Торчать на работе в воскресенье — мало радости. Выкрашенные в коричневую краску стены с уныло-аккуратным бордюром сжимают и без того небольшую комнату; сейф своими вдавленными в пол колесиками подчеркивает тяжеловесную неизменность твоей сегодняшней судьбы, и даже пустая корзина для мусора раздражает до того, что всерьез ловишь себя на желании специально в нее плюнуть. И пишущая машинка, на которой со сверхзвуковой скоростью (сперва буква прилипает к бумаге, а уж затем раздается характерное «чвок») шлепаешь ориентировку, хандрит по-воскресному, то и дело кривя строку.

Дома я лежал бы еще в постели с книжкой или журналом, а может быть, Муш-Мушта, сидя верхом на мне, плел бы какую-нибудь чепуху. Я попросил бы его принести мне пепельницу и сигарету, а он потребовал бы взамен рассказать сказку, и мы начали бы препираться, потому что, честно говоря, сказки мне давным-давно надоели.

К этому времени на кухне перестает греметь посуда, и нашему спокойствию приходит конец. В комнате мельтешит тряпка, а попутно нам разъясняют, что, раз уж от нас все равно не дождешься никакой помощи, мы можем валяться и дымить сколько угодно, но не мешало бы сперва умыться и позавтракать.



УЛ. ПЕРЕРАБО
ДОМ 12.
КВ. 8. РЗА

Потом можно настроиться на передачу «С добрым утром» — и впереди целый день, не имеющий ничего общего с буднями инспектора уголовного розыска.

А теперь вот сиди и вместо ансамбля «Виртуозов из Рима» слушай гулкий стук нард из дежурной комнаты. Правда, Кямиль, дружинник с химкомбината, тоже виртуоз в своем роде: у него, как у радиста, отстукивающего морзянку, свой неповторимый почерк.

Еще полбеды, когда вызывают внезапно. Если хотите, вызовы в неурочное время пробуждают самоуважение: что-то произошло, и понадобился именно ты. Но сегодня меня не вызывали, и думать о самоуважении смешно: пять нераскрытых краж за две недели. Похожие, как близнецы, они посыпались одна за другой. Все — днем, все — из квартир и все — на моей территории. Самое обидное, что «моей» она стала только потому, что Костя отправился повышать квалификацию. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Кражи нужно раскрыть, а все остальное, как поет Герман, «лишь бред моей больной души».

Наш новый начальник отдела произвел выкладку по придуманной им шкале признаков, и получилось, что взбаламутил молодой город приезжий гастролер. Положим, и мы об этом догадывались, потому что перетрясли уже все свои архивы, старых знакомых потревожили, навели справки в Баку — все без толку. Гастролеров ловить всегда труднее: они не обрастают связями, их мало кто знает, они неожиданно появляются и стараются вовремя смыться.

Вот и этот, быть может, сейчас, когда я выстукиваю эту «сверхзвуковую» ориентировку, катит себе куданибудь в Крым или Среднюю Азию. Повиснут на нас камнем нераскрытые кражи, и будут спрягать и склонять горотдел, пока «гость» не попадется в другом месте.

«Подполковник милиции Шахинов», — подбиваю в конце листа и не испытываю неприязни, какую испытывал раньше, проставляя другую фамилию. Дремучий был товарищ. Из тех, кто привык работать не умом, а глоткой. Что касается нетипичных отличий, то наш проявлял свою индивидуальность в беззаветном страхе перед уходом на пенсию. Где-то в глубине души он сознавал, что теперь органы внутренних дел в нем не нуждаются.

Шаги в коридоре. Я не Холмс, но это идет товарищ Кунгаров, начальник отделения уголовного розыска, капитан милиции, мой непосредственный шеф, а попросту Рат.

— Приветствую! — появляясь, он закрывает высоченный дверной проем на две трети.

— С добрым утром. Как спалось?

Скоро полдень, а мы договорились приехать к девяти.

— Мои сто в полном порядке.

Это он о килограммах. Их у него действительно сто с гаком, но на отрезке в метр восемьдесят шесть они размещены в строгой пропорции и нигде не выпирают.

— А подкалываешь ты меня зря. Я вез сюда Гурина. Натощак по телефону обрадовал: приспичило оказать нам практичекую помощь. Мы бы раньше приехали, но он еще к себе заезжал.

— А что ему в министерстве?

— Начальству показаться. Иначе какой толк работать по выходным? Сейчас я его прямиком к Шахинову сплавил. То-то, думаю, обрадуется.

Рат скользнул взглядом по ориентировке и тут же спохватился:

— А как насчет справки?

— Уже отдал. Посмотри копию.

Справку о проделанной нами работе по злополучным кражам он прочитал внимательно.

— Ну, пошли. Шахинов ее, конечно, проанализировал и теперь наверняка чертит какую-нибудь схему.

Вот уж тут Рат иронизирует зря и отлично сознает это. Шахинов действительно любит вычерчивать всевозможные графики и схемы, и поначалу его пристрастие вызывало улыбки. Первыми перестали улыбаться участковые инспектора. На большом листе ватмана выстроились столбики, по два над каждой фамилией. Первый, цветной, — предотвращенные участковым преступления, черный, в том же масштабе, — совершенные на участке. Оказалось, что обратная зависимость между предупреждением и уровнем преступности — правило без исключений. Я наблюдал, как некоторые участковые ежились от этой математической зависимости. Потом уроки графического анализа получали и мы, и ребята из ОБХСС, и службисты. Так что улыбки быстро потускнели.

В кабинете у Шахинова сидел Гурин, пил чай и читал «Неделю».

— А где начальник? — удивился Рат.

— Сказал, что будет через полчаса.

Я выглянул в окно и сообщил, что машина здесь. Тогда Рат хлопнул себя по лбу, расхохотался и, бросив: «Я сейчас», тоже исчез.

Собственно, и я уже догадался, в чем дело. Гурин мешал Шахинову работать, но попросить его убраться было невозможно. Шахинов сунул ему термос и газету, а сам перешел в один из свободных кабинетов.

Однако Гурин чувствовал себя обязанным приступить наконец к оказанию практической помощи. Поэтому он без промедления вцепился в мою ориентировку. Попутно он сообщил, что преступления, в том числе и кражи, необходимо раскрывать по горячим следам.

— Да, конечно, — согласился я, — только у нас и холодных-то не было.

И правда, вор действовал не по правилам: не оставлял отпечатков; крупных вещей, даже носильных, не трогал, их ведь еще вынести надо.

Гурин стал объяснять, что следы остаются всегда и надо только уметь их обнаружить. В чем конкретно должно было выражаться наше умение в данном случае, он почему-то не сказал.

Я смотрел на него и думал: «Не человек, сплошной вопросительный знак». Почему он работает в МВД, а не в аптекоуправлении или институте по изучению метеоритной опасности, например? Почему в уголовном розыске, а не в госпожнадзоре? Почему, наконец, он решил оказывать помощь на местах именно в раскрытии краж, а не убийств или грабежей? Скорее всего он и сам не знает. Зато глубоко убежден, что сумеет «обеспечить» порученный ему участок работы в любой известной человечеству области.

Вошел Шахинов, следом — Рат с линейкой и набором карандашей.

— Здесь многое, — Шахинов приподнял, словно взвешивая, нашу справку, — но, оказывается, не все. Мы старались получить данные о самом преступнике, искали только его. Эта прямолинейность и завела нас в тупик. Гораздо меньше мы интересовались теми, кто приютил преступника и снабдил информацией.

— Да, квартиры он выбирал без промаха, — согласился Рат.

— Взгляните-ка, — из груды бумаг Шахинов извле-

кает обязательиый чертеж, — вот райои массовой застройки. Дома, где совершеиы кражи, помечеиы. А теперь...

— Подумаем графически, — шепчет мие Рат.

— Подумаем графически, — продолжает Шахииов. Любо смотреть, когда ои работает лииейкой и карaидашом, в нем иаверняка пропал коиструктор. Лииии, соедиияющие дома с «крестами», образовали пятиугольиик.

— Естествеиио предположить, что иифоматор живет в одиом из соседиих домов, ио я виимательио изучил рапорты участковых, ваши даииые, беседовал с председателями домовых комитетов — заподозрить кого-либо из жильцов в связях с преступииком иет осиоваиий. К тому же диапазои сведеиий для любого лица, проживающего в одиом из домов, уж слишком велик. В то же время очевидно, что вор избегал краж за пределами строго ограиичеииого участка, идя иа гораздо больший риск задержаиия. По-видимому, риск компенсировался осведомлеииостью...

— А вот у оперативииков ее ие было, — вставляет Гурии.

Шахинов косится иа него, сам он никогда никого ие перебивает.

— Зиачит, источиик иифомации иаходится где-то внутри жилого массива, но не в обычном доме. — Караидаш стремительио прочерчивает радиальиые лииии от крестиков к цеитру пятиугольиика.

В скрещении радиусов большое общежитие химкомбииата.

Рат возражает:

— Общежитие я проверял, постороииих там не было.

— Я имею в виду иифоматора. Ночевать вор мог и в другом месте.

— Да, да, — решительно вмешивается Гурии, — соучастник проживает там, иесомиеино. Следовало с самого начала обратить на общежитие самое серьезное виимание. В февральской директиве об усилеиии профилактической работы как раз упомииаются общежития.

Шахинов терпеливо слушает, потом говорит:

— Соучастиик в общежитии скорее всего не проживает, ои там работает: уборщицы, кочегары, слесари. Некоторые из них иаверняка работают по совместительству. Тщательио, быстро надо изучить обслуживающий

персонал. Кстати, очень может быть, что гастролер скрывается в доме своего информатора, значит, надо поработать и в этом направлении.

Мы поднимаемся.

— Еще одно: очередная кража, если она произойдет... В общем, возьмите под оперативное наблюдение вот эти дома, — он подчеркивает три квадратика на самой длинной стороне пятиугольника. — А теперь у меня прием граждан.

Гурии сразу засуетился, подхватив свой портфель и фуражку, идет за нами.

В кабинетике Рата Гурии уселся основательно и тут же взялся за копию нашей справки. В добросовестности ему не откажешь, не любит сидеть сложа руки.

— Не будем мешать, пойдем к тебе, — предложил Рат.

Костин стол заскрипел под его тяжестью.

— Доконал меня Шахинов своими иллюстрированными умозаключениями.

— Он предложил много дельного.

— Ничего нового, просто кое-что мы действительно не успели.

— Темир-бек, вам он тоже преподавал, однажды взял со стола чернильницу и спросил: «Что вы можете сказать об этом предмете?» Стеклянный, хрупкий, с откидной крышкой, янтарного цвета, квадратный снаружи — круглый внутри, на стекле узоры — чего только мы не выкрикивали, а он все требовал: «Еще, еще...», пока не выдохлись окончательно. А потом одна из девчонок выпалила: «Это чернильница!» — «И в ней отсутствуют чернила», — добавил он. А ты говоришь: ничего нового,

— И тебя на рассуждения потянуло? — усмехается Рат. — А мне выслушивать всех на пустой желудок!

Шуткой он пытается скрыть раздражение. Что ни говори, а Шахинов ткнул нас в общежитие, как котят в блюдце.

— Костя тоже хорош, — продолжает мою мысль Рат, — ни одной зацепки среди персонала не оставил. И этот еще сидит, строчит на нашу голову. Что бы Линько приехать, тот бы действительно помог.

— А чем это Гурии занят?

— Справку по нашей справке пишет. Потом у себя в министерстве приладит шапку и доложит руководству.

— Какую еще шапку?

— Первую страницу, где обо всем и ни о чем. У него в сейфе специальная папка с архивными документами по всевозможным вопросам, покопается в ней с полчаса, найдет что-нибудь подходящее, кое-что выкинет, кое-что добавит — и готово. Папка давно пожелтела, но хранит ее Гурин, как...

Испортив мою сигарету (он не затягивается, а только пыхтит), Рат соскочил со стола.

— Перекур закончен, приступаем к планированию. Во-первых, закатываемся обедать, во-вторых, топаем в общежитие и так далее, сообразуясь с обстановкой. Пройти по домам персонала лучше всего сегодня: воскресный вечер, больше шансов. Сам понимаешь, придется ночевать здесь. Муторно, конечно, но что делать?

Гурин уже надевал фуражку, и мы нетерпеливо топтались в дверях, когда из дежурной в коридор выскочил Кямиль и крикнул:

— Сигнал на пульте!

С ПОЛИЧНЫМ

Дежурный загипнотизирован вспыхнувшей лампочкой, а мы косимся на телефон. В течение трех минут хозяева квартиры должны позвонить сюда и назвать шифр. Если не позвонят, значит...

Не позвонили. Но Рат сказал:

— Подождем еще.

Это понятно: уж очень не хотелось обмануться, ведь сигнал тревоги все из того же района. Неужели он?

Молчим, словно боясь спугнуть светящуюся точку. Под ней табличка: «ул. Переработчиков, 12, блок 1, кв. 8, этаж 4, Рзакулиев М. Р.». Я выучил ее наизусть.

— Все. Поехали!

Рат в три шага проскакивает коридор; Кямиль, Гурин и я почти бежим следом. На улице Рат взглядом пересчитывает нас и, минуя «Волгу», бросается к «хулиганке». Так мы называем «газик» с крытым кузовом и синей полосой по бокам. В этой машине перебывало все городское хулиганье.

Наверху здорово трясет, но, не будь Гурина, Рат из солидарности все равно не сел бы в кабину. Теперь,

когда все остальное зависит уже не от нас, он начинает с голодухи заводить Кямиля.

— Кольцо есть, невеста есть, когда свадьба будет?

— Невеста есть, квартиры нету. Новый год квартира дают, свадьба будет.

— Не дадут, — отрезает Рат.

— Зачем не дадут? Зачем не дадут? — кипятится Кямиль. — Лодырь нет, прогульщик нет, пьяница нет, жениться надо — зачем не дадут?

— Вчера подполковник с вашим месткомом разговаривал по телефону, очень тебя хвалил: какой ты отличный дружинник, как нам помогаешь, преступников ловишь...

— Молодец полковник, правильна хвалил.

— ...Как после работы сразу в горотдел идешь, у нас вторую смену работаешь...

— Правильна, правильна...

— ...У нас чай пьешь, у нас в нарды играешь, у нас ночевать остаешься...

Кямиль чувствует какой-то подвох и перестает поддакивать, но уже поздно, и Рат наносит заключительный удар:

— Тогда местком сказал: зачем ему квартира, пускай у вас живет.

Машина плавно тормозит, и я, взглянув в боковое оконце, сообщаю:

— Вот эта улица, вот этот дом.

Накрапывает дождь, двор безлюден. До первого блока от ворот рукой подать. На лестничных площадках ни души, значит, вора никто не страхует. Впрочем, вор ли это? Хозяин забыл позвонить и сейчас обалдело уставится на нас и милицейскую форму Гурина. Да и вообще охрана квартир техническими средствами сигнализации — в зачаточном состоянии. У нас ее пробил Шахинов, но пятьдесят квартир на город — лотерея, и просто не верится, что мы уже выиграли.

Последние ступеньки — и прямо перед нами дверь с «М. Р. Рзакулиевым» на аккуратной дощечке. Но Рат звонит направо, в «бесфамильную», а нам делает знак оставаться на месте. Потом подзывает Гурина, тот позирует перед глазком, и дверь открывается. Я успеваю заметить только удивленное старушечье лицо, потому что Рат с Гуриным тут же скрываются в квартире.

Возвращается только Рат и шепотом говорит:

— Хозяева со вчерашнего дня в Баку. Старушка ничего подозрительного не слыхала. Кямиль, действуй!

Сует ему бумажку с карандашом, а мы прижимаемся к простенку между дверьми.

Кямиль несколько раз подряд вдавливает кнопку звонка Рзакулиевых. Потом, не дожидаясь ответа, дергает дверь. Она подается внутрь и наталкивается на цепочку. Кямиль приникает к щели, громко зовет:

— Хозяин, получай телеграмма!

Со щита на стене прямо в ухо жужжат счетчики.

Наконец шаги и стук сброшенной цепочки. Все дальнейшее происходит в ускоренном темпе, как в кинокадрах немого кино.

Лысоватый мужчина пятится в глубь квартиры, на лице не страх — удивление. Раскрыты шкафы, разбросаны вещи. В комнате на столе брошены друг на друга отрезы, горка блестящего металла: ложки и вилки, пара колец, золотая цепочка без часов, еще что-то из позолоченного серебра.

— Уже собрал? — беззлобно спрашивает Рат.

Старуха соседка всплескивает руками, прицеливается в мужчину колючим взглядом поверх очков, бормочет, кажется: «Паразит».

Тот по-прежнему в изумлении, как пациент при первом знакомстве с бормашиной. Еще бы, всего минут двадцать назад он бесшумно поднялся по лестнице, неуверенно позвонил сюда, в пустую квартиру, прислушался и под мерное жужжание электросчетчиков отжал дверь. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Старуха? Но он все время следил за глазком. И вдруг милиция.

«Надо будет обязательно использовать его недоумение, — мелькает мысль, — потом, когда дело дойдет до соучастника».

Рядом с отобранными вещами порядком потертый коричневый портфель. Он широко распахнут, будто примеривается проглотить все лежащее на столе. Рат извлекает из него короткий ломик, связку отмычек и тонкие резиновые перчатки, в которых женщины обычно накладывают на волосы хну.

— Па-ра-зит, — на этот раз внятно произносит старуха.

— Хватит ругаться, мамаша, — просит Рат, — вы лучше смотрите и запоминайте.

— Портфель твой? — обращается он к «паразиту».
— Мой.

Шок кончился, удивление сменилось безразличием. Гражданин, видно, с основательным стажем, и вся предстоящая процедура уже не вызывает в нем особых эмоций.

Рат обыскивает его. В карманах замусоленная трешка, штук пять картонных удостоверений и чистый, заглаженный конвертиком носовой платок. Зато из двух брючных «пистончиков» («По спецзаказу шил», — смеется Рат) он извлекает измятые денежные купюры самого разного достоинства и облигации трехпроцентного займа.

— Ишь нахватал, бесстыдник, — не удерживается старуха, — а вам, — она обращается преимущественно к Гурину, потому что он в форме, — честные люди спасибо скажут!

Рат садится за протокол задержания, а я иду осматривать дверь. Придется описывать место происшествия, но сегодня, когда виновник рядом, процедура эта меня не угнетает.

Между тем Гурину всерьез понравилось «представлять и олицетворять». Он завел со старушкой оживленную беседу. Я занялся поврежденными замками, и, когда опять прислушался, он с увлечением объяснял, каким образом нам удалось задержать преступника, и настоятельно рекомендовал старушке полезный опыт Рзакулиевых. Я рванулся было в комнату, но тут же понял: поздно. Абсурдность ситуации заключалась в том, что Гурин в данном случае добросовестно выполнял указание о проведении среди населения широкой разъяснительной работы по оборудованию квартир охранной сигнализацией. Указание совершенно правильное, но, к сожалению, практически невозможно составить перечень случаев, на которые приказы и указания не распространяются.

— Ну, родной, сообщай свои фамилии, только сразу договоримся, не фармазонить, все равно проверим. Да ты садись!..

Настроение у Рата майское, даже про еду забыл.

— А чего ж скрывать, раз попался? Все равно пятерку дадут.

— Пять годов?! — Старушка опять всплескивает руками, но теперь ею движет жалость.

— Да вы, мамаша, не волнуйтесь, ему не впервые пятерку получать, небось давно по этой линии в «отличниках» ходит.

Засмеялись все, даже «отличник», только старушечье лицо по-прежнему выражало сострадание.

Люди остаются людьми. Сколько раз на моих глазах они готовы были разорвать преступника в клочья, а через пять минут с ними происходила такая же метаморфоза. Наверно, так и должно быть. Без этого парадокса просто немыслимы Человек и Человечность.

— ...Мамонов Николай Петрович, Плужкин Анатолий Сергеевич, Варенцов Петр Михайлович, Варенцов Михаил Михайлович, — продолжал перечислять он, а женщина все причитала:

— Горемыка, горемыка, без роду, без племени...

— Настоящая, как и возраст?

— Настоящих две: Мамонов по отцу, Плужкин по матери. Тридцать семь под праздники стукнуло. Судимостей три, все за кражи.

— Государственные были?

— Зачем? Выше пятерки никогда не поднимался.

— Слесарь-железнодорожник, моторист речного флота, наладчик, рабочий виноградарского совхоза...

Это Гурин просматривает картонные удостоверения, и тут Кямиль, солидно молчавший до сих пор, вскакивает со стула:

— Вай, какой лодырь! Умел столько работа, пошел воровать. Вай, какой дурак!

— И все-то это чужое, — с каким-то скорбным упреком говорит старуха, — а сам-то что умеешь в свои тридцать семь?

«А выглядит он гораздо старше, лет десять лишних по тюрьмам набрал, — опять отвлекаюсь я от протокола. — И что за чепуха все эти ложки, серьги да отрезы в сравнении с украденным у самого себя? Во имя чего крадет? Чтобы не работать? Но разве «солидно» подготовить кражу легко? Разве это не требует затрат энергии? Откуда же берутся вот такие человечьи «перекати-поле» в стране, где нет безработицы?»

Я не спросил, откуда он взялся.

— Сколько краж вы совершили у нас в гостях?

— Не считал, гражданин следователь.

— Я не следователь, а считать все равно придется.

Мамонов задумался, потом, ухмыльнувшись, сказал:

— Сколько есть — все мои. Я всегда признаюсь. Зачем зря время отнимать, вам других ловить надо.

— Ну, ну, помалкивай, — обрывает его Рат, — видел таких сознательных.

Когда формальности закончены, возникает проблема открытых дверей.

— Кто испортил, тот пусть и чинит, — шутя предлагаю я, но Мамонов принимает это всерьез. За несколько минут без каких бы то ни было инструментов он приводит замки в порядок.

— И зачем только эти руки тебе достались?

Неподдельная горечь в словах старушки на несколько секунд меняет выражение мамоновского лица. Бог знает из какого душевного запасника вырывается наружу что-то необъяснимо детское.

Дверь опечатана, и мы триумфальным маршем спускаемся по лестницам. Из непонятной стыдливости неизвестно перед кем у нас не применяются наручники, в которых не очень убежишь, и поэтому мне с Кямилем приходится до машины вести Мамонова под руки, как барышню.

Во дворе горотдела полным-полно. Ребята из милицейского батальона рассаживаются по мотоциклам. Только что закончен развод, значит, уже шестой час. Основательно мы проваландались.

— Ну, спасибо, Михеев, поймал, — говорит Рат дежурному.

Тот с недоверием разглядывает Мамонова: с непривычки трудно осознать причинную связь между вспыхнувшей лампочкой и дядей, стоящим у барьера.

— А ты пощупай, убедись, — предлагаю я.

Мамонов понимает, что мы из-за него порядком натерпелись, и тоже улыбается.

Кунгаров с Гуриным идут к Шахинову, а мы с Кямилем, пока дежурный оформляет задержанного в КПЗ *, садимся за нарды. В конце концов, сегодня выходной!

Нарды, конечно, не шахматы, где все зависит от тебя самого, но хорошее настроение примиряет меня с взбалмошными костями. Кямиль целиком отдается игре,

---

* Камера предварительного заключения.

а я механически переставляю шашки из лунки в лунку и думаю черт знает о чем. Ведь, если не побывать в нашей шкуре, может показаться: упрятали человека за решетку и счастливы. А истина в том, что никогда нельзя сказать наоборот: счастливы оттого, что упрятали за решетку. И это не софистика, потому что так оно и есть на самом деле.

— Что Шахинов? — спрашиваю у Рата, еле поспевая за ним. Он так несется в столовую, что Гурин с Кямилем отстали на добрый десяток шагов.

— Принял как должное. Будто после его сегодняшних выкладок Мамонову ничего другого не оставалось, как влезть в эту квартиру и ждать нас.

— А ты обратил внимание, в каком доме находится эта квартира?

— В пятиэтажном, а что?

— В одном из трех, указанных Шахиновым на чертеже.

— Миром правит случай, а...

— Тобой желудок, — с удовольствием закончил я.

ХОРОШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Рабочий день иачинается с селектора. Еще недавно в радиусе его действия находились только райотделы Баку, а теперь и мы приобщились. Правда, качество связи пока неважное, иногда динамик выдает что-то иечленораздельное, напоминающее бурчание водопроводного крана. В таких случаях Шахинов пожимает плечами и шутит: «Опять действовать по собственной инициативе».

Но сегодня все в порядке, и вообще селектор — это здорово! По ходу совещания мы узнали, что за истекшие сутки спокойствие столицы не было нарушено тяжкими преступлениями, что в Наримановском райоие разоблачена шайка расхитителей, что без происшествий протекала работа метрополитена, что дружинники вагоноремонтного завода задержали хулиганов, безобразничавших во Дворце культуры, что с помощью вертолета на Апшероне поймана группа морских браконьеров и многое, многое другое.

А все Рат. Из-за него я тащусь сюда, за тридевять земель, в этот город — спутник Баку. Мы знакомы еще

по юрфаку. Тогда, как и другие второкурсники, я с завистью смотрел на дипломников. Мы были массой, они — индивидуальностями. Они появлялись на факультете с большими портфелями, только начинавшими входить в моду, на равных болтали и шутили с преподавателями, косились на наших девочек и не замечали нас. Мы бы так и не познакомились, если бы меня вдруг не решили исключить из университета.

Я был горячим сторонником свободного посещения лекций и пытался доказать его преимущества собственным примером. За меня вступилось факультетское бюро комсомола, и решающую роль в этом сыграл Рат. Он заявил, что я хорошо учусь, а все остальное — от молодости. То ли довод показался убедительным, то ли потому, что Рату симпатизировал даже декан, дело кончилось выговором. Рат поздравил меня и посоветовал взрослеть как можно дольше. Потом мы встречались просто в городе и по службе, а когда его выдвинули сюда, я потащился следом.

...Очередь дошла до нас, голос из динамика спросил: «Что с кражами?»

Шахинов придвинул микрофон:

— Вчера задержан с поличным Мамонов, рецидивист, без определенного местожительства, по-видимому, гастролер. Признался в совершении шести краж. Продолжаем оперативно-следственные мероприятия.

Совещание закончено, в опустевшем кабинете остаемся Рат, я и Асад-заде — следователь.

— Вчера сработала техника, — улыбается Шахинов, — теперь предстоит поработать нам. Выявить соучастников и вернуть украденное. Думаю, что обе задачи взаимосвязаны. Есть одна деталь...

Он запнулся, словно раздумывая, стоит ли говорить, потом махнул рукой:

— Ладно, смейтесь. Носовой платок. Откуда он такой у Мамонова?

Чистенький, свежеотутюженный, вспомнил я. Действительно, откуда?

— Я обязательно спрошу его об этом, — сказал Асад-заде.

Рат откровенно фыркнул.

— И еще не забудь, спроси, где он остальные вещи держит.

Парень покраснел и наверняка ответил бы резкостью,

но вмешался Шахинов — удивительно обострено чувство такта у этого человека.

— Спросить, конечно, надо, вопрос в протоколе может потом пригодиться. Покажите платок на всякий случай и потерпевшим, хотя мы все понимаем, что Мамонов воровал не носовые платки. И вообще, — Шахинов улыбнулся, — я ведь об этом платке к слову вспомнил, какой уж теперь из меня криминалист. Это как у одного главврача больницы поинтересовались специальностью, и он, перечислив с десяток, включая ассенизатора, добавил: был еще терапевтом, теперь так, любитель...

Сейчас смеялись уже все, и я подумал, что в отношениях между людьми не существует мелочей; как важно вот так, без нажима поддержать общее равновесие, не позволить чьему-либо преимуществу в опыте ли, в должностном ли положении, в сообразительности вылиться в обиду, ущемить чье-то самолюбие. Наука не обижать, пожалуй, самая доступная и одновременно самая сложная для всех нас. Где обучался этой науке Шахинов? В райкоме ли, где когда-то работал, или в бытность следователем? Скорее всего, везде, потому что понимал, как это важно, и хотел ею овладеть. И наверное, без нее никакие дипломы и степени не дают право называться интеллигентным человеком.

От Шахинова мы пошли не в комнату следователей (кроме Асад-заде, там сидят еще двое: с помещением у нас туго), а к Рату. Следователю надо обстоятельно допросить Мамонова, а нам кое-что уточнить. Вчера мы были слишком возбуждены и выяснили немногое.

Хорошо работается нашему брату в детективных кинофильмах. Нажал кнопку, буркнул: привести арестованного, приготовил папиросы, графин с водой, пригласил стенографистку. Теперь гуляй себе из угла в угол и задавай вопросы, конечно для проформы, потому что все-то ты про этого типа уже знаешь. За конандойлевским героем потянулась вереница бледных всезнающих копий, способных со всеми подробностями рассказать обалдевшему преступнику, чем он занимался с той самой минуты, как его мамаша осчастливила человечество. Под напором такой осведомленности обвиняемый падает в обморок, пьет воду, выкуривает предложенную тобой папиросу, потом называет сообщников, местонахождение похищенного и сообщает, каким транспортом

туда удобнее всего проехать. Впрочем, последнее существенно только для нас, потому что его вечно не хватает. В фильме автомашины мгновенно срываются с места, торжествующе наигрывая сиренами. А ты, усталый, но гордый своей исключительностью, барабанишь пальцами по стеклу и с умилением любуешься солнечным закатом или восходом — это уже по вкусу режиссера.

За Мамоновым мне пришлось идти самому. Дежурный возился с двумя задержанными за мелкую спекуляцию, его помощник пошел перекусить. Дело в том, что подменный заболел, а милиционеров у нас и так не хватает: некомплект.

Мамонов прежде всего поинтересовался, когда его отправят в тюрьму. Для таких, как он, это естественно; хочется поскорее избавиться от бытовых неудобств и попасть в привычную обстановку колонии.

— Это зависит от тебя, — сказал Рат, — ты садись, садись.

Ариф старательно заполнял первую страничку протокола, а мы принялись обхаживать Мамонова, пытаясь выудить из него как можно больше. Падать в обморок он, конечно, не собирался, а вот сигареты наши курил с удовольствием.

Словоохотливостью Мамонов не отличался. Да, кражи совершал. Нет, показать дома не может. Они все друг на друга похожи, забыл. Брал, конечно, вещи поценнее. И поменьше, чтоб в портфель, уместились. Перечислить отказался: «Разве все упомнишь?» Асад-заде напомнил по заявлениям потерпевших. Мамонов не возражал: «Им лучше знать».

На вопрос о судьбе украденного ответил:

— Разным людям на улице продал. А деньги были при мне, сами же отобрали.

— Опишите внешность покупателей, — предлагает Асад-заде.

С точки зрения нашей — оперативников, вопрос совершенно никчемный, но следователь обязан его задать и записать ответ, как бы смехотворно он ни выглядел. А что ему на практике делать? Не фиксировать заведомо ложных показаний вроде описания внешности несуществующих покупателей? Это было бы нарушением процессуальных прав обвиняемого.

С другой стороны, над следователем тяготеет необходимость адаптации показаний, иначе в конце первого же месяца у него в остатке очутится половина дел, а через три ему объявят о служебном несоответствии. Но как знать заранее, какая именно часть показаний окажется впоследствии несущественной?

Рату надоело слушать басни, и он перебил Мамонова:

— У кого ночевал?

Мамонов, как видно, ждал этого вопроса и, не моргнув, ответил:

— У знакомой девушки.

— Что за девушка? — подхватывает Асад-заде.

— Нормальная девушка, две руки, две ноги и все остальное...

Мы улыбаемся, но Ариф работает лишь около года. Он срывается на крик:

— Брось кривляться! Где она живет, я спрашиваю?!

— Не хочу я ее впутывать, гражданин следователь, — вежливо отвечает Мамонов и прочувствованно добавляет: — Очень уж она красивая...

«Кричи не кричи, а хозяин положения я. Вы не знаете обо мне ничего, потому что поймали меня случайно. Что хочу — говорю, что хочу — утаиваю, что хочу — переврy, все от меня самого зависит», — не надо быть психологом, чтобы прочитать все это на его физиономии. Но в том-то и штука, что психология эта, как говорил еще Порфирий Петрович у Достоевского, всегда «о двух концах». Можно промолчать, можно переврать, но что утаил, что переврал, отчего растерялся — реакция нормального человека, которую не «подошьешь» к делу, все это уже работает на нас. Мы задавали вопросы и прислушивались к ответам, как в детской игре «Отыщи под музыку».

— У кого украли платок? — Я заранее вытащил его из сейфа и теперь кладу перед Мамоновым.

— Так это ж мой, некраденый.

— А кто выгладил?

Он в замешательстве, но еще не понимает, что музыка для нас играет все громче.

— Та девушка? — помогаю я.

— Ну да, та самая, — обрадованно соглашается он.

— Та самая, из общежития? — уже по-настоящему ошарашиваю его.

После долгой паузы он наконец, сказал что не знает никакого общежития. Его уже начали мучить сомнения. Эх, если б не Гурин!

— А девушка та в мужских брюках ходит, а? — насмешливо спрашивает Рат.

— Не знаю, ничего не знаю, — в раздраженин Мамонов не напоминает прежнего: спокойного, уверенного в себе, — и никакой девушки не знаю, и ночевал на вокзале, и признался во всем, чего еще хотите!

Рат протягивает ему пачку сигарет, хлопает по плечу.

— Ну чего обижаешься? Нам же вещи найти надо.

Умеет он ладить с людьми, ничего не скажешь. Его дружелюбная откровенность обескураживает Мамонова.

— Да я ничего... понятное дело... мне воровать, вам искать. Только я ведь больше ничего не скажу... Одним словом, каждый за себя отвечает... такое у меня понятие.

— Понимаем, что ничего не скажешь, иначе бы вокруг да около не крутили... — Рат подмигивает Мамонову, — а прямо спросили бы, как его фамилия и кем в общежитии работает?

— Ну вот, опять... — Мамонов устало машет рукой.

Асад-заде забирает Мамонова в свою комнату, ему еще писать и писать.

— А ведь он уверен, что так ничего и не сказал нам, — смеясь, говорит Рат.

— Да, нелепо получается.

— Что нелепо?

— Нелепо, что путь к правде иногда указывает ложь.

— Тебя по понедельникам всегда на философию тянет. Я это давно заметил. Мне не жалко, только сегодня не стоит, потому что хороший понедельник. А насчет общежития никаких данных у нас нет. Придется...

Я киваю:

— «Топ, топ, топает малыш...» Все ясно, отправляюсь.

В дверях сталкиваюсь с Гуриным.

— Хотел пораньше, ничего не вышло, — сообщает он, пожимая руки и решительно раздеваясь.

Мы про него забыли, а он после поимки Мамонова

уже не отстанет надолго. Это ведь как удачно у него получилось: пришел, увидел, победил.

— Давайте планировать дальнейшие мероприятия. Я уже кое-что набросал. — От него так и пышет бодростью. — Вы тоже присаживайтесь. Некоторые пункты Кунгаров, по-видимому, возложит на вас.

Я продолжаю топтаться на месте, выжидательно посматривая на Рата.

— Он в общежитие должен...

— Пойдет немного позже. Или не терпит отлагательства?

— Нет, почему же, — мнется Рат.

— Вот и хорошо. Это же на пользу делу, что за работа без плана?

Кураторы-дилетанты всегда говорят правильные вещи, в этом, вероятно, секрет их живучести.

Примерно через полчаса мы уже знали, что предпринять дальше по делу Мамонова. Во-первых, наши оперативные мероприятия должны носить наступательный характер, во-вторых, все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства необходимо бросить на разоблачение возможного соучастника и обнаружение украденного, в-третьих, привлечь общественность к выявлению скупщиков краденого, в-четвертых, провести вокруг Мамонова разъяснительную работу по склонению его к выдаче соучастников и добровольному возврату украденного, в-пятых, используя возможности местной печати и радио, довести до сведения населения о задержании вора с помощью технических средств сигнализации, в-шестых и так далее, провести работу, которая по своему объему была бы под силу разве что всей милиции республики.

Гурин читал взахлеб, застенчиво поглядывая на нас. Эта застенчивость разительно отличала его от О. Бендера, знакомившего васюкинских любителей со своей шахматной программой.

Наконец он снял очки и предложил нам высказаться. Рат промямлил что-то насчет правильности общего направления, а я сказал, что сегодня все-таки понедельник.

Рат понял, кисло улыбнулся, а Гурин удивленно покосился на меня, и я объяснил, что вся неделя еще впереди и для планирования сроков исполнения это очень

удобно. Кажется, он не совсем мне поверил, потому что сразу сказал:

— Ну, вы можете идти.

Завистливый взгляд Рата жег мне затылок, но я не оглянулся. Умение ладить с людьми в некоторых случаях его подводило.

ЛИЧНЫЙ СЫСК

До общежития можно добраться на автобусе, но можно и пешком. Я решил, что пешком даже лучше. Появляться там в обеденный перерыв не хотелось, слишком много народу, а было только начало второго.

Декабрь, а в небе ни облачка, и теплое солнце лениво дремлет на своей верхотуре. Я люблю быструю ходьбу и могу запросто отмахать в таком темпе с полтора десятка километров. В это время у меня возникает странное чувство двойственности, будто идет кто-то другой, а я лишь сижу в нем и могу заниматься чем угодно: смотреть по сторонам, думать или просто отдыхать.

На этот раз я слушал музыку. Транзистор не нужен. У меня все гораздо проще: стоит захотеть, и она уже звучит. По выбору, по настроению. Сейчас игралась вторая часть Крейцеровой сонаты. Сперва мелодию вел рояль, а скрипка аккомпанировала. Потом наступил момент перехода, которого всегда ждешь с наслаждением. Десятки раз слушал, и все равно мороз по коже, когда ту же мелодию начинает повторять скрипка. Точь-в-точь и совершенно по-своему. Это мое любимое место. Оно пробуждает уверенность в беспредельности прекрасного. И тогда легче быть сыщиком.

Вот и общежитие. Я не планировал свой поход на бумаге, но это вовсе не значит, что иду сюда наобум. Все-таки я не Варнике, а обычный выпускник юрфака с пятилетним стажем работы. Во-первых, мне нужен основательный предлог для вторжения, позволяющий познакомиться со всеми работниками общежития. Этот предлог в виде отпечатанной типографским способом фотографии уже разысканного преступника лежит в моем кармане. Во-вторых, мне нужно выяснить, кто из персонала работает по совместительству в соседних жилых домах. Пунктов не так уж много, склероза у меня нет, поэтому незачем переводить бумагу, у нас с ней и так туго.

Из каморки под лестницей высунулся дряхлый старик и спросил, куда я иду.

— К коменданту, — ответил я.

Он тут же исчез, потому что шипение чайника в каморке становилось угрожающим.

Здание пятиэтажное, но коменданты выше первого этажа никогда не забираются.

Откуда-то сверху доносится аккордеон, здесь же, внизу звуки разнообразнее: бренчанье тара, стук домино и голоса, один громкий, другой приглушенный, в конце коридора. Подойдя к полуприкрытой двери с крупной надписью «КОМЕНДАНТ», я различил слова: «Долго нам еще нюхать?! Я спрашиваю, долго нам еще нюхать?» — «Ну, чего ты кричишь, Зюзин? Я ж заявку еще вчера послал». Приглушенный голос принадлежал сидевшему за столом. По-видимому, это и был комендант.

— Здравствуйте, — сказал я, и кричавший парень нехотя ретировался.

Зато комендант взглянул на меня с благодарностью, облегченно вздохнув, сказал:

— Собачья должность у меня, вот что. Туалет у них действительно засорился, только мне-то что делать, если слесаря сразу не присылают?

— И давно вы на этой самой должности?

Он улыбнулся.

— Уже лет тридцать по хозяйству работаю, а здесь недавно, — и с обидой добавил: — небось на прежнего не кричали, тот сам всех матом крыл. А я последнее время в интернатах работал, с детьми, ругаться разучился.

Мы помолчали. Он не спрашивал, кто я и зачем явился, а мне тем более торопиться не к чему.

— Ушел бы на пенсию, да хозяйство жаль. Кто его знает, кого взамен пришлют.

Я вспомнил аккуратно выметенный коридор, чистые стекла в окнах, свежевыбеленные стены здания и поверил в искренность этого пожилого человека, так вкусно произносившего слово «хозяйство».

— Вид у вас усталый. Или с помощниками туго?

— Помощников хватает, у меня и добровольные есть. Это они с туалетом возиться не хотят, а что-нибудь другое давно б сами исправили. Шутка сказать, триста человек — всех специальностей мастера!

Меня, конечно, интересовали помощники штатные, но повторять вопрос, не назвав себя, неудобно. Я представился и объяснил мнимую цель своего визита. Комендант повертел фотокарточку.

— Нет, такой у нас не проживает.

— Может быть, раньше, еще до вас или просто приходил сюда? Кто из персонала сейчас на работе?

— Уборщицы уже ушли, нет, одна после перерыва работает, должна скоро подойти. Сторож Гусейн-киши, да вы его, наверное, видали, Намик в кочегарке и прачка наша, Огерчук Валя.

— У вас и прачечная своя?

Мое удивление было ему приятно, и он с удовольствием рассказал, как пришлось пробивать эту идею и как здорово помогла Евдокия Семеновна Круглова — парткомша с комбината.

— Он баба умная, в горкоммунхозе прямо заявила: «Я женщина, сама себе постираю, а мужчинам что делать? Или вы за то, чтобы грязь разводить?!»

Круглову я знал в лицо, у горотдела с комбинатом давно установились союзнические отношения, и сейчас очень ясно представил себе, как она наступала на коммунхозовцев.

Однако комендант увлекся, пора было возвращать его к интересующей меня теме.

— Может быть, кто-нибудь из персонала работает по совместительству в соседних домах и мог видеть его там? — предположил я.

Подумав, он отрицательно покачал головой.

— Уборщицы Рахматуллина и Мирбабаева работают в школе, другие только здесь.

Мне не хотелось расставаться с удобной версией.

— А остальные? Сторожа, например... Сколько их у вас?

— Сторожей трое: Гусейн-киши, сами видели; Асадов — инвалид, без ноги, хорошую пенсию имеет, от скуки работает; Гаидрюшкин, тот помоложе и здоровьем еще крепок, но такого лентяя свет не видывал. Да и знал бы я, если б работали...

Вот и все. Неужели мы на кофейной гуще гадали? Медленно прокрутил в памяти кадры мамоновского допроса. Нет, не похоже, чтобы мы с общежитием промазали. Может быть, из живущих? «Триста человек, — подумал с ужасом, — поди проверь... И кто из них мог

быть связан с шестью домами? Нет, триста человек, слава богу, можно оставить в покое. Либо из персонала, либо общежитие вообще ни при чем».

— А вы точно знаете, что он в этом районе прячется?

Вопрос коменданта — естественная реакция на мою настойчивость, но как же он близок к истине!

— Видите ли, по данным милиции Борисоглебска (не знаю, почему мне подвернулся именно этот город), он скрывается где-то здесь. — Для того чтобы как-то оправдать свою назойливость, я добавил: — Это опасный преступник, совершивший там тяжкое преступление.

— А я думал, у нас. Оказывается, вон где...

— Если б у нас, мы бы сами поймали.

Прозвучавшая в моем голосе обида встретила у коменданта понимающую улыбку. Как человек, болеющий за свое хозяйство, он считал это чувство естественным и в других.

Я встал.

— Обойду ваших работников, может, кто и вспомнит.

Сам я в этот обход уже не очень верил. Комендант вызвался проводить меня в кочегарку и прачечную, так что пошли вместе.

Намик, парень с черными, будто вымазанными мазутом и затем вконец перепутанными волосами, возился около поставленного на попа огромного котла. Отблеск горящего газа и кипение пара придавали кочегарке сходство с паровозной кабиной, только паровоз этот был устремлен в небо. «Борисоглебской милиции» Намик, разумеется, помочь не сумел, и мы двинулись в прачечную. Она помещалась в дальнем конце двора, но уже на полпути стал ощущаться специфический запах сырого белья. Навстречу нам вышла женщина с большой дорожной сумкой в руках. Я было остановился, думая, что это и есть «прачка наша, Огерчук Валя», но комендант не обратил на нее никакого внимания, и мне пришлось догонять его уже на лесенке.

В опрятной, ухоженной комнате оживленно беседовали две женщины, одна была в белом халате. Такое ощущение, что попал в приемную больничного покоя; правда, гул машины в следующем, основном помещении тут же нарушал эту иллюзию.

Молодая, со вкусом одетая женщина, судя по обрыв-

ку фразы, жаловалась на кого-то, мешавшего ей жить «по-современному». При нашем появлении она сразу стала прощаться, называя женщину в халате Валей, а в дверях недовольно покосилась на нас: поговорить толком не дали. Бог с ними, с эмоциями, мое внимание привлек сверток в капроновой сетке, который она унесла с собой.

Комендант перехватил мой заинтересованный взгляд и счел нужным пояснить:

— Наша прачечная работает на хозрасчете, вот и приходится иметь дополнительную клиентуру со стороны. А качество у нашей Вали такое...

— Ну уж и зря, — неожиданно для своей крупной фигуры певучим высоким голосом перебила женщина. — Из соседних домов несут, в городскую далеко ехать, вот и все качество.

Мой остолбенелый вид комендант истолковал посвоему.

— Вы не думайте чего другого. У нас все законно, квитанции, счета. И разрешение имеется. Как ведомственные парикмахерские или столовые. Кому от этого плохо?

— Нет, конечно, это разумно, — механически ответил я, потому что думал действительно о другом.

Клиенты из соседних домов, женские откровения и пересуды, из месяца в месяц поддерживаемая связь с примерно постоянным кругом жильцов, и в результате — накопление обширной информации о достатке и образе жизни. Неужели передо мной соучастница мамоновских краж?

Пока она рассматривала снимок, я разглядывал ее. Фигурой и большими доверчивыми глазами она по какой-то странной ассоциации напоминала мне крупного, добродушного кенгуру, каким его изображают на детских картинках. На первый взгляд ей было под сорок, но шея — ахиллесова пята женщины — выдавала ее подлинный возраст. И все же неизменное радушие в сочетании с детской непосредственностью — вернув фотографию, она брезгливо вытерла руки о фартук — вызывали в окружающих желание называть ее по имени.

Нет, я оперативник и в отличие от следователя имею право на интуицию. Я ищу преступника. Мне не надо доказывать ни его вины, ни невиновности такой вот Вали. Просто я принял к сведению, что она не могла быть

заодно с Мамоновым по извечной формуле: этого не может быть, потому что не может быть.

Уже потом, когда мы шли по двору, я вспомнил о более существенном доводе: Мамонов говорил о женщине и стал нервничать после того, как Рат назвал его соучастником мужчину. Теоретически, конечно, можно предположить, что Мамонов умышленно сказал правду в надежде на обратную реакцию и, когда мы, по его мнению, клюнули на приманку, мастерски разыграл растерянность. В этом случае он большой артист, и нам надо немедленно прекратить уголовное дело, а его самого передать на поруки Бакинскому драматическому театру. Но если связь Мамонова с Валей отпадает и все-таки окажется, что Валя была невольным источником информации, то для кого же?

Значит, нужно выяснить два вопроса: куда отдавали в стирку потерпевшие и кто составляет ближайшее Валино окружение. Где-то на заднем плане у меня в мыслях все время мельтешил еще платок, свежевыстиранный и аккуратно отутюженный. Может быть, оттого, что я только что побывал в прачечной и видел стопки чистого белья. Надо показать его потерпевшим, не исключено, что Мамонов все-таки его украл.

— Ваша Валя отличная хозяйка и, видно, добрая женщина. Для мужа, одним словом, клад.

— Она и есть клад. Только чего там муж... Нет у нее никакого мужа, а если будет... — и комендант, не договорив, сердито сплюнул.

— Да, таким не везет, — попытался я поддержать разговор, но он упорно молчал, думая о чем-то своем.

Мне хотелось быстрее рассказать Рату о своих предположениях, связанных с прачечной. Но его в горотделе не оказалось. Ткнулся к Шахинову, и тоже напрасно: на заседании в горисполкоме. Пошел к «беспризорникам» (так в связи с отсутствием болевшего начальника отделения Рат называл следователей). Двое прилежно писали какие-то заключения, но Арифа как раз и не было «Он в экспертизе», — и снова уткнулись; видно, срок поджал.

Вконец расстроенный, я вернулся к себе. Меня распирало, а вокруг пустующие столы, ребята разъехались еще с утра. Решил заняться бумажками — у оперативников их всегда навалом, — даже заглянул в сейф, но дальше этого дело не пошло. Бывают же такие сума-

сшедшие минуты, когда оставаться наедине с собой невмоготу.

«Надо выложить все Аллочке, — подумал я. — Ей, женщине, легче оценить мою фантазию о клиентах-потерпевших». Я успел внушить себе, что эта консультация действительно необходима, и вошел в «детскую» по-деловому энергично.

Добрая «фея маренго» склонилась над мальчуганом лет десяти-одиннадцати и гладит по волосам. Он еще сопит, но голову не убирает. Нравится. Зато на меня Аллочка смотрит львицей, которой помешали облизывать своего детеныша. Да, горотделу явно не до меня, ему и без краж забот хватает.

Тут мне сказали, что Музаметдинов разыскивает кого-нибудь из оперативников. Фаиль — замполит. К нам он пришел с партийной работы на Нефтяных Камнях, а туда — с Тихоокеанского флота. Он до сих пор носит широкую, по-флотски, фуражку, фасонно надвигая ее на лоб, но скорее не этим, а какой-то внутренней открытостью удивительно напоминает парня из гриновского Зурбагана.

У него сидит Леня Назаров, он же Н. Леонидов, из городской газеты. С прессой, как и с комбинатом, у нашего горотдела союзнические отношения. Выясняется, что Леня хочет сделать факт задержания Мамонова достоянием широкой общественности.

— Понимаешь, старик, расползлись слухи, будто в городе орудует шайка, совершившая с десяток краж. А вор, оказывается, один, да и тот пойман.

— Но вещи еще не найдены.

— Видите, я же говорил, что пока писать неудобно, — подхватывает Фаиль.

Леня озадаченно вертит приготовленный блокнот.

— О самом-то факте сообщить можно? А потом, когда полностью разберетесь, дадим подробный материал.

— Граждан, конечно, успокоить можно. Кунгаров не будет возражать? — Фаиль вопросительно смотрит на меня.

— Против краткого сообщения, по-моему, нет.

— Ну да, так и дадим, анонимно.

Леня спохватился, но мы с Фаилем уже хохочем.

Из-за газетного псевдонима Рат дразнит Леню анонимщиком, ему это, естественно, не нравится, а тут он сам полез под удар.

Потом они возвращаются к прерванному моим приходом разговору. Оказывается, они начали с Мамонова и перешли к причинам преступности в целом. Эта тема — конек Мухаметдинова.

— Под нами хлебный магазин, я несколько раз видел, как разгружается хлеб из машины. Шофер перебирает его рукавицами, в которых только что крутил баранку. Экспедитор влезает в кузов, чтобы дотянуться до верхней полки, к его ногам сваливаются одна-две буханки. Бывает и похуже. После этого ты можешь брать его блестящими щипцами, нести домой обернутым в целлофан, грязи на нем от этого уже не уменьшится. От милиции, помимо борьбы с преступностью, требуют еще и выявлять и устранять ее причины, и мы это делаем, но только со стадии «щипцов». Поймите же наконец, что требовать от нас большего абсурдно!..

ГДЕ ВЫ СТИРАЕТЕ?

В силу привычки придерживаться определенной системы я решил обойти потерпевших в хронологической, по времени совершения краж, последовательности.

Дверь первая. Только перед ней я вдруг вспомнил, что за термином «потерпевшие» стоят люди, которых обокрали. Странно, что такая очевидная мысль не приходила мне в течение двух недель, хотя все это время я только тем и занимался, что старался помочь им.

Сперва они ассоциировались с неприятными сообщениями о кражах, потом я рассматривал их как бесполезных в розыске преступника свидетелей, теперь считаю носителями важной информации. Вот и получается, что явления второго порядка заслонили то главное, ради чего существует милиция.

Сейчас я позвоню и задам совершенно идиотский, с точки зрения потерпевших, вопрос: где они стирают белье? И буду повторять его в пяти квартирах. Мои визиты могут вызвать недовольство, раздражение, даже насмешку, но я заранее должен признать естественной реакцию пострадавших людей.

Дверь открылась, и я попал в знакомую обстановку времени «пик». Мама переодевала в домашнее ребенка ясельного возраста; он слегка попискивал, скорее от

удовольствия. Папа крутил мясорубку и, увидев незнакомого мужчину — они меня, конечно, не запомнили настолько, чтобы узнать сразу, — тоже двинулся к дверям.

— Я из милиции по поводу той кражи...

Оба закивали, в ожидающих взглядах надежда. Когда я сообщил о поимке вора, надежда переросла в уверенность. Теперь бы пригласить в горотдел и возвратить молодоженам отрезы на платья, костюм, свадебные подарки, столовое серебро. Вместо этого я показываю носовой платок.

Нет, это не их платок, а на лицах разочарование. Дело не только в стоимости украденного — в конце концов, у них все впереди, будут и костюмы, и ложки, — обидно, когда обворовывают в самом начале самостоятельной жизни.

— Где вы стираете? — спрашиваю я.

Они удивленно переглядываются, а я смотрю на них с таким же ожиданием, как только что они смотрели на меня.

— В прачечной, — отвечает она.

— Это имеет значение? — раздраженно спрашивает он.

— Да. В какой?

— Здесь, за углом. В общежитии.

Моя радостная улыбка передается им. Дверь за мной долго остается незахлопнутой.

Неужели совпадение? И я невольно убыстряю шаги.

Дверь вторая. Тут же после звонка на меня обрушился лай. Значит, гражданин Сергеев принял меры предосторожности на будущее.

Он узнал меня сразу, прикрикнул на мордастого боксера:

— Булиш, на место!

Потом спокойно добавил:

— Товарищ нас тоже охраняет.

Меня передернуло, а лицо потерпевшего Сергеева растекается в довольной улыбке. Начиная с надбровных дуг, она охватыват щеки, уши, переплескивает через очки на кончик носа и, скользнув по подбородку, стекает за воротничок. Только глаза остаются не тронутыми этим разливанным морем веселья. Странное дело, но мне показалось, что именно эта улыбка заставила пса возобновить ворчание.

— Что же мы стоим, проходите же, проходите...

Теперь хозяин сама любезность, будто после нанесенного оскорбления у него гора с плеч свалилась.

— Вы думаете, я собаку из-за кражи взял? Нет, кража здесь ни при чем.

Меня это совершенно не интересовало, но Сергеев с увлечением продолжал:

— Собака — самое благодарное существо на свете, сколько вложишь в нее внимания и любви, столько же получишь взамен, ничего не пропадет. Мой Граф умер за месяц до этой злополучной кражи. Я называл его Гришкой. Вот, взгляните...

Он порылся в подсервантинке, протянул мне фотокарточку.

— Симпатичная мордашка, — вежливо сказал я, — гораздо приятнее этой...

Я выразительно посмотрел на слюнявого Булиша, а он вывалил свою красную лопату, прихлопнул глазные ставни и дремлет.

— После Графа я не мог взять другую овчарку. — Сергеев вздыхает, и почему-то не глаза, а стекла очков становятся влажными. — А Булька еще дурачок, полная отдача будет не скоро.

Я с детства люблю животных и испытываю недоверие к их владельцам. До сих пор оно казалось мне необъяснимым, а теперь я понял, что меня неосознанно раздражало это эгоистичное желание получить стопроцентную отдачу, на которую не способны даже родные дети, не говоря уж о родственниках и просто знакомых.

Я решительно, как заправский иллюзионист, вытащил платок и поинтересовался, не признает ли Сергеев его своим.

— Нет, не мой. Но по соседству многих обворовали, покажите им. Впрочем, самое главное, что платок вы уже нашли, поздравляю.

Он снова обдал меня своей безбрежной улыбкой, а пес. приоткрыл в ставнях щели и глухо зарычал.

Безропотно глотать вторую пилюлю я не собирался.

— Простите, забыл ваше имя-отчество...

— Сергей Сергеевич.

— Так вот, Сергей Сергеевич, вы напрасно недовольны Булькиной отдачей. У него с вами уже установилась поразительная синхронность: когда вы улыбаетесь, он рычит.

По лицу Сергея Сергеевича пошли красные пятна, и он демонстративно посмотрел на часы.

Зато вопрос о стирке уже не вызвал у него желания острить, но именно теперь он мог бы делать это совершенно безнаказанно, потому что ответ: «В общежитии» целиком и полностью поглотил мои мысли.

Видимо, он понял, насколько важным было его сообщение:

— Жены нет дома: она могла бы более подробно...

Но я уже вставал.

Дверь третья. Ее открыл грузный седой мужчина в расцвеченной всеми цветами радуги пижаме. Черты лица были такими же броскими: крупный нос, еще не побежденные сединой брови вразлет, огромная грива над массивным лбом и губы, которых с избытком хватило бы на три рта. Когда произошла кража, он был в командировке, и я видел его впервые, хотя, по правде говоря, знал о нем больше, чем о других потерпевших, вместе взятых.

Он близоруко прищурился, прислушался к чему-то и пробасил:

— Кажется, опять дерутся....

Я посмотрел на соседнюю дверь, но он замахал ручищами:

— Нет, нет... Это у меня. Мерзавцы!

Потом с неожиданной для грузного тела реакцией рванулся в комнаты, на ходу крикнув:

— За мной!

«Мерзавцы» сидели на ковре и действительно тузили друг друга пластмассовыми кеглями. Но делали они это молча, и «услышать» такую драку мог только любящий дедушка.

Наше появление примирило воюющих, а после моего запоздалого объяснения, кто я и откуда, они дружно ретировались в другую комнату. Теперь их союз был нерушим.

— Неужели и вы, профессор, пугаете их милицией? — пошутил я.

— Представьте себе, молодой человек, я не только пугаю, я и сам боюсь. Да, да, я сам. Всю жизнь перехожу улицы в неположенных местах. Прямо патология, знаете ли, боюсь, а все равно срезаю угол. Вы, случаем, не оштрафовать меня пришли за все сразу? Сумма-то какая наберется, а? Рассрочки просить буду!

Он уселся в кресло, кивком показал мне на соседнее. Это было уже приглашение к разговору по существу.

— Вчера мы арестовали обокравшего вас...

— Меня обокрасть невозможно, — серьезно перебил он.

— Простите, обокравшего вашу квартиру преступника, но вещи пока не найдены, и нам важно знать... — я замялся и, не найдя ничего подходящего, все-таки брякнул: — Где вы стираете белье?

Мой коронный вопрос вызвал приступ необузданного смеха, который заразил и меня.

— Так вы, молодой человек, полагаете, что вор отнес наши вещи в стирку? — едва отдышавшись, спросил он, и мы снова расхохотались.

— Но если это действительно важно, мы наведем справки у жены. Лучше я сам спрошу, ладно? Она сегодня устала; весь день на меня работала: целую кучу с немецкого перевела, а тут еще мерзавцы давали жару.

— Так она спит?

— Нет, нет, читает. Просто подымать не хочется.

Дядя-симпатяга здорово напоминает нашего Темирбека, хотя сходство это скорее внутреннее — им обоим как-то не подходит высокопарная приставка «профессор».

— Передаю дословно: у Вали, общежитие за углом, чудесная женщина. О чем-нибудь вам это говорит? — Он, прищурившись, внимательно смотрит на меня. — Вижу, что да. Можете не объяснять, ваши профессиональные тайны меня не интересуют. Давайте-ка лучше угостимся французским коньяком. Не отказывайтесь, аллах вам этого не простит.

Коньяк был светло-каштанового цвета и чудесный на вкус. Хозяин с удовольствием причмокнул, пододвинул ко мне коробку с конфетами:

— А я по заграницам отвык закусывать, порции мизерные, да и вкус лучше чувствуется. Да, так вот о вещах. Жена, конечно, переживала; в женщинах много еще первобытного: блестящий металл, тряпки... Черт с ним, с барахлом. Мне по-настоящему жаль одну вещицу. Золотые швейцарские часы; отец их в жилетном кармане всегда носил, подарок Тагиева, был такой нефтепромышленник. Когда отца уже давно в живых не было, ко мне все близкие приставали, чтобы спрятал подальше, из-за той надписи дарственной. А я не пря-

тал, ведь не в том дело, кто подарил, а за что подарили. Отец лечил детишек, а дети все равны. Ну, а потом и прятать незачем стало. Где бы мы ни жили, они всегда на видном месте лежали. Если крышку приоткрыть — тиканье слышно...

Видимо, «мерзавцев» озадачила внезапно наступившая тишина, и они просунули в приоткрытую дверь свои физиономии.

— Вот, полюбуйтесь, тут как тут и жаждут бури, спокойствие им не по носу. Удрали мы с женой от их родителей, оставили им в Баку квартиру, так и здесь достают...

Честно говоря, мне не хотелось уходить, но, оказавшись на улице, я сразу вспомнил о прачечной и кражах, впервые по-настоящему осознал, что моя фантастическая гипотеза уже приобрела характер вполне реальной версии, и понесся дальше.

Дверь четвертая распахнулась сразу и настежь. Так открывают, когда кого-то давно и с нетерпением ждут. В рамке дверного проема — точно ожившее творение Рубенса, из чувства современности лишь накинувшее на себя капроновый халатик. Мы удивились оба, но я продолжал стоять, а она тут же исчезла. В этой и следующей кражах я не выезжал на место происшествия, поэтому обитателей квартир знал только по допросам Асад-заде. Мое теперешнее впечатление от хозяйки можно было передать одним словом: штучка.

Она вернулась уже в чем-то непроницаемом, и я, назвавшись, сказал, что должен выяснить некоторые вопросы.

— Пожалуйста, входите, я ждала мужа.

Я позволил себе сдержанно улыбнуться, но она на мой скепсис не обратила никакого внимания.

— Ваши вопросы...

— Это ненадолго. Ваш?

Она отрешенно глянула на платок, отрицательно покачала головой.

Решив, что пускаться в объяснения не имеет смысла, я прямо спросил:

— Где вы стираете?

Звонок буквально сорвал ее со стула. Из прихожей донеслись возгласы и поцелуи. Это продолжалось долго, определенно она про меня забыла.

Наконец они появились в комнате. Одной рукой он обнимал ее за плечи, другой тут же при входе сделал движение, собираясь швырнуть чемоданчик в кресло, и увидел меня. Чемоданчик дернулся и вернулся в исходное положение.

Она покраснела, мягко освободилась от его руки:

— Простите, мы не виделись полгода, — и ему: — Товарищ из милиции, нас ведь обокрали...

Как будто и их можно обокрасть! Ведь Мамонов воровал только вещи. Конечно, она забыла, о чем я ее спрашивал, и мне пришлось повторить вопрос. На этот раз я пустился в долгие и сбивчивые объяснения: я становлюсь косноязычным, когда испытываю неловкость. Какой-то фарисей придумал, что так ждут только любовников, — и в мыслях сразу «штучка». Почему презумпция невиновности в отношении к преступникам не стала для меня определяющей нормой в остальных, куда более безобидных жизненных ситуациях?

— В основном я стираю сама, а что покрупнее — в прачечной.

— У Огерчук?

— У Вали, в комбинатском общежитии.

Мои пробежки от дома к дому становились все стремительнее. Я настолько поверил в несокрушимость своей версии, что перед пятой дверью почти не сомневался в стереотипности ответа: «У Вали, в общежитии». Платок меня больше не интересовал: свою роль необходимой «ниточки» он, пожалуй, сыграл.

— Где мы стираем? В стиральной машине. Если б не Игорь, я б, конечно, отдавала прачке, но он мне помогает. А вам некогда жене помогать, да?

— Ну Леля... — укоризненно тянет совсем еще юный Игорь. — Вы не обращайте внимания. Когда ребенок засыпает, у нее сразу поднимается настроение.

Круглолицая скуластая Леля перестала резвиться и серьезно сказала:

— Сейчас еще что, а первые дни после кражи дочурка вообще не хотела ложиться: вынь да положь ей «усатика», вот где было мучение...

— Этот тип зачем-то прихватил тигренка, — пояснил Игорь.

— Что за тигренок? — Я помнил, что в перечне такого не было.

— Плюшевый, величиной с настоящую кошку. Мы хватились его вечером, когда укладывали спать ребенка.

Мало мне стиральной машины, так появился еще плюшевый зверь!

Я мужественно поблагодарил Игоря и Лелю, даже пообещал вернуть «усатика».

«И все-таки она вертится!» Рзакулиевы, последние у кого побывал Мамонов, тоже стирали у Вали, в общежитии.

ТОЧКА ОПОРЫ

Я думал, вчеращний понедельник никогда не кончится. Едва вернулся в горотдел, пришлось ехать к кинотеатру: передрались мальчишки из ремесленного. На ночь глядя прибежала женщина: оказывается, муж-шизофреник, недавно выписанный «с улучшением», снова впал в буйство. С больным провозились очень долго, потому что «Скорая» его не брала из-за отсутствия санитаров, а держать его в горотделе мы не могли. Наконец пришли к компромиссу: транспорт и врач их, санитары наши. Снимать милиционеров с уличных постов нельзя, еле нашли одного, вторым «санитаром» пришлось поехать самому.

Уже совсем за полночь привезли дядю, дрыхнувшего в городском сквере. Сперва он не хотел вылезать из мотоциклетной «люльки», а потом не хотел туда влезть, чтобы ехать в вытрезвитель. Обзывал нас нехристями и доказывал, что имеет «права» спать там, где ему больше нравится.

И все-таки хороший был понедельник. Я невольно улыбнулся: передо мной одно за другим всплывали лица потерпевших.

Итак, я знаю, что Валина прачечная и выбор квартир Мамоновым для совершения краж каким-то образом тесно взаимосвязаны. Но каким? Думать об этом не хочется. Вот обдумывать полученную информацию — другое дело, но старая уже исчерпана выводом о наличии связующего звена между Валей и Мамоновым, а новой нет, за ней я только собираюсь идти. Информация, информация!.. Живи Архимед в двадцатом веке, ему не пришлось бы просить точку опоры!

Остаток ночи прошел спокойно, дежурный приветствует меня с добрым утром.

— Ничего не доброе, — говорю я, — вся фигура болит.

А утро было все-таки доброе. Я это почувствовал сразу, как только вышел на улицу. Прошел дождь, но такой короткий, как процесс умывания моего Муш-Мушты.

И вообще, я люблю этот час спокойствия и порядка, час, в который, по моему мнению, не совершается преступлений. Улицы наполнены звуками шагов, весомых, знающих себе цену. Это выход рабочего класса, и он действительно полон величия! Мне кажется, людям с нечистой совестью становится не по себе от этого уверенного ритма шагов — потому-то и не совершаются преступления.

На автобусной остановке «Общежитие» людей еще мало: до комбината езды минут десять, а на часах столько же восьмого. Придется подождать, там мне нужно повидать человека, которого я уже давно не видал. С этим парнем меня познакомила работа в колонии. Со студенческой скамьи я отправился туда, хотя были возможности получше. Тогда мне просто хотелось заглянуть за последнюю страничку детектива, ведь любой из них заканчивается изобличением преступника, а что потом? Теперь я убежден, что оперативные работники и следователи, судьи и адвокаты должны начинать работу именно там. Это вооружит их знанием тех, кого они будут потом преследовать или защищать.

Парень был осужден за... Впрочем, какое это теперь имеет значение? Прошлое пусть остается в прошлом. Я что-то для него сделал, уж и не помню что. Скорее всего просто поступил справедливо, а там это ой как ценится. Я не могу точно объяснить, почему воры, расхитители, хулиганы, попав туда, приобретают прямо-таки обостренное чувство к справедливости.

Ага, мой парень вышел из общежития, но к остановке не переходит, видно, решил идти пешком.

Мы случайно встретились месяца три назад, и первое, что бросилось в глаза, — походка. Она не имела ничего общего с той, которая была *там*. Мне было, конечно, приятно, что, навсегда покончив с прошлым, он

не забыл меня. Даже настоял, чтобы я записал номер комнаты и телефон общежития: вдруг понадобится его помощь. Теперь она действительно понадобилась.

Я перешел улицу, и он заметил меня.

— Провожу тебя немного, не возражаешь?

Мы пошли рядом, говорили о том о сем, и тут он сам неожиданно помог мне:

— Домушника у нас здесь поймали... Видать, из приезжих?

— Из приезжих. — И наконец, решившись, говорю: — Мне хотелось бы узнать твое мнение об одном человеке. Ты прачку вашу знаешь?

— Кто ж Валю в общежитии не знает? Только не подумайте чего такого. Поначалу ребята к ней, конечно, лезли, хоть и в возрасте, а лицом приятная, собой фигуристая. Да она всех поотшивала, не криком-шумом, а добром, по-хорошему. Валя — женщина правильная, а работает, словно мать выстирала, и без всякой корысти, ни копейки без квитанции не возьмет. Некоторые ее за это ушибленной считают, мол, как можно за восемьдесят рублей ишачить, а у ней просто выкройка такая, ведь получают некоторые люди и поболе, а хапнуть все равно норовят.

— Вот и отлично. Твое мнение о Вале совпало с моим.

Я сказал это не без умысла, но вполне искренне. Действительно, радостно узнать о человеке, даже едва знакомом, хорошее. Совершенно неправильно представление, будто милиция имеет дело преимущественно с плохими людьми. По роду своей работы мы действительно чаще встречаемся с плохим в людях, но это не одно и то же. А умысел заключался в том, чтобы мой интерес к Вале не вызвал настороженности. Чтобы она не подумала, будто милиция ее в чем-то подозревает.

— У меня к тебе просьба. Я должен знать, с кем общается она вне работы. Даю честное слово, что это в ее интересах.

— Я верю, — сказал он. — Только тут и узнавать нечего, с Гандрюшкиным они женихаются, со сторожем нашим, на полном серьезе. Дура баба. Уж она его ухаживает, лентяя. Даже барахло его персонально вручную гладит.

Так вот почему на мой вопрос о Валином замужестве комендант сердито сплюнул.

У меня в груди что-то екнуло и оборвалось. Так бывает, когда самолет ночью сползает на посадку, и кажется, ни за что на свете не разыскать ему затерянного в бескрайнем пространстве аэродрома, и вдруг толчок, и он уже катится по надежному бетону.

— Это какой Гандрюшкин, Василь Захарыч? — уточняю я.

— Не-ет... этого Михаилом Евлентьевичем, а ребята так просто Мишкой зовут. И до самой смерти своей Мишкой останется, потому что труха, не человек.

— Чем же он Вале тогда приглянулся?

— Да кто знает, по каким приметам она его оценила. Аккуратный он и чистенький, как мухомор после дождя. Одеколон употребляет. Судьбой обижен, потому как детки родные бросили. Он об этом всем и каждому рассказывает, а потом в глаза платком потычет и такое на физиономии изобразит, ни в жизнь не догадаться, что деток этих он уж лет пять как липок обдирает: целую бухгалтерию завел, кто сколько ему присылать должен, словно не отец, а фининспектор какой.

«Детки тоже хороши», — подумал я и еще подумал, что мне повезло: парень оказался на редкость наблюдательным.

— Еще он слабым здоровьем хвастать любит, мол, трагедия семейная подорвала его организм, иначе не сидел бы теперь под лестницей. Тут он снова лезет за платком, потому что и сам не знает, чем бы таким мог заниматься.

Ай да парень! Я живо представил себе большие Валины глаза, доверчиво впитывающие «трагизм» Гандрюшкина, глаза доброго кенгуру из детской книжки. Но эта картина быстро сменяется в моем воображении другой: Валя говорит о своих клиентах, пересказывает услышанное от них по-женски, со всеми подробностями и мелочами, а этот прохвост жадно ловит каждое слово, и задыхается от зависти к чужой, недоступной для него жизни среди дорогих и красивых вещей, с поездками на курорты и за границу, и, как таблицу умножения, запоминает внешние приметы заманчивого мира материальной обеспеченности. Ему плевать на все достижения нашей страны, на стройки родного города. Он не ударил бы на них и пальцем о палец.

Какая уж там радость труда, он привык испытывать одну радость потребления. Но ведь ее тоже надо за-

работать, а он желает получить все, не вылезая из-под лестницы. И тут появляется Мамонов... Мало ли откуда они могли быть знакомы.

Парень украдкой посмотрел на часы.

— Извини, что не вовремя пришел, — говорю я. — Последний вопрос, и сядешь в автобус, иначе влетит за опоздание. Когда работает Гандрюшкин?

— Сейчас заступает, с восьми.

Этот вопрос я задал на всякий случай, еще не имея никаких определенных намерений, просто мне нужно было знать, где в ближайшие сутки будет находиться Гандрюшкин.

Я шел назад к общежитию, невольно убыстряя шаги. Когда позади осталось три квартала и я чуть было по инерции не влетел в общежитие, меня осенила мысль, что торопиться здесь опасно, лучше сесть в автобус и ехать в горотдел. И это действительно было самым разумным.

Во-первых, мое психологическое построение (клиенты — Валя — Гандрюшкин — Мамонов — потерпевшие) нуждалось в фактической проверке. Нельзя так, за здорово живешь, явиться с обыском к этому Мухомору на том основании, что он личность общественно непривлекательная и мог быть соучастником краж. От понятия «мог быть» до «был» дистанция огромного размера, и мы должны убедиться, прошел ли он ее. Во-вторых, Гандрюшкин уже наверняка знал о поимке Мамонова, и если он преступник, то постарался либо избавиться от опасных улик, либо хорошенько спрятать их.

Есть немаловажное обстоятельство: сумма денег, обнаруженная у Мамонова, немногим меньше украденной в целом у потерпевших. Значит, вещи и ценности ко времени последней кражи еще не были проданы. Трудно предположить, что между компаньонами существовал кабальный для Мамонова договор, по которому все деньги доставались Гандрюшкину, — роль первой скрипки не для него. Скорее всего Мамонов вообще не докладывал ему о наличных, а основную добычу они намеревались разделить пополам. Следовательно, для продажи всех этих колец, ложек и отрезов в распоряжении Гандрюшкина имелось два неполных дня. Срок слишком

маленький, чтобы найти подходящего покупателя. Значит, он вещи спрятал в надежде, что Мамонову выдавать его нет смысла. Прошло два дня, и эта надежда превратилась в уверенность. Теперь вообще торопиться незачем, и распродажей он займется потом, когда все успокоится. Спрятал он, конечно, хорошенько, но ведь и мы будем искать как следует.

Я почувствовал, что меня подташнивает: не ел со вчерашнего дня и натощак накурился. Надо позавтракать, дорогой товарищ инспектор, уж это вы наверняка заслужили.

Оказывается, не заслужил. Когда я, очень довольный собой, с удовольствием после слоеных пирожков и какао потягивая сигарету, явился в горотдел, Гурин посмотрел на часы и бросил Рату, что с дисциплиной у нас слабовато. Я посмотрел на него красными (ведь я почти не спал) глазами, но промолчал, потому что возражаю, лишь когда считаю себя в чем-то виноватым. Это нелогично, но большинство людей до тридцатилетнего возраста поступает точно таким образом.

Потом я заговорил, и, честное слово, они слушали меня с большим вниманием.

Едва я закончил, Рат, человек действия, вскочил, а Гурин предложил мне написать подробный рапорт. В это время позвонил Шахинов и попросил всех к себе, так что мне пришлось повторить все сначала.

— Вы убеждены, что Огерчук не имеет к этому отношения? — спросил Шахинов.

— У меня это тоже вызвало сомнения, — подхватывает Гурин.

— У меня нет никаких сомнений, поскольку я с ней не разговаривал. — Оказывается, Шахинов может быть резким, не повышая голоса. — Просто я хочу знать, уверены ли в этом вы сами?

— Совершенно уверен, — сказал я и чуть было не добавил, что Валя — кенгуру, словно это могло объяснить мою уверенность.

— А в отношении Гандрюшкина?

Я замялся, и Рат недовольно покосился на меня.

— Конечно же, он. И слепому ясно!

— Ну так как же? — Шахинов по-прежнему обращался ко мне.

— Надо проверить, находился ли у него в доме посторонний.

— Допустим, все подтвердилось. — Шахинов не продолжал, потому что вопрос был ясен и так.

Рат заерзал и сказал, что после этого не видит никаких сложностей.

— Гандрюшкин может признать, что Мамонов ночевал у него, но кражи...

— А вещи? Куда он денется, когда мы найдем вещи?

— А если не найдем?

— Как то есть не найдем? Не в катакомбах же одесских живет этот сторож. Продать он их тоже не успел.

Тут Рат, раздражаясь от ненужной, по его мнению, проволочки, быстренько привел мои собственные доводы, но то ли оттого, что их высказывал кто-то другой, то ли из-за запальчивости Рата, но теперь уже они не казались мне такими убедительными, как раньше.

На Шахинова они не произвели достаточно сильного впечатления, и Рат, ища поддержки, обернулся ко мне.

— Вещи должны быть у него, — противным от неискренности голосом сказал я. Как раз сейчас мне пришла в голову мысль, что, узнав об аресте Мамонова, Гандрюшкин от испуга мог предпринять что-то в первый же момент. Но как отказаться от того, что я говорил сам Рату пятнадцать минут назад? И я продолжал мямлить об отсутствии у Гандрюшкина близких людей в городе, а Вале он тоже не мог довериться: могла догадаться, чьи это вещи.

— Я думаю, мы слишком все усложняем, — веско сказал Гурин. — Это все-таки сторож, а не доктор юридических наук. Даже я на его месте не вел бы себя иначе.

— Мне трудно представить себя на месте укрывателя краденого, — холодно улыбается Шахинов, — но подменять собой Гандрюшкина никому из нас не стоит. На своем месте он поступил так и только так, как мог поступить именно он.

МУХОМОР

Рат вернулся с пожилой домохозяйкой и дворником, подмигнул нам: «Порядок».

Пока Асад-заде их допрашивал, я подготовил людей

для опознания. Вместе с допросами эта процедура заняла часа полтора, но Рат до конца не выдержал и, бросив: «Я за Мухомором», умчался.

Уже по предварительным описаниям соседей стало ясно, что речь идет о Мамонове. Опознание прошло без неожиданностей. Небольшое отличие в показаниях свидетелей касалось только времени пребывания Мамонова у Гандрюшкина: домохозяйка заметила постороннего на день раньше — на то и женщина.

Перед уходом в камеру Мамонов попросил очередную порцию сигарет, задумчиво сказал:

— Докопались все-таки, а?.. Прям как в кино. — В дверях опять остановился. — Неужель по платку определили?

— Может быть, теперь все как следует расскажешь? — ответил я вопросом на вопрос.

— Не, начальник. Я свое рассказал, теперь пусть хрыч рассказывает.

Ввалился Рат, потребовал сигарету, значит, чем-то озабочен.

— Где Гандрюшкин?

— В КПЗ оформляется.

С непривычки поперхнулся дымом, выругался.

— Как ты думаешь, чем этот тип занимался, когда я влез к нему под лестницу? Ладно, не мучайся. С карандашом в руках штудировал УПК. Как тебе это нравится? У него с детства интерес к юриспруденции, — ломая голос, передразнил Рат.

— Болезненный.

— Я так и сказал. Потом прочитал ему про обыск, знаешь, где «предметы и ценности, добытые преступным путем, скрыты...», хотел сразу расколоть.

— Ну и что? — механически спросил я, потому что догадался о результате и о том, что именно тревожит Рата.

— Ты понимаешь, такое впечатление, что вещей у него уже нет.

Так и есть: именно об этой возможности я подумал утром и промолчал. Промолчал дважды: сперва у Шахнова, потом у Рата. Что мне помешало во второй раз? Ложное самолюбие? Пожалуй, нет, перед Ратом я не постеснялся бы отказаться от ошибочного мнения. Боязнь выглядеть «подпевалой» — вот что. Как же, товарищ мог подумать: только что ты говорил одно, а по-

бывав у начальства — другое. Смешно, но для компромиссов с собственной совестью иногда бывает достаточно даже таких вот нелепых доводов.

Рат смял окурок.

— Поплакались, и ладно. Теперь поздно.

Асад-заде приготовил протокол допроса подозреваемого и в ожидании Гандрюшкина заполнял вводную часть.

— Бери материалы, поехали за санкцией на обыск, — сказал Рат, — а ты, — обернулся он ко мне, — в порядке его поручения допроси Мухомора.

— Я поручаю, — согласился Ариф.

Рат хмыкнул и потащил его за собой.

Всегда любопытно впервые увидеть человека, о котором уже сложилось определенное представление. В данном случае внешнее сходство между оригиналом и созданным в воображении образом оказалось настолько разительным, что я улыбнулся. И впрямь мухомор. Хилое туловище, еще более сужаясь в плечах, незаметно переходило в длинную шею и увенчивалось головой-шляпкой с аккуратно зачесанным пробором в набриолиненных волосах.

Он подошел к стулу, но не сел. Оперся на спинку рукой, взглянул на меня, как сфотографировал, и резко качнул шляпкой.

— Унижен и оскорблен, но смеха вашего достоин. Пригрел перелетную птицу, а она змеей обернулась. Ужален я, ох как ужален. — Вытащил заглаженный конвертиком платок, промокнул глаза.

«Пятистопное ископаемое какое-то», — подумал я. Словно провинциальный артист-неудачник, замороженный в конце прошлого века, вдруг ожил во всей своей оттаявшей красе.

Гандрюшкин снова произвел фотосъемку, на этот раз несколько увеличив выдержку, — хотел узнать впечатление.

— А платочек вам Валя выстирала?

— Валентина Степановна — моя невеста. Подробности эти...

Он запнулся. Как у всякого невежды, лексикон его был ограничен: слово «интимные» в нем отсутствовало.

— ...личные, — нашел-таки синоним, — к делу не относятся.

На его печально-осуждающий взгляд, установленный на предельно длительную выдержку, я отреагировал совсем уж неприличным вопросом:

— Зачем же вы невесте своей ничего из краденого не подарили: платочки вместе, а золото врозь? Или не про всех клиентов вам рассказала?

Гандрюшкин сел и съежился, как мухомор на солнцепеке.

— Вы можете выдать краденые вещи до производства обыска, тем самым облегчив свою вину.

Я произнес эту официальную фразу бесстрастным тоном, но втайне надеялся на успех. И ошибся. Меня обманул его подавленный вид, но как раз про обыск упоминать и не следовало. Наша догадка об истоках совершенных краж явилась для него обескураживающим откровением, а услышав про обыск, он снова почувствовал себя на прежних, заранее продуманных позициях. Позиции же эти без обнаружения вещественных доказательств казались ему неприступными. И не без основания: если вещи не найдены, нет и укрывательства краденого, а «пособничество путем снабжения информацией» трудно доказать — ведь мог же он делиться с Мамоновым, как и Валя с ним, без всякого умысла. Теперь я окончательно уверился, что вещей в доме Гандрюшкина нет и найти их, когда игра пошла в открытую, будет нелегко.

Гандрюшкин распрямился и перешел в контратаку:

— Я хочу прокурора.

Я терпеливо разъяснил, что знакомство с прокурором состоится обязательно, но позже, когда придется выбирать меру пресечения, а может быть, в этом и вовсе не будет надобности, если наши вполне обоснованные подозрения не подтвердятся. Кроме того, прокурору сообщено о задержании Гандрюшкина, а жалобы и ходатайства действительно можно заявлять в письменном виде на бесплатной казенной бумаге, кстати, очень дефицитной.

Потом я перешел к допросу по существу, и он тут же заявил:

— Ответы на ваши вопросы я хочу изложить сам.

Весь разворот протокола он заполнил на одном дыхании, будто по памяти шпарил. Мы явно с ним просчи-

тались, вернее, я его недооценил. Он оказался не так прост, как думалось.

А «изложено» им было вот что:

«Ввиду бедственного материального положения и крайне одинокой старости в свободное после работы время я согласился на временное у меня проживание упомянутого в вопросе гражданина по фамилии Мамонов который обманув мое доверие занялся преступными кражами и воровством тем навлек на меня тяжкое и обидное подозрение в присвоении вещей им украденных мною доселе невиденных и незнаемых как я предполагаю им то есть вором Мамоновым распроданных и пропитых...»

Дальше в том же высокопарном стиле и без знаков препинания он просил «для собственного очищения» произвести у него обыск и «со всем усердием» признавал себя виновым в нарушении паспортного режима.

На обыск я не поехал. Рат предложил мне срочно допросить Огерчук: помимо всего прочего, ей могли быть известны не установленные нами связи Гандрюшкина.

Не знаю, кому было легче, им ли искать напрасно или мне «стрелять» в кенгуру. За исключением Гандрюшкина, конечно. Он заметно посвежел, и шляпка его, казалось, источала добродушие и любовь к ближним — отличная натура для изображения готового к вознесению Христа.

Рат отвел меня в сторону, спросил:

— Ну как?

— Ничего нового: дети, дом, Валя.

— Дом исключается, даже намека не нашли. А вдруг все-таки...

— Нет, — перебиваю я, — она исключается тоже.

— Ты что, телепат? Она его ближайшая связь, мы просто обязаны проверить. Ариф!

Подошел Асад-заде. В его практике это был первый серьезный обыск, и вид у него был совсем обескураженный.

— Готовь постановление на обыск у Огерчук.

— А заодно у коменданта и соседей Гандрюшкина.

— Комендант и сожительница — не одно и то же.

— Не сожительница, а порядочная женщина. Ей же не восемнадцать, чтобы ложиться в постель с печатью в паспорте. Она хотела создать семью и обманулась, ее обокрали так же, как и других потерпевших.

Асад-заде писать постановление не торопился, словно ожидая, за кем останется последнее слово.

Оно осталось за Ратом:

— Зря мы спорим. И дело не в твоей психологии. Все равно прокурор не согласится. Он и про этого сказал, чтобы отпустили, если ничего не найдем, ты же слышал.

Это уже относилось к Арифу, и он с облегчением кивнул. Еще бы! Ему не пришлось принимать решения, а я по себе знаю, как это бывает трудно — и не только на первом году службы. Ведь обыск — оскорбление. Для того чтобы нанести его, надо быть уверенным в своей прáвоте. Но Ариф напрасно радуется. Как и я когда-то, он еще не понимает, что получил всего лишь отсрочку, что скоро он столкнется с необходимостью самостоятельно принять решение и нести за него ответственность. Может быть, в этом трудном умении заключается один из признаков профессионального мастерства — милицейского или любого другого.

Рат выглянул в коридор и пригласил Гандрюшкина. На столе уже лежала разная мелочь, отобранная у того по протоколу задержания.

— Распишитесь в получении, — предложил Асад-заде, — и можете идти.

Гандрюшкин не спеша вывел подпись, высморкался, произвел наш групповой снимок с максимально открытой диафрагмой. Он проделал все это молча, но с таким достоинством, будто сама оскорбленная добродетель выговаривала нам за него: «Вот видите, как все обернулось, а вы сомневались... ай-я-яй, товарищи». Но товарищи не сомневались ни раньше, ни теперь, поэтому Рат сердито сказал:

— За нарушение паспортного режима будете оштрафованы в административном порядке.

Мухомор склонил шляпку набок:

— С усердием прошу размер налагаемого штрафа согласовать с крайне бедственным материальным положением.

От такого наглого фарисейства Рат позеленел, повернулся ко мне:

— Я тебя прошу, по-интеллигентному, вежливо объясни ему, что нам некогда.

Меня не надо упрашивать, и я сурово произношу цитату из Феннмора Купера:

— Бери свое, угрон, и уходи!

— Прошу не оскорблять, буду жа...

Рат посмотрел на него своим стокилограммовым взглядом, и жалоба застряла в горле. Гандрюшкин быстренько собрался и исчез.

Теперь предстояло еще одно «приятное» дело: подробно доложить обо всем Шахинову. Да еще перед самым его отъездом на трехдневный семинар. Однако в кабинете мы застали и Гурина и поняли, что от доклада Шахинов постарается нас избавить.

Несколько минут стояла гнетущая тишина. В кабинете у Шахинова она бывала особенно неприятной.

Рат поежился, неопределенно сказал:

— Да, поторопились.

В это время, по-строевому чеканя шаг, вошел и застыл по стойке «смирно» участковый инспектор капитан Манлов.

Шахинов пожал плечами.

— Сядьте!

Все остальное он говорил в обычном спокойном тоне.

— Время шагистики прошло даже для армии. И там, и у нас нужны в первую очередь специалисты. Если ракетчик не сумеет быстро и точно выполнить приказ, грош цена его умению вытягиваться в струнку. Как бы вы передо мной сейчас ни маршировали, приказ о выявлении посторонних лиц вами не выполнен: в течение двух недель на вашем участке проживал преступник и безнаказанно совершал кражи. Государство доверило нам спокойствие города, в этой ответственности само по себе заключено уважение. Его не прибавится, если подчиненные будут есть глазами начальство, но мы его лишимся вовсе, если, соблюдая формальную дисциплину, будем наплевательски относиться к служебной. И пожалуйста, не поддакивайте. При обсуждении служебных вопросов вы можете соглашаться или спорить, а теперь в вашем одобрении нет никакой необходимости.

Шахинов никого не распекал в присутствии третьего лица, тем паче третьих лиц, но сегодня он изменил своему правилу. Я понял, что это сделано умышленно, когда без видимой связи с предыдущим он в заключение сказал:

— Время бездумных исполнителей прошло. Регули-

ровщики с дипломами ненужная роскошь, их может заменить автомат. Только творческий подход к делу обеспечит рентабельность каждого из нас в обществе, строящем коммунизм.

Когда участковый вышел, Шахинов без тени упрека обратился к нам, словно продолжая утренний разговор:

— Надо хорошо продумать, как все же поступил Гандрюшкин. Я подумаю в дороге, а вы здесь. У вас фора, — улыбается он одними глазами, — все под боком, даже потерпевшие, если понадобится вернуть вещи. В общем, порознь или вместе, но надо думать.

Вместе у нас ничего не получилось. Рат, как это часто бывает, из состояния «оперативной горячки» впал в апатию; Гурин привык мыслить несоразмерными с ничтожным Гандрюшкиным категориями — все равно что из пушки по воробью палить, да еще холостыми зарядами; мы с Арифом попробовали, но ничего путного из этого не вышло.

Ровно в шесть я сказал Рату, что Гандрюшкин мне глубоко антипатичен, настолько, что я и думать о нем не хочу, а хочу обедать и ночевать сегодня дома.

КАК ПОСТУПИЛ ОН

Меня не встретили овациями за то, что ночевал я вне дома, но разводиться со мной не собирались, и проблема: работа или семья, прошу прощения у героев «милицейских романов», у нас начисто отсутствовала.

На меня поворчали, зато тут же накормили горячим обедом, а домашний обед — это вам не столовая.

Муш-Мушта выждал некоторое время и, убедившись, что я продолжаю занимать вертикальное положение, потащил играть в настольный футбол.

Работа в уголовном розыске развила во мне своеобразный инстинкт самосохранения: в свободное время полностью отключаться от всего, что занимало на службе. Мир, к счастью, состоит не только из преступников. Поэтому сверхчеловеки, способные размышлять над криминальными загадками круглосуточно, мне не импонируют. Недаром все-таки Конан-Дойль вручил своему герою скрипку.

Но сегодня мое серое вещество взбунтовалось: слиш-

ком велик объем полученной за день информации. Инстинкт был подавлен, и место в моих размышлениях прочно занял Гандрюшкин. Правда, сперва я думал не столько о нем, сколько о том, куда он мог спрятать украденные вещи. Мысленно перебирая различные варианты, я вдруг понял, что все время исхожу из возможностей абстрактного лица. Тогда как Гандрюшкин — реальная личность, со своими взглядами, привычками и повадками. Значит, ответить на вопрос о вещах безотносительно к самому Гандрюшкину невозможно, и поиск решения надо начинать с исходного: кто он?

Пятьдесят два года, вдовец; дети разъехались по городам и весям, с папашей не переписываются, но деньги высылают аккуратно: дочь добровольно, сын — алименты; в молодости болел туберкулезом, на фронте не был; в Закавказье приехал вскоре после войны, работал почтальоном, потом держал корову и продавал мацони. Скорее всего только продавал, потому что после смерти жены молочная коммерция лопнула. Затем уже где-то на службе торговал газированной водой и пирожками, но недолго. То ли его интересы не совпали с государственными, то ли не обладал необходимой расторопностью; вот уж после этого он забрался под лестницу в общежитии. Это, так сказать, форма биографии, а каково внутреннее содержание? Я убежден в изначальности положительных задатков у любого человека. Но что же превратило Мишу Гандрюшкина в Мухомора? Может быть, болезнь лишила уверенности в себе, а ближайшее окружение в силу неизвестных мне обстоятельств усугубило его сознание собственной неполноценности? Обо всем этом можно только гадать. Случай — совершенное преступление — подсовывает нам уже «выпеченного» жизнью человека. Итак, прощай, Миша Гандрюшкин, пусть тобой займутся другие; и здравствуй, Мухомор, ты уже, к сожалению, по моей специальности.

Внутреннее движение твоей Мухоморьей биографии обусловливалось неизбывным желанием много получать, как можно меньше давая взамен. По этому принципу ты строил свои отношения с обществом, с родными, даже с Мамоновым. Крупного стяжателя из тебя не вышло, помешали лень и страх перед наказанием. Ты превратился в безнаказанного воришку, обкрадывающего в рамках дозволенного законом всех и вся, в том числе

и собственную жизнь. Если бы не стечение обстоятельств, твоя воровская сущность так и не вылезла бы наружу. Впрочем, тут я, наверное, ошибаюсь: природа не терпит несоответствия формы и содержания, все равно когда-нибудь приходится держать экзамен на однородность. Судьба испытала тебя в наиболее благоприятных условиях, когда твое одиночество решила разделить добрая, отзывчивая женщина. Ты выдержал экзамен, подтвердив, что форма все-таки определяется содержанием: воришка в рамках дозволенного превратился в преступника. По привычке ты начал с кражи внутренней, обокрал поверившего тебе человека. Потом сделал следующий шаг: залез в карман, уже охраняемый законом. Переход был чисто символическим, тебе не пришлось отказываться ни от лени, ни от трусости. Действовал и рисковал кто-то другой. Свой собственный риск ты свел до минимума. Стоп! С этого момента возникает основной вопрос: «Как в соответствии с Мухоморьей индивидуальностью ты должен был вести себя дальше?»

Я допустил еще одну ошибку, подумал, что ты растерялся после поимки Мамонова и мог сгоряча избавиться от прямых улик первым попавшимся способом. Ошибка эта двойная. Улики представляют собой ценности на достаточно крупную сумму — до трех тысяч рублей, и расстаться с ними ты был просто не в состоянии.

Во-вторых, ты вовсе не растерялся, когда Мамонов не пришел от Рзакулиевых. Сидя под лестницей, ты обдумал разные варианты и заранее был готов к тому, что случилось. Арест сообщника, конечно, пугал, ведь твой риск сводился именно к этим часам неизвестности, но страх и растерянность — разные понятия. К тому же Мамонову не имело смысла тебя выдавать, по крайней мере сразу. Мы не пришли. Испуг сменился радостью, теперь все принадлежало тебе одному. Только нужно на время избавиться от вещей, чтобы они не стали уликами; кто знает, как поведет себя рецидивист в дальнейшем, да и милиция сейчас начеку. Куда ж ты их дел, соблюдая условия: не продавать, не оставлять в доме, надежно сохранить?

Я по-шахиновски стал чертить на бумаге. Так сказать, мыслить графически.

Схемы не получилось, правда, не по моей вине. Свя-

зей Гандрюшкина с внешним миром едва хватило на изображение жалкого подобия треноги.

Обе линии, соединяющие его с детьми и Валей, я решительно перечеркнул. Оставалась третья. Но разве мог Гандрюшкин довериться просто знакомым? Отдать три тысячи в таком подозрительном эквиваленте, да еще под честное слово? Порядочный догадался бы и не принял, а прохвост просто-напросто присвоит. Тренога развалилась. Мухомор мог рассчитывать только на себя.

Закопал в поле за городом или спрятал на какой-нибудь стройке? Слишком легкомысленно. Как Корейко свои миллионы, сдал в камеру хранения? Понадобился бы чемодан внушительных размеров. Я живо представил себе изумление соседей. Подобный торжественный выезд не мог не запомниться, и вся хитроумная комбинация, затеянная на случай нашего появления, теряла смысл. Вещи он вынес в сетках, частью в карманах или под пальто? Только так. А что ж дальше? Телепортировал их на Эльбрус?

И все-таки Гандрюшкин нашел выход, и, судя по его уверенности, вполне надежный. Но какой? Отгадка вертелась у меня в мозгу, как слово, которое знаешь, но вот сейчас вспомнить не можешь. Однако утомление от прошедших суток сказывалось все больше, и мысли, ускользая из-под контроля, вместо того чтобы сосредоточиться, разбегались черт знает по каким закоулкам. Я боролся еще минут десять и провалился в небытие.

Наскоро запивая бутерброды горячим кофе — с утра он дает хороший заряд бодрости, — я мысленно составил прогноз на сегодня. Делать это по принципу «что день грядущий мне готовит?» вошло у меня в такую же привычку, как у некоторых прослушивать рано утром сообщения о погоде. Выяснилось, что ничего светлого не ожидается, наши умозрительные резервы иссякли, придется готовить оперативную комбинацию.

Перед тем как выйти из подъезда, я сунул палец в нашу ячейку почтового ящика и в который раз подумал, что газеты лучше покупать в розницу: некоторые почтальоны упорно не желают приносить их с утра. И вдруг вспомнил, что Гандрюшкин тоже работал почтальоном. Именно в этот момент на меня свалилось легендарное яблоко. Вчерашний вечер не прошел даром,

ведь яблоки откровения падают лишь на подготовленную почву. Почтовый ящик вызвал цепную реакцию ассоциаций: почтальон — Гайдрюшкин — почта — посылки. Кому? Ответ на этот вопрос я получил еще вчера: себе. Больше некому. Куда? Скорее всего куда-нибудь поближе, в Баку например. Главпочтамт, Гайдрюшкину, до востребования. А?

Снова, как после встречи с парнем из общежития, паруса наполнились ветром и мчат меня к затерянному в бескрайних просторах острову истины. Правда, пока это всего лишь рейсовый автобус.

— Нам придется... — едва поздоровавшись, начинает Рат.

— Не придется. По-моему, не придется, — тут же поправляюсь я, а самого распирает, как ту крыловскую лягушку.

— Что-нибудь новое?

— Пока кибернетики не научатся создавать модели с ассоциативным мышлением, нам нечего бояться конкуренции роботов.

— Ассоциации — это вещь, — улыбается Рат. Он привык, что за подобными выкладками у меня всегда скрывается что-то существенное.

Зато физиономия Гурина вспыхивает, как электрическое табло с таким примерно текстом: «Начхать мне на роботов и кибернетику, а несерьезных товарищей вроде тебя я бы гнал из милиции в три шеи. Тоже мне юморист, а еще погоны носит!»

К моей гипотезе Рат поначалу отнесся с недоверием. Я, горячась, приводил все новые доводы, даже изобразил, как Гайдрюшкин аккуратно, стежок за стежком, обшивает посылку по всем почтовым правилам. Моим союзником неожиданно оказался Гурин. Когда Рат усомнился, что посылка может вместить такое количество вещей, он убежденно воскликнул: «Значит, их было две!» О количестве посылок я, честно говоря, не задумывался. Осознав, что решение вопроса «Как поступил он?» может прийти через новое изучение личности Мухомора, я впал в другую крайность, и вещи потеряли для меня свои конкретные материальные признаки.

— Значит, отправил под вымышленной фамилией на свою собственную до востребования, — сдается Рат. — Можно спокойно подыскивать покупателей...

— Не боясь никакого обыска, а потом, когда шум уляжется или мы убедимся в его непричастности...

— ...заняться реализацией.

Мы перебиваем друг друга, но логика поступков Гандрюшкина от этого не нарушается.

— Как просто и надежно придумано, — искренне восхитился Гурин, — какое образование у этого сторожа?

— Здесь дело не в образовании, — возразил я. — Просто он служил на почте.

— Ну что ж, бери у Фаиля машину. Три почтовых отделения. Может, в каком и повезет. Если, конечно, тебе все это не приснилось.

— Меня смущает другое, — вдруг сказал Гурин, — как мы все это задокументируем?

— Очень просто, — ответил Рат. — Асад-заде вынесет постановление о выемке, прокурор утвердит, возьмем Гандрюшкина...

— Я имею в виду оформление по нашей, оперативной линии, — недовольно перебивает Гурин. — Ведь никаких специальных мероприятий в связи с посылками не проводилось. Просто догадались, и все.

Оказывается, его мучила невозможность увязать данный случай с исполнением требований, предъявляемых к работе уголовного розыска.

— Ну ладно, я займусь этим сам, — словно освобождая нас от главной непосильной ноши, с достоинством заявил он.

Уже в машине я залился смехом: подумал, как Гурин бьется сейчас над документальным оформлением моей догадки. Да, он держится в центральном аппарате только потому, что непосредственное начальство не видит его в деле.

Не повезло нам во всех почтовых отделениях. В последнем я просмотрел корешки квитанций даже два раза. Отправлений от имени Гандрюшкина не было. Неужели действительно приснилось?

— Теперь куда? — спросил шофер, но я опять вылез из машины.

Вернувшись на почту, я стал смотреть документы на получение. И снова безрезультатно. Вот тебе и ассоциативное мышление, недаром его так трудно задоку-

ментировать. Но все же начатое надо доводить до конца, эта привычка тоже из моего актива.

Сержант проворчал — шофер начальства не очень считается с субординацией — и повез меня в отделение, где мы побывали перед этим.

«Гандрюшкину Михаилу Евлентьевичу, до востребования». Черным по белому и вполне наяву. Я держал карточку, и пальцы у меня дрожали. А каково было Ньютону?

Успокоившись, я прочитал, что отправителем является Андрей Гандрюшкин, обратный адрес: Баку, проездом.

На почте, с которой я начинал проверку, Гандрюшкина ожидала вторая посылка, на этот раз от дочери Сони. Обе посылки были отправлены в воскресенье. Значит, Гандрюшкин уехал с вещами в Баку в первые же часы после задержания Мамонова.

Вот с какой мухоморьей предусмотрительностью поступил он. Только с детками зря перестраховался, можно было и без них обойтись.

ОТ НАС — ВДВОЙНЕ

Удивительно, до какой степени может дойти привычка к раз напяленной на себя маске. И расцветка давно поблекла, и многочисленные прорехи выдают настоящее лицо, а любитель маскарада по-прежнему пытается дурачить окружающих.

Гандрюшкин упорно не желал становиться самим собой. Его поэтапная реакция на происходящее в сокращенном варианте выглядела примерно так:

«Посылка мне? От сына!»

«Какое странное содержимое! На что все это старику?»

«Как, еще одна? От дочери!»

«И она насовала бог знает что! Они с ума посходили!»

«Краденые? Те самые, мамоновские?! Да не может быть!!!»

По поручению партбюро Рату на днях предстояло провести беседу о вежливом и культурном исполнении

работииками милицнн своих не всегда прнятных обязаииостей. Фарисейство Гаидрюшкнна, казалось, вот-вот доведет его до приступа морской болезин, ио ввнду предстоящей беседы, иа которой мы с Арифом будем присутствовать в роли слушателей, он стоически сохраиял спокойствне. Асад-заде был занят составлеиием протокола, и только я, лншенный отвлекающего стнмула, иакоиец не выдержал:

— Когда моему сыиу было полтора годика, ои закрывал лицо руками н требовал, чтобы его искали, но в вашем возрасте это выгляднт просто глупо.

— Зачем вы меня оскорбляете? — с мягкой укорнзиой спросил ои.

— В даииом случае это ие оскорбление, а просто коистатация факта, — очеиь серьезно сказал одии из понятых, пожилой почтовый служащий, с каким-то музейным интересом разглядывавший Гандрюшкииа. После этого Мухомор умолк н до самой машины ие произнес ин слова.

А по дороге в горотдел с ним совершеиио иеожиданио для иас произошла истерика. Ои трясся, всхлипывая, тер по лицу кулачками, видимо, платком ои пользовался только для утираиия символических слез.

Мужской плач способеи разжалобить даже страхового агента, а мы всего-иавсего сотрудники милиции. Рат похлопывал Гаидрюшкииа по плечу, я же, как обычио в мииуты сильиого волиеиия, косиоязычио мямлил:

— Михаил Евлеитьевич, иу же, ну, возьмите себя в руки...

— Если бы я зиал... Если бы я зиал... Никогда!

Из дальиейшего стало поиятио: еслн бы ои знал, что все равио будет разоблачеи, он иикогда ие связался бы с Мамоиовым, ннкогда, ннкогда ие совершил бы преступлеиня. Вот он — главный мотнв мухоморьего раскаяиия! Оказывается, превращеине в мухомора иеобратимо, н иикаким сеитимеитальиым мычаиием тут ие поможешь. От того, как мы работаем, зависнт иное: быть или ие быть мухоморам преступинками. Только иеизбежиость разоблачеиия может удержать их. А рецидивистов типа Мамонова становится все меиьше, и, лншившись питательиой мухоморьей среды, онн, пожалуй, вымрут окончательно. Все это давиым-давио заключеио в геиально простой леннской мысли о преду-

предительном значении неотвратимости наказания, но сейчас незаметно для меня самого она стала итогом моих собственных наблюдений.

Происшедшая в настроении Гандрюшкина метаморфоза избавила нас от необходимости задавать вопросы. Он давал показания взахлеб, Асад-заде еле успевал их записывать. Мы узнали, как Мамонов зашел в общежитие в поисках давнего приятеля, но тот еще в прошлом году подался на целину; как, разговорившись с Гандрюшкиным, попросил пустить к себе квартирантом и потом разбередил воображение хозяина, продемонстрировав свое непостижимое умение обращаться с замками; как, еще не сговариваясь, они поняли, чего не хватает каждому из них и какие сведения могли обеспечить Гандрюшкину получение своей доли в будущем. Мы выяснили многие подробности, в том числе и про платок, сыгравший в нашем поиске роль катализатора. Он действительно принадлежал Мамонову, но находился в таком состоянии, что хозяин, отчасти из присущей ему аккуратности, отчасти из желания угодить перспективному гостю, отдал его в стирку вместе со своими вещами.

Только судьба похищенного в предпоследней краже осталась невыясненной. В посылках вещей не оказалось, а Гандрюшкин о них понятия не имел.

— Эта кража — как ложка дегтя, — сердился Рат. — И хоть было бы что! Блузки-кофточки.

— Там был еще тигр. Хозяева хватились его позже, когда укладывали ребенка спать, — сообщил я.

Гурин снисходительно улыбнулся. После обнаружения посылок он стал относиться ко мне более терпимо.

— Я же говорю: чепуха. За каким дьяволом понадобилась Мамонову игрушка?! В общем, будь там целый зверинец, это дело меня больше не интересует, — заявил Рат, демонстративно вытаскивая из сейфа кипу документов.

— Правильно. Остальное должен выяснить следователь, а мы, оперативники, свое сделали. И неплохо. — Гурин садится за приставной столик, тоже раскладывает какие-то бумажки, с удовольствием щелкает авторучкой.

— Я уточню в ходе очной ставки, — сказал Ариф.

Я бы с удовольствием пошел с ним, но Рат оставил меня помогать Гурину.

— Хочу составить подробную справку для распространения в качестве положительного опыта. Борьбе с квартирными кражами руководство придает большое значение, — сказал тот.

Делиться положительным опытом всегда приятно. Но последняя фраза Гурина меня покоробила. Все, к чему бы ни притронулись такие, как он, тут же переворачивается с ног на голову. Получается, будто мы разоблачаем воров не потому, что этого требует смысл нашей работы, а оттого, что этому придает большое значение наше руководство. Руководство у Гурина превращается в отвлеченное полумистическое понятие, существующее само по себе, а мы из сознательных исполнителей своего долга — в служителей этой абстракции. А я под руководством понимаю организаторское начало, обязательное при решении больших и малых жизненных задач, в равной степени близких в масштабе нашего горотдела, например, и Шахинову — начальнику, и мне — подчиненному.

Но сейчас командовал Гурин, мне же приказано ему помогать.

Гурин писал быстро. Я подсказывал ему различные детали, фамилии, напоминал обстоятельства того или иного эпизода. Строка за строкой пересекали страницу, как в эстафетном беге, приводили в движение новую. Но меня не покидало ощущение, что, помогая Гурину, я принял участие в чем-то предосудительном. Потому что сообщение о проведенной нами работе со всеми удачами и издержками под его пером трансформировалось в победную реляцию, читая которую, кажется, слышишь бой барабанов и крики «ура!».

Не знаю, сказал бы я это вслух или нет, но тут за моей спиной раздался голос Лени Назарова:

— Привет Пинкертонам!

— Салют! — гаркнул Рат.

Мухаметдинов, вошедший вместе с Леней, усадил гостя на диванчик.

Леня достал блокнот, сдвинул брови, и теперь это действительно был Н. Леонидов при исполнении служебных обязанностей.

Закончив обстоятельный допрос, он подумал и сказал:

— Опубликуем под рубрикой «Будни милиции», название «Вернуть украденное».

— С восклицательным или без? — серьезно уточнил я.

— Без. — И, спохватившись, что попался на розыгрыш: — Ну чего смеетесь? Хочется показать вашу работу в динамике. Это ж лучше, чем сухая информация.

Против динамики мы не возражали, и Леня, пряча блокнот, с сожалением сказал:

— Конечно, статья есть статья, особенно не развернешься. Вот документальный рассказ... Я бы вас изнутри высветил.

— Не угрожай, — сказал Рат.

— Нет, серьезно, ребята, у меня получилось бы.

Вошел Асад-заде.

— Наш молодой следователь, — представил его Лене Мухаметдинов. — Это его первое серьезное дело.

— Поэтому он ходит не иначе как с протоколами в руках, — добавил Рат, а сам тут же забрал у него исписанные страницы и начал жадно просматривать их. Мысль о шестой краже, видно, мучила его так же, как и меня.

Дочитав протокол, Рат с раздражением бросил его на стол.

— Врет он, все врет, — и, поскольку Леня с Мухаметдиновым уже ушли, добавил по адресу Мамонова пару непроцессуальных терминов. На очной ставке Мамонов ведь повторил, что две шерстяные кофточки, нейлоновую блузку и свитер, о которых напомнил Асад-заде, он продал на улице.

— Почему врет? — растерянно спросил Ариф.

— Да если бы он рискнул продавать вещи сам, зачем их тащить к Гандрюшкину? После других краж вещи были подороже.

— Золотые серьги, например, или отрез английской шерсти, — вставляю я.

— Об этом я и сам подумал. Но на улице ценных вещей быстро не продать, а других возможностей у него не было. Так что я считаю...

— Так и считай, — насмешливо перебил его Рат, — но если на суде он вздумает изменить показания, эпизод с этой кражей лопнет как мыльный пузырь.

Ариф сначала обиделся, но потом сообразил, что Рат

прав: прнзнанне Мамонова не подтверждеио другими доказательствами.

— Ннчего страшного, остальные пять пр йдут как по маслу. Брака у тебя не будет, — удовлетворенный его смущеинем, успоканвает Рат.

Тут я опять вспомиил об игрушке.

— Правдивость Мамонова можио провернть иа тнгренке. Это предмет легко запоминающийся. К тому же он должен был броснться в глаза Мамонову дважды: в квартире, в процессе самой кражн, и на улице, после того как остальные украдеииые вещн были якобы продаиы.

— Не понимаю, зачем мудрнть, — вмешался молчавшнй до снх пор Гурин. — Мы нашлн украденные вещи, за нсключеннем сущей ерунды; следователь, иасколько это было возможно, обосновал обвинеиие; остальиое — дело суда. Если Мамонов даже откажется, суд исключнт однн из шести эпнзодов за недоказаниостью. Вот н все.

Очень удобно распределнть ответственность между всемн понемногу. В конечном счете получается, что иикто ее по-настоящему н не иесет. После такого обобщающего выступлення обычно раздается возглас: «Прекратнть прення!», и прнсутствующне украдкой посматривают иа дверь.

Гурнн аккуратно, через прокладку нз кусочка толстой бумаги, скрепил «наш положительный опыт», Рат уткнулся в разложенные на столе документы, Арнф забрал свой протокол.

Для того чтобы осталось все как есть, надо было только промолчать. Заключить маленькую сделку с самим собой и промолчать. Всего-иавсего. И можио выбросить «мухоморье дело» из головы, пойти к себе, ие спеша после трехдневиой гонки прнвести в порядок скопнвшнеся бумаги и пятичасовым автобусом убраться домой. И ннкакнх хлопот, по крайней мере в блнжайшее время. А там статья в газете об умелом разоблачеиии преступников. А там обзор по борьбе с кражами н опять твоя фамнлия в голубом снянин. Одиим словом, фоитан. Но, думая так, я уже знал, что ннчего этого ие будет.

Я сказал, что Мамоиов ие вспомнит тигренка лншь в том случае, если кражи не совершал. Уж очень она похожа на исключение, подтверждающее правнло: он

лез только в те квартиры, о которых предварительно получал сведения от Гандрюшкина.

Мысль об этом приходила мне и раньше, но на каком-то подсознательном уровне. Сегодня, дополненная отсутствием вещей в посылках, неправдоподобностью мамоновских показаний и тем, что называют интуицией, она оформилась окончательно.

— Зачем же Мамонову оговаривать себя? — удивился Арнф. — Мы ж его не заставляли.

— Такому, как Мамонов, в принципе безразлично — за пять или шесть краж получить очередной срок. Зато он с самого начала понял, как нам хочется, чтобы все кражи были совершены им, и использовал это с какой-то своей целью.

— Решил оказать нам услугу, — съязвил Гурин.

— Уж не знаю. Да я ведь и не настаиваю. Просто надо проверить.

Арнф мялся, но не уходил. Рат молча перебирал документы. Я знаю, о чем он думал. Если кражу совершил кто-то другой, то этого другого надо найти. Сделать это быстро едва ли удастся. А на носу конец года, кража скорее всего пройдет по отчету нераскрытой, и за это в первую очередь будут бить его — начальника уголовного розыска.

— Ну так как же, оставишь суду или?..

Рат не перекладывал ответственности на менее опытного. В самой форме его вопроса уже заключался ответ. Просто в данном случае последнее слово было за Арнфом. Он следователь и должен принять решение. Закон мудр: чем больше прав, тем больше обязанностей.

— Надо проверить, — сказал он.

Я пошел с Арнфом. Заварил — так и расхлебывать вместе.

Прежде всего необходимо официально допросить потерпевшего по поводу все того же тигренка.

Мы приехали рано, Саблиных дома не было. Моросил дождь, торчать в парадном неудобно. Решили подождать их в машине и чуть не прозевали. Дождь усилился, и Игорь с ребенком на руках галопом проскочил в ворота, а видел-то я его всего один раз.

Оригинальный это был допрос. Оказывается, Игорь работал в химической лаборатории и приходил значительно раньше жены. Поэтому на него возлагались дополнительные обязанности по дому, неисполнение которых, видно, грозило ему гораздо большими неприятностями, чем пропажа уже забытой всеми игрушки. «Мне бы ваши заботы», — казалось, думал он, отвечая нам и носясь по квартире как угорелый. А тут еще бэби женского рода, но с ярко выраженными мальчишескими замашками все время пыталось отнять у Арифа авторучку и под занавес, когда мы зазевались, дернуло и с треском разорвало протокол. Папа ее отшлепал, но через пять минут она снова была в форме, так что мне, пока Ариф заполнял новый бланк, пришлось взять на себя роль отвлекающей жертвы.

Потом явилась Леля, похвалила меня за умение обращаться с детьми, указала Игорю на суетливость, мешающую рационально использовать время, и сообщила Арифу, что почерк у него «не ахти». Попутно она что-то подправляла, что-то убирала и успела придать комнате совершенно неузнаваемый вид; перед нами на столе оказалась даже вазочка с живыми цветами. Самое интересное, что все мы, включая бэби, без видимых на то причин дружно сияли, как, впрочем, и сама Леля.

На улице Ариф глубоко вдохнул воздух, бодро сказал:

— Отличная погода, даже в машину не хочется.

Погода здесь, конечно, ни при чем. У меня самого было такое ощущение, будто мне только что вкатили изрядную порцию тонизирующих витаминов.

— Думал, в тюрьму повезут, а вы опять допрашивать, — еще с порога проворчал Мамонов.

Вопрос мы сформулировали так: «Из показаний потерпевших Саблиных усматривается, что, помимо двух шерстяных кофточек, нейлоновой блузки и свитера, у них похищена также детская игрушка, не указанная в первоначальном заявлении ввиду малозначительности; опишите ее».

Он искренне удивился:

— К чему вы это, не понимаю? Ведь если скажу правду, что в глаза не видел никакой игрушки и квартиры этих Саблиных тоже, вы же все равно не поверите.

И тут же по выражению наших лиц понял, что поверим.

— Как хотите, мне так и так срок получать. — Испытующе посмотрел на нас. — Или, думаете, на суде откажусь? Теперь уж нет. За пять ли, за шесть — полную катушку и опасного рецидивиста дадут. Если бы вещи не нашли, от всех, кроме поличной, отказался бы, факт. За одну суд бы еще подумал, как со мной обойтись.

Мы с Арифом переглянулись. Вот зачем понадобилось ему брать на себя злополучную кражу! Он рассуждал примерно так: если отпираться от всех, кроме «поличной», с самого начала, милиция волей-неволей весь город перевернет, чтобы вещи найти, а так поищет сколько положено и авось бросит; если же отпираться только от кражи, которую на самом деле не совершал, на суде это против него обернется; как объяснить, почему в остальных раньше признался? Когда же Гандрюшкин был разоблачен и вещи найдены, отпирательство в одной краже ничего не меняло и привело бы только к проволочке, а ему хотелось быстрее попасть в колонию.

— Так все и запишем, — сказал Ариф.

— Пишите. Для меня что в лоб, что по лбу, а вам так вообще, по-моему, без пользы.

— Это по-вашему, а по-нашему, только правда пользу приносит.

Мамонов посмотрел на него как умудренный опытом папаша на неразумное дитя и веско изрек:

— Правда — она самая невыгодная.

Что там Мамонов — воры всех мастей любят считать остальных сограждан просто несмышленышами. Это всегда злит, но дискутировать с мелким воришкой — роскошь, для него годится аргумент попроще:

— Конечно. Куда как выгоднее всю жизнь по тюрьмам шляться.

— Эх, начальник, не будь той сигнальной штуки, зимовал бы я на воле с полным карманом.

— И без штуки поймали бы, сам знаешь. Неужели не надоело зайцем жить?

Ариф закончил, протянул Мамонову: «На, читай». Тот бегло просмотрел страницы протокола, привычно подписал каждую, вздохнул:

— Вот бы других пяти не было... Дождь-то какой, аж стекла взмокли.

За окном темно, и действительно кажется, будто комнату от улицы отделяют лишь тонкие струи воды.

— Может, и брошу на этот раз, — неожиданно говорит он, — если сам решу.

Везде уже пусто, голоса слышны только у Мухаметдинова.

— Ну? — едва мы входим, спрашивает Рат. Видно, еще надеется.

— Этой кражи Мамонов не совершал. Завтра вынесу постановление о выделении в отдельное производство, — уверенно отвечает Ариф. Наверное, сегодня он впервые по-настоящему осознал себя следователем — лицом, чье решение обязательно, как обязателен для всех закон, в соответствии с которым оно принято.

— Докопались, — невесело бросил Рат.

— Мы его быстро найдем, вот увидишь.

Меня действительно охватила какая-то веселая уверенность. Неспроста же он взял игрушку. А чем это хуже платка? И вообще, это преступление — из исключений, не подтверждающих правила, а с ними всегда легче.

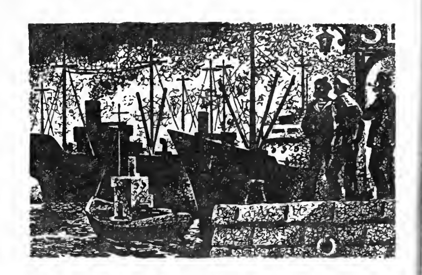
— Придется с утра позвонить в газету, чтоб придержали материал, — сказал Фаиль. Он не очень силен в юриспруденции, но то, что называют социалистическим правосознанием, позволило ему верно оценить обстановку.

— И справочку тоже под сукно, по вновь открывшимся обстоятельствам.

К шутливому замечанию Рата Гурии отнесся с полным безразличием. Он уже потерял к нам всякий интерес и сидит как посторонний. А может, он и есть посторонний?

К машине идем по звенящим от крупных капель дождя лужам. Кончен рабочий день.

Фонарик с надписью «Милиция» над входом в горотдел становится все меньше, превращается в светящуюся точку, сливается с другими огоньками города-спутника... Кажется, все они весело мигают мне: до свидания, инспектор, до завтра!..



Сергей ЖЕМАЙТИС

Побег

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Вторую неделю день и ночь над плоскогорьями Корнуолла полз серый поток тумана, медленно стекая с обрывистых скал в Ла-Манш. В заливе Плимут-Саунд туман был так густ, что корабли, истошно завывая и звоня в рынды, расходились в опасной близости, не видя друг друга.

В Корнуолле обычно стоит мягкая зима — «медленная весна», как называют ее местные жители, но в 1918 году настоящая весна задержалась где-то по ту сторону Ла-Манша, на полях последних ожесточенных битв, хотя исход мировой войны был уже давно предрешен, как и начало солнечных дней в Корнуолле.

С юго-запада подул ветер. Туман заклубился, потрескался. Ослепительный поток солнечных лучей хлынул на воды залива.

Медленно отодвинулась влажная завеса с берегов залива Плимут-Саунд, открыв удивительную панораму гигантского морского порта с сотнями кораблей всех классов, от огромных линкоров, многопалубных лайнеров, громоздких «купцов» до грациозных парусников, буксиров, катеров, рыбацких шхун и яхт. Над портом стоял низкий гул тысяч машин, иногда прорезаемый ревом сирен и гудками паровых катеров. Отходили от причалов низко осевшие морские гиганты с палубами, заставленными пушками и танками, у бортов розовели лица солдат в грязно-зеленой форме. А неутомимые буксиры волокли к освободившимся причалам только что



пришедшие суда, влажные, будто покрытые потом. От мостовых приморского города поднимался пар. Весело разбрызгивали лужи по брусчатке колеса кебов и копыта лошадей, кебмены распрямили спины, согнутые непогодой. Невесть откуда взявшиеся воробьи горланили в ветвях деревьев. Еще недавно пустынные улицы ожили, особенно близ порта, где в многочисленных пабах — пивных — коротали недолгий отпуск торговые и военные моряки. Солнце выманило их из-за дубовых столов и высоких стоек, заставило на время оставить кружки с пивом.

У пивной «Счастливый ветер» с закопченными, вросшими в землю стенами и вывеской, на которой был изображен фрегат, идущий фордевинд, то есть подгоняемый ветром, дующим в корму, собралась толпа моряков и с интересом наблюдала за парусными учениями на клипере, стоявшем на рейде.

Парусные учения в порту, где тысячи знатоков следят за каждой эволюцией и ставят свои оценки, были своеобразным цирковым представлением. Зрители понимали, каково сейчас этим ребятам на реях, и старались по заслугам оценить их акробатическую работу.

— Не так уж плохо работают эти русские, — сказал приземистый матрос с военного корабля, не выпуская изо рта фарфоровую трубку в виде причудливо изогнувшейся сирены. — Как они ловко управились с верхним грот-марселем. Боюсь, что даже я со своими ребятами ненамного бы перекрыл их, когда ходил на «Дублине».

— У каждого был свой «Дублин», — грустно заметил пожилой моряк с сизым носом. — Да, не все плавали на «Фермопилах», — упомянув знаменитый клипер, он выжидательно умолк, тщетно надеясь на вопросы.

— Что-то долго копаются с грот-трюмселем, — небрежно проронил молодой щеголеватый матрос с торгового судна, явно стараясь показать, что и он понимает толк в парусном деле.

— Да-а, грот-трюмсель — это не стул в пабе, — опять заметил грустный моряк, но и на этот раз никто не обратил внимания на его слова, наверное, потому, что в них было явное стремление вызвать интерес к своей особе, в результате которого он мог выпить сегодня лишнюю кружку.

Грот-трюмсель — верхний парус на грот-мачте, са-

мой высокой на клипере. Человек, скользивший по грот-трюм-рее, на сорокаметровой высоте казался темной черточкой. Прошло еще с десяток секунд, и грот-трюмсель затрепетал под легким бризом.

— Тебя бы туда проветриться, — сказал моряк с сиреной в зубах, обращаясь к щеголеватому, — ты бы скорей управился, конечно, если бы голова не закружилась.

Вокруг засмеялись. Молодой моряк презрительно повел плечами, а пожилой, вздохнув, проворчал:

— Посмотрел бы я, как он удержится там в шторм, когда кажется, что мачта с тобой вместе летит прямо к дьяволу и никогда не выпрямится. — Старый моряк насмешливо посмотрел на щеголеватого матроса. — Вот тогда у некоторых штаны мокнут не только от морской воды.

Моряки засмеялись. Когда смех утих, матрос с фарфоровой трубкой сказал:

— Русские могут не только с парусами управляться, они своего царя сбросили, а он у них сидел как принайтованный и, говорят еще, к тому же родственник нашему Жоржу.

— Георгу Пятому, — поправил матрос с торгового судна, — у нас о короле надо говорить почтительно, здесь не Россия.

— Я с полным почтением отношусь к Жоржу, а вот тебя почему-то хочется трахнуть под нижнюю челюсть.

Их помирили без особого труда, и разговор продолжался, но теперь уже о судьбе русского царя и его родственных отношениях с Георгом V.

Щеголь с торгового корабля сказал:

— Наш король не может допустить, чтобы так обращались с его родственниками.

— Ну конечно, — матрос с трубкой подмигнул. — Плохой пример. Боится, как бы мы что-нибудь не предприняли в этом роде.

Кто-то понимающе усмехнулся в ответ, кто-то кивнул, а молодой матрос сказал:

— Короля не следует задевать.

— Кто его задевает, просто жаль беднягу. Незавидное у него положение. Сидит как сыч в своем Букингемском дворце, в паб ему пойти нельзя, с девочками потанцевать тоже не разрешается. Кислое дело. А тут еще с родственниками неприятности.

Вокруг засмеялись и, тут же забыв о короле, несколько минут смотрели молча, как вспыхивали на солнце и свертывались паруса на реях русского клипера.

— Все! Просушили парусину, — сказал матрос с трубкой.

Никто не расходился, так как вскоре от борта клипера отвалил вельбот и, дружно подгоняемый на диво тренированной командой гребцов, помчался к берегу. Подошли еще моряки и несколько рабочих из доков и принесли свежие новости о русском клипере. Каким-то путем стало известно, что «Ориону» запрещен выход из порта.

Эта весть вызвала общее возмущение.

— Как! Не пускать корабль на родину, когда там революция! — воскликнул моряк с трубкой. — Между прочим, кое с кем из этих русских я встречался, — доверительно сообщил он, — парни рвутся домой.

— А груз-то у них знаете какой? — с отчаянием в голосе спросил старый моряк и был наконец вознагражден всеобщим вниманием. — Оружие у них в трюмах. Мне говорили знакомые грузчики. Вначале клипер намеревались направить во Францию, да раздумали. Сейчас, говорят, целая эскадра готовится к походу в Россию.

— Тем более! — моряк выхватил «сирену» изо рта и потряс ею над головой. — Наши лорды испугались, что винтовки попадут в руки большевиков.

Высокий тощий моряк подошел к матросу с трубкой и положил ему руку на плечо. Он все время как-то безучастно присутствовал в толпе, ни разу не улыбнулся, и только иногда в его глазах мелькали любопытные искорки и тут же гасли.

— Идем, Гарри, под крышу, а то я весь просох на солнце, да и сквозняком прохватило.

— Погоди, Арт. Сейчас, — сказал матрос с трубкой. — Как будто они идут к адмиральской пристани. Хотелось бы мне посмотреть, как лорд-капитан будет выворачиваться наизнанку, когда его русские припрут к самому фальшборту. Все-таки союзники. На них вся война на суше держалась. И вдруг арестовали! Ты прав, Арт. Пошли обсудим это дело за кружкой пива. В ночь отходим. Через три часа надо быть на «Грейхаунде». Когда теперь еще посидим в пабе да потянем холодного пивка...

«Орион» был еще совсем новым кораблем. Его построили только перед самой войной в одном из доков Портсмута. Несколько лет клипер служил учебным судном, на нем проходили практику гардемарины — выпускники Морского корпуса, а после больших потерь в торговом флоте им стали пользоваться как транспортом для перевозки военных грузов. Он мало чем уступал знаменитым «чайным клиперам», а по маневренности превосходил их, так как на нем установили паровую машину.

«Ориону» везло. Он ни разу не повстречался с немецкой подводной лодкой, хотя совершил несколько рейсов между британскими и французскими портами, ходил и в Америку по самым опасным морским дорогам, где сторожили немецкие субмарины. Новый рейс предполагался во французский порт Брест. «Орион» взял полный груз для русского экспедиционного корпуса во Франции. В это время резко изменилась политическая обстановка. Революционная Россия вышла из войны. Командир клипера капитан второго ранга Воин Андреевич Зорин обратился с рапортом к начальнику Плимутского порта адмиралу сэру Эльфтону, требуя разрешения вернуться на родину. Адмирал долго тянул с ответом, наконец прислал распоряжение немедленно сдать груз в Плимутской военной гавани и ждать дальнейших указаний. На это командир клипера ответил, что за груз, находящийся в трюмах «Ориона», заплачено русским золотом, и клипер принадлежит России, какая бы власть в ней ни существовала, и он, командир, требует, чтобы ему не чинили препятствий при выходе из порта.

Прошли две томительные недели, и адмирал прислал ответ, в котором со сдержанной яростью писал, что транспорт «Орион» по соображениям, связанным с войной и обязательствами союзников, временно задерживается в порту Плимут, о чем уведомлено русское военное министерство (которого уже не существовало) и на что получено его согласие. При изменении обстановки в британских водах, а также в водах Северной Атлантики транспорту будет дано разрешение покинуть Плимут с надежным эскортом (явный намек на то, что «Орион» включен в экспедиционный корпус).

Получив эту бумагу, командир, пользуясь хорошей погодой, провел парусное учение и вместе со своим старшим офицером отправился в Плимут к адмиралу сэру Эльфтону, чтобы потребовать немедленного разрешения покинуть порт.

Большинство матросов и офицеров с нетерпением ожидали возвращения вельбота, но внешне каждый в меру сил и характера старался не проявлять своих чувств. Вахтенный офицер мичман Стива Бобрин, или «белобрысенький», как его звали между собой матросы, с подчеркнуто равнодушным видом ходил по шканцам, поглядывая на старую крепость и парк. За парком стоял дом, где жила Элен — продавщица из магазина перчаток. Сколько перчаток накупил Стива! Теперь он мог не заботиться о них всю жизнь. Стива был не прочь и дальше поддерживать торговлю отца Элен, и... пожалуй, он был одним из немногих, кто не отказался бы еще постоять в Плимуте.

Козырнув вахтенному офицеру, прошел старший боцман. Павел Петрович Свиридов обходил корабль, осматривая его после учений. Хоть он и знал, что все сделано «по чести», но усидеть в своей каюте не мог. Хотелось отвести душу с матросами, поговорить о доме, ругнуть английские порядки. А потом вдруг, не дай бог, какая оплошность! Нет! Такого боцман не мог допустить, да еще в чужой стране. Свиридов считал, что «клиперок» — частица России. И уж она-то, эта частичка его родины, здесь, на чужбине, должна выглядеть в полной форме.

Пышноусый, приземистый, с непомерно широкой грудью, на коротких кривоватых ногах, боцман словно катился по палубе. Он с озабоченным видом поглядывал на матросов, не спеша заканчивающих приборку палубы, драивших медные пластины на ступеньках трапов, поручни, укладывающих концы в красивые бухты или уже закончивших приборку на своем участке и теперь «точивших лясы». Заметив такую праздную группу, боцман окидывал ее молниеносным натренированным взглядом из-под нависших бровей, а заодно и всю окрестную палубу, ухитряясь увидеть на ней все до мельчайших подробностей, и по его широкому медно-красному лицу, выдубленному ветрами и солнцем всех широт, мелькало что-то похожее на улыбку. Полнее высказывать свое расположение Павел Петрович считал

недопустимой слабостью, которая может плохо повлиять на его матросов и даже привести к самым ужасным последствиям.

Палуба отливала матовой белизной, сверхчистота которой еще больше бросалась в глаза благодаря угольно-черным линиям пазов между тиковыми досками, залитыми варом. Сверкала на солнце медь поручней на трапах. Канаты были уложены в бухты так, как будто их никогда больше не придется разворачивать; дубовый планшир фальшборта, в меру протертый олифой и лаком, отливал медовой желтизной.

Фок-мачта, особенно ее верхняя часть, привлекла внимание боцмана больше других сооружений на палубе клипера. Он остановился, задрав голову, подбоченясь и широко расставив ноги.

— Ишь ты, чертенок, — пробормотал он и улыбнулся так широко и простодушно, будто увидел внука, играющего на пригорке.

На фор-марсе — крохотной площадке, устроенной на головокружительной высоте, — примостился Лешка Головин. Юнга сидел, свесив ноги с марса и держась руками за ванты, разглядывая порт и город. Как ни благоволил боцман к мальчишке, но это был непорядок. Хотя Лешке и разрешили сегодня работать на фок-мачте в паре с марсовым матросом Зуйковым, отбой учений давно сыграли, и юнга должен находиться на палубе. И все же боцману не хотелось лишать мальчишку удовольствия — очень уж, должно быть, красив был город и все вокруг с такой высоты.

— Эй! На фор-марсе!

— Есть на фор-марсе! — донесся сверху звонкий голос Лешки.

— Не зевать!

— Есть не зевать!

— Как там, не возвращается вельбот?

— Еще нет!

— Смотреть!

— Есть смотреть!

Павел Петрович покатился к баку, где его, притихнув, ждали матросы; они улыбались, поняв незамысловатую хитрость боцмана.

— Лясничаете?

— Такое наше дело, Петрович, — ответил за всех Зуйков и, протянув кисет, спросил. — В чем матросу

удовольствие? — И сам ответил: — Покурить и еще душу отвести с друзьями. Кури, Петрович, нашего.

— Не откажусь. У тебя табак хоть ворованный, да всегда неплохой!

— Вот потому и неплохой! Свой-то подешевле норовишь приобрести, а когда уворуешь, то выбираешь получше, ведь не враг себе.

Во время стоянки в американском порту Зуйков вернулся с берега пьяный, волоча огромную связку вирджинского табака, и уверял, что это подарок от «союзников». Командир лишил Зуйкова берега на весь рейс, табак приказал «списать» за борт, что и было сделано с величайшей неохотой.

— Ох, Зуйков, Зуйков, вижу, не оставил ты свои мысли. Капитан мягок с виду, а если еще раз допустишь такое свинство, то попадешь в хоромы за железными дверьми.

— Ну, уж теперь нет, Павел Петрович.

— Пошто так сразу?

— Почему же сразу? Время было обдумать. Ведь это так, Петрович. Спьяну. Теперь и пить брошу, конечно, не сейчас, а вот как придем домой да спишусь совсем на берег. Строиться я решил, Петрович, хватит в бедноте ходить. Такой пятистенок отгрохаю... Парня в город учиться повезу! Теперь, говорят, можно будет и учиться нашему брату.

— Хоромы отгрохать хочешь? — спросил высокий, статный моряк четвертого года службы Назар Брюшков.

— И отгрохаю!

Матросы притихли. Боцман, потупясь, покусывал ус, приминая заскорузлым пальцем золу в трубке.

— Старый куда же дворец-то денешь? — Брюшков зло засмеялся, но его никто не поддержал.

— Да запалю! Ей-богу, подожгу свою старую избу со всех четырех углов, где горе горевали все мои деды и прадеды. Пусть горит ясным огнем, как наша старая жизнь.

— Ты что же, капиталы нажил на морской службе? — Брюшков повел глазами, ища сочувствия. Но все настороженно молчали.

— И я наживал, да не много мне досталось, окромя мозолей. Отец мой наживал тоже, и дед, и прадед. Так, если все наши мозоли сложить, выходит, что они капиталом и оборачиваются. Вот приедешь, бог даст, в свои

Бобриковы Прудки, а там и оттяпали твою кулацкую землю да помещицкую...

— Это уж само собой, — кивнув, сказал матрос первой статьи Громов, худощавый, жилистый, черноглазый.

— Кто же это оттяпает мое нажитое?

— Найдутся! — Зуйков подмигнул. — Охотников много, и не только на твою землю, дележ повсеместно пойдет. Верно я говорю, Громов?

— Верно, Спиря. Все будет как надо, кто что заслужил.

— Во! Слыхал?

Брюшков закусил тонкие губы:

— Интересно посмотреть, как это по заслуге чужое будете делить и как мы вот так и отдадим за здравие живешь! И не ты ли, Спирька Зуйков, главным делильщиком будешь? Не твои ли голоштанные сродственники?

— Может, и мои. Таких, брат, Зуйковых, да Ивановых, да Громовых ух как много! Насиделись на мякине. Хватит.

— Ну, этого мы не боимся. И нас немало. Все на ком держится? На справном мужике, а не на безлошадном прощелыге.

Зуйков блеснул зубами.

— И лошади будут, и земля будет. Вот вчера на берегу, в пивной, наши ребята зашли с «торгаша», ну, слово за слово, разговорились, как же — свои, тоже от тоски мрут на этих островах. Они амуницию должны доставить для нашей пехоты, куда везти ее, эту амуницию, теперь и не знают, и кому ее передать, то ли белым, то ли красным! У них тоже закавыка не лучше нашей. Так вот, они и говорят, что заваруха у нас — сердце радуется! Помещичьи усадьбы жгут, почище, чем в пятом году, землю делят, ну и скот, конечно, тоже.

— Ну, нам этого бояться нечего. Мы еще не помещики. Правда, справное хозяйство имеем. Сам знаешь. Батрачил у нас. И моих братьев видал да отца, попробуй сунься, они тебя так наладят, что ляжешь и не встанешь. — Брюшков злорадно засмеялся.

— И у нас тоже кое-кто дома остался. Царя-то они вашего сшибли! Что, не удержали Николку! Эх, дисциплина мешает, да и Петрович тут, а не то бы...

— Ты постой, Зуйков, не мели зря, — Громов взял его за плечо, — постой, — и повернулся к Брюшкову. —

Вот что, друг, знай, что вопрос этот насчет земли, фабрик и вообще насчет собственности уже решенный.

— Кем это, позволь спросить, решенный? Кто за нас решает?

— Партия большевиков. Советская власть. Не придуривайся, небось слыхал! Власть теперь в России чья? Или тоже не слыхал?

— Как не слыхал, от тебя же, голоштанника, и слыхал. Да слух-то еще не власть, не закон. От этих слухов только голова пухнет. Я слухам не верю. Известно, кто их пущает! Что наш командир смотрит? За такие разговоры прежде в Сибирь, а не то и на перекладину!

Матросы, а их находилось на баке более десяти, заговорили все разом. Большинство стало на сторону Громова и Зуйкова. Вопрос о земле был острый, больной, и страсти разгорались, но боцман вовремя вмешался:

— Отставить! Зуйков, не хватай Назара за грудки! И ты, Брюшков, разожми кулачищи. Что, давно в канатном ящике не сидели? И вы, братцы, не ярьтесь. Службу знать надо и уважать свое место. Не забывайте, что мы военные моряки! Сила России! Стыдно, братцы!

Матросы притихли. Боцман проговорил уже мягче:

— Что же мы, грызться станем на чужой земле? Где наше товарищество? Наши матросы чем всегда брали? Дружбой! Глянь-ка на норвежца, матросня уже зырит. Стыд!

Зуйков вдруг залился звонким смехом и сказал, вытерев рукой слезы:

— Сдохнуть надо, братцы! Здеся, на английской воде, русскую землю делим! Впрямь как бабы у колодца.

Матросы дружно засмеялись, а затем заговорили, перебивая друг друга.

— Ведь правда, братцы!

— Дома разберемся.

— Дома-то еще ой-е-ей какие дела будут!

Матросы стали живо обсуждать только что закончившиеся учения.

Зуйков сказал при всеобщем поощрительном внимании:

— Ученья, братцы, были не простые. Наш-то Мамочка показал им, что стоим, стоим, ждем у моря погоды,

а вдруг возьмем да и распустим крылышки. Сейчас он там все как есть выложит ихнему начальству, скажет, что нету такого закона, чтобы корабль российского флота как бы в плену держать! Насиделись в таком плену и дома. Теперь будя!

Все посмотрели на берег.

Боцман, задрав голову, спросил вполголоса, но так, что было слышно и на юте:

— Эй, на марсе?

— Есть на марсе!

— Что там, на берегу?

— Вельбот стоит у стенки. Наши на ихнем извозчике давно уже уехали, и все нету.

— Не зевать там!

— Есть не зевать!

Лешка Головин, держась одной рукой за топенант, сияющими глазами глядел вокруг. С высоты все было иным — и море, и берег, и беспорядочно разбросанный город, и корабли.

В гавани у бесконечных причалов стояло множество судов. Среди них выделялся огромный транспорт, на него по сходням двигалась серо-зеленая масса: шла посадка солдат. Поблескивали стволы винтовок, каски.

Солдаты не особенно интересовали Лешку, при виде пехотинцев он всегда испытывал жалость и приятное чувство превосходства. Внимание мальчика больше всего привлекала военная гавань. Там сейчас, помимо подводных лодок, стояли два крейсера и несколько транспортов. У доков, как скала, застыл линкор, серый, в ржавых потеках, с развороченной палубой. На дальнем рейде в мареве проступали силуэты эскадренных миноносцев. Два буксира вытягивали из гавани американский транспорт.

Юнга презрительно усмехнулся. Как и все «парусники», он недолюбливал пароходы, тем более когда они обходили их клипер, и в душе им завидовал, особенно быстроходным эсминцам и крейсерам. И все-таки ничего лучше не было для него на свете, чем клипер «Орион».

Лешка любил смотреть на свой корабль со стороны: с берега или со шлюпки, когда его можно сразу охватить взглядом. Низко сидящий в воде, со стремительными обводами корпуса, с мачтами, немного откинутыми назад, что придавало кораблю горделивую осанку. Однажды, еще в Севастополе, Лешка заболел и не по-

шел в рейс, а вышел из госпиталя в деиь возвращения «Ориона». Впервые он увидел свой корабль летящим под всеми парусами. К глазам мальчика подступили слезы восторга при виде такой красоты, изящества и вольиой силы.

Прежде юнга старался скрывать свою любовь к кораблю, потому что никто из взрослых особенно-то не высказывал к нему своих нежных чувств. О клипере принято было говорить ласково-покровительственным тоном: «наш клиперок», «Ориошка», «сто́ящая посудина» или как-нибудь еще в таком же роде. Только однажды мальчик услышал восторженные слова об «Орионе» от взрослого человека.

Из Бреста в Плимут шли в караване торговых судов под эскортом четырех миноносцев. Транспорты старой постройки еле плелись, делая не больше десяти узлов. Дул свежий попутиый ветер, и иа лаге клипера накручивалось до 12 узлов, и то при неполной нарусиости.

«Орион» шел в кильватер головному миионосцу, а когда тот разворачивался и уходил, делая круг, словно овчарка, собирая и подгоняя свое стадо, клипер ложился в дрейф и поджидал тихоходные паровики. Командир «Ориона», к восторгу матросов, ие уравиивал с ними скорость. Вот тогда Воин Аидреевич и заговорил с юнгой о клипере; его слова навсегда запали в сердце Леши Головина.

Командир сидел на мостике в кресле, сплетеииом из бамбука, и читал книгу, иногда перебрасываясь парой слов с вахтенным офицером, да поглядывал иа бизань: не заполощут ли коицы паруса. Ои хорошо знал, что такого ие может случиться, когда у штурвала матрос первой статьи Громов, а вахту несет старший офицер, и все же ие мог побороть привычки, иаходясь на мостике, иаблюдать за парусами. К тому же вид парусов, наполненных ветром, доставлял ему неизъяснимое удовольствие.

Лешка стоял на юте и, облокотясь на планшир фальшборта, любовался эволюциями эсминцев. Ему было обидно, что «Орион» так не сможет, зато и они ие смогут маневрировать, как парусник: сдала машииа, и болтайся, пока не выловят. Лешка улыбнулся, иайдя уязвимое место у быстроходиых эсминцев.

Командир поманил его пальцем:

— Ну-ка, голубчик, мамочка моя.

Лешка подбежал как положено, вытянулся, взял под козырек.

— Вольно, Головин! — Командир оглядел юнгу и остался доволен и опрятностью в одежде, и бравым видом. Похвалил:

— Молодцом выглядишь, мамочка. Вижу, любишь службу?

— Так точно!

— Оглушил, голубчик. Ну зачем так гаркать? Отвечай нормальным голосом. Говори, да или нет. Так нравится?

— Да! Очень нравится. Лучше, чем в экипаже.

— Ну вот и прекрасно. И мне нравится. Да и как может быть иначе?

— Не могу знать!

— Опять! Говори по-человечески, — он ободряюще улыбнулся.

— Не знаю.

— Вот, вот... Видишь ли, нам всем выпало завидное счастье ходить на одном из последних настоящих кораблей. — Командир поднял палец: — Парусный корабль — сын океана и ветра! Две могучие и прекраснейшие стихии как бы созданы для того, чтобы человек мужал, дружа и борясь с ними, делался лучше, чище, благородней. Ты, наверное, заметил, что на парусных кораблях меньше плохих людей?

— Совсем нету!

— Если бы... Ну, иди, через три минуты будут бить склянки, а тебе, знаю, заступать на вахту.

— Вместе с Зуйковым, вперedсмотрящим, господин капитан второго ранга!

— Так смотри зорче, юнга, и не завидуй тем, кто ходит на железных судах. У них, безусловно, есть свои преимущества, как у автомобиля перед лошадью, да лошадь ведь живая, так и парусник. — Командир вздохнул и продолжал: — И как дань времени, у нас тоже стоит небольшая машина, при шторме она бесполезна, зато обеспечивает кораблю маневренность при безветрии.

— Можно выйти из штилевой полосы?

— Вот именно! Молодец! Кроме того, машина греет

нас. На старых-то парусниках было очень холодно осенью, сыро.

— Теперь благодать, — совсем осмелел Лешка.

Командир оставил без внимания последнее замечание мальчика и, думая о своем, продолжал:

— Ты за свою жизнь еще наслужишься на всяких кораблях: и на паровых, и еще на каких-нибудь, с разными машинами, только не раз еще вспомнишь «Орион». Ну, иди, Зуйков ждет...

Лешка встал, цепко держась босыми ногами за решетчатую площадку. Мачта раскачивалась, ветер разноголосо пел в такелаже и посвистывал в ушах. Мальчик подумал: «Что, если пробежать по нока-фор-брамрее, как это делал иногда Зуйков?..»

К действительности юнгу вернул голос унтер-офицера Бревешкина, непревзойденного «словесника». Унтер давно наблюдал за юнгой, ему тоже нравился смелый мальчик, и у него давно уже чесался язык гаркнуть на него, просто так, для поощрения и поднятия духа, да по палубе проходил боцман. Бревешкин же знал службу. Но сейчас боцман лясничал на баке, а унтер отвечал за всю фок-мачту и, следовательно, за Лешку Головина, торчавшего на ней и готового каждую секунду сорваться и грохнуться о палубу. Веснушчатое лицо Бревешкина побагровело, глаза округлились и подались из орбит. Матросы, следившие за ним, оставили работы и замерли в выжидательных позах.

По бухте пронесся прямо-таки звериный рык.

Прочистив горло, унтер рявкнул:

— На марсе... — И затем последовала рулада из ругательств, переплетающихся самым неожиданным образом с упоминанием святых апостолов, Лешкиных родственников, бегучего и стоячего такелажа, Плимутской бухты, города, Британских островов и дна морского. Переведя дух, он приказал: — Вниз пулей!

Матросы по-разному относились к словоизвержениям Бревешкина: положительные, степенные люди высказывали явное неодобрение, были и восторженные поклонники его «таланта», и завистники, старавшиеся умалить «мастерство» унтера.

Неодобрительно покачивая головой, матрос первой статьи Громов подошел к Бревешкину:

— Разрешите обратиться, гражданин унтерцер!

— Давай обращайся... Что там у тебя?

— Да ничего особенного, а только насчет вашей ругани несусветной хочется напомнить, что командир строго запретил лаяться.

— Что-о?! — рявкнул было Бревешкин, да сразу осекся под смелым взглядом матроса. — Ты что, порядка не знаешь? — начал он непривычно-просительным тоном, крякая и сбиваясь на каждом слове. Уж очень большим влиянием стал пользоваться Громов среди матросов. — Ты не очень-то лезь с выговорами. Как-никак все же сам понимаешь, что я не кто-нибудь!

— Мое первое начальство. Это мне известно, и я вам по службе всегда подчиняюсь.

— Ну, а сейчас что липнешь? Уж и слова сказать нельзя? Какой моряк может обойтись без словесности? Тем более что командир на берегу, а некоторым господам офицерам даже нравится «морское слово». — Он кивнул в сторону вахтенного офицера. — Белобрысенький даже в книжечку записывает, когда кто произнесет что позаваристей. И сейчас строчит. Видишь? А ты говоришь! Понимать надо! Что же теперь, при новой власти, если она и завелась гдей-то, так онеметь моряку? Язык вырвать?

— Зачем же языка лишаться? Говори, а не бреши. Ты на военном корабле, а не в царевом кабаке.

Это было уже слишком. Громов совсем «прижал его к фальшборту». Да и матросы посматривали на него с усмешкой, ожидая, как вывернется унтер, как спасет свое достоинство в глазах команды. Бревешкин сжал кулаки.

Громов предупредил.

— Не распаляйся! Руку подымешь, не спущу. Так отделаю, что собой не налюбуешься!

— Ты что, бунт затеял? А?! — Унтер набрал воздуху, готовясь дать «залп из всего главного калибра» и хоть этим отвести душу, да только понял, что команда его не поддержит, и сказал:

— Эх, Иван Громов, не попадался бы ты мне на склизкой палубе, недолго и до греха.

— И правда: поскользнешься, не дай бог, в шторм или при тихой погоде, ночью...

Бревешкин смерил противника взглядом, соображая, кого он имеет в виду, кто поскользнется. И, решив, что

Громов иаконец признал авторитет иачальства, сказал примирительно:

— Вот так-то лучше! — И рявкнул в иебо: — На марсе?

— Есть иа марсе!

— Ах ты, сыи обезьяны и жирафы! Кому сказано — вниз!

— Есть вииз!

— Постой!

— Есть постой!

— Как иа берегу?

— Извозчик подъехал, в ём иаши!

— Виив жива! Держись всеми четырьмя!

— Есть жива!

Бревешкии довольио осклабился и выпятил грудь: все-таки за иим осталось последиее веское слово. Но при случае припомиит ои этому большевику, как учить людей старше себя по званию.

ВИЗИТ К АДМИРАЛУ

Адмирал сэр Вильям Эльфтои сидел в своем обширном кабииете, заставлеииом шкафами, моделями парусных и паровых судов, на которых ои ходил в свое время. За его спииой всю стеиу ваиимала карта мира в проекции Меркатора. Все материки, острова, включая атоллы и мельчайшие рифы, лежали иа бледио-голубом фоие, испещреииом обозиачеиием глубин и лиииями главнейших морских путей. В тех местах, где прошли морские сражеиия, стояли красиые флажки, чериыми флажками обозиачались места, где были потоплеиы иемецкими подводиыми лодками корабли союзников.

По краям адмиральского стола, покрытого зеленым сукном, высились стопки папок, в которых содержались все сведения о судах военных и торговых, стоявших в гаваиях порта, о запасах угля, иефти, различиых товаров в миогочислеииых складах воеииой гаваии, а также запасиых частей для двигателей, боеприпасов, списки команд военных судов, счета различиых фирм и еще множество других бумаг. Ими обрастает всякое современиое предприятие, в котором участвуют миогие тысячи людей и машии.

Адмирал давио понял скрытый смысл, заключеи-

ный в строках многих, казалось бы, совсем безобидных отчетов или донесений; в них военные чиновники старались снять с себя ответственность и переложить ее на плечи своих коллег, а чаще всего на плечи самого адмирала. Поэтому сэр Эльфтон очень редко заглядывал в какую-либо из папок, их приносили по традиции и ровно через час уносили. Адмирал предоставлял возможность разбираться в этом ворохе бумаг и принимать решения своим заместителям и многочисленным начальникам служб, что они и делали без видимого ущерба для дела.

Адмирал подписывал только приказы, письма и отчеты о работе порта, посылаемые в Лондон, первому лорду адмиралтейства сэру Уинстону Черчиллю.

Несмотря на преклонный возраст, лорд Эльфтон сохранил прекрасную память и без труда запоминал названия каждого корабля, стоящего у стенок причала, на рейде, в доках или находящегося в рейсе.

Без стука, неслышно ступая по мягкому ковру, к столу подошел капитан с одутловатым угрюмым лицом, один из менее удачливых сослуживцев адмирала, вышедший в запас, но в войну вернувшийся на флот. Он числился заместителем адмирала по административным делам и заведовал его секретной перепиской.

— Отличная погода, сэр, — сказал капитан, положив на стол несколько сколотых скрепкой листов синеватой бумаги, густо покрытых машинописным текстом.

— Весна, Стаддард.

— Да, сэр.

— Что-нибудь важное?

— Думаю, да, сэр. «Кавалерист» иногда пишет дельные вещи.

— Как ни странно, Стаддард.

— Да, сэр.

Оба заговорщически переглянулись. «Кавалеристом» они называли первого лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля. Они очень хорошо знали всю подноготную этого необыкновенно удачливого человека.

Начинал Уинстон незавидно. Учился из рук вон плохо. С трудом окончил школу и был настолько слабо подготовлен, что пришлось навсегда оставить мечту о юридическом образовании. Раздосадованный Рандольф Чер-

чилль, отец Уинстона, решил пустить его по военной части, и опять неудача: два раза юноша проваливался на приемных экзаменах в пехотное училище. Пришлось идти в кавалерийское, где к сыну лорда не предъявляли особенно жестких требований. По окончании кавалерийского училища молодой офицер был направлен в гусарский полк, находящийся в Индии. Основным занятием офицеров в этом привилегированном полку была игра в поло.

И вот довольно неожиданно и для родителей и для начальства молодой Черчилль написал книгу о колониальных войсках, хорошо встреченную и критикой и читателями.

Впоследствии, уже будучи военным корреспондентом, участником англо-бурской войны, он попадает в плен к бурам, которые чуть было его не расстреляли. Бежит из плена и сразу приобретает славу чуть ли не национального героя, потому что в ту пору английских неудач в войне с бурами побег из плена молодого журналиста был умело использован прессой как пример «доблести истинного англичанина».

Затем началась его головокружительная карьера политического деятеля. И наконец, бывший кавалерист стал первым лордом адмиралтейства — морским министром. Перед самой войной ему удалось провести реформы, благодаря которым королевский флот Великобритании сразу вырвался вперед среди всех флотов мира: Черчилль перевел военные корабли с угля на нефть и увеличил главный калибр артиллерии на крейсерах и линейных кораблях с 13,5 до 15 дюймов. И все же для истых моряков он оставался «кавалеристом». Единственное, что несколько мирило моряков с первым лордом адмиралтейства, так это его родословная: Черчилль происходил по прямой линии от адмирала-пирата Френсиса Дрейка — немаловажное обстоятельство для англичан, которые так чтут традиции.

— Вообще в этом циркуляре нет ничего нового, сэр, если не считать, что от разговоров мы переходим к делу, — сказал капитан с угрюмым лицом, сгребая папки с непрочитанными бумагами.

— Совсем неплохо для любителя игры в поло.

— Все-таки сказывается влияние моря, сэр.

— Если Темза превратилась в морской залив...

— Возможно, сэр... — Капитан вышел с грудой папок.

Адмирал устало взглянул на первый лист, и в его водянистых глазах появилось что-то похожее на любопытство. Пробежав предписание, адмирал повернулся и стал глядеть на карту. Сначала он мысленно проделал путь из Плимута в Архангельск, затем в Баку и, наконец, во Владивосток.

Адмирал поднялся из теплого кожаного кресла и болезненно поморщился, когда услышал сухой треск в коленных суставах. Разминая подагрические ноги, адмирал подошел к камину, набрал из ящика совок углей, высыпал их на угасающий огонь и стал думать, с удовольствием прислушиваясь к потрескиванию кусков кардифа.

Циркуляр из адмиралтейства радовал адмирала. В нем предписывалось немедленно приступить к подготовке судов для экспедиционного корпуса, посылаемого в Россию. «По требованию народа и его законного правительства, — как говорилось в циркуляре, — мы должны оказать помощь нашему союзнику в установлении в России законной власти». Слова «законной власти» были подчеркнуты красным карандашом. Адмирал долгие годы командовал кораблями в колониальных водах и помогал приходить к власти многим «законным правительствам»: сметал огнем пушек селения, в которых народ восставал против этих «законных» правительств. Адмирал без иронии воспринимал этот удачный термин. «Законный» — следовательно, удобный, необходимый для правительства его величества короля Англии Георга V, который также был очень удобен для подлинных властителей Англии, к которым причислял себя и адмирал сэр Вильям Эльфтон.

Адмирал вложил большую часть своих денег в акции Ленских приисков, приносивших весьма приличные дивиденды. Его прельщал и русский лес. Необозримые пространства русского Севера покрыты корабельной сосной, лиственницей, березой. Все это, почти ничего не стоившее на месте, могло превратиться в золото на берегах Британских островов.

Надо отдать дань справедливости — адмирал думал не только о своих доходах, но и о величии Британии. Он знал, что война расшатала устои империи. В Ин-

дии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в африканских колониях идет глухое брожение, возникают партии с программой борьбы за независимое существование. Англия еще сильна, она выходит победительницей в войне и, безусловно, отторгнет от Германии часть ее колоний, но как поднялась Америка! Янки накладывают руку на весь мир. Американский посол в Петрограде Френсис из кожи лезет, чтобы убедить своих либералов в правительстве в необходимости оккупировать русскую территорию войсками союзников без согласия на то большевиков. Нам, британцам, надо быть первыми в этой необходимой акции, и мы будем первыми! Русские нефть, лес, золото, пшеница, дешевая рабочая сила необходимы истощенной войной Британии. Адмирал прошелся от камина к шкафу с толстыми кожаными фолиантами и, взглянув на модель клипера, стоящего на шкафу, ненароком вспомнил о русском корабле, доставлявшем ему столько неприятных минут в последние дни.

«На нем закупленное русским царем оружие. Так пусть оно и послужит для восстановления рухнувшего трона», — подумал адмирал, и впервые его тонкие губы растянулись в подобие улыбки. В России есть силы, которым можно передать оружие с «Ориона». Адмирал с удовлетворением подумал, что им уже предприняты подготовительные меры к включению русского клипера в экспедиционный корпус: в последнем уведомлении командиру клипера он давал ему понять, что выход из Плимутского порта связан с изменением ледовой обстановки в Северной Атлантике. Нетрудно было догадаться, что ему в ближайшее время придется идти в Мурманск или в Архангельск.

Вошел адъютант адмирала лейтенант Кристофор Фелимор. Глаза его сияли. Лейтенант переживал волнующие и сладостные минуты: Элен — самая прекраснейшая из девушек — вчера согласилась стать его женой. Все остальные события в мире потеряли для Фелимора всякое значение.

Увидев адмирала стоящим спиной к камину, лейтенант пожалел этого старого подагрика, особенно за то, что у него была сварливая жена, тощая, с лошадиным лицом и неприятной манерой подергивать жилистой шеей.

— Русские моряки, сэр, просят принять их, — вы-

зывающе весело сказал Фелимор, не в состоянии сдержать клокотавшую в нем радость.

Адмирал с любопытством посмотрел на своего обычно подчеркнуто корректного адъютанта и спросил:

— Когда? Надеюсь, не сию минуту?

— Они уже здесь, сэр. И боюсь, что на этот раз вам придется их принять. Они очень достойные и симпатичные люди, сэр.

Адмирал побагровел, но сдержался:

— И вы не нашли предлога, чтобы избавить меня от их общества?

— Мне показалось, что вы изменили к ним отношение, сэр.

— Лейтенант Фелимор!

— Да, сэр?

— Вы идиот!

— О, сэр! — простонал лейтенант Фелимор. Он все время ждал минуты, чтобы вручить адмиралу рапорт о намерении жениться, и сейчас почувствовал, что эта минута отодвигается все дальше и дальше. Чтобы исправить положение, он сказал:

— Я передал им, что вы слишком заняты, сэр.

— Какая находчивость! Неужели вы не можете понять, что мои частые замечания и характеристики бывают далеки от официальной точки зрения? Они не всегда определяют политику. Тем более политику нации!

— О да, сэр! — Фелимор несколько воспрянул духом и предложил: — Лучше я им скажу, что вы уехали в Лондон, сэр.

— Хоть к черту на рога!

Эта внезапная вспышка адмиральского гнева неожиданно вызвала в душе лейтенанта протест, давно дремавший где-то в глубине сознания. Он представил себе, что их разговор слышит Элен и видит его жалкую фигуру, бичуемую градом оскорблений.

— Я думаю, лучше в Лондон, сэр, — сказал он вдруг холодно и надменно. И на вопросительный взгляд сбитого с толку адмирала пояснил: — Не следует русских посвящать в такие интимные подробности, сэр.

— Подите вон, лейтенант, — устало сказал адмирал.

— Прекрасно, сэр, — в полном отчаянии прошептал незадачливый адъютант, чувствуя, что никогда еще так низко не падал в глазах своего адмирала. И если бы

он не сказал «прекрасно» вместо «да, сэр», то адмирал оставил бы без внимания его очередной промах, но в этом «прекрасно, сэр» старый подагрик, пронизываемый резкими болями во всех суставах и в пояснице, усмотрел явный вызов и сказал уже повернувшемуся к дверям лейтенанту:

— Нет, погодите, черт возьми!..

Командир клипера «Орион» капитан второго ранга Вонн Андреевич Зорин и его старший офицер капитан-лейтенант Николай Павлович Никитин ждали в приемной адмирала. От дивана и стульев с высокими спинками пахло старой кожей и застоявшимся табачным дымом. Здание было старое, толстые стены не пропускали звуки с улиц города и порта. Через узкие стрельчатые окна с закопченными стеклами виднелась облупившаяся стена, сложенная из плит серого известняка.

Через приемную проходили капитаны кораблей, стивидоры, портовые чиновники, с нескрываемым любопытством поглядывая на русских моряков.

Старший офицер посмотрел на часы:

— Ждем уже четверть часа. Видимо, на политических весах Россия стала весить гораздо меньше, чем до октября. Англия же всегда считалась только с весом и силой.

— Да, голубчик Николай Павлыч, есть такой грех у наших союзников. Кстати сказать, сила и вес лежат в основе всякой политики. Англичане ведут ее наиболее нагло и откровенно, прикрываясь в парламенте разговорами о спасении мира от революционного пожара, вспыхнувшего в России.

— Бедная и несчастная Россия!

— Представьте, я не считаю ее таковой. А сейчас тем более. Она поднимается во весь рост, расправляет крылья...

— Не дадут.

— Да, трудно ей приходится.

— С другой стороны, если до нас доходит хоть малая доля правды о большевиках, то надо задуматься, Вонн Андреевич. Возможно, стоит чем-то пожертвовать, чтобы восстановить порядок и демократию?

— Вы, моя мамочка, осторожный и сомневающийся

человек, привыкший к коварству морской стихии, верите только картам, секстанту и хронометрам.

— Не всегда.

— И правильно делаете. Но в народ надо верить.

— Хотелось бы. Но мы-то с вами дворяне, и в монархии было высшее проявление наших идеалов.

— Однако это не мешало тем же нашим дворянам отправлять к праотцам неугодного монарха, мамочка моя. Вспомните Павла Первого хотя бы.

— Все это так, Воин Андреевич. Вместо одного царя мы сажали на престол другого, а теперь? Что будет теперь? Кого мы посадим? Или он сядет сам, без нашего согласия?

— Я верю, что Россия выберет образ правления, достойный своего народа.

— Какой вы оптимист!

Капитан-лейтенант вновь посмотрел на часы.

Тяжелая дубовая дверь, ведущая в кабинет начальника порта, приоткрылась, и в приемную выскользнул лейтенант Филимор, щеки его пылали. Только закрыв за собой дверь, лейтенант осознал по-настоящему, что произошло в кабинете адмирала. «Вылетел как пробка. Ну и пусть. Какое у него было лицо! — лейтенант силился улыбнуться. — Пропала карьера! Хотя ничего еще не потеряно. Меня никогда не прельщала береговая служба. Этот сухопутный адмирал угрожал назначить меня на первый захудалый корабль, уходящий в самую рискованную экспедицию. А я ему: «В королевском флоте нет захудалых кораблей, сэр». Он чуть не упал от такой дерзости. Ничего, Элен поймет. В крайнем случае буду торговать перчатками в ее магазине», — сделал он неожиданное заключение и, печально улыбаясь, остановился перед русскими моряками. И они тоже улыбнулись, глядя на его взволнованное юношеское лицо.

— Господа, адмирал весьма сожалеет... — он перевел дух. — Он не может принять вас, господа. Весьма неотложные дела...

Командир клипера и старший офицер переглянулись.

Воин Андреевич сказал, четко выговаривая английские слова:

— Мы тоже весьма сожалеем, что еще раз обратились к его превосходительству адмиралу сэру Эльфтону.

Отдав честь, русские повернули к выходу так реши-

тельно, что английские морские офицеры, столпившиеся посреди приемной, невольно расступились, освобождая им дорогу.

Лейтенант, помедлив в нерешительности, бросился за ними:

— Еще одну минуту, господа! — Фелимору захотелось загладить неприятность, как-то смягчить ее, облечь в корректную форму.

Русские моряки снова повернулись к дубовой двери, перед которой стоял лейтенант.

— Адмирал срочно выезжает в Лондон. Уже выехал. Перед отъездом он просил довести до вашего сведения, что в случае изменения обстановки он немедленно отдаст распоряжение о выходе клипера «Орион» из порта... Надеюсь, вы правильно меня поняли?

— Вполне, как не понять, — ответил командир клипера.

Молчавший все время старший офицер «Ориона» сказал так громко, что все невольно притихли и повернули головы:

— Передайте вашему патрону, что мы приходили не просить, а требовать уважительного отношения к России и к русским, с которыми англичане почти четыре года дрались плечом к плечу против общего врага.

Воин Андреевич поморщился и сказал по-русски:

— Этим их не проймешь, мамочка моя.

— Да, вы правы, — согласился его старший офицер. — Для них нужны не слова... Вы намерены еще что-либо нам сообщить? — спросил он лейтенанта.

Фелимору было жаль этих русских, с таким достоинством выдержавших унизительный отказ в приеме. Правда, его положение было, пожалуй, не лучше, и это сближало его с ними.

Когда русские офицеры снова оказались у дубовой двери, командир клипера, подмигнув лейтенанту, взялся за ручку и резко распахнул дверь настежь.

Лейтенант издал звук, похожий на крик раненой чайки. Где-то в душе у него еще тлела надежда, что шеф сменит гнев на милость, но теперь, встретившись взглядом с адмиралом, он понял, что все кончено. Увидев русских, адмирал не изменился в лице, он посмотрел на них невидящим взглядом и склонил голову к столу.

Фелимор закрыл дверь, прошептав:

— Господа, ведь это ужасно...

Воин Андреевич воскликнул со смехом:

— Невероятно, мамочка моя! Чудеса! — И обратился к лейтенанту: — Не знаю, как вы, молодой человек, а я только что видел самого адмирала сэра Вильяма Эльфтона! Или у меня начались галлюцинации?

Пунцовый лейтенант сосредоточенно молчал, свидетели этой сцены тоже осуждающе молчали или сдержанно улыбались.

— И мне показалось, что за столом работает какой-то военный моряк, — сказал старший офицер клипера. — Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В каждом приличном английском доме, особенно в таком древнем, как этот, должно жить хоть одно привидение. Ваше мнение, лейтенант?

— Сюда иногда заглядывает тень самого Френсиса Дрейка, — ответил опять махнувший на все рукой лейтенант под одобрительный шепот и смех английских моряков. — Последний раз его видели перед самой войной. Что же касается адмирала, то он уже подъезжает к Лондону.

— Боюсь, как бы мы не стали для вас причиной больших неприятностей. Пожалуйста, извините.

— Ну что вы... пустяки. Мне давно хотелось оставить канцелярию и перейти на корабль. Я только буду благодарен судьбе, если адмирал пойдет мне навстречу. И этим в какой-то степени я буду обязан вам.

Лейтенант проводил русских моряков до ожидавшего их кеба и сказал, пожимая руки:

— Должен вам сказать, господа, что у меня свой взгляд на все, что здесь происходит. Пока мне предоставят последнюю должность, я бы хотел встретиться с вами, джентльмены, только при других, более свободных для меня условиях, и доказать свое искреннее к вам расположение. Всегда к вашим услугам, Кристофор Фелимор!

Кебмен хлестнул длинным кнутом тощую рыжую лошадь, она рванула с места и, пробежав футов сто, поплелась усталым шагом.

Воин Андреевич в это время слушал язвительные замечания своего старшего офицера по поводу пресловутой английской вежливости.

— Такого унижения я не испытывал еще никогда

в жизни. Действительно, адмирал держался как выходец с того света, как он посмотрел «сквозь» нас! И ни тени угрызений совести, смущения! Нет, всеми силами надо стремиться покинуть этих «гостеприимных» союзников — и домой! Надо действовать немедленно! Сегодня же!

— Вы, дорогой мой, не горячитесь. И адмирал, и этот симпатичный лейтенант, наверное, неплохие люди, да служба у них собачья. Разве не чувствуете, что тут политикой запахло? А раз политика, то и не такие привидения являются. Я думаю, что адмирал здесь ни при чем. Все исходит из Лондона, от первого лорда адмиралтейства. Сэр Черчилль — хитрющий политик. В нашей революции он усматривает величайшую опасность для своей империи. Читайте, мамочка, газеты!

— Мы только и делаем, что читаем газеты. Организуя интервенцию в России, они, естественно, боятся, что наш груз попадет не в те руки. И в этом случае я тоже с ними не могу не согласиться.

— Вполне резонно. Мы тоже не хотим, чтобы наше оружие попало бог знает кому. Но оружие нужно фронту. Наши солдаты без винтовок, стрелять нечем, патронов нет! Наверно, и те силы, за которыми народ, тоже плохо вооружены.

— Кого вы имеете в виду?

Воин Андреевич задумался. Он отнюдь не был революционером. Потомственный моряк, дворянин, он превыше всего ставил могущество и честь русского флота и, размышляя о будущем России, представлял ее себе величайшей морской державой. Будучи реально мыслящим человеком, он понимал, что морское могущество немыслимо без серьезной перетряски государства российского. Его будущий политический строй он представлял себе смутно, целиком доверяя «передовым силам». Он верил в здравый смысл русского народа и был глубоко убежден, что если народ взялся за дело, то выполнит его как надо.

Матросы на вельботе гребли, выжидательно посматривая на свое начальство, гребли они с азартом, как на призовых гонках. Рулевой Трушин при каждом гребке подавался вперед, а когда матросы заносили весла, то откидывался назад, точно соразмеряя время, затрачиваемое гребцами на каждое усилие.

Воин Андреевич, устроившись получше в вельботе,

внимательно поглядел на сосредоточенные лица гребцов, на орлиный профиль рулевого и сказал:

— Славный денек. Февраль, а уже полная весна, да и местная зима насквозь пропитана весной. Вот только туманы иногда наносит, но здесь они довольно редки. Вообще в Корнуолле прекраснейший климат, мягкий, теплый, туманы в это время довольно редки. Трушин!

Рулевой перестал раскачиваться, но не повернул головы к командиру, продолжая зорко, по уставу глядеть вперед.

— Трушин, как по-твоему, погода установится?

— Наверное, нет еще — покуражится малость. По чайкам видно, да и вон по тем облакам, что как кисель нависли. Да нам и на руку, ваше высокоблагородие, гражданин капитан второго ранга, — рулевой сверкнул ослепительными зубами.

Гребцы заулыбались.

Полное лицо командира приняло хитроватое выражение.

Предсказание рулевого Трушина исполнилось, хотя барометр и держался на «ясно»: с холмов Корнуолла в залив снова пополз золотистый туман. Корабельный кот Тишка, прикорнувший было на теплой парусине грота, нехотя спустился по ваитам на палубу и затрусил иа камбуз.

НОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Яркая электрическая лампа под зеленым абажуром, свисающая с потолка салона, освещала морскую карту, разостланную на столе. Старший офицер «Ориона» провел остро отточенным карандашом вдоль линейки и отодвинул ее на контуры обрывистого берега. Тонкая линия курса от мыса Пенли на западной оконечности залива Плимут-Саунд пролегала между скалами Эддистон и банкой Вест-Ратс, затем под прямым углом уходила в просторы Атлантики.

Командир клипера стоял возле своего помощника, почесывая щеку.

— Пожалуй, — сказал командир, — наивыгоднейший курс в данной обстаиовке, но дальше — миниые поля.

— Обойдем.

И карандаш старшего офицера проложил путь в обход минных полей, на приличном удалении от скал Корнуолла и кладбища кораблей у островов Силли в просторы Атлантического океана.

Старший офицер встал, критически оценивая свою работу, затем вопросительно посмотрел на командира.

— Пожалуй... — сказал командир. — Только бы продержался туман.

— Это одно из условий.

— А сколько этих условий?

— Многовато.

— Надо их свести к минимуму.

— Каким образом?

— Действовать решительно!

— Постараемся. И да поможет нам всевышний.

Командир стал ходить по зеленой ковровой дорожке от стола к двери, заложив руки за спину. Он был по-домашнему, в шлепанцах, в рубашке голландского полотна и в этом наряде выглядел совсем штатским человеком, а никак не моряком, тем более что его салон тоже больше походил на кабинет ученого: по стенам шкафы с книгами, на них чучела морских птиц, на полках раковины южных морей.

Старший офицер был в полной форме, только за работой он позволил себе расстегнуть китель, но тотчас же застегнул крючки, как только поднялся из-за стола. Его не покидало тревожное чувство ответственности за людей, за корабль и особенная, непривычная боязнь, что все задуманное пойдет прахом, а «Орион» под конвоем на буксире будет доставлен в порт как военный трофей. Усилием воли старший офицер прогнал эту мысль. Их замысел мог провалиться, как он убеждал себя, только благодаря случайности, то есть непредусмотренным действиям враждебной стороны.

И он стал уже в который раз мысленно проходить по испещренному цифрами глубин белому полю карты, вдоль скалистого побережья Корнуолла, минуя островки, предательские рифы, банки, мели, проскальзывая мимо постов на берегу, незаметно расходясь с патрульными миноносцами...

— Жарковато, — нарушил молчание командир, подходя к открытому иллюминатору. — Наш стармех изрядно греет. И это неплохо. Я приказал топить, а не то заплесневеем в Англии, Матросы тепло любят, да я и

сам, грешен человек, тоже предпочитаю достаточную температуру. А туманчик изрядный, и какой-то у этого английского тумана запашишко особенный. Вы не находите? Ну что вы, мамочка, все на нее не налюбуетесь?

— Надо бы вот здесь взять на полмили мористей. Если пойдем в отлив, то...

— Да нет, все правильно. Хоть и в отлив, под килем футов десять останется. Сбросьте китель. Чайку попьем... Феклин? Что там у тебя?

— Пакет, ваше высокоблагород... Ах, виноват, нетнет да «благородие» с языка сорвется. Вот пакет, гражданин капитан второго ранга. Только что портовый катер доставил. Вахтенный начальник приказал вам передать, — Феклин замер, вытянув шею. Пока он бежал с пакетом, все встречные матросы бросали шепотом:

— Ты там не зевай!

— Краем уха прихвати!

— Как и что... Сам знаешь!..

— Знаем. Не учи! — неизменно отвечал Феклин и сейчас медлил у дверей в надежде уловить, о чем бумага от «бульдожки», так почему-то прозвали матросы адмирала, хотя не видели его ни разу.

— Посмотрим, что пишет адмирал, — сказал командир, разрезая ножницами конверт, — а ты, Феклин, иди распорядись насчет чайку да принеси к чаю...

— Есть к чаю! Коньяку или бурдо? — осведомился вестовой, выражая всей своей складной фигурой горячее стремление выполнить этот приятный приказ.

— Ямайского рома, — сказал командир, вытаскивая из конверта бумагу.

— Рому?! — как эхо повторил Феклин и остался стоять у дверей, полураскрыв рот.

— Да, рому. Живо!

— Есть живо.

— Ну?

— Кажись, и ром был...

— Кажись?.. Ого, да здесь целое послание. Вот что значит наступить начальству на любимую мозоль. — Капитан прищурился и, как все дальнозоркие люди, отставив руку с бумагой, стал разбирать английский текст приказа, затем покачал головой: — «Сдать груз». Ну и ну! Читайте, Николай Павлович, а то я к вечеру слабею глазами. Ну, а ты что стоишь? Или опять ром выпил?

— Никак нет. Как можно? Сейчас представлю! —

И, повернувшись кругом, прищелкнув каблуками, Феклнн вылетел нз салона и первым делом поведал ожидавшим его на юте Громову и Трушину:

— Ну, братцы, я продержался сколь мог и все подметил. Сам-то «Мамочка» наш говорит мие: «Сообрази насчет рома, Феклнн», — и коиверт распатроиивает. Надо было ндтн, как положено, а я засомневался насчет рома.

— Выдул ром-то? — спроснл Трушин.

— Да не. Разве самую малость. Это я чтобы продержаться в каюте, а сам слушаю да смотрю, как н что.

— Кончай молоть, Илья, — осаднл его Громов. — Что в бумаге?

— «Бульдожка» требует, чтобы груз сдать ему.

— Ну?

— Ну, а наши сумневаются насчет сдачи н мозгуют в другую сторону н курс уже проложнли, чтобы домой, значнт.

— Ты что, видал карту? — спросил Громов.

— Как зашел, а у них на столе разложена, и на ней курс. Из бухты право руля н вдоль берега, в обход, значнт, ихнних островов, а там их столько понаброcано, так что надо глаз и ухо востро держать, да онн провели — любо-дорого смотреть.

Громов хлопнул вестового по плечу:

— Так держать, Феклнн! Давай насчет рома действуй и посматрнвай. Пошлн, Роман, дело есть.

— Это насчет чего, братцы? — полюбопытствовал Феклнн. — Дело-то?

— Да так, между прочнм. Время придет, узнаешь, да не вздумай лясничать насчет этого нн с Грызловым, ни с Брюшковым, да и Бревешкнна поостерегайся. Ну, посматрнвай, Илья!

Феклин обнделся. Будто он сам не знал, с кем можно делнться секретами, а с кем нельзя, его больно задело высказанное ему недоверие.

— Тоже мне посматрнвай! — проворчал он. — И у ннх тайны да секреты.

Как нз-под палубы, появнлся унтер-офнцер Бревешкин.

— А, Илья Фомич! Наше вам!

— Бывай здоров, Никон Кузьмич.

— Нет, ты постой!

— Не могу, командир требует.

— Со мной так командир, а с этой шпаной есть время лясы точить? С чем они к тебе приставали? Поди, насчет бумаги выспрашивали?

— Да, Никон Кузьмич, да я и сам ничегошеньки не знаю.

— Вот и врешь, сын вши и собаки, — перешел на свой постоянный язык Бревешкин.

— Не собачьтесь, Никон Кузьмич. Бывайте здоровы! — Феклин побежал в буфет, напутствуемый самым немыслимым набором ругательств.

Когда он вернулся с подносом, на круглом столе красного дерева уже не было карты, командир и его помощник сидели в креслах и, к явному неудовольствию Феклина, часто переходили с русского на английский. Все же вестовой, словно опытный детектив, по обрывкам фраз, выражению лиц, интонациям понял, что разговор вертится вокруг распоряжения «бульдожки». Само распоряжение, отпечатанное мелким шрифтом, лежало на столе, и вестовой, неодобрительно взглянув на непонятные буквы, в знак полного презрения поставил на него сухарницу.

— Феклин! — окликнул его командир.

— Есть Феклин!

— Ты что же, мамочка моя, так непочтительно относишься к письмам сэра Эльфтона? Дай-ка сюда!

— А по мне, ей самое место под сухарями, кляузная, поди, писулька? Вот, пожалуйста. А что в ней?

— Так ведь уже знаешь? Хоть и несведущ в английском. По глазам вижу.

— Догадываюсь немного, потому, сами знаете, какие наши мысли.

— Знаю, братец. И хотя на бумаге написано «секретно», для команды в ней секрета нет.

— Груз хотят снять, а нас под арест?

— Да, Феклин. Спасибо, мне покрепче... Рому достаточно.

Между тем разговор между капитаном и его помощником продолжался, они вносили коррективы в свой план, учитывая распоряжение адмирала. Оно состояло всего из десяти неполных строк:

«Февраль 25.1918. 5 ч. пополудни

Командиру клипера «Орион», капитану II ранга Зорину.

Предлагаю:

1. Завтра, 10.2, к 11, до полудня, перейти из гавани Хамойэйз в гавань Саттон-Харбор и передать имеющийся груз оружия на транспорт «Виктория».

2. Командиру клипера после передачи груза на транспорт «Виктория» прибыть в управление порта для получения дальнейших инструкций.

Начальник порта адмирал *Эльфтон».*

Первый параграф распоряжения не являлся новостью, второй же оказался коварной неожиданностью.

— Адмирал бьет в солнечное сплетение, — сказал старший офицер, — хочет сломить. Если мы повинимся...

Командир перебил:

— ...то, как говорят китайцы, «потеряем лицо», а порусски — совесть и честь! Я откажусь выполнять его распоряжения!

— Тогда адмирал, основываясь на старых союзнических соглашениях, приравняет ваш отказ к открытому бунту и будет действовать согласно законам военного времени. В лучшем случае из дипломатических соображений, чтобы не поднимать шума, нас снимут и назначат других командиров.

— Вполне возможно!

— И даже не англичан, возьмут из нашего резерва при русском консуле, там есть несколько морских офицеров.

— Но команда! Неужели они согласятся?

— Не все. Большинство согласится, лишь бы уйти домой, а некоторые, как Бобрин, Новиков, Куколь, — и по идейным соображениям. Вы же знаете, что на клипере в миниатюре происходит что-то похожее на подготовку революции, хотя вы, как «монарх», расцениваетесь гораздо выше, чем Николай Второй.

— Вы еще в состоянии шутить, а я после всех этих напастей совсем «вошел в отчаянность и тоску», как говорят матросы. Неужели адмирал догадался? Ну и хитрая «бульдожка»! И все-таки я не верю, что у нас нет выхода!

Они встретились взглядом и поняли друг друга без слов.

— Вместо вас, Воин Андреевич, завтра поутру съеду на берег я, а вы с богом! Постараюсь усыпить их бдительность. Даже если вы разрешите, дам понять, что мы пересмотрели свое отношение к событиям в России. Так, неопределенно, туманно, чтобы выиграть время.

— Не стоит, Николай Павлович. Знаете, как все может обернуться! В таком деле нельзя идти на компромисс, да и какие мы с вами дипломаты? Лучше будем соблюдать достоинство.

— Пожалуй, Воин Андреевич, вы правы. Ну их к дьяволу, не стану фиглярничать.

— Вот, вот, мамочка моя, вот это правильно. Но вы-то знаете, на что идете? Может, придется не один месяц, а год ждать, пока подвернется оказия на родину, да и корабль вы любите.

— Выхода нет, Воин Андреевич: или вы, или я. Больше некому.

— Да, да, вы или я. А если вы примете командование, то не хуже меня справитесь, а может быть, и лучше?

— Об этом не может быть и речи. Если мне удастся усыпить их бдительность, то идите с богом, а обо мне не беспокойтесь. Между нами говоря, я остаюсь в большей безопасности.

— Милый вы мой! Ну, зачем об этом. Я-то ведь все знаю: могли сейчас сидеть в Севастополе, на теплом месте, или командовать вспомогательным крейсером, а пошли ко мне. Не машите руками. Так ведь?

— Да, относительно теплых мест у нас с вами одна точка зрения. Не скрою — остаюсь с тяжелым сердцем. Тут мы говорили о долге, так в этом я понимаю свой долг и уверен, что вы поступили бы так же.

— Что говорить. Спасибо. Оставим это. И мне негоже покидать корабль в такую минуту. — Командир вытащил платок и долго тер глаза, ворча, что английский уголь дает мельчайшую копоть, и она, смешиваясь с дымом, лезет в глаза даже в каюте.

Вконец расстроенный Феклин, задев подносом о косяк двери, вышел из салона.

Николай Павлович сосредоточенно пил горячий чай, не глядя на командира, который наконец спрятал платок и улыбнулся:

— Знаете, кто бы с удовольствием остался? — спросил он, расплываясь в улыбке.

Невольно улыбнулся и Николай Павлович:

— Понятия не имею.

— Стива Бобрин!

— Да! Ведь у него на берегу Элен — продавщица перчаток!

— Говорят, у него каюта забита перчатками?

— Как-то заглядывал, везде коробки, перевязанные разноцветными ленточками.

Оба засмеялись так громко, что пораженный Феклин заглянул в салон и, довольный, что все уладилось, закрыл дверь и побежал искать своих друзей, чтобы сообщить им о чрезвычайных событиях в салоне. Шутка ли сказать: сам «Мамочка» заплакал после каких-то английских слов, смысл которых ему, Феклину, яснее ясного.

— А чем черт не шутит, может, вы еще догоните нас при выходе из залива! — уже совсем бодро сказал командир. — Как увидите, что мы снялись и все благополучно, садитесь на катер и платите любую сумму. А?

— Попробую, да, боюсь, поставят соглядатая.

— А вы с ним вместе, может, из него марсовый получится.

— Постараюсь, только меня не ждите ни секунды. Погода сейчас неустойчивая, надо ждать со дня на день западного ветра.

— Да, да, и туман разгонит, и навстречу подует, застрянем в канале. Туман нам сейчас ох как нужен!

— Так что не ждите. Не догоню у мыса Пенли, идите без меня.

— Что делать, придется. Кто первым доберется до Севастополя, тот...

Командир в раздумье повертел чайную ложечку и сказал:

— Ну, если первым доберусь до Севастополя, о семье не беспокойтесь.

— Возможно, мне удастся скорее увидеть наших, то и вы знайте...

— Да, да, отсюда ближе... Деньги возьмите в английских фунтах и в долларах.

— Благодарю... Запас угля у нас достаточный...

Они опять стали разбирать возможные препятствия, опасности и неожиданности при выходе из гавани и в

Ла-Манше. Если продержится туман, решено было уходить днем, если же туман рассеется, то ночью. Этих «если» набиралось множество, и на них надо было находить ответы в нескольких вариантах.

Феклин несколько раз подходил к предусмотрительно не прикрытым дверям и поспешал сообщать приятелям, что «все сидят, мозгуют, и хоть еще рома полбутылки, но ни-ни: значит, дело серьезное». Наконец он услышал, как старший офицер сказал:

— С Адамсом я договорился, помните, шкипер с буксира, что проводил нас сюда по каналу, его буксир потянет нас назад. Симпатичный человек этот Адамс. Он, мне кажется, догадывается, в чем дело. Говорит, что давно уже проникся уважением к русским, но особенно почему-то его привлекают большевики. Вероятно, он и нас считает большевиками.

— Ну, какие мы большевики? Так, ищущие, странники. Дайте вашу руку, и выпьем за успех.

ПОБЕГ

Настало теплое, туманное утро. Иногда, словно сквозь кисею, просвечивал белесый кружок солнца и скрывался за пеленой тумана, закрывавшей верхние реи клипера. Матросы занимались утренней приборкой и горячо обсуждали приказ «бульдожки». Сообщение Феклина еще вечером обошло все кубрики, вызывая возмущение матросов. Сейчас, механически выполняя знакомую работу, матросы с нетерпением ждали, поглядывая на ют: там в кают-компании, по сообщению того же Феклина, шло совещание офицеров.

За длинным столом в кают-компании сидели все офицеры клипера, кроме Николая Павловича, который ушел на вельботе за буксиром и должен был остаться на берегу. Его стул, по правую руку от командира, не был занят, но прибор стоял на столе. В кают-компании, как за царским столом, каждый сидел на раз и навсегда установленном месте; только продвижение по службе могло изменить и место за столом.

На своем стуле, между старшим офицером и судовым врачом, сидел корабельный священник иеромонах Исидор — лет сорока, пышущий здоровьем, с задорным блеском в глазах, любивший рассказывать анекдоты и

первый оглушительио хохотавший. Но в это утро и ои ел молча, с аппетитом жуя бифштекс с кровью и насмешливо поглядывая иа гардемариииа Стиву Бобриииа. Ои уже прослышал об истории с перчатками и прекрасиой Элен.

Завтрак прошел вяло, в сосредоточеииом молчании и иичего ие зиачащих замечаниях о погоде и вчерашних газетных иовостях.

Командир отодвинул недопитый стакан.

— Феклии!

— Есть Феклин!

— Выйди и закрой поплотней двери.

— Есть закрыть двери, — с иеохотой повторил вестовой, иеиароком пропустив слово «поплотией».

— Граждаие и господа офицеры! — Комаидир, зиая взгляды иекоторых своих подчинеииых отиосительио новой формы обращения, щадил их самолюбие и всегда иазывал по старой традиции господами. — Вчера вечером я довел до вашего сведеиия распоряжеиие иачальиика местного порта, а сейчас иамереи сообщить мое решение отиосительно дальиейшей судьбы экипажа и корабля. Я решил не подчиииться иезакоииому распоряжению аиглийского адмирала, иаправлеииому иа умалеиие достоииства воеиио-морского флота России. Груз мы должиы доставить в одии из наших портов, и мы это сделаем. Мы не можем также согласиться, чтобы иас использовали как силу против свободы иашего иарода, как карателей. Придя иа родииу, мы сами разберемся, за кем правда, и стаием иа стороиу истиниых патриотов России. Довожу до вашего сведеиия, что старший офицер капитаи-лейтеиаит Никитии по долгу службы и из благородиых побуждеиий времеиио остается иа берегу, его обязаиности будет исполнять вахтениый иачальиик лейтенаит Горохов. Прошу, друзья, выполиить свой долг, как иадлежит русским офицерам и как требует морская дисциплина. Все!

— Амииь! — громко заключил отец Исидор.

И добавил весело: — Ииого и ожидать было бы грешно и иепотребно.

Все встали. Стива Бобрии встретился с мрачным взглядом артиллерийского офицера и улыбнулся. Новиков презрительио сжал губы и пошел к двери.

Гардемарии, ие в силах сдержаться, тихо сказал отцу Исидору:

— Только дисциплииа мешает мие высказать все, что я думаю по этому поводу.

— И правильио делаете, отроче. Думайте что хотите, не мешайте только делу и сами ему способствуйте, — ои захохотал, глядя иа обескуражеииое лицо Стивы Бобрина.

Еще Феклии ие успел сообщить матросам со всеми подробиостями и комментариями о приказе комаидира, как всех потрясло иовое чрезвычайное событие: с берега вериулся вельбот, иа дие его под брезеитом лежал связаииый уитер-офицер Бревешкии, иазиачеииый старшим комаиды вельбота.

Марсовый Зуйков, ходивший гребцом иа вельботе, рассказывал у грот-мачты:

— Когда уитер, значит, предложил пойтить в ихиий паб, иу, мы прямо очумели. Переродился человек, чудеса, да и только! А паб этот, иу, вот, сами зиаете, пять шагов от причальной стеики. Идем. А он в дверях замешкался, всех пропускает. Всегда хам хамом, а тут нате — вежливость проявляет. Ну и стал я за иим глядеть. Уж и к пиву не подхожу. Смотрю, побежал, гад, от пивиой собачьей рысью, я за иим. Осеиило меня тут, что ои за пазухой камеиь держит. Догнал, а ои и говорит мие: «Ты что это, Спиридои Лавреитьич, хвостом держишься, я, — говорит, — тут к одиой здешией куме хочу завернуть, иди себе, — говорит, — и выпей за мое здоровье», — и шиллинг мне сует, подлюга!

«Нет, — говорю, — идем иазад». Ои заматерился, да за грудки. Тут ребята подошли иа крик, и повели мы его, милягу, к вельботу, а ои дорогой бумагу и выбросил, письмо иа аиглийском, к «бульдожке» видать, что мы, дескать, домой иавостряемся. Кто-то из иаших господ офицеров иастрочил и подговорил Бревешкииа отправить. Да его и подговаривать ие иадо, ои вроде Брюшкова с Грызловым иа царя молится. Вот такие-то иаши, братцы, дела, чуть было ие пропала вся иаша иадежда!

Строились и предположения, кто написал доиос и отправил его с Бревешкиным. Под сильным подозреиием у матросов были гардемарии Бобрии и его хмурый приятель артиллерийский офицер Новиков.

Между тем подошел буксир с толстым шкипером иа крыле мостика.

— Карашо! Давай, давай! — весело кричал он матросам, принимавшим канат с буксира. — Очень карашо! — Это был мистер Адамс, он знал всего с десяток русских слов, но мастерски ими пользовался.

Паровым брашпилем выбрали якорную цепь. Якорь втянули в клюз, взяли на стопор. И «Нептун», так назывался буксир мистера Адамса, выпуская невероятное количество дыма и пара, давая частые гудки встречным судам, потянул клипер из-под стен древней цитадели.

Командир не покидал мостика. Николай Павлович оказался прав, сказав на прощание, что момент для побега необыкновенно удачен. В это утро уходил караван судов во Францию. На брандвахте знают «Орион» как обыкновенный транспорт и пропустят без придирок. В английском канале будет сложнее, но, бог даст, обойдется...

С вельботом старший офицер прислал записку, что транспорт «Виктория», который должен был принять груз с «Ориона», еще дня два-три будет стоять под выгрузкой, следовательно, можно рассчитывать, что не так скоро станут разыскивать клипер.

Все эти утешительные вести тускнели, как только мысли Воина Андреевича возвращались к предательскому письму. Перепуганный насмерть Бревешкин назвал имена офицеров, приказавших передать письмо в военный порт или на улице первому встречному английскому офицеру. Теперь Бревешкин сидел в карцере, а офицеры Бобрин и Новиков находились под арестом в своих каютах.

Вдруг вдали показался портовый катер. Казалось, он направляется прямо к «Ориону». У командира сжалось сердце. Но катер прошел мимо. Еще большую тревогу вызывала канонерская лодка, однако и она прошла вблизи парусника, направляясь к докам. Опять в голову полезли различные «если»: что, если к адмиралу дошла копия письма или он сам догадался и за клипером следят; что, если предупреждена брандвахта; что, если вон на том буксире солдаты идут к нам...

Вконец расстроенный командир сказал поднявшемуся на мостик вахтенному начальнику лейтенанту Горохову:

— Невероятное, черное дело с этим письмом, Игорь Матвеевич!

— Да, я что-то не припомню о таком деле на флоте.

— Хорошо, что пока обошлось. Вот он, непредвиденный случай, который мог все потопить! — Командир стал молча прохаживаться по мостику, думая, кто же теперь станет нести вахту. «Будем делить ее с Игорем Матвеевичем. Тем двум подлецам и ногой не дам ступить на мостик», — решил он и, улыбнувшись по обыкновению после горьких раздумий, сказал: — Придется нам с вами нести двенадцатичасовую. А, мамочка моя? Вот дела! А как вы думаете, если Свиринну доверить? — высказал он неожиданно мелькнувшую мысль.

— Павел Петрович — дока насчет парусов, редкий моряк, я многому научился у него.

— Вот и отлично. И как мне раньше в голову не пришло? Правда, поступок крамольный — боцману доверять офицерскую вахту!

— Да, конечно...

— Хотя сейчас в России те же боцманы и матросы флотом правят. Честно говоря, мы недооценивали способности рядовых людей, хотя знали, что из их среды вышли и князь Меншиков, и Ломоносов. Кастовость заела... Позвольте, позвольте... Никак нас миноносец догоняет?

Миноносец прошел в опасной близости от левого борта, подняв сильную волну.

— Чтобы вас... сыны Альбиона! — командир беззлобно выругался. — Эх, и надавал бы я вам по мордасам за такие штуки! Чуть буксир не порвался по их милости.

Пока лишь этой небольшой неприятностью обошлось рискованное плавание по заливу Плимут-Саунд.

Туман рассеялся, оставив золотистую дымку над морем и холмистыми берегами залива. Чтобы помочь «Нептуну», командир приказал пустить машину, и ход увеличился до семи узлов.

Военное министерство «в связи с трудностями снабжения» отменило традиционную чарку, но после двух революций командир клипера пренебрег приказом бывшего министра. К тому же в числе грузов на клипере находилось двадцать тонн чистейшего спирта, предназначенного для медицинских нужд, и Зорин восстановил традиционную чарку, чем несказанно поднял свой и без того высокий авторитет среди команды.

Боцманы просвистели к чарке. Торжественно вынесли

медную ендову с водкой. Матросы благоговейно выпивали и, закусив ржаным российским сухарем, шли к своей артели есть щи, дух от которых разносило за борта клипера. Запах щей уловили и на рыбацком боте, дрейфовавшем с обвислыми парусами. Команда бота — старик и трое подростков, вытянув шеи, казалось, старались заглянуть в бачки со щами.

— Ишь ты, бедолаги, — сказал Громов, — голодные, поди. Тоже и у них не у всех сладкая жизнь, хоть и богатая страна.

— Это кому как в жизни повезет, — солидно вставил Брюшков, зачерпывая ложкой щи. — Не нами такой порядок установлен. Искони так и на всей земле: есть и богатые и бедные.

Зуйков сказал, облизав ложку:

— Все свою кулацкую линию гнешь, Назар. А линия эта кончилась, братец мой. Новая линия началась у нас, Назарушка. — Он прищелкнул языком и подмигнул.

Выпитая водка, сытная еда расслабили враждующие стороны, и спор велся вяло, добродушно. Каждый сознавал собственную правоту и поэтому снисходительно относился к мнению другого.

— Для кого новая линия нужна, а кто и на старой проживет, — ответил Брюшков, тоже облизав ложку и положив ее на брезент. — Кому какая линия нравится. Нам и по старой жить да жить. А ваша новая неизвестно куда приведет. Ты вот все агитируешь: то долой, другое долой...

— Совершенно правильно, — подтвердил Зуйков.

— Как бы эта верность да правильность кривдой не обернулась. Не зря англичане забеспокоились. Дескать, у русских союзников произошло затмение ума, и надо им мозги вправить, пока не поздно.

— Пусть за свою голову беспокоятся. Как бы мы им не вправили!

— Ты, Спиря, как заяц во хмелю. Где уж нам вправлять. Вот догонят... — Брюшков замолчал, почувствовав, что перехватил лишнего.

— Э-эх, — Зуйков постучал ложкой по голове Брюшкова, — совсем нет у тебя понятия. Такое накликаешь...

— Себе постучи! — Брюшков отбросил руку Зуйкова, но дальше этого не пошел, чувствуя, что вся артель не на его стороне. — Слова не скажи...

— Говори, да не заговаривайся...

Левый берег давно скрылся. По-весеннему грело чужое солнце, припекая спины моряков. Сильней запахло разогретой смолой, парусиной, солью.

Убрали бачки. Матросы тут же на палубе легли отдохнуть положенный уставом час. Скоро все уснули на выскобленной добела палубе, подложив под голову свернутые бушлаты.

«Нептун» с «Орионом» обогнали низко сидящий транспорт. На его палубе, загроможденной повозками, походными кухнями, расположились солдаты, стояли они и у фальшборта, образуя розовую линию лиц. Солдаты с завистью поглядывали на палубу парусника со спящими матросами.

Унтер Бревешкин сидел в карцере — крохотной каютке, рядом с подшкиперской, в ней хранилась старая парусина и отслужившие свой срок канаты. В карцере не было иллюминатора, а только зарешеченное окошко в дверях. Бревешкин не отходил от окошка и жаловался на свою судьбу сторожившему его часовому Грицюку.

— Только подумай, братец, в какое дело втравили меня господа офицеры. Снеси, говорят, письмо, десять фунтов получишь. И все было бы по форме, если бы не этот Зуйков... — последовало ругательство, длившееся не меньше минуты.

— Во брешет! — Грицюк поскреб затылок и, опершись на винтовку, терпеливо ждал. Его смуглое лицо выражало усталость и скуку. Такое выражение оно приняло, как только его «забрили», и лишь когда разговор заходил о доме, Украине или когда вечерами в хорошую погоду подвахтенные пели, Павло Грицюк становился совсем другим человеком, с лица сходили скука, усталость, глаза энергично блестели, а вялые мускулы наливались силой.

Выдав «заряд» по адресу Зуйкова, Бревешкин пригрозил переломить ему все ребра и, вдруг сникнув, спросил:

— Как там матросы? Поди, озверели?

— А ты думал — похвалят?

— Вот подлецы, мало их пороли в пятом году, поросячьих сынов, — последовало новое длиннейшее ругательство, а затем вопрос: — А что мне сулят эти каторжные души?

— Да ничего такого. Толкуют, что спишут за борт, только не мают часу.

— За борт?
— Да. Если полевой суд не расстреляет.
— Да ты что?
— Да иичего. За измену всегда вешали, а тут просто расстрел. Скажи спасибо.

В словах Грицюка чувствовалось безразличие, скука и увереииость, что судьба заключеиного решеиа раз и навсегда, а следовательио, и толковать об этом нечего. В довершеиие всего часовой посоветовал:

— Ты бы с отцом Сидором поговорил трошки, все он ближе к богу, мабуть, какой совет даст, что делать твоей окаянной душе, когда она полетит иа иебо. Может, и тебе в рай можио? Как-нибудь боком?

От таких слов у Бревешкииа помутилось в глазах.

Грицюк усмехиулся. Ему не было жалко человека, который хотел оставить его на «иеметчиие» бог весть иа какое время; а сейчас еще можио поспеть к сбору урожая. Грицюк прислонился к переборке и задумался, представляя себе, как он идет по проселку, мимо своего поля, рано поутру, когда в хлебах перекликаются перепела, и с лица его иа этот раз сошла серая скука.

Стива Бобрин переносил не меиее жестокие муки. В отличие от Бревешкииа, которого страшило только наказание, гардемарин еще страдал нравствеиио, понимая всю тяжесть своей вины. Воспитанный в старых морских традициях, высоких понятиях о долге и чести, он зиал, что совершил подлость, с каких бы позиций ни подходить к его участию в этом деле.

«Пуля в лоб, только пуля, — подумал ои со слезами на глазах. — Бедная Элеи. Оиа никогда ие узнает о моем бесславном конце». Стива Бобрин никогда ие признавался себе, что одной из причин, причем главиых, побудивших его раскрыть намереиия командира, было желание остаться с Элеи, заходить к ней в магазин и... покупать перчатки. Боже, сколько у него уже этих перчаток! Элен смеялась, передавая ему очередную покупку:

— Мистер Бобриикс, зачем вам столько перчаток? Вы думаете открыть свой магазин на клипере? Эти перчатки так хорошо подойдут вашим матросам тянуть канаты, драить палубу... — И оиа смеялась, блестя жемчужными зубами, и так многообещающе смотрела иа иего. — О, Стива Бобринкс...

Лешка Головин взобрался на нижнюю рею фок-мачты, удобно устроившись там, наслаждался видом безмятежно-спокойного моря и с любопытством рассматривал суда, более быстроходные, обгонявшие «Орион». Плимутский канал в этот погожий день напоминал оживленную дорогу. Из Ла-Манша прошли три транспорта и одно госпитальное судно с огромным красным крестом на борту, повязки раненых белели на всех трех палубах бывшего лайнера. Перегнал крейсер, его броня лоснилась свежей краской под цвет моря. На сероватой воде до горизонта застыли флотилии рыбацких судов, вид у них был безмятежно-праздничный, и Лешке захотелось очутиться на одном из них и порыбачить на английский манер.

Из Ла-Манша пошла пологая зыбь, клипер солидно закивал своим длинным бушпритом. Слева показались скалы, а на них крепостные сооружения. Лешка опять вздохнул: ему захотелось полазить по этим скалам и стенам форта, а заодно забраться и на маяк, ярко освещенный солнцем.

«Нептун», предупредив свистком, сбавил ход. На баке боцманы под руководством Петровича отдали буксир, и английские матросы в цветных свитерах на корме «Нептуна», казалось, нехотя потянули его из воды.

Мистер Адамс прибыл на борт клипера на поданном ему вельботе. Это внимание растрогало шкипера, и без того расположенного к русским морякам, и совсем уж привело в восторг, когда командир пригласил его к себе и Феклин поставил на стол красного дерева бутылку с остатками ямайского рома.

Хозяйственный вестовой не понимал, зачем «зря» тратить такой ценный продукт на английского шкипера, который получит свои шиллинги и был таков, а у них путь дальний.

— За благополучный приход на вашу родину! — провозгласил мистер Адамс и выпил по-русски залпом.

Прощаясь, он посоветовал командиру клипера не ложиться сразу на правильный курс по крайней мере до темноты.

— Благодарю, мистер Адамс!

— Такие пустяки, капитан. Все честные люди должны помогать друг другу. И если позволите, еще один совет.

— Буду благодарен, мистер Адамс.

— Это маленькая хитрость. Ночью пусть ваша команда не говорит по-русски.

Воин Андреевич улыбнулся:

— На каком же языке?

— Лучше пусть совсем молчат, особенно при подходе сторожевого катера. Лучше всего вы сами ведите переговоры. Скажите: «Мария» идет с балластом в Калькутту. Ничего, что эта старая леди еще торчит у пирса в Саттон-Харборе. Они-то этого не знают. А «Мария» одного с вами тоннажа, только, конечно... — шкипер развел руками и изобразил на своем лице прехитрую улыбку, из которой можно было, по его мнению, заключить, как далеко «Марии» до настоящего корабля, каким является «Орион». — На сторожевиках не будут придираться, «Мария» так «Мария». Дело сторожевиков — ловить немцев и помогать своим.

Мистер Адамс выпил еще стопку рому и, совсем расчувствовавшись, сказал:

— Хороший капитан выслушивает все советы, а делает по-своему, как подсказывают случай, находчивость, море и опыт. Лучше всего не встречаться со сторожевиками и мелями.

Шкипер за провод корабля по каналу не взял ни пенни больше положенных восемнадцати шиллингов. На прощание Адамс, к неописуемому изумлению и радости Феклина, подарил ему складной ножик, правда, без одного лезвия, зато оставшиеся два вестовой сразу оценил как «первейшую сталь».

— И среди них встречаются стоящие люди, — говорил Феклин немного спустя, хвастаясь подарком. — Такого не жалко и ромом угостить, это тебе не «бульдожка».

— Правда, не своим, — заметил Громов. — Ты-то хоть его отдарил чем-нибудь?

— Подходящего ничего не было под рукой, а он уж больно торопился.

Не поднимая парусов, клипер медленно двигался навстречу волне. На марсах стояли наблюдатели и смотрели, не покажется ли позади быстроходный катер. Обгоняли различные суда, но ни одно не подходило к борту. Стемнело. Командир приказал поднять паруса и не зажигать ходовых огней.

Немецкая подводная лодка У-12 шла, зарываясь носом в фосфоресцирующие гребни волн. На черном, безлунном небе ярко горели звезды. Капитан и несколько свободных от вахты офицеров вышли подышать чистым воздухом. Внизу вдоль борта, держась за леер, стояли матросы, которым командир подводной лодки капитан-цурзее барон фон Гиллер в знак поощрения тоже разрешил подняться из душных отсеков. Жадно дышали люди. Дышала и сигарообразная субмарина, раскрыв свой единственный люк, глухо урчали дизели, толкая лодку по невидимому полю гигантского квадрата и заряжая аккумуляторы.

Отдыхали и подводники, и их хитроумное сооружение. Днем они хорошо поработали. В 13 часов в перископ увидели английский транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн под охраной двух эсминцев. Транспорт перевозил пехоту для Западного фронта, где уже много недель шло одно из самых ожесточенных сражений. И немцы, и их противники изнемогали, бросая в огонь последние резервы.

Выпустив торпеду, капитан-цурзее следил за ее молочно-белым следом, то исчезающим, то вновь вспыхивающим на синей воде. Увидев столб воды, закрывший носовую часть транспорта, капитан приказал убрать перископ и уходить в глубину. Отдавал приказание он ровным, по-всегдашнему жестким голосом, как будто ничего особенного не произошло.

Опустившись почти на предельную глубину, лодка повисла с выключенными двигателями.

В это время на поверхности разыгрывалась одна из многочисленных трагедий, происходивших в те годы на море.

Нос транспорта стал медленно погружаться в воду. Оголилась корма с бешено вращающимся винтом. Давя людей, по палубе покатились пушки, танки. Зеленоватые фигурки солдат сыпались за борт, метались по палубе. Воду вокруг судна покрыли головы тонущих. На крыле мостика, еле удерживаясь на нем, так круто он покосился, стоял капитан транспорта и через мегафон тщетно пытался унять панику среди солдат и заставить их перед тем, как прыгнуть в воду, надеть спасательные пояса. Матросы, штурманы, машинная команда герои-

чески помогали капитану. Мало кто из них оставил судно, была еще слабая надежда, что переборки в трюмах выдержат напор воды, подойдет помощь, команды миноносцев возьмут многих к себе на палубу, остальные продержатся на поясах, кругах, в шлюпках.

Барон фон Гиллер разгадал тактику эсминцев. Выждав двадцать минут после заключительного взрыва глубинной бомбы, он приказал всплыть и в перископ увидел агонизирующий транспорт, застывший в нелепой позе, недалеко от него эсминцы с множеством спасенных солдат на их палубах.

Эсминцы стояли, подставив борта для смертельного удара. Необыкновенная удача!

Бледное лицо немецкого офицера, обрамленное черной бородкой, выражало при этом только деловую озабоченность. Его лодка, спрятав перископ, пошла под водой к эсминцам. Затем на расстоянии тысячи метров от них высунула перископ, и барон фон Гиллер, рассчитав угол атаки, приказал ударить по ним двумя торпедами.

На этот раз сигнальщики на эсминцах вовремя заметили перископ, следы торпед, и миноносцы ринулись в разные стороны, топя и разрывая винтами своих соотечественников. Все же одна торпеда попала в трюм тонущего корабля, набитый ящиками со снарядами. Транспорт разорвало на части, и через минуту на его месте лишь крутилась воронка. От взрыва под обломками погибло множество людей, не успевших отплыть от корабля, все же человек триста еще держались на воде. Барон фон Гиллер и на этот раз увернулся от глубинных бомб...

Вторую неделю рыскала У-12 по невидимому квадрату, подстерегая и пуская на дно все суда, принадлежащие англичанам и французам. На ее счету имелось даже одно госпитальное судно — фон Гиллер был ярым сторонником тотальной войны, необыкновенно убедительно обоснованной учеными и генералами кайзера Вильгельма.

Капитана-цурзее барона фон Гиллера распирало от гордости за свои подвиги. Он один, с горсткой матросов и несколькими помощниками — офицерами, уничтожил ценностей врага на сотни миллионов фунтов стерлингов и убил не менее четырех тысяч человек. Такая «продуктивность» под силу только целой дивизии!

— Какая жалость, что две торпеды не достигли цели, — сказал капитан-цурзее.

— О да! — проронил штурман Глобке. — На войне так много неожиданностей. О Германия... — После этих слов Глобке начал ровным голосом рассказывать об удивительных пейзажах на Рейне, о покое и умиротворении, охватывающих душу немца, когда он смотрит на величественную реку, виноградники, сады и красивые черепичные крыши мыз...

Лейтенант Леман, отличавшийся непочтительностью к старшим по званию и должности, перебил штурмана.

— Я считаю, — сказал он, сдерживая волнение, — что люди, чудом оставшиеся в живых, заслуживают милосердия.

Капитан-цурзее ответил, будто хлеща по щекам лейтенанта:

— Бабья мягкотелость. Чушь! Слова не солдата, а дамы-патронессы!

Фон Гиллер умел владеть собой, по-актерски меняя наигранный гнев на скорбную мягкость, от которой у подчиненных темнело в глазах. Он сказал с грустными нотками в голосе:

— Все мы устали, всем нам нелегко, настолько нелегко, что подчас мы говорим совсем не то, что следует говорить немцу и военному моряку. — Капитан-цурзее улыбнулся, довольный своей так ловко построенной фразой, достойной военачальника, не поддавшегося минутному гневу и показавшего подчиненному его место. — Какая ночь, господа, — продолжал он, крепче сжимая поручни, так как лодку стало класть с борта на борт. — Какие звезды! Мы должны помнить, — он повысил голос, чтобы слышали матросы, стоявшие внизу, — что под этими звездами сражаются наши отцы и братья, спят наши жены, дети, матери, сестры. — Фон Гиллер умолк, прикидывая, какую он даст аттестацию лейтенанту Леману...

Рулевой зазевался, лодка рыскнула, и волна ударила о борт, окатив всех, кто находился на палубе.

— Сменить рулевого и — в карцер! — приказал капитан-цурзее.

Молча стоявший на мостике вахтенный офицер повторил приказание и спустился в люк. Очень скоро он вернулся, доложил, что приказание выполнено, и затем

передал на словах только что перехваченную радиограмму.

Англичане радировали открытым текстом: «Всем судам королевского флота: при встрече задержать русский клипер «Орион» и доставить, если потребуется, силой в любой из портов Англии или союзных стран».

— Как приятно слышать о скандале в стане врагов, — сказал фон Гиллер. — В данном случае мы поможем англичанам, если увидим это «созвездие», — к капитану-цурзее вернулось хорошее настроение.

— Я знаю, что лейтенант Леман готовится возразить мне и по привычке отвинчивает зажимы у спасательного круга. По вашей милости мы потеряли уже три круга, и стоимость их будет вычтена из вашего денежного довольствия. Вы так разоритесь, лейтенант.

— Ах да, прошу извинения у господина капитана. Если будет позволено, я выскажу свои аргументы.

— Слушаю.

— Господину капитану-цурзее известно, конечно, что противники наших врагов всегда считались нашими друзьями. Тем более что не исключена возможность заключения сепаратного мира с Россией.

— На войне существуют только приказ нашего кайзера, инструкции и приказы командования. Их никто не отменял, и Россия остается нашим врагом в этой войне, и мы будем поступать с ее морскими силами соответствующим образом, дорогой мой лейтенант.

— Как будет угодно господину капитану-цурзее, — ответил лейтенант, каждой буквой выражая несогласие с мнением командира.

В этот момент из рубки доложили, что гидроакустики слышат приближение корабля противника, идущего встречным курсом. Судя по работе машин, это миноносец. Скорость не менее восемнадцати миль. Зазвучал сигнал к погружению.

Натренированная команда быстро исчезла в стальной утробе. Захлопнулся люк. Затихли дизели. На субмарине готовились к атаке. В носовом отсеке лейтенант Леман, сторонник гуманных методов войны, приказал матросам зарядить торпедные аппараты.

Матрос, стоявший у левого аппарата, сказал улыбаясь:

— Там, наверное, сейчас вся команда спит, а подвахтенные играют в кости, вот потеха будет...

— Молчать, Мюллер! Ты находишься на ответственнейшем посту и если будешь отвлекаться, то можешь на секунду позднее выпустить торпеду, и она пройдет мимо цели. Десятки тысяч марок пропадут даром. Мы не оправдаем надежд, возложенных на нас кайзером.

«БОРЗАЯ»

Эскадренный миноносец «Грейхаунд» мчался без огней по ночному океану, держа курс на юго-запад от островов Силли.

Лейтенант Кристофор Фелимор нес вахту, стоя на крыле ходового мостика. До боли в глазах от встречного ветра он вглядывался в темное, летевшее на него море, стараясь рассмотреть на нем силуэт парусника: «Грейхаунд» получил приказ перехватить русский клипер.

Лейтенант вошел в рубку, проверил курс, похвалил рулевого и стал смотреть вперед через стекло. В рубке разливалось приятное тепло. Палуба нервно вздрагивала, и Фелимору пришла в голову не новая, в сущности, мысль, что современные машины похожи на живые существа, которым передается неудержимое стремление человека к каким-то неведомым рубежам.

«Грейхаунд» старался изо всех своих паровых сил, выжимая почти полные двадцать узлов.

Лейтенант стал думать об Элен.

Узнав о его неприятностях по службе, она только вздохнула, затем, когда он в лицах изобразил сцену с адмиралом, смеялась до слез, а в заключение сказала, что любит его еще сильнее и ее идеалом всегда был настоящий моряк.

В тысячный раз признав, какая необыкновенная девушка встретилась на его пути, он стал мысленно составлять ей письмо, не упуская ни одной мелочи, давая меткие характеристики своим сослуживцам и особенно упирая на свои первые блестящие успехи. Это ему пришла мысль взять на борт оставленного заложником в порту русского офицера с «Ориона».

Капитан О'Брайнен сказал тогда:

— Черт возьми! Вы правы, есть смысл прихватить с собой этого русского, хотя, держу пари на что хотите, он не укажет нам курс своего парусника. И правильно

сделает. В противном случае я никогда не позволил бы ему ступить на палубу «Грейхаунда». При всем при том он может оказать нам неоценимую услугу, если мы чудом встретим клипер. Я видел этого вашего русского. Капитан может не внять голосу рассудка, а у меня жесткие инструкции из Лондона. Клипер не должен, по мнению джентльменов из адмиралтейства, удрать с оружием и передать его в сомнительные руки. Лейтенант Фелимор, вы парень с головой, хоть о вас адмирал говорил далеко не лестные вещи...

Получив распоряжение явиться на миноносец, Николай Павлович посчитал, что его отправляют в Лондон. Затем у него появились смутные подозрения, когда он увидел, что миноносец идет на запад, и, наконец, он возмутился до глубины души, когда лейтенант Фелимор под честное слово открыл ему назначение рейса.

— Все-таки я объяснюсь с капитаном миноносца, — сказал русский капитан-лейтенант, — не бойтесь, я вас не выдам. Но я вправе знать, куда и с какой целью меня транспортируют на корабле его величества.

О'Брайнен извинился и без обиняков сказал о цели рейса. Они распили бутылку «Белой лошади», обсуждая последние сообщения из действующей армии и морские сводки.

Расставаясь, О'Брайнен сказал:

— Поверьте мне, коллега, я многое бы дал, чтобы не встречаться с вашим клипером. Будем надеяться, что так и случится. А если произойдет чудо, то постарайтесь внушить своему командиру, что необходимо иногда подчиняться здравому смыслу.

— Здравый смысл — понятие очень емкое. Командир клипера мой друг, я его знаю с Морского корпуса и не могу его упрекнуть в отсутствии здравого смысла.

— Все же на его месте я не стал бы ложиться в дрейф на виду береговых батарей и чего-то ждать в течение двух часов, когда дорога каждая минута.

— Он поджидал меня.

— Тогда другое дело. Благородно! Приношу извинения и прошу забыть о нашем разговоре. Все будет отлично. Я почти уверен, что мы не догоним ваш корабль и, совершив легкую прогулку, вернемся в Плимут или в Портсмут.

Поднявшись на палубу, Николай Павлович придерживая фуражку, посмотрел на покачивающийся небосвод и с облегчением вздохнул: миноносец и клипер пока шли на расходящихся курсах. Но это еще не значило, что клипер в полной безопасности. У преследователя слишком большое преимущество в скорости, и он каждую минуту может изменить курс. И действительно, небесный свод круто развернулся почти на девяносто градусов. Николай Павлович представил себе лист карты и две движущиеся точки. Возможно, под утро они если и не встретятся, то пройдут совсем недалеко друг от друга.

Ветер пронизывал шинель старшего офицера, а он, не чувствуя холода, прикидывал в уме вероятность встречи.

Над головой, на ходовом мостике, послышались шаги, а затем прозвенели четыре двойных удара в рынду — восемь склянок, — конец последней вахты. Начались новые сутки. Как хотел в эти минуты моряк, чтобы его корабль находился далеко-далеко от берегов Европы. Николай Павлович бросил взгляд на узкую палубу. На ней темнели лотки торпедных аппаратов, угадывались дула орудий, вся она казалась загроможденной ненужными вещами. Он вновь мысленно перенесся на свой клипер. При таком ветре, слегка накренясь на правый борт, он великолепно режет форштевнем океанскую волну.

Старший офицер клипера, как и его командир, оставался в числе немногих приверженцев парусного флота. И чем больше они понимали его обреченность, тем сильнее любили свой последний корабль.

С восьмым ударом в рынду на мостик миноносца поднялся офицер, заступающий на вахту. Скоро по трапу спустился лейтенант Фелимор. Он был весел и возбужден. Вахта прошла прекрасно, а сейчас он закусит в кают-компании и выпьет пару стаканов чаю с коньяком. Нет, лейтенант не жалел, что променял спокойную чиновничью жизнь на бесконечные вахты на мостике «Грейхаунда».

Заметив Фелимора, Николай Павлович хотел было перейти на другой борт. Но Фелимор увидел его:

— О, кэптэн Никитэн! Приятная ночь, не правда ли?

— Да, славная ночь, хотя все портит чрезмерная скорость вашей борзой.

— Что вы. Мы идем не самым быстрым ходом. Можем выжать еще пару-другую миль.

— Нет, почему же, при свежем ветре и у нашего клипера довольно приличная скорость. Но там ее совершенно по-иному ощущаешь...

Ветер подхватывал и уносил слова, собеседники восстанавливали фразы только по их обрывкам. Филимор предложил зайти в кают-компанию. Никитин поблагодарил и сказал, что побудет на палубе. Как ни хотелось Филимору горячего чая с коньяком, он, чувствуя себя хозяином, да еще виноватым перед гостем, увлек его за рубку.

— Вот здесь совсем тихо, — сказал Филимор. — Вы будьте великодушны и еще раз извините меня за опрометчивый, если хотите, бестактный, глупый поступок. Сейчас, все обдумав, я понял, что не имел права что-либо предпринимать по отношению к вам, не посоветовавшись предварительно с вами.

— Я уже высказывал вам свое отношение. Но сейчас этот поход стал даже мне нравиться.

— Вот и прекрасно! Какой вы груз сняли с меня! Последнее время я наделал невероятное количество глупостей. И знаете, почему?

Никитин не успел ответить простодушному Филимору. Из кормы миноносца вырвался столб пламени. Теряя сознание, капитан-лейтенант почувствовал, как у него онемели ноги от чудовищного удара в подошвы и он, как во сне, поднимается в воздух.

Очнулся Никитин под водой и опять, как во сне, инстинктивно затаив дыхание, стал выгребать на поверхность. Вынырнув и отдышавшись, принялся сбрасывать с себя шинель и опять он это делал, еще не отдавая себе полного отчета в том, что произошло и почему он очутился в воде. Вода была холодной, но он еще не чувствовал этого, работая руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности, и оглядываясь вокруг в надежде найти обломок или спасательный круг. Под руку попало весло. Он лег на него грудью, весло тонуло, но это уже была опора на первое время. Началась довольно сильная зыбь. Поднявшись на гребень волны, Никитин увидел в десяти футах дверь и поплыл к ней. Нашел ручку и, ухватившись за нее, понял, что может держаться так довольно долго. И тут впервые почувствовал, как холодна вода. Все это время он прислуши-

вался, стараясь услышать чей-либо голос. Стояла жуткая, пугающая тишиина. «Никого. Бедный Фелимор», — подумал ои и поиял, что оглох. Он не слышал ни свиста ветра, ии шума волн. Ударил рукой по воде и ие услышал всплеска.

— Час от часу ие легче, — сказал он, ие слыша своего голоса, и стал трезво обдумывать положеиие. Самое большее, он продержится иа этой двери до рассвета — и то если привяжется к ручке ремием. Температура воды не выше пятиадцати градусов, она вытяиет из иего все тепло, лишит подвижиости, закоченевшие руки перестаиут слушаться...

«Лучше ие думать об этом, а бороться. Надо найти что-либо посолиднее. Обломок шлюпки, пояс», — и он стал толкать дверь, с каждым рывком подвигаясь иа несколько дюймов.

«Так, пожалуй, лучше, — подумал ои. — Силы у меня еще есть. Что с моими ушами?» Ои тряхиул головой и вдруг почувствовал, как из ушей вылилась «горячая» вода, и ои стал с трудом различать голоса моря. И как будто где-то далеко-далеко крик тоиущего. Николай Павлович, прислушиваясь к замирающему голосу, стал эиергичией толкать свою дверь туда, откуда доиосился крик.

— Да сюда же, сюда! Боже мой, куда вы плывете? — услышал ои совсем ясный и как будто знакомый голос справа от себя и увидел силуэт человека, стоящего по пояс в воде.

Николай Павлович закрыл глаза, с ужасом подумав: «Галлюцииации, коиец!»

— Ну что вы, что с вами? Плывите ко мие, я в лодке! Ну, пожалуйста...

«Фелимор! Славиый Фелимор!» — проиеслось в сознаиии Никитиия.

Лейтеиаит стоял в затоплениом спасательиом боте совсем рядом и протягивал руку. Ои помог Никитиму перебраться через борт.

Шлюпка зачерпиула воды, ио осталась иа плаву: по ее бортам были вделаиы запаяииые баки с воздухом. Поплавки надежио держали бот иа поверхиости.

Оии сели друг против друга иа баики и, взявшись за руки, долго молчали, переполненные радостью спасеиия.

— Какой ужас! — первым заговорил Фелимор.

— Я плохо слышу, говорите громче.

— Наверное, мы налетели на миию? — прокричал Фелимор.

— Возможно. Можио не так громко. Ко мне возвращается слух. Неужели все погибли?

— Не знаю. Я слышал слабый крик, но скоро он стих. Я всячески его ободрял, кричал до хрипоты. Думал, это вы. И вообще, я звал всех плыть ко мне. Я еще покричу.

Фелимор еще иесколько минут продолжал звать уцелевших, но никто не откликнулся.

— Видите? — спросил он со слезами в голосе.

— Может быть, кто-либо еще держится, ио потерял временно слух, как и я. А сейчас нужно проверить, нет ли пробоин в боте.

Они ощупали под водой борта и днище.

— Как будто пробоин иет, — сказал Фелимор.

— Давайте вычерпывать воду. Вот тут в рундуке вместе с аварийиым запасом что-то вроде котелка и ковш.

Они стали вычерпывать воду и работали минут пять, как вдруг услышали глухой шум машин. Фелимор, иабрав полную грудь воздуха, хотел было позвать на помощь. Капитан-лейтенант вовремя остаиовил его и шепнул, чтобы он пригнулся.

Из темноты, иадвигаясь на них, показалось темное возвышение, потом низко сидящий в воде корпус подводной лодки. Она прошла совсем близко, запахло нефтяной гарью. На мостике вырисовывались два силуэта. Послышалась немецкая речь.

Когда лодка скрылась и урчанье дизелей стихло, Фелимор прошептал:

— Так, значит, нас потопила субмариид?

— По всей вероятности.

— Конечно. Убийцу всегда тянет к месту преступления.

Они продолжали работать черпаками, стуча зубами от холода. Воды оставалось уже по щиколотку, когда Фелимор поставил черпак на банку и полез в кормовой рундук, шепча: «Какой я идиот», и, покопавшись там, вытащил большую флягу.

— Виски, мистер Никитэи! Нет, у меня просто отшибло разум. Я же только вчера проверял на этом боте неприкосновенный запас. — Он отвинтил и протянул

Никитину. — Глотните, кэптэн. Вот так, теперь я... Какой напиток! И везет же нам с вами!

Затем они разделись, выжали одежду так, что потрескивали нитки. Одевшись, съели банку мясных консервов и выпили еще по глотку виски.

Никитин стал утешать лейтенанта, сказав, что через сутки-другие сюда придет помощь. У них есть продукты, а может быть, пойдет дождь, и у них будет вода. Даже без воды они не умрут через неделю. Утешая лейтенанта, он не заметил, как тот уснул, сидя на днище и положив ему голову на ногу.

Никитин с трудом разбудил его.

— Спать нельзя!

— Ничего, ничего, — твердил молодой человек.

— Да вставайте же! Застынете, умрете.

— Что? Да, да, я совсем замерз. Боже, как холодно.

— Вставайте, двигайтесь! Вот, возьмите весло, к счастью, его хорошо закрепили под банками, гребите!

— Да, да... Что со мной? Ударьте меня по щеке... Я сплю стоя. Упаду за борт. Но нет! — он тряхнул головой. — Что это?

На юге небо озарилось малиновым светом. Прошло довольно продолжительное время, и докатился глухой раскатистый грохот.

Фелимор сказал:

— Еще одна жертва! Эта хищница опять кого-то потопила.

— Похоже, — ответил Никитин. — Взрыв милях в десяти от нас. Вот и появилась работа, которая помешает нам уснуть.

— Да, мы идем на помощь! Немедленно! — горячо воскликнул лейтенант, окончательно стряхнувший с себя сонливость. — Где это ваше весло? Если есть одно, то могли уцелеть все шесть. Были весла и на других шлюпках. Сейчас мы осветим море. Какой я идиот, сам положил в рундук ракетницу в брезентовом мешке и банку с патронами. Я думаю, что не привлечем субмарину?

— Скорее всего там подумают, что к погибающим подходит помощь, и уйдут под воду, если совсем не потеряли голову от необыкновенной удачи. Потопить два корабля, да еще ночью!..

— Есть! Все на месте. Каким молодцом был Гарри Смит, все положил, как я ему приказал. Стреляю!

Хлопок выстрела, и высоко в небе загорелось ма-

ленькое солнце. Медленно опускаясь на парашютике, оно ярко осветило все место катастрофы.

Первое, что бросилось им в глаза и заставило быстрее забиться сердце, был человек на перевернутой шлюпке. Он лежал поперек киля, безжизненно свесив голову, руки и ноги его находились в воде. С каждым движением шлюпки на волне он то немного сползал головой вперед, то опять подавался назад. Совсем недалеко от шлюпки плавало весло. Фелимор подтянул его багром.

Ракета погасла.

До шлюпки было футов сто. Они выпустили еще три ракеты, пока добрались до нее, по пути подобрав еще одно весло.

Матроса с большим трудом сняли с киля шлюпки. Неожиданно он мертвой хваткой уцепился за леер, протянутый вдоль наружной стороны планшира и местами прихваченный к нему скобами. Никитину пришлось раздеться и, спустившись в воду, перерезать леер, а затем заплыть на другую сторону и, поддерживая голову матроса, помочь Фелимору перетащить его в свой бот.

При свете ракет Фелимор, стоя на банке, пытался увидеть еще кого-либо из спасшихся при взрыве. Но среди обломков дерева, плавающей ветоши, масляных пятен, переливающихся зловещими цветами, не было никого.

Матрос окоченел и, видимо, был сильно контужен. Ему влили в рот виски, и тут он проявил первые осмысленные движения, ухватившись за флягу и не выпуская ее из рук. Флягу пришлось отнять.

— Это ты, Арт? — спросил матрос, еле ворочая языком. — Где это мы так с тобой нализались?

Его раздели. Крепко растерли, одели в мокрую выжатую одежду, дали еще выпить и оставили, посадив спиной к борту, а сами взялись за весла.

Скрипели уключины. Тяжелая шлюпка, рассчитанная на шесть гребцов, еле двигалась к югу, слегка подгоняемая слабым северо-западным ветром.

Гребцы молчали, экономя силы.

В голове матроса, раскалывающейся от боли, медленно восстаналивалась картина катастрофы. Они со вторым офицером лейтенантом Кэртоном заступили на вахту. Арт принял штурвал, а он по обыкновению вышел на крыло мостика, чтобы проверить, не горят ли

ходовые огни. Да, они ходили без огней, чтобы не выдать себя немцам. Он перевесился через поручни, и вдруг его швырнуло за борт. Описав дугу, он врезался в упругую, как резина, воду. По крайней мере, так ему показалось.

— Ну, как себя чувствуешь? — спросил Фелимор.

— Сравнительно неплохо. У меня такое чувство, будто мною выстрелили из пушки и пробили стену. Какая шишка, вы не заметили?

— Нет! Да ты не Гарри Смит?

— Кому же еще быть, лейтенант? Я и есть старший матрос Гарри Смит, а вы тот самый новичок, что насолил в пудинг адмиралу? Ну, конечно, вы и есть! А мой напарник Арт?

Узнав, что Арта нет в шлюпке, сказал:

— Бедный Арт. Хотел после войны устроиться в зоологический сад, он так любил всяких зверей. Арт был совсем одинок. До войны его жена уехала с Томом Буритоном в Австралию... А куда мы идем?

Старший офицер «Ориона» рассказал о взрыве.

Смит заметил с сомнением:

— Вряд ли мы доберемся вовремя на такой галоше. Да и веслами вы двигаете, как ребята в пабе ногами после доброй выпивки. Я бы мог кое-что сделать, если бы из головы вылить свинец. Да и цела ли голова, может, одни осколки остались? Нет, голова на месте, только вроде бы увеличилась. — Помолчав, спросил: — Вы, мистер капитан, русский?

— Да, Смит, русский.

— Вас заманили к нам на «Грейхаунд» для приманки, как наживку для тунца.

— Смит!

— Я, лейтенант, уже двадцать пять лет как Смит, — он сильно захмелел, и у него заплетался язык. — Вы нам сразу понравились. И мы про вас знаем все, лейтенант: и знаем, кто живет у цитадели, все знаем...

— Смит, вы бы взяли третье весло.

— Почему не взять? — Раздался храп.

— Пусть спит, — сказал Никитин, — толку от него никакого. Замечаете, как повеяло теплом?

— Мне уже жарко становится.

— И я согрелся. Да у нас с вами ведь шерстяное белье. Шерсть даже мокрая греет.

Небо на востоке побледнело. Ветер почти стих, а зыбь стала сильной.

— У меня такое ощущение, что мы все время гребем в гору и не двигаемся с места, — сказал Фелимор, подняв весло и ложась грудью на валек.

— Да, мы устали, — сказал Никитин. — Очень устали. Пора отдохнуть. Все-таки несколько миль осталось позади.

Фелимор спал, едва удерживаясь на банке. Капитан-лейтенант поднял его, сонного, и уложил рядом со Смитом, а сам снова взялся за весла, уже не чувствуя усталости, автоматически занося и опуская весла в воду. Он несколько раз засыпал на несколько секунд и тут же просыпался. Чтобы прогнать сон, умылся и смочил волосы водой. Голова немного прояснилась, и он греб еще с полчаса, отдохнул минут пять и снова стал мерно работать веслами, удивляясь, откуда берутся силы. Не раз ему приходило в голову оставить, казалось, безнадежную попытку спасти утопающих, если они еще живы, но он прогонял эту недостойную мысль.

С каждой секундой становилось светлее. На небе появились перистые облака — признак смены погоды. Океан из пепельно-серого на рассвете налился стеклянной голубизной. Волны мерно вздымали бот. Наконец силы совсем покинули единственного гребца, и он остался сидеть, глядя на валы, гладкие во впадинах и подернутые легкой рябью на вершинах. Сон одолевал. Обмякло все тело, веки сами закрывались, и тогда он видел сны, продолжавшиеся несколько секунд, но казалось, они длились часами.

Чтобы скоротать время, Никитин заглянул в кормовой рундук и нашел там компас и шлюпочный лаг. Счетчик лага он укрепил на корме, а лаг-линь с вертушкой выбросил за борт и опять стал грести.

Проснулся Смит. Открыл глаза и снова закрыл их. Так он лежал с минуту, вспоминая, что с ним приключилось, затем, пожелав капитан-лейтенанту доброго утра, умылся и спросил:

— Так и гребли всю ночь? Лейтенант, наверное, скис за мной следом?

— Нет, прилег совсем недавно.

— Хорошо, кэп. Вам хватит окунать весла, давайте я помахаю. Ложитесь. Надо сказать, у нас шпангоуты не из мягких, рыбины вылетели. Надо было подобрать,

оии-то уж не утонули. И пресной воды, смотрю, у вас тоже нет, хотя анкерок я сам только вчера наполнил отличной водой. — Он покрутил головой, удивляясь, как два офицера оказались такими непредусмотрительными людьми. Ворча себе под нос и ощупав голову, он взялся за весла.

— Держи прямо на юг, — сказал капитан-лейтенант, — вот компас.

— Есть, кэп, держать на юг. Как только покажется Южный полюс, сразу разбужу вас.

— Смотри не пройди мимо, — в тон ему, улыбаясь и уже засыпая, ответил Николай Павлович.

Смит, оставшись в одиночестве, сделал несколько гребков, опустил весла и, пробравшись к рундуку, достал флягу с виски. Поболтал, открутил пробку, понюхал, задумался и, не сделав ни полглотка, со вздохом завинтил опять. Смит слыл хорошим товарищем, честным парнем.

Заметив цифры на лаге, матрос стал грести, вкладывая все силы, сделав ровно сто гребков, оставил весла и, взглянув на лаг, поморщился: сто футов! Нет, такими темпами не добраться не только до Южного полюса, но даже до места катастрофы. И, решив, что нецелесообразно тратить силы, Гарри разделся и расстелил сырую одежду на банках, а сам, поворачиваясь то спиной, то грудью, стал греться на солнце.

Далеко за горизонтом показался дым. Матрос вскочил на банку. Дым скоро рассеялся, и опять вокруг пустынное море.

Проснулся Фелимор, а за ним Никитин.

Смит уже надел просохшую одежду и, пожелав доброго утра, доложил:

— Ветер юго-восточный. Прошел около ста футов и бросил грести: бесполезное дело при таком ветре.

— Все-таки надо пройти оставшиеся пять миль, — сказал капитан-лейтенант.

Фелимор его поддержал.

— Если надо, то я готов, — как ни в чем не бывало согласился матрос.

Вдруг Фелимор, с надеждой оглядывавший море, сказал срывающимся от волнения голосом:

— Корабль! Парусник! Или мне кажется?

Над синим, всхолмленным океаном медленно проплывали белоснежные паруса.

— Они нас не видят! — чуть не плача, сказал Фелимор. — Где ракетница? Есть ли еще патроны? Смит, стреляй!

Никитин встал во весь рост и, глядя затуманенными глазами на приближающийся клипер, торжественно сказал:

— «Орион»! Как он попал сюда, когда должен быть в это время милях в ста западнее?

На паруснике заметили потерпевших бедствие. С левого борта в шлюпку поспешно садились гребцы. На ванты, на реи, на палубу высыпали все вахты и в напряженной тишине всматривались в крохотную посудину и трех людей.

Командир первым в бинокль увидал своего помощника, дивясь не меньше матросов, и строя различные предположения, и не веря, что это его старший офицер. Ведь бывают на свете удивительные сходства. Все же он приказал опустить парадный трап. А когда Николай Павлович в помятом костюме, без кителя, счастливый, отвечая на приветствия матросов, ступил на нижнюю площадку трапа, Воин Андреевич бросился к нему навстречу и под восторженный рев матросов обнял и расцеловал в колючие, небритые щеки.

Клипер, набрав ветра в паруса, пошел к югу.

На всех марсах стояли матросы, обозревая пустынный океан. Командир наградил Зуйкова двумя золотыми и велел объявить, что назначает еще золотой тому, кто первый увидит людей в море.

Зуйков с Лешкой Головиным стояли на одном марсе и сосредоточенно смотрели вдаль по носу клипера.

— Нам, Алексей, еще один червонец не помешает, — говорил Зуйков, — перво-наперво тебе надо купить товару на настоящие сапоги, чтобы форс был, со скрипом, из настоящего французского шевра. У Брюшкова есть товар... Чтой-то маячит правей утлегаря?

— Нет, дядя Спиридон, это гребешок волны.

— Оно и есть волна...

Помолчав, Зуйков сказал:

— А наш-то Павлыч на шлюпке удрал от «бульдожки». И где ходу взял? На веслах ведь в такую даль пришел.

— Наверное, в течение попал.

— Во! Самый раз угадал! Течение морское оно такой силы бывает, так прет, что только держись. Зна-

чить, он курс знал и наперерез клиперу шел. Вот что такое наука! И ты, Алексей, смотри, учись, как домой вернемся.

— Еще как буду учиться!

— Надо, брат, нам с тобой на верную дорогу становиться, мне с землей, тебе с наукой, а не то вот так всю жизнь будем распускать чужие паруса.

Мечты о будущем захватили их, и, хотя они не отрывали взгляда от водной глади, мысли их витали далеко. К реальной действительности матроса и юнгу вернул ликующий голос Назара Брюшкова.

— Слева по носу люди в море! — завопил он чуть не с клотика.

ИГРА В КОСТИ

Редкая, прямо-таки невероятная удача сопутствовала командиру подводной лодки У-12.

Ему повезло даже ночью; вражеский эсминец, словно чуя свою смерть, шел прямо на субмарину. Почти в полной темноте фон Гиллер атаковал эсминец и потопил его меткими ударами торпед. Обыкновенно эсминцы не ходят поодиночке. Фон Гиллер прождал полчаса следующую жертву. Убедившись, что это был единственный корабль, выполнявший какое-то важное поручение, командир поздравил команду с новой победой и приказал пересечь квадрат 34 по диагонали и подзарядить аккумуляторы на полную емкость. В полученной шифровке сообщалось, что днем здесь пройдет караван американских транспортных судов под эскортом миноносцев и одного крейсера.

Начался второй час новых суток. Фон Гиллер готовился отойти ко сну, но знал, что после всех событий дня долго не заснет, если не проведет хотя бы полчаса на воздухе, и второй раз за эту ночь поднялся на мостик. Вылез из люка и лейтенант Леман. Фон Гиллер сказал:

— Вы сегодня действовали прекрасно. Секунда промедления, и «англичашки» увернулся бы от торпеды.

— Что мне еще остается, как не действовать прекрасно?

Фон Гиллер усмехнулся:

— Скоро ничего не останется от вашего скепсиса

и самокопания. Все это от возраста, лейтенант Леман. В ваши годы и я стремился разрешить «проклятые вопросы», пока не понял, что я тевтон, человек, принадлежащий к высшей расе, миссия которой — утвердить на земном шаре настоящий порядок. Вы не могли не заметить, лейтенант, читая книги и газеты и особенно данные статистики, что на земле становится тесно, а некоторые народы, не имея на это никаких прав, занимают непомерно большие территории.

— Например, славяне?

— Вы очень догадливы, лейтенант. Именно славяне! Мы должны по возможности сократить их численность и территорию. Это касается и некоторых других стран и национальностей. Но для осуществления великой миссии обновления мира мы должны его завоевать. Что не удалось сделать ни Александру Македонскому, ни Наполеону, то сделаем мы, хотя их задача была несравненно легче. Вы не согласны?

— Да, мой капитан. Хотя величие идеи я чувствую. Все же сейчас, сопоставляя факты действительности, не могу представить, когда все это произойдет. Тем более что завоевание мира как будто не осуществляется. Пока же война с целью завоевания мира мне кажется похожей на игру в кости. И эту партию, как это ни печально, мы проигрываем...

— В голове у вас зыбко, Леман... Оставьте в покое спасательный круг, не то мы опять его потеряем, прикрутите зажимы. Бросьте раз и навсегда эту дурную привычку! Прикручивайте и идите вниз, завтра у нас предстоит нелегкий день.

— О да, капитан-цурзее, как всегда.

Капитан-цурзее барон Фридрих фон Гиллер только занес ногу над люком, а лейтенант Леман взялся за барашек зажима, как лодка задела бортом свинцовый колпак плавучей мины. Триста килограммов взрывчатого вещества, заключенные в сферическом теле мины, мгновенно превратились в огненный таран, и стальная субмарина переломилась, как картонный футляр.

Мальчишеская привычка неуравновешенного лейтенанта Лемана спасла и его, и командира подводной лодки. Никто не выскочил из узкой горловины люка. Лодка скрылась под водой значительно быстрее, чем при самом удачном ее выстреле исчезали в морской пучине ее недавние жертвы.

Субмарина затонула в одиннадцати милях к югу от места гибели «Грейхаунда». Оставшиеся в живых из всего ее экипажа два человека цеплялись за жизнь, принявшую форму круга из пробковой крошки и крашеного брезента. Лейтенанта Лемана взрывной волной отбросило вместе с кругом, и он выпустил его из рук только при падении. Вынырнув, он почти сразу его нашел. Вблизи тонул фон Гиллер; плавал он плохо и еле держался, издавая хлюпающие звуки. Леман подплыл к нему и схватил за ворот свитера.

Фон Гиллер пережил непередаваемые мгновения возвращения к жизни. Скоро он уже совсем пришел в себя, влез в спасательный круг, предоставив лейтенанту возможность держаться сбоку за одну из веревочных петель.

— Вы не ранены? — наконец спросил тихо фон Гиллер.

— Нет, а вы? — так же тихо ответил лейтенант.

— Ранен, у меня отнялась нога. Я побуду еще в круге, затем отдохнете вы. Не надо так нажимать на него, работайте ногами, это согреет вас. Не так энергично! Боже, вы меня утопите!

— Вы поддерживайте плавучесть руками.

— Я ранен. Ну хорошо. Попробую. Нет... Страшная боль.

— Я тоже, кажется, ранен.

— Кажется только, а я..: о боже! — он застонал.

Никто из них не был ранен. Просто между ними начиналась звериная борьба за жизнь. Более опытный захватил единственное средство спасения и теперь всеми силами, ложью, мольбами удерживал его.

Во время взрыва из топливных цистерн вылилась нефть, и теперь нефтяная пленка покрыла все вокруг.

— Вы поищите себе что-нибудь, — сказал фон Гиллер, — вдвоем мы долго не продержимся. Не найдете, плывите ко мне. Не может быть, чтобы ничего больше не всплыло.

— Нет. Я плохо плаваю. Лучше всего, если вы вылезете из круга. — Леман стал отплевываться: нефть попала ему в рот.

— Тогда я сразу пойду ко дну. Моя нога. Она совсем не действует. Ты совсем утопил меня! — Капитанцурзее перешел на «ты». — Работай ногами!

— Вы также.

— Не могу. Боль в ноге. Не сгибается.

— Возможно, вывих? — спросил лейтенант. — Дайте, я ощупаю колено.

— Не смей! Утопишь!

Они оба скрылись под водой. Вынырнув, долго отплевывались. Затем наступило враждебное молчание. И тот и другой экономили силы, но барону было легче держаться на поверхности, к тому же кисти его рук находились над водой, а руки Лемана были погружены в холодную воду.

«Он долго не продержится, — думал барон. — Руки одеревенеют, и тогда надо только толкнуть его ногами. Что, если он, как все утопающие, схватит меня в последнюю минуту и не выпустит?» Барон не спускал глаз с лейтенанта, угадывая каждое его движение. Если бы у капитана-цурзее был нож, он, не задумываясь, всадил бы его в Лемана. «А теперь надо все предоставить воде. Этот слюнтяй долго не протянет. Только бы он не вздумал попытаться отнять круг. Конечно, из его затеи ничего не выйдет, но я потеряю много сил. Сейчас надо отвлечь его от агрессивных намерений».

— Лейтенант?

— Да?..

— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично...

— Я рад твоей стойкости.

Внезапно Леман захохотал. Капитана бросило в жар. «Сошел с ума», — подумал он и стал успокаивать вкрадчивым голосом:

— Но, но, Леман! Успокойтесь! Уже утро. Мы продержались пять часов. Скоро придет караван, и нас подберут.

Леман продолжал смеяться жутким хлюпающим смехом.

— Да успокойтесь, что с вами?

— Ничего... Не беспокойтесь... Я не сошел с ума... Все в порядке. Помните, я говорил об игре в кости.

— Да. Что в этом смешного?

— Судьба... обыграла нас... У нее шесть!.. У нас... одиночка... Разве... не... смешно?..

— Что поделать... Будем держаться. У тебя шерстяное белье?

— Да... Не особенно... Холодно... Только... вот...

Он внезапно просунул руки в круг, и оба они опять погрузились в холодную, пахнущую нефтью воду.

— Как ты неосторожно, — сказал капитан-цурзее после долгого молчания. — Хотя бы предупредил. Можно было захлебнуться. Хорошо, держи так руку, но тебе ведь неудобно. Лучше за петлю. Вот и хорошо. Смотри! Всходит солнце!

— Последнее солнце... Вы хотите пнуть меня ногами? Предупреждаю!

— Откуда у тебя такие мысли?

Леман только усмехнулся:

— Когда будете захлебываться... в вонючей нефти... вспомните госпитальное судно... транспорт с солдатами... рыбацкую шхуну... людей, спящих на миноносце. Мы с вами слишком малая плата за все...

Они молчали, не в силах говорить и думать, все силы уходили на то, чтобы не выпустить круг. Фон Гиллер забылся в дремоте, руки его ослабли, и он чуть было не нырнул в отверстие круга. Его обезумевший взгляд встретился с глазами Лемана и уловил в них насмешку.

— Держитесь лучше, кэп, — сказал, еле шевеля губами, Леман.

Когда они увидели паруса клипера, а затем и самый корабль, похожий на сказочное видение, Леман сказал, еле шевеля языком:

— Выиграли... Хотя, если они узнают, кто мы...

— Молчите!

Уже слышались слова команды, скрип уключин. Фон Гиллер, подобрав затекшие ноги, изо всех оставшихся сил толкнул ими в живот лейтенанта, и тот скрылся под нефтяной пленкой.

Матрос Зуйков и юнга Лешка Головин наблюдали за этой сценой с марсовой площадки.

Зуйков сказал, покачивая головой:

— Ведь он, собака, утопил своего кореша! Секунда до спасения оставалась, он даже руки ему не протянул и, видал, будто даже отстранился от него, словно отпихнул.

— Ослаб он, дядя Спиридон, видишь, без памяти везут.

— Слаб! В такую минуту, Алексей, сила в человеке прибывает, он-то в круге спрятался, а того наружи оставил. Ведь видел, что тот, другой, на ладан дышит, и

уступил бы середку. Или схватил бы его за рубаху да продержал малость, а он только о себе думал. Плохое это дело, парень, когда только о себе думка, да еще вот так, в таком положении. Ты наперво о товарище думай, а если тонуть, так вместе. Наш-то капитан-лейтенант двоих спас, о себе не думал, да этот Гарка, английский матрос, Феклину сказывал, что всю ночь на помощь шел, как только взрыв заметил, так и за весла взялся. Один греб, тоже контуженый весь. Так-то, Алексей. Вот как должон поступать русский, да и всякий моряк и прочий человек, если он человек!..

* * *

«Орион» снимался с дрейфа. Матросы разбежались по реям ставить убранные паруса.



Юлий ФАЙБЫШЕНКО

Кшися



1

Наш дом стоял на горе. Вокруг цвел сплошной сад. Он широко обходил дом, спускался вниз к обрыву, к окраине, где в крохотных хатках жили странные приблудные люди, вечно копошившиеся возле развалин (а их хватало не только здесь, но повсюду в городе). Сад прижимался яблоневыми ветвями к монастырской стене, шел вдоль нее по спуску к началу городских улиц, а оттуда снизу, почти от самых кюветов шоссе, подымались вверх знобкие ряды молодых яблонек, неизвестно кем посаженных и брошенных на произвол судьбы. Они четко восходили почти до начала нашего двора, их кудрявые макушки качались в десяти метрах от крыльца, а сбоку от него гудели под ветром матерые вишневые и черешневые деревья и глухо позванивали пересохшими от солнечного жара листьями узловатые груши.

Ниже этого зеленого царства разворачивалась топография старого города, с его полуразрушенными войной улочками, с многоэтажным центром, обращенным почти в сплошные руины и сейчас кое-где покрытым лесами восстановления, с чистенькими домиками окраин, погруженных в зеленые волны садов.

За исключением парка, который тоже лежал на горе, но уже с другой стороны от центра, весь он просматривался от нашего дома. Я говорю: нашего дома, но жило в нем четыре семьи, а мы владели лишь одной комнатой, выходящей окном на город, почему я каждый день и мог часами всматриваться в его изуродованное войной



лицо. С одной стороны вечно темного коридора, кроме нас, жили Иван с матерью и старый Исаак с молчаливой внучкой, с другой — семейство Стефана.

Дом наш был молекулой окружавшего мира, а мир этот еще только отстаивался от многослойного запаха прошлого. Ведь мы жили в краю, помнившем и австро-венгерскую империю, и панскую Польшу, и недавний ужас гитлеровского владычества.

Когда-то дом принадлежал Стефану. Все остальные жильцы появились в нем после освобождения. Стефан, высокий сумрачный поляк с носатым небритым лицом, редко появлялся в коридоре или на нашей половине дома. У его домочадцев был отдельный выход в сад, а коридор они использовали лишь затем, чтобы вынести оттуда или, наоборот, вернуть туда что-нибудь из старой мебели, загромождавшей весь задний угол дома.

В первое воскресенье после приезда мне сразу пришлось нырнуть в самый омут раздиравших дом водоворотов. Было только часов семь утра, и солнце, еще вялое, еще словно бы задумавшееся, невысоко брело над городскими крышами, дрожало мягкими косяками на теплых досках крыльца, отблескивало на листве. Пока отец с матерью не проснулись, я вылез в окно и помчался к колодцу. Нажарив лицо, выскоблив шею, ополоснув спину леденящим огнем колодезной воды, я пошел обратно. Полотенце было забыто в комнате, и капли медленно высыхали у меня на коже.

На крыльце уже сидел в кресле-качалке старый Исаак, и около него на стуле полная застенчивая девушка с нежным румянцем на очень белом продолговатом лице. Она встретила меня добрым и насмешливым взглядом, я кивнул и, сказав «здрасьте», хотел было пройти, но в это время из сада вышла целая процессия: впереди высокая мощногрудая женщина в жакете, стянутом в талии, в длинной, широкой книзу юбке, в шляпке с перьями, за ней Стефан в пиджаке «фантазия», по-женски обрисовывавшем ему зад, в галстуке на светло-желтой сорочке и фетровой шляпе. На этот раз его мрачное лицо было выбрито, но глаза глядели с прежним диким выражением, сзади всех в коротеньком, выше коленей, платьице бежевого цвета благонравно шла девочка моих приблизительно лет, с пышной прической пепельных волос, раскинутых по плечам, в беленьких носочках на загорелых ножках, в лаковых туфлях.

Семейство проследовало мимо нас молча, лишь девушка на крыльце тихо, но ясно в утренней тишине сказала:

— Дзень добжий, пани и пане Тында.

Тогда Стефан сделал вид, что снимает шляпу, а мощногрудая тетка пророкотала:

— Дзень добжий.

И тотчас же ангельски зазвучала девочка:

— Гут морген, Ревекка.

— Дзень добжий, Кшися.

Я стоял столбом и пялился во все глаза вслед удалявшемуся семейству.

— Они пошли к мессе, — сказала Ревекка, — а вы какой веры, мальчик?

Я задумался. Какой я был веры?

— Никакой — сказал я.

— Так не бывает, — мягко сказала девушка, — у человека должна быть какая-нибудь вера.

— Мой отец коммунист, — сказал я, — а я пионер, а бога нет и никогда не было.

Старый Исаак печально покачал головой и посмотрел на меня черными, глубоко запавшими глазами:

— Какие слова, какие неразумные слова ты говоришь, мальчик...

В это время на крыльцо вышел черноволосый парень в расшитой украинской рубахе, с угловатым, грубым, но смягченным выражением доброты лицом.

— А це хто такый буде? — удивился он при виде меня, и некрасивое его лицо вдруг оживилось лукавой и ласковой усмешкой. — Хто тут такый схизмат, шо не хоче прызнаваты бога?

— Это сын Голубовского, — сказала своим музыкальным голосом Ревекка, — они с мамой приехали вчера, правильно, мальчик?

— Правильно, — буркнул я. Меня стесняло общее внимание.

— А як зваты хлопця? — улыбаясь, выспрашивал парень. — Га?

— Толик, — сказал я.

— А меня Иван, — сказал парень и крепко тиснул мне руку, — а это Исаак и Ревекка. И ты зря им сказал, что у тебя нет веры, ты ж русский, значит, православный, как и я.

— Нет, — сказал я упрямо, помотав головой, — я пионер. Мы в церковь не ходим. И бога нет.

Парень посмотрел на меня, наморщил лоб, потом сказал:

— На нет и спроса нет, — и, спустившись с крыльца, пошел по траве к тропинке.

Ревекка и Исаак молчали, и я пошел в комнату.

После завтрака я предпринял обследование сада. Солнце повисло уже высоко, и от земли под яблонями загустел душный тяжелый и терпкий запах, неподвижно стыла листва, и лишь изумрудные жуки, отсвечивая тяжелым золотом, когда попадали в струю света, низко и лениво пролетали над землей. Около дома с нашей стороны сада стоял глубоко врытый в землю стол и вокруг него скамьи. Доски, нагретые солнцем, лучились свежим тесом. Вишневые деревья опрокидывали на стол резную прохладную тень. Повсюду с квохтаньем бродили толстые индюшки с фиолетовыми обвисшими щеками. Индюк, важный и пестрый, как магараджа, скосил на меня малиновый гневный глаз. Я швырнул в него земляным комом, погрозил ему, отлетевшему с воплем, кулаком и пошел дальше в сад.

До самой монастырской стены, высоко подняв нагруженные плодами ветви, тянулись старые яблони, вскидывали вверх грузные кроны груши, а сбоку от них начиналось целое королевство сливовых деревьев — и каких же здесь только не было слив: и лиловые, и черные, и синеватые, и фиолетовые — зрелые до того, что таяли на зубах немыслимым сладостным ароматом, и еще зеленоватые, твердые, окислявшие рот, словно ты проглотил целую ложку уксусной эссенции, и я скоро просто утонул в этом саду, захлебнувшись изобилием красок, запахов и плодов.

Я — дитя среднероссийского города с его старинным центром и деревянными окраинами, где тоже порой заборы гнутся под блаженным грузом яблоневых веток, но нам, отважной ребятне из пятиэтажных корпусов, это перепадало лишь после долгого труда ночных налетов, когда, набив пазуху яблоками, бешено несешься к забору под настигающий крик хозяина или остервенелый хрип спущенного цепника и потом, перелетев забор и промелькав галопом три-четыре квартала, вдруг с горестью обнаруживаешь, что зря было сломано столько веток, что зря дотесна загружались карманы и пазуха — добыча

просыпана, растеряна во время бегства. Конечно, в наших дворах, полных угольной пыли, лязга котельной, мусорных куч и свиста голубятников, хватало и других удовольствий: драк, сражений на «шпагах» из ореховых прутьев, сумеречных рассказов о всяких страшных приключениях, и все-таки как мог я не ошалеть в здешнем раю, в этой щедрости солнца, зелени и плодов! Ведь до этого дня все мои двенадцать лет были только предвестием встречи с таким садом. Вот почему через час, до оскомины наевшись слив и вишен, пьяный от сладости во рту и неисчислимых запахов, пронзавших меня до самых ребер, я задремал в тени сливовых деревьев под тонкое пение мух. Парила земля, и сквозь дремоту я чувствовал, как покачивается надо мной слива. Какая-то упрямая муха начала ползать по моему носу, я дунул, муха не слетела, я мотнул головой, щекотка не унялась, стало до того невыносимо, что я встряхнулся и сел.

Передо мной с тоиким прутиком в руке стояла давешняя девочка с пепельными волосами, раскинутыми по плечам. Синие глаза щурились от солнца, а вместо красивого кремового платья, которое было на ней утром, теперь все ее небольшое ловкое тело облегал купальный костюм.

— Ты чего? — спросил я.

— Ты-и кто-о? — она смотрела на меня в упор дерзкими синими глазами, ни следа утреннего благонравия не было на этом вызывающем лице.

— А ты кто? — спросил я, поднимаясь.

— Я Кшися, — сказала она, — а про тебя я знаю. Ты приехал вчера к своему татусю и теперь будешь жить здесь. Так?

— Так, — сказал я.

— Но если будешь спать в саду без разрешения, я тебя буду бить, — сказала она и зло уставилась на меня синими глазами, — чу-е-ешь?

— Жуть как испугался, — сказал я, — ты кто такая, чтоб мне грозить?

В ту же секунду плечо мое ожег прут, я кинулся за ней и потом полчаса гонялся по всему саду. Она была гибкой и злой, как кошка царапалась, плевалась и вывертывалась из рук. А когда не хватало сил, ругалась на пяти языках сразу. Наконец я все-таки потрепал ее, тогда она укусила меня. Я выпустил ее и пошел к дому. Мне было противно и горько. Только приехал и уже свя-

зался с девчонкой. Болел укушеиный палец. Неожиданно оиа догнала меня.

— Еще буде-ешь? — спросила она со своим польским выпевом.

— Пошла, — сказал я. — Дура! Я с девчонками никогда не дерусь, но такой вредной еще не видел! Вредиуля!

— Вредная? — она захохотала. — Я очень вредиая! Ты будешь со мной дружить?

Я остолбенел.

— Чего? — сказал я.

— Ты будешь моим коханым! — решила она и тут же поцеловала меня в щеку. — Розумнешь?

Я молчал.

— Як тебе зваты?

— Толик, — сказал я.

— То́-лек, — пропела она. — Толек, мой коханый, пошли в город.

И мы пошли в город.

О город сороковых годов, ты весь был в шрамах и рубцах войны. Она таилась в развалинах улиц, в горах битого щебня на месте домов, в скорбных глазах старух, в ожесточенных стычках в очередях, в ярости инвалидов; она отсвечивала на автоматах патрулей. На тротуарах то и дело мелькали кители и гимнастерки, старые немецкие мундиры (их донашивали мальчишки). Война была в поляке-шарманщике, певшем песню о героях-смертниках Варшавы, война была в остове гостиницы на улице Сталина, где второй этаж, бывший когда-то застекленной галереей, весь свисал на арматурном костяке перекрытий до самой земли. Раньше это была лучшая в городе гостиница пана Швибера, а теперь просто руина, засыпанная битым стеклом. Из выбоин средн потрескавшегося асфальта главной улицы буйно пер пырей и высоко вздымал свои сиренево-фиолетовые цветы репейник.

Около темного, выложенного многовековым отшлифованным камнем костела ждали, протянув к прохожим ладони, нищие. И около униатской округлой церковки ждали чего-то нищие. И около православной, с вознесенной ввысь луковичной колокольней.

В городе было тревожно: война, уже отгремевшая победными салютами в Москве, оставила в окрестных лесах националистические банды. И город жил сторожкой

памятью о выстрелах из-за угла, о трупах, найденных на рассвете в канавах. У ворот управления госбезопасности стояли грузовики с солдатами в касках, рядом со зданием милиции фыркали «виллисы» с вооруженными милиционерами.

Кшиська в своем нелепом наряде ныряла в толпу, полуобернувшись, призывно взмахивала мне и опять исчезала. Скоро мы вышли на улицы сплошных развалин. Здесь-то и началось самое интересное. Мы взбирались по скрипучим, готовым рухнуть ступенькам на лестничные клетки, вползали на площадки, которые раньше были комнатами. Они нависали над пустотой. Изредка по краям их еще высились остатки стен. Обычно здания сохраняли только часть стены и куски переборок, повисшие на ребрах арматуры. Иногда все же удавалось обнаружить разрушенную, но все-таки комнату с обвалившимся, но в какой-то мере существующим потолком. Тут-то и проявлялся полностью Кшиськин талант. Она рылась в каждой куче мусора и штукатурки, перетряхивала согнутые ведра и смятые кастрюли, откладывала в сторону более или менее пригодные к употреблению, она разгребала ногами золу и пыль, ворошила обрывки бумаги и фотографий — никогда в жизни не видел я столько бумаг и фотографий, как в этих уничтоженных больше чем наполовину, покинутых домах. В одной из таких полууцелевших заваленных щебенкой квартир я ткнул облезший письменный стол, он накренился и рухнул. Послышался звон, я наклонился: рядом с кучей длинных ассигнаций с надписями по-немецки кружили по полу, готовясь упасть, три золотые монеты. Я еще только нагибался, чтобы подобрать, как мелькнуло мимо тонкое тело, и Кшиська упала на захламленный пол, прикрыв собою деньги.

Я изумленно смотрел на загорелое тело в купальнике, распластанное на мусоре заброшенной комнаты, на упрямо и неприступно повернутую в мою сторону голову с упавшим на щеку локоном.

— Ты чего? — спросил я.

— Я нашла! Я!

— Что?

— Я первая видела.

— А-а! — сказал я, поняв, в чем дело. — Да бери ты их, бери хоть все.

Мне сразу наскучила эта забава. Комната была

большая, я отошел к проему былого окна и выглянул во двор. Там, в высоком пырее, среди ржавых баков и груд рыжего камня, бродили, отчаянно мяукая, одичавшие коты, несло гнилостным запахом запустения. Почему-то мне ужасно захотелось обратно, на родину, в пыльный шумный город с красными трамваями, обвешанными ребятней, в его улочки, где по летнему времени сплетничают на завалинках старухи в телогрейках и валенках, где во дворе пятиэтажного дома свистит Витя-трамвайщик и травит несусветные военные истории всегда хмельной Николаша, подпрыгивая на своей деревяшке.

Меня дернули за локоть. Я обернулся. Кшиська, отведя вбок голову, кокетливо поглядывала на меня из-под свесившихся на лоб пепельных прядок.

— То-лек! Цо ты такый смурый?

— Пошли домой? — спросил я, покосившись на ее купальник — под тканью трусов видны были три кружка. — Чего нам тут делать?

— Здесь много вещей, — сказала она. — Ты скоро тоже что-то найдешь.

— Мне они и задаром не нужны, — буркнул я.

Она пытливо смотрела на меня, сжав тонкие губы.

— То-лек, ты мой коханый?

Я усмехнулся:

— Что ты такое болтаешь?

— Ты обиде-елся?

— Да нет, пошли! — Я сбежал по тряской, загудевшей от моих шагов лестнице, отряхнулся от пыли и пошел по улице.

Скоро меня догнала Кшиська.

— То-лек, куда мы иде-ом?

— Домой.

— Хорошо! — Она пошла рядом. Мы свернули в проулок и вышли на главную улицу. Здесь все кипело народом. Возле заколоченных витрин магазина стояли франты в котелках и старомодных костюмах в клетку. Толпились горластые украинки с цветами. Проходили пары.

Кшиська сразу завертелась в этом многообразии, а я потерялся. Со всех сторон на меня смотрели мальчишки. Начиналась давняя история, виной которой был мамин испорченный вкус. Она считала, что даже внешность моя должна соответствовать понятию о благовоспитанности. Поэтому-то меня и обрядили в серо-желтые брюки до колен, напрочь выделявшие меня из послевоенно-

го двенадцатилетнего человечества. Эти брюки-гольфы и берет вызывали неукротимую ярость моих длиннобрюких сверстников. Сколько драк пришлось выдержать из-за этого, сколько насмешек. «Фраер! — кричали мне вслед — Цыпа! Мамин сын!» Сколько раз я восставал, когда мама требовала надеть эти брюки в школу, но положение было безвыходное. Ведь других штанов у меня не было, кроме коричневых, еще более коротких. И вот теперь здесь, за полторы тысячи километров от родного города, на меня смотрели местные мальчишки, и я знал, что все повторится. Они стояли кучками у подъездов домов или шныряли в уличной толпе, но я видел и знал по косоприцельному огню их взглядов, что взят на заметку. Я оглянулся: Кшиськи не было, где-то там, в кипении френчей и блуз, мелькнул ее зеленый купальник. Трое парней в майках и длинных брюках, циркая сквозь зубы и сунув руки в карманы, стояли у подъезда, мимо которого мне предстояло пройти.

— Бачь, якый барбос, — сказал один и толкнул меня плечом.

— Цирк, — сказал другой. — Спытай у нього, вин нэ з Амэрики до нас прилетив?

Я обошел обидчика и побрел дальше.

Эти злополучные штаны до колен были блефом. Моя воспитанная на внешней благопристойности мама хотела, чтобы я нес на поверхности ощущение благополучия и довольства. Его не было у нас в семье, его не было вокруг, почему же я должен был поддерживать этот миф, за который приходилось ежеминутно и тяжко расплачиваться?

Я знал, что троица идет за мной. Иначе просто не бывало. Я завернул в проулок и прибавил шагу. Но все было напрасно. Это была узкая, в коридорную ширину, улица. С двух сторон ее ограничивали пятиэтажные дома, а впереди была каменная кирпичная стена-тупик. Я остановился и оглянулся. Они шли за мной, и выражение их лиц не предвещало добра. Дойдя до тупика, я остановился. Они подошли.

— По́ляк? — спросил один из них, длинноволосый и мутно-бледный, уставясь на меня зелеными острыми глазами.

— Нет, — сказал я.

— З Москвы?

— Русский, — сказал я.

— То мы русские, — поясинл второй из инх, — а ты брехуи. — В тот же мнг третий, обойдя меия сзади, дал мие по шее.

«Началось!» — подумал я н кииулся иа длиниоволосого. Меия всегда били кучей, и побед иа мою долю ие перепадало. Поэтому я иашел для себя единствеиную возможную отраду: меня били все, а я бил вожака. Так горечь поражеиия хоть иемиого смягчалась. Я гнал длинноволосого по улице, а по затылку, плечам и спине молотили кулакн его товарищей.

Мутиолицый умел драться, он ловко отмахивался и раз даже попал мне в глаз. А тем времеием кулаки его приятелей хлестко стегали по бокам и затылку. Алое пламя иеиавнстн полыхиуло в мозгу. Я кииулся иа него, захватил под мышку его голову, изо всех сил выворачивая ее, повалнл иа мостовую и, почти ие чувствуя ударов сзади, стал душить врага. Ои закричал. Я испугался, и, с изумлеиием поняв, что меия больше иикто ие трогает, вскочил иа ноги. А рядом со миой кипела битва. Нензвестио откуда взявшаяся Кшнська, неистовая, как рысь, металась между двумя другими моими противииками. Она царапалась, била иогамн и колеиями, хлестала ладоиями и иепрерывно визжала. Это был вопль яростн и торжества, н это был зов о помощи. Я рииулся на подмогу. Двое нз иападавших дружио повериулись н помчалнсь к началу переулка. Я оглянулся. Длиииоволосый медлеиио проходил мимо меия.

— Мало? — спросил я, подступая.

Он остановнлся, покрутил хилой, все еще красиой шеей с выступавшими жилками, отплюнул и хрипло и безиадежно сказал:

— Ще побачнм, хто кого!

— Идн-идн, — сказал я, чувствуя непреодолимый стыд оттого, что душил его, такого слабого.

И он пошел, с трудом вертя шеей н потирая ее руками.

— Тупак! — закричала ему вслед Кшиська. — Перииа, а ие хлопец! Попадись мие еще! Балда! Хлорка!

— То хулигаиы с Пилсудского, — поясиила оиа мие внезапио чиииым голосом, окиив мое лицо сииим взглядом. — Мы им ловко иакрутили хвоста, так, То-лек?

Кшиська мешала украииские, польские, русские слова, как мешали их все в нашем городе, в котором говорнли на страниой смесн трех языков.

— Так, — сказал я, прикидывая, как я выгляжу, и ощупывая лицо — под глазами горело, синяк, видно, был обеспечен, — а ты откуда взялась?

— Та я же за тобой бежала.

— Что-то не видел.

— Ты мой коханый? — спросила Кшиська и вдруг опять поцеловала меня. — Так, То-лек?

— Брось ты эти штуки! — с ожесточением оттолкнул я ее.

Она изумилась.

— Ты мой коханый чи ни? Я тебя целую, так полагается.

— Каких-то коханых выдумала, — сказал я, — ребята узнают, со смеху умрут.

— Тупак, — сказала она, топнув ногой, — поезжай на свою Московщину. Там все такие тупаки, как ты!

Я повернулся и пошел. Ее шагов не было слышно. Прежде чем свернуть за угол, я обернулся. Она стояла там же, у тупика, и плакала. Внезапная, как игла, жалость уколола меня в самое сердце. Я потоптался на месте и подошел.

— Кшись, — сказал я, не зная, что делать и как говорить. — Ты извини. Ну чего ты!

— Пошел! — топнула она опять ногой. Синие глаза были бездонны и мерцали слезами. — Чи я усих кохаными называю? Як ты мог!

— Что мы с тобой — жених и невеста, что ли? — сказал я. — Задразнят.

— Трус! — крикнула она. — Испугался! Кто тебя задразнит? Покажи мне! Я ему глаза выцарапаю.

Я засмеялся, представив, как она выцарапывает глаза Вальке Артамонову из нашего тульского дома, который три раза жал двухпудовик левой рукой. Я смеялся и вдруг увидел, что она тоже смеется.

— Ты что? — спросил я.

— А ты-и?

— Я на тебя.

— А я на тебя. — Тут мы оба чуть не погибли со смеху и сразу помирились.

Мы взялись за руки и пошли на центральную улицу.

— То-лек, — сказала Кшиська, кокетливо глядя на меня. — Толек, это тебе, — и я почувствовал, что в ладонь мне впихивают что-то круглое и теплое. Я поднес

ладонь к глазам. Это была золотая монета из тех, что я нашел в разрушенном доме.

— Зачем мие, — сказал я, — возьми обратно.

— Ни, — сказала она упрямо и завела руки за спину, — я дарю тебе, ты по-иял?

— Да ие иужно мне это, — сказал я, снова пробуя всунуть моиету ей в руку. Оиа опять замотала головой.

— Якый ты тупак, — вдруг опять закричала она, — то мий подарунок тоби! Не бере-ешь? — Она опять чуть не заплакала.

Я взял.

Мы шли по главиой улице мимо иедавио расчищенного сквера, мимо киосков с газированной водой, мимо мороженщиц. Кшиська что-то щебетала у самого моего уха, а я думал иад странным словом, которое оиа так любила говорить: «коханый». Нет, у иас в Туле никто не ходил в такие годы с девчонкой за руку, это было бы постыдным, а здесь я шел, спрятав в своих ее тонкие цепкие пальцы, и ничего не боялся. Взрослое счастье самостоятельности переполняло меия.

Вдруг Кшиська рваиула руку и пошла рядом особым кошачьим шагом, вытяиув голову и выглядывая кого-то в толпе.

— Ты что? — спросил я.

— Стефан! — Она иеотрывно вглядывалась во что-то впереди. В мелькании шляп, фуражек, затылков я ничего не видел.

— Какой Стефан? — спросил я.

— Наш Стефан. З шлюхою! — и оиа метнулась в толпу. Я кинулся было за ней, но широкие спииы взрослых то и дело загораживали путь. Скоро я все-таки разглядел проходящего через дорогу под руку с расфранченной жеищиной Стефана в фетровой шляпе и через мгновеиие за ними — фигурку в зеленом купальиом костюме.

Нет, Кшиська была непостижима. Я немного постоял, поджидая ее, и пошел домой.

2

На крыльце, как всегда негромко, переговаривались Исаак и Ревекка.

В саду за врытым в землю столом гуляла компания

чубатых хлопцев в вышитых украинских рубашках. Стол был заставлен пузатыми бутылками с горилкой и закусками. Сам Иван то и дело бегал домой, чтобы принести еще какую-нибудь снедь. Мать его в очипке, в чоботах с загнутыми носками медленно проплывала вокруг стола, угощая всех кусками гуся из огромного блюда. Я остановился вдалеке, потрясенный этим великолепием. Иван, пробегая мимо, заулыбался всем своим угловатым лицом и сунул мне в руку пирог.

— Товаришкы зибралысь, гуляемо, — шепнул он и убежал.

Пирог был с капустой, еще теплый. Я съел его с таким наслаждением, что заметил это только тогда, когда понял, что больше не от чего отрывать ароматные, тающие во рту куски.

На другой половине сада носилась возбужденная жена Стефана Мария.

Прикладывая руку к глазам, она что-то высматривала внизу, там, где начинались городские улицы.

Я пришел домой, сел и занялся старыми книгами, которых здесь у отца было много. Особенно красивая книга называлась «Золотой век». В ней были иллюстрации, где щеголеватые дворяне с лентами и орденами на мундирах преклоняли колени пред толстой, осанистой женщиной в платье до самой земли, с короной в волосах. Это была Екатерина. Я стал читать. Роман был из времен Пугачева. Читалось легко. Пришла мама, стала о чем-то спрашивать, но я дошел до поединка, на котором предательски был убит молодой Голицын, и оторваться не мог, потому что вокруг сплошь отблескивали шпаги, слышался их звон, и молодой князь уже падал, пытаясь вырвать завязшую в груди сталь клинка.

Пришел отец. Я продолжал читать, но хоть одним ухом старался слушать, потому что отец всегда рассказывал о чем-нибудь интересном.

— Там во дворе, — отфыркиваясь и посмеиваясь, говорил он, моясь под умывальником, — эти «щирые» гуляют, а в саду идет скандал. Пришел Стефан под хмельком и пытается оправдаться перед Марией, а той Кшиська рассказала, что выследила Стефана с какой-то женщиной. Ну и девчонка! Маленький демон. Наш Толька, кажется, с ней подружился. По-моему, напрасно. Уж очень она мудра. Не по возрасту.

— Дитя войны, — сказала мать, вздохнув. — Сирота. Как ей быть другой?

— Все это верно, — сказал отец. — Только от нее лучше быть подальше.

— Ничего, — сказала мама, видимо поняв, что я слышу. — Он у нас взрослый мальчик, сам разберется.

Я читал книгу и мотал все это на ус. Так, значит, Стефан не отец Кшиськи. Тогда зачем она кинулась его выслеживать? Нет, чудная она все-таки.

Отец посмотрел, что я читаю, покачал головой.

— Пора тебе взяться за книги о нашем крае, — сказал он. — Что, к примеру, ты знаешь о городе, в котором живешь?

Знал я мало и прямо сказал об этом отцу. Тогда он стал рассказывать о том, как в давние времена сшибались здесь разноплеменные отряды, кипели жаркие битвы, и не было такого года, чтобы не скрещивались на этом «пятачке» земли сабли польских шляхтичей, украинских казаков, татарских наездников. О том, как полыхали здесь казацкие бунты и веками наслаивалась, подогревалась национальная рознь.

Зато в тридцать девятом в нашем городе то и дело вспыхивали забастовки и шли тогда в одних колоннах на демонстрациях против панской власти и украинцы, и поляки, и русские.

Мы бы еще долго так проговорили, но мать заставила сесть обедать.

За это время за окном начались песни. Сначала это были лирические, задумчивые песни степной Украины. В них были и стон, и жалоба, и надрыв, но была и бодрость, и энергия, и вера. Потом запели «Вие витер», потом «Заповит». Петь эти хлопцы умели. Высоко-высоко кружил тенор, к нему со всех сторон слетались подголоски, глухо и низко нажимали басы.

— Как поют! — качала головой мама. Отец ничего не ответил, прихлебывая суп, потом встал, прошел к письменному столу, вынул «вальтер» и сунул его в карман галифе.

— Тут каждое воскресенье с песен начинается, — сказал он и сел.

В это время тональность переменилась. Теперь пели уже по-иному, громко и напрягая голоса, с явственно ощутимой угрозой.

— Гой, нэ дывуйтесь, добрии люды, що на Вкрай-и-ни повста-а-ло! — мощно гремело в саду.

Що пид Даше-вым, за Со-ро-кою
Мно-жест-во ля-хив пропа-а-а-ло!

Шла яростная и могучая песня, песня, звавшая к мятежу, к схватке. Я слушал, околдованный. Нотки ожесточения все нарастали. Вдруг что-то зашипело где-то в стороне, потом прогромыхало, и под звуки оркестра какой-то странный, но достаточно звонкий голос запел постепенно накаляясь:

Еще Польска не згинела,
Поки мы жнейми!

Отец, усмехнулся, кивнул головой:

— Стефан вступает. Теперь начнется соревнование!

Я крадучись шмыгнул в коридор и выскочил во двор. На крыльце по-прежнему сидели невозмутимые Исаак и Ревекка. Он качался в своем кресле, она ему читала. Я пробежал мимо них, юркнул в молоденькие яблоньки, сел там в траву, стал всматриваться и слушать. Компания за столом возбужденно шумела. Лица парней побагровели, чубы еще больше сползли на лоб, вышитые вороты рубах были распахнуты. Мимо стола поспешно прошла мама. Видно, искала меня. Еще полчаса назад Иван обязательно пригласил бы ее за стол, но теперь все они были уже другими Вот кто-то из них встал, уперся руками в пояс, и снова загремела дикая, улюлюкающая казацкая песня! Ее пели с ревом, яростью, напрягая жилы на шее. Казалось, не люди, сидящие за столом, заставленном блюдами и бутылями, поют ее, а всадники, заломивши бараньи шапки летящие по степи. Навстречу, со стороны половины Стефана, фыркая и прочихиваясь, разразился «Марш Пилсудского». Граммофон Стефана вовсю надрывал свои медные, источенные старостью легкие.

Песни сталкивались, как отряды. С одной стороны — полуголые дикие казаки, с другой — стройные ряды всадников в кунтушах и жупанах, с суровыми региментариями под хоругвью.

Старый граммофон издал треск, но неожиданно прибавил звуку. Тогда компания за столом не выдержала. Парни встали, как один, в самом этом рывке была неделимая и спрессованная сила. Они двинулись все сразу,

они шли, чуть иаклоиив вперед головы, руки — в карманах широких штаиов. Не шли даже, а перли, как стадо разъяреииых быков, и, казалось, остаиовить их было невозможио, таким слитиым и иеудержимым было это движеиие. Но оии все-таки остановились, когда в калитке своей половииы сада — оиа была огорожеиа — встал Стефаи. Ои был в жилете и шляпе, его длиииые руки держали бердаику. Глядя себе под иоги, он сторожил каждый шаг подходящей компаиии. Иваи шагиул было к нему, но Стефаи резко повел дулом, и Иваи отскочил. Хлопцы стояли молча. Оии все смотрели иа Стефаиа, и челюсти у них выдвигались вперед. Оии ждали какого-то сигнала, и если бы ои прозвучал, иеизвестио, что бы стало со Стефаиом. А ои стоял в узкой калитке, чуть наклоиившись, стискивая темными граблястыми руками ружье, желваки ходили иа его худом, красиоватом от загара лице с длиииым иосом, и по такой же, как у хлопцев, молчаливой, ненавидящей иепреклоииости всей его фигуры чувствовалось: ои ие отступит, что бы ии случилось. Сзади его кричала и рвалась из рук его жеиы Кшиська. Иван суиул руку в кармаи. Я увидел его затвердевшее в решимости лицо, поиял, зачем он полез в кармаи, и вскрикиул от страха. Тотчас же на крыльце появился отец.

— Иваи, — крикиул ои. — Эй вы, ребята! Вы что тут? Идите, гуляйте дальше.

Медленно, словио пробуждаясь, Иван оторвал глаза от Стефаиа и взглянул иа отца.

— Що таке, паие Голубовский?

— Я говорю: продолжайте веселье. Вам можно петь, а Стефаиу можно пускать граммофои. Сегодия воскресенье.

Иваи оглядел своих зароптавших дружков. Некоторые из иих приблизились к крыльцу, словио им хотелось получше рассмотреть отца. Я выскочил из своей засады. Отец был спокоен.

— Иваи, — сказал ои, — ты согласеи?

— З чим? — опять спросил Иваи, иасупившись и ие глядя иа отца.

— С тем, что каждый волеи проводить воскресеиье, как ему вздумается?

— Це так, паие Голубовский, — сказал Иваи, стиснул зубы и махиул остальным. Обещающе поглядывая

иа отца, сплевывая под иоги, оии повернули к своему столу.

— Идите, Стефаи, — сказал отец.

Стефаи сиял шляпу, утер рукавом жилета лоб и поклонился.

— Дзякую, пане.

— Не за что! — Отец поманил меня пальцем и ушел.

А мие так ие хотелось возвращаться домой. Я задержался в яблоиевой гуще. В этот момеит послышался шум, вопли, и мимо меия, как кошка, вильнула в заросли Кшиська. Я вытаращил глаза. Несколько парией с матерщииой ринулись в разные стороиы.

— Дэ воиа, вражжа кров?

— Попадысь нам, падлюка!

Что-то тотчас просвистело у меия под ухом, и раздался звон битого стекла. Камень попал в бутыль. Вся компаиия за столом вскочила и заревела.

— Убью, — рычал рослый парень с русым чубом, направляясь в мою стороиу, и сиова мимо меия просвистел камеиь.

— Ось воиа! — завопил кто-то, и все кинулись к яблоиям, где я стоял. Оии неслись иа меня, тяжелые ражие парии. Тяжко бухали их сапоги, уже доиосилось хриплое дыхаиие. Я закрыл затылок руками: будут бить.

Но в это время отчаяиио завизжала сзади Кшиська. Я обериулся. Один из парней, зайдя сзади, поймал и теперь держал на вытянутых руках ее тоиенькое, бешено извивающееся тельце. Опять красиое пламя ударило в мозг, я кииулся к парию и вцепился ему в ремеиь.

— Отпусти!

Я тянул его тяжелое тело, а оио не поддавалось. Подбежали остальиые. Я навсегда запомиил с тех пор ужас, исходящий от толпы остервеиелых, бурно дышащих, потиых мужчии.

И в этот же момеит закричал сзади мамии голос:

— Что вы делаете, изверги! Это же дети!

И распалеиные, грузные, только что сплотившиеся над иами, чтобы раздавить, разорвать на части, оии както сразу расступились.

— Отпустите ее! — приказала мама, врываясь в толпу.

— Так воиа ж жалыть, як та змиюка, — сказал пареиь, державший Кшиську, выпуская ее.

— Как вы могли, Иван! — сказала мама, за которой уже стоял отец с встревоженным лицом. — Как вы могли — с детьми!

— Та мы и ничого не зробылы, — смущенно сказал Иван, поглядывая на своих, — то з горилки... Вы не лякайтесь, пани Голубовска.

— А я не пугаюсь, — с достоинством сказала мать, беря за руки меня и Кшиську. — Но детей так можно заиками оставить!

— Ни, — сказал Иван нам вслед, — мы с детьми не бьемся... Извините нас, пани.

— Возьмите вашу дикую кошку, — сказала мама, подталкивая Кшисю к подошедшему Стефану, — ее надо на поводке держать.

Кшиська вырвала руку и поскакала мимо Стефана в сад.

— Завтра с утра, То-лек! — крикнула она, поворачивая ко мне веселую рожицу.

— Дзякую, пани, — снял шляпу Стефан.

Было уже темно. Воскресенье кончалось.

3

С этого дня началось наше бродяжничество. С утра, едва я раскрывал глаза, под окном раздавался свист, потом появлялась Кшиськина голова с упавшей на лоб прядью, синие глаза разглядывали меня с веселым и пристальным любопытством, а звонкий голос спрашивал:

— Ты спа-ал? Ничего не слыша-а-ал?

И с певучим польским акцентом она пересказывала новости по преимуществу ночные. Вокруг города шла жестокая борьба с засевшими в лесах бандами националистов. Тяжелое слово «бандеровщина» витало над округой. Сразу же за последними постройками окраин начиналась территория войны.

Я и сам не раз видел, как уезжали за город истребительные отряды: парни с винтовками и автоматами, так странно выглядевшими на фоне штатских пиджаков и кожушков. Такой отряд остановился однажды около нашего дома, и «ястребки» посыпались из кузова на землю — они курили, пока шофер копался в моторе, тихо переговаривались.

В отряде были и украинцы и поляки, а старшина окал по-волжски.

— Против кого они? — спросил я отца. — Против поляков или украинцев?

И, еще не закончив свой вопрос, понял, что ляпнул глупость,

Но отец не рассердился. Он серьезно сказал:

— Против бандитов, Толя. Против тех, кто мешает жить и украинцам, и полякам, и русским...

И начал рассказывать о том, как годами в нашем крае натравливали людей друг на друга, чтобы легче всех вместе держать было их в узде.

— Рано об этом еще знать мальчишке, — вмешалась мама.

— Самое время, — не согласился отец. — Видишь, какой парень вымахал... Должен разбираться...

«Ястребки» скоро уехали, а мы с Кшиськой помчались на базар.

Базар был стихией Кшиськи. Она тут была как рыба в воде: шныряла между рядами и прилавками, вмешивалась во все скандалы, бесконечно с кем-то торговалась и к чему-то приценивалась. Мне тоже нравилось на базаре. Там пахло фруктами, соленьями, дегтем. Там, отвалив назад шляпы и обнажив загорелые лбы, молчаливо и невозмутимо покуривали над возами гуцулы в своих расшитых безрукавках. Там, бездумно и жалобно глядя на этот шумливый мир, неумолчно жевали коровы и жались к их ногам овцы, там не закрывали рта, вопили, спорили, молили и проклинали покупателей торговки в косынках, высоко стоящих на головах. Весь воздух над базаром был полон их неустанными голосами. Где-нибудь позади рядов толклись подозрительные личности с фальшивыми перстнями на толстых пальцах. Здесь можно было купить все — от пистолета любой системы до алмаза в сорок карат. Это было сердце базара; тут-то и моталась больше всего Кшиська, и раз я видел, как она, выхватив что-то из рук франтоватого толстяка с тростью, сунула ему те самые монеты, что мы когда-то нашли в разрушенном доме. Что Кшиська покупала, я так никогда и не смог узнать, впрочем, и не пробовал. Достаточно было понять, что здесь ей вольготно, здесь она дышит полной грудью, здесь сосредоточен главный интерес ее жизни. Мне же в этом углу рынка не нравилось. Я шел к торговым рядам. Меня под-

купала здесь безоглядная доверчивость торговок. Едва где-нибудь выше обычного взмывали голоса и начинал теснее толпиться народ, как ближайшая тетка у горки с грушами уже звала:

— Хлопчик, чи нэ постоиш за ради Езуса, доки я не подывлюсь, шо там трапылось? — и стремительно мчалась, подбирая рукой подол, туда, где зрело разрешение очередного конфликта. И потом, пока меня не находила Кшиська, я выслушивал подробности того, «як одын чоловик прыбыв жинку, тай йому перепало, бо прышлы хлопци та й и понадавали ось таких тумакив». Но Кшиська всегда избавляла меня от подробностей, она тут же ввязывалась в свару с торговкой, и мне приходилось уходить, чтобы увести и ее. Скандалила она в моих же интересах, требуя, чтоб тетка выделила мне плату натурой или деньгами за охрану ее товара.

С базара Кшиська всегда уходила, нагруженная крадеными фруктами, мы брели по улицам и смачно вгрызались в мягкие абрикосы или плотные груши. Обычно мы шли за город. Там, возле старого разрушенного замка, река раздваивалась, и с одной стороны, у рощи, было мелко. В том месте мы купались. У коровьего брода неподалеку, заведя голову в реку, долго и звучно втягивали в себя воду буренки, сидели мальчишки и старики пастухи в соломенных брылях, отмахиваясь бичами от оводов. А мы с Кшиськой плавали в прозрачной, ослепительно отражавшей солнце воде, брызгались и вскрикивали от ощущения своего здоровья и умения. После купания, разморенные, утихомиренные, долго лежали в густой траве, загорая, а потом шли на поля.

По межам из плотно уложенных друг к другу камней мы выбирались к лесу. Тут было светло и таинственно, рядами стояли буки с их оливково-желтоватыми стволами, над ними шумели ясени, густо пахло сыроватой древесной гнилью. На опушке, зарастая лебедой, широко чернели траншеи недавней войны. Это было одно из самых острых наших впечатлений — окопы, ниши, блиндажи, полные запахов тлена, заваленные полусгнившими бумагами и тряпками, поблескивающие крышками консервных банок, изогнутыми остриями штыков. Однажды я заглянул в черную нишу в стене траншеи и едва не упал: из ночного ее нутра чуть не в лицо мне метнулась с криком ласточка. Ее крик оглушил меня. Через секунду мы с Кшиськой уже смеялись, но когда

снова осмелились заглянуть внутрь, то застыли от ужаса: в душно-сладком облаке смрада, пахнувшем на нас, видно было на черноте земли чье-то желтое безглазое лицо. Мы мчались оттуда без оглядки и остановились лишь у первых развалин города.

— Немец, — сказал я, чуть отдышавшись.

— Бандера, — сказала Кшиська, ощупывая пазуху, где у нее всегда таились какие-то странные запасы. — Герман давно сгнил бы.

Она, когда хотела, могла говорить по-русски совсем чисто, но большей частью три родственных языка: русский, польский и украинский — забавно и уживчиво сплетались в ее речи.

— Кшиська, ты видела немцев? — спрашивал я ее.

— Я видела и германа и угров. Всех видела. Я видела даже самих бандер, когда они убивали татуся.

Я прерывал разговор, думая, что ей тяжело вспоминать это, но она сама спокойно и обстоятельно рассказывала мне, что отец ее был офицер Армии Крайовой, что он вместе с ней и матерью после того, как выгнали немцев, жил на хуторе. Как пришли бандеры и перебили всех поляков, а она запряталась на мельнице в труху от зерна, потому ее и не убили. Как потом одна в свои семь лет она добралась до города, где жил ее дядя Стефан, и с тех пор уже живет здесь. Она меня удивляла, эта невероятная девчонка, она могла взбеситься из-за пустяка и совершенно не обратить внимания на оскорбление, за которое я, наверное, мог бы убить до смерти.

— Гусыня! — крикнул ей однажды мальчишка-пастух на реке. — Чи вмиеш що казаты, крим «га-га»?

«Гусями» почему-то местные шовинисты звали поляков, но Кшиська даже не оглянулась, зато в другой раз сцепилась с толстой торговкой до визга, когда та засмеялась, увидев ее в широкополой шляпе.

— Без штанив, а у шляпи, ой подохну!

У Кшиськи действительно был странный вид в купальном костюме и шикарной шляпе. Но юмора торговки она понять не могла. Еле-еле удалось оторвать ее от огромной бабы, такая жуткая ярость сотрясала ее тонкое тело.

Мы возвращались только под вечер, измученные неисчислимыми впечатлениями каждого дня. Перед тем как идти домой, Кшиська требовала от меня, чтобы я

сказал ей, кохана она мне или нет, и страшно злилась оттого, что я не желал играть с ней в эту игру.

Дома тоже было нелегко. Отец часто уезжал на ссыпные пункты. Командировки эти мать переживала болезненно. Когда он не возвращался дней пять-шесть, она, приходя с работы, ложилась на кровать и могла так лежать целыми вечерами, подымая голову лишь от близкого звука машины или мужских шагов. Отец возвращался из поездок усталый. Он входил пропыленный, с красным от загара лицом, садился на кровать, стягивал сапоги и долго сидел, шевеля пальцами в размотавшихся портянках и глядя перед собой воспаленными, выцветшими от бессонницы глазами. Потом он срывал поочередно с ног портянки, вытягивал из кармана «вальтер», запихивал его в ящик письменного стола и улыбался нам с матерью. У матери на сразу хорошевшем лице появлялись такие знакомые ямочки, и на столе начинали возникать тарелки, блюдца, вилки. Бессонница ее кончалась, и все у нас шло хорошо до следующей отцовской поездки.

Постепенно устанавливались наши отношения с Иваном и другими соседями. Правда, с Исааком долго говорить было не о чем. Он с трудом произносил несколько слов и замолкал. Зато молчал он чрезвычайно красноречиво, кося черным живым глазом на мои проделки, скашивая брови в смехе, одобрительно мигая моей неугомонности.

Иван начал брать меня на реку купаться. При этом он очень внимательно присматривал за мной, когда я плавал, грозил с берега пальцем и бранился, если я далеко заплывал. Он был добродушным и покладистым парнем, но одну тему с ним затрагивать было нельзя. Это тему Украины. Любой разговор, начавшийся тем, кто такие русские: украинцы или «москали», кончался ссорой. Он наливался кровью, лицо его как-то странно чугунело, и он смотрел на меня, будто хотел тут же без проволочек перегрызть мне глотку. Во всех прочих случаях он был мне ровесником: открыв рот, слушал о жизни в городе, откуда мы приехали, о наших междворовых драках, о голубятнике, дяде Вите-трамвайщике, о кладбище, на котором водятся грабители, о ночных сборищах в подъездах. Мы с Иваном крепко бы подружились, но Кшиська уже издалека начинала фыркать, завидев нас вдвоем. Она ненавидела Ивана совсем не детской, мсти-

тельной, все подмечающей ненавистью. Иван же просто не замечал ее. Понять их обоих мне было почти невозможно. Я был из иных краев, из иного, далекого от всех этих перипетий и сложностей мира. Но этот мир тоже постепенно становился моим.

В городе было два кинотеатра. Один на улице Сталина, бывший «Синема», а теперь «Родина», с потрескавшимися зеркалами вдоль стен, с оркестром, в котором партии скрипок исполняли две сестры Соломон, черноволосые пожилые женщины с резкими птичьими лицами. В этот кинотеатр вечером попасть было невозможно. Стосковавшиеся за военные годы по чудесам и роскоши экрана жители штурмом брали кассу.

Зато во втором кинотеатре свободных мест всегда хватало. Он был расположен в парке, в старом дощатом павильоне летнего варьете. Зрителей там почти не было или набиралась небольшая кучка людей, опасливо оглядывающих соседей и предпочитающих во время сеанса грудиться куда-нибудь к середине зала. Все объяснялось просто. Парк слыл местом опасным. По городу циркулировали слухи об ограблениях посреди его пустынных аллей.

Отец не верил этим слухам и на очередное сообщение матери о том, что говорят о парковых происшествиях, ронял веско и отстраняюще:

— Обывательская болтовня!

После этого ни я, ни мать не смели уже излагать ему захватывающие подробности, подхваченные на базаре или во дворе от Кшиськи.

Но в парк мы все же не ходили.

Однако в этот раз шел фильм «Собор Парижской богоматери», и неожиданно первой энтузиасткой культпохода выступила мать.

— Гюго — мой любимый писатель, — сказала она отцу, когда он пришел с работы. — Сделай все возможное, используй любые свои связи, но сегодня мы обязательно должны попасть в кино.

Отец покрутил крепкой, кирпичного оттенка шеей, внимательно посмотрел на мать и вдруг засмеялся. Смеялся он редко. Но когда смеялся, устоять перед ним было невозможно: на ало-загорелом твердом лице его с небольшими зелеными глазами под чернью бровей вдруг загорались эмалевым светом ровные зубы. Свет этот разливался вокруг, зажигал глаза, и тогда все лицо его на-

чинало слепить блеском не растраченной еще молодости, веселья и доброты.

— Толька, — крикнул он, смеясь, — ты слышишь, что изрекла твоя мама? Гюго — ее любимый писатель! А пятнадцать лет тому назад, когда мы только что познакомились, ее любимым писателем был Гоголь! Что же это? Перерождение? Разве после Гоголя можно полюбить Гюго?

— Па, — сказал я, хохоча. — Просто они на одну букву.

Теперь мы уже хохотали в два голоса, и скоро мамин голос неузнаваемо молодой и певучий, вплелся в наш дуэт.

Отсмеявшись, мы принялись чиститься, мыться и причесываться, чтобы выступить в самом блестящем виде. Отец надел свой китель и белую фуражку, мать — свое шуршащее необычайное, как ее молодость, крепдешиновое платье, купленное еще до войны, я — свой проклятый костюм с короткими штанишками и берет. Но сегодня даже этот наряд не портил мне настроения, потому что мы шли в кино все вместе, а это случалось так редко и так много значило для меня.

Итак, мы выступили. Центр был полон людей. Польская шипящая, украинская певучая и звонкая русская речь звучала вокруг. Франты в своих линялых пиджаках в талию, дамы с немыслимыми шляпками всех времен и сезонов, женщины из предместья в длинных широких юбках и платочках со своими широкоплечими приземистыми мужьями, парни и девчонки — все это скопище наполняло площадь перед кинотеатром. Конечно, достать билеты было невозможно. После того как отец потолкался в неистовой воронке тел и воплей у входа в кассовый зал и вылез оттуда взмокший, в помятом и измочаленном кителе, веселье наше пошло на убыль. Мама уже начала было намекать на то, что настоящие мужчины во всех обстоятельствах умеют доставить своим трудовым семьям небольшое удовольствие, раз этого так ждут, а отец начал хмуриться, когда в моей голове родилась идея.

— Ма, — сказал я, — раз Гюго твой любимый писатель, то айда в парк. Там-то билеты точно есть.

— Это что за «айда»? — спросила мать. — Кто учил тебя говорить на таком тарабарском наречии?

— А что, Лизок, — спросил отец, чуть усмехаясь, — Гюго все еще остается в любимых писателях?

— Я не меняю своих вкусов с такой быстротой, как некоторые, — сказала мама и вдруг решила: — В парк!

Минут через двадцать мы уже взбирались на травянистый холм, чуть озаренный на вершине сумеречным светом фонарей. Отсюда, от исколупанных арок с витой резьбой начинался парк.

Когда мы вышли из-под арки на пустынную аллею, еле освещенную рядом далеко друг от друга отставленных фонарей, у мамы решимости поубавилось.

— Алексей, — сказала она, — что-то мне тут не нравится.

Мы шли среди густо сросшихся, угрюмо поблескивающих ранней позолотой кустов, мимо глухо гудевших могучих сосен. В одном месте, прямо у конца аллеи, начиналась оплывшая травянистая яма — незаваленный кусок траншеи, в другом, под оплетшими его буками, которые он когда-то таранил, но не сумел поломать, стоял искалеченный танк, а по сторонам вздымали обрубки рук и торсов безмолвные статуи и целые скульптурные группы, по которым буйно вился вьюнок и дикий виноград. Впереди нас кто-то шел, и отец, не слушая негромких увещеваний мамы, повел нас быстрее. Скоро мы заметили пару: военного и девушку, а впереди — освещенные двери кинотеатра. Около входа стояло несколько людских кучек, и мама снова ожила.

— Видишь, люди все-таки пришли. Гюго оказался сильнее страха!

Отец подвел нас к дверям и пошел брать билеты. Мы с матерью ждали его, разглядывая парковое общество. В большинстве своем это, видно, были те, кто жил неподалеку. Пожилые пары, молодые парни в шляпах и поношенных костюмах, у некоторых на сапоги спускались широкие шаровары, память о предках-запорожцах. Женщин было мало, и девушка с косынкой, раскинутой по плечам, была подставлена всем взглядам. Она стояла неподалеку от нас и теребила в руке розу. Ее спутник, молоденький военный, ушел за билетами. Из кучки молодых парней подозрительного вида, стоявших возле куста жимолости, в ее сторону летели реплики по-украински. Девушка, глядя себе под ноги, делала вид, что не слышит их.

— Чи у москалив сало жирище? — крикливо спрашивал чей-то голос в кружке парней.

— Ни, — ответил другой со злым вызовом, — зато воны гроши мають, а колы дивчиика до них з душею, вони платять добре!

Девушка отвернулась и побрела по аллее. От кружка парией отделился один и шагнул за ией, но второй — коренастый и чем-то знакомый — успел схватить его за плечо, и вся кучка яростно заспорила. Приглядевшись к тому, кто удержал первого, я узнал Иваиа.

Я хотел было сказать это маме, но в это время мимо иас прошел сияющий военный, за ним с билетами в руках появился отец.

— Гюго от иас ие ушел, — сказал он, подходя к матери, — у иас полчаса. Пойдем пройдемся.

Девушка со своим спутником тоже двинулись по аллее, которая была лучше других освещеиа. Матери ие хотелось идти в глубокую черноту парка, лишь кое-где прострочениую зыбкими огнями.

— Постоим здесь, — сказала оиа.

— Па, — сказал я, — пойдем с тобой к фонтану, а мама нас тут подождет.

Отец взглянул иа мать.

— Идите-идите, — сказала оиа. — Вечно вас в самую глушь несет.

Мы поияли это как разрешение и иаправились к аллее. Через минуту сзади зашуршали торопливые шаги. Мы дружно обериулись: нас догоияла мама.

— И правда, интересио посмотреть, — сказала она, сдерживая дрожь в голосе. — Ведь это графский парк, Алексей?

— Не то князя Вишневецкого, не то графа Потоцкого, — сказал отец. — Пойдемте к фонтаиу. Когда-то, говорят, ои был украшением этого места.

Стаиовилось свежо. Ветер все упориее и тяжелее кружил стволами сосен. Кусты вокруг как-то зловеще перешептывались. Мы все непонятно почему ускоряли и ускоряли шаги.

Скоро мы догнали, а потом и обогнали военного с его девушкой. Мие показалось, что им не до иежностей. Девушка всхлипывала, а ее спутник, полуобняв ее, говорил ей что-то убеждающе утешительиое.

Отец взял меня за руку.

Неожиданно света немного прибавилось, и мы вышли на скрещение аллей.

Фонари роняли бледные глухие отсветы на черную крупную плиту, поставленную на попа. Мы подошли. На черном цоколе проступала готическая вязь надписи.

Около постамента понуро горбилась человеческая фигура. Краем глаза я косил в ее сторону. Высокий сутулый старик в летнем пальто с наложенными плечами почти на грудь уложил белую, отсверкивающую в фонарных лучах голову с орлиным профилем.

— Кажется, только постамент, — сказал отец и попытался прочесть надпись. — Нет, готический шрифт не разбираю.

— Интересно, кому это был памятник, — сказала мама, зябко поводя плечами, — и кто его снес: снаряды или люди?

— Люди, пшепрашам пани, — сказал скрипучий голос. Мы оглянулись на старика. Странно, по-индюшьи косясь в нашу сторону, он избочил голову и заговорил:

— Снаряды пускают тоже люди, но памятник тот снесли власти. Теперешние власти. А знаете вы, любезная пани, кому то был памятник?

— Это как раз я и хотела узнать, — сказала мама. Она прижалась к плечу отца и смотрела на старика.

— То был памятник Францу-Йозефу, — с польским акцентом говорил старик, по-прежнему по-индюшьи кося глазом на нас. — Императору Францу-Йозефу, — пояснил он. — За что так не понравился новой власти старый австро-венгерский император, позвольте у вас спросить, панове? Может быть, за то, что он был тихим правителем: при нем не было насилий и грабежей... И он очень любил животных.

— Этот тихий правитель был среди тех, кто начал первую мировую войну, — сказал отец, — и в ней погибло десять миллионов людей.

— Проше пане, не говорите так, — сказал старик. — Он не начинал ее. Он не смог удержать ее, как джинна в бутылке, но он не начинал. Он был добрый человек. Позволено будет сказать это уважаемому пану. Он был просто добрый и грустный человек на престоле, а это так редко.

— Не знаю, для кого он был добрым, — сказал

отец, поворачивая меня за плечо, чтобы идти. — К бедным, по-моему, он особенно добрым не был.

— Он был добрым к людям, позволено будет сказать пану, — дребезжал нам вслед старик, — и еще к лошадям. И к собакам тоже, — уже издалека долетало к нам.

Мы снова вышли на аллею. Впереди опять виднелись силуэты: военный и девушка медленно шли к кинотеатру.

— Кем он мог быть, этот старик, — вслух размышляла мать, — преподаватель гимназии? Бывший помещик? Рантье?

— Просто бывший человек, — сказал отец. — Ему было хорошо в прошлом, нам хорошо теперь. Поэтому мы не поймем друг друга.

— А нам хорошо, Алексей? — спросила мама. Я еще только осмысливал вопросительный тон этих слов, когда впереди на аллее мелькнули тени, застучали сапоги, высоко и пронзительно вскрикнул девичий голос.

У меня ноги приросли к земле. Мать рядом тихо ахнула, а отец, вырвав из кармана свой «вальтер», уже бежал к куче ворочающихся впереди тел.

— Стой! — крикнул он, и дважды треснуло. Я вцепился в руку матери. Но она, волоча меня, уже тоже бежала по аллее, крича:

— Алеша! Алеша! Остановись!

Кучка на аллее мгновенно брызнула в разные стороны, и, когда мы с матерью подбежали, отец уже поднимал плачущую девушку, а ее спутник, найдя на земле сбитую фуражку, отряхивал себе колени и что-то бормотал.

— Что они сделали с вами? — спрашивал отец.

— Та нэ зна-ю! — рыдала девушка. — Як звiри налетилы.

— Били вас? — трясла ее за плечи мать.

— Ударили по лицу! — плакала девушка, размазывая по щекам пудру и слезы. — За что? Бандюки клятые!

— А у вас что случилось? — спрашивал отец военного.

Тот растерянно улыбался. Даже в сумраке видно было, что он очень молодой, лет девятнадцати-двадцати.

— Ударили по голове, сшибли, — морщась, бормо-

тал он, — это, верно, из-за Ганны. Мне говорили наши, что могут быть осложнения...

Ганна уже утирала лицо платком и подкрашивала губы.

— Як ти шулики, — говорила она матери, — до всього воны дило мають: и дэ ты, и хто ты, и хто з тобою!

— А где же, где же, — вдруг затревожился военный. — Где же... Погодите! Они пистолет украли!

Он бессмысленно теребил крышку распахнутой кобуры.

По всему парку раздавались свистки. Откуда-то послышался топот. По аллее бежали. Отец вынул «вальтер». Впереди по кустам забегали блики фонарей.

Военный посмотрел на отца и попросил:

— Дайте мне, я хорошо стреляю.

— Надо было свой не терять, — отрезал отец.

Мы все вперились в темноту. Скоро стали видны фуражки.

— Свои, — вздохнул военный, — ну и будет мне сейчас!

К нам бежало несколько людей. Опередив других — невысокий плотный человек в фуражке с красным околышем, заметным при свете фонарей.

— Документы! — приказал он, подбегая. Сразу же со всех сторон нас стиснули солдаты, запаленно дыша и чертыхаясь, сбили нас в кучу, задышали над самым ухом прогорклой смесью табака и пшенки.

— Самылин, здорово, — сказал отец, — не узнал?

Подбежавший всмотрелся, стрельнул ослепительно в лица фонарем и выругался:

— Ты, что ли, Голубовский?

— Узнал все-таки, дьявол!

— Четыре года — как обойма! Ты чего тут бродишь, Алексей?

— Всего-навсего в кино раз за полгода выбрался.

— Это твои?

— Мои.

— Родственник, что ли? — кивнул он в сторону военного.

— Вот мои, — обнял нас с мамой отец.

— Вы, лейтенант? Ваши документы?

Военный поспешно зашуршал бумагами в карманах, начал что-то доставать.

— Вы? — крепыш смотрел на девушку. Она вертела лицом, морщилась от резкого света фонариков, закрывалась от них руками.

— Позвольте, товарищ капитан, объяснить, — тыча удостоверение знакомому отца, бормотал военный. — Тут, понимаете, вышло недоразумение, но в любом случае надо принять меры...

— Ты тут случаем не присутствовал, Голубовский, — спросил капитан, — когда стрельба началась?

— Это я стрелял, — сказал отец.

— Ты?

— Я. Этих, — он повел головой в сторону военного и его девушки, — чуть не убили или ограбили — черт их знает, что они хотели, — какие-то парни.

— А! — сказал капитан. — «Юнаки»!

— Мы шли сзади, пришлось вмешаться, — закончил отец.

— Ясно, — сказал капитан. Темный ус его дернулся в свете близкого фонарика ординарца. — Шишков! — крикнул он. — Осмотреть парк!

— Есть! — откликнулся голос из тьмы, и сразу же зазвучала команда, фонари заскакали среди кустов, как белки, захрустел хворост. Зашуршала листва, со всех сторон пошел шорох, хруст, треск, топот.

— Вы, лейтенант, — строго сказал капитан, — проводите свою девушку и немедленно в комендатуру. Сообщите там о происшествии. Тебе, Голубовский, надо от меня что-нибудь?

— Ничего, Самылин.

— Тогда пока. Найдешь время, заскакивай. Я в бывших польских казармах, что на Советской.

— Ладно, увидимся.

Мы пошли к выходу. Впереди нас военный уволакивал ожившую девицу, повисшую у него на шее. Он пробовал ее урезонить, оглядывался, что-то нашептывал ей, пытался оторвать от себя ее руки, но пережившая такие потрясения девушка нуждалась, видимо, в большей доле нежности. Я сразу как-то замерз. То есть и не замерз, а как-то весь обмяк, и все жилки во мне заскакали. Зубы начали отбивать дробь. Я очень боялся, что отец услышит, и стискивал челюсти, как мог. Даже на расстоянии я чувствовал, что мама тоже очень возбуждена. Но голос ее был удивительно ровен, когда она сообщила отцу, что его знакомый был невежлив. Или, вернее, не-

вежлив был отец, поскольку не представил его ей. Отец коротко хохотнул и прибавил шагу. Я тоже побежал, чтоб не отставать от них, и тоже засмеялся. Вокруг хрустел, гудел ветром и голосами солдат ночной парк. Шуршали со всех сторон шаги, выплясывали во тьме фонарики, а мне становилось все смешнее и смешнее, смех словно заразился этой фонарной пляской и поселился у меня в горле. Я чувствовал, что надо остановиться, и не мог, и это продолжалось до тех пор, пока отец не дернул меня за плечи так сильно, что смех словно вытряхнуло из меня.

— Успокоился? — спросил он. Тряхнул меня еще раз, и из его твердых рук я попал в тесные ладони мамы.

— Толя! Что с тобой?

Но теперь мне было уже стыдно. Так стыдно, что даже уши у меня запылали, а отцовский голос в стороне сказал:

— Прекрати с ним нежничать. Уже взрослый парень, а истерика как у девчонки.

Я вырвался из рук мамы и побежал вперед. Было стыдно и больно. Мне хотелось, чтоб сейчас изо всех этих кустов вылезли сразу сто бандеровцев, тогда я покажу, какая я девчонка. Я чуть не пронесся мимо арки ворот, но удар света по глазам ослепил меня.

— Стоять! — крикнул чей-то голос. Я остановился, защищаясь локтем от луча.

Подошли отец и мать.

— Кто такие? — спросил голос.

— У этих проверено, — сказал чей-то хрипловатый бас. — Капитан их лично знает.

— Проходи, — сказал голос у арки. Я отвел локоть от лица и увидел в нескольких шагах от нас кучу людей, освещаемых фонариками. Здесь были три или четыре пары и несколько парней. Одного из них я помнил: это он у кинотеатра чуть не бросился на ту девушку. «А не они ли нападали?» — подумал я и тут же увидел рядом с этим парнем Ивана, сидевшего на освещенной фонарями траве. Тяжелое лицо его было угрюмо, он щурился от фонарного света и жевал травинку.

— Смотри, па, — сказал я, — Иван.

Отец посмотрел на группу задержанных и спросил у кого-то рядом с собой:

— А эти кто?

— Подозрительные, — сказал хрипловатый бас, — заберем в комендатуру. Все без документов. Кто в такую пору без документов бродит? Только подозрительный элемент.

Неожиданно в свете фонарей перед задержанными появилась фигура в комбинезоне, в кепке, надвинутой на лоб, в огромных, не по росту бутсах. Беглые лучи вырвали из мрака худощавое решительное лицо с поблескивающими юмором глазами, я узнал в нем нашего соседа Михася, жившего под горой. Каждый раз, возвращаясь с завода, он подмигивал нам с Кшиськой и вмешивался в наши игры. Он обошел всех задержанных и остановился перед группкой парней.

— Что за чудо такое? — спросил он тонким, отчетливо слышным в шуме ветвей голосом. — То не сон, га? Иду, чую — палят, бегу сюда, кого вижу — Грицко, Василь, Ивась, шо ж це таке?

Парни отворачивались от него, смотрели себе под ноги.

— Та николы ж не повирю, — с внезапной горячностью ударил себя в грудь человек в комбинезоне, — николы не повирю, щоб ты, Василь, або ты, Грицько, йшлы супроты своей влады! Щоб трудящие хлопцы, яким та влада усе на блюдци, як манну небесну, пиднесла, щоб воны, дурни, думкы носили проты такои влады! Так, Василь?

— Что тут языком трепать, — проворчал тот парень, что чуть не бросился у кинотеатра на девушку, — знаешь нас, пойди к офицеру и скажи ему, кто мы. Чтобы напрасно нас не держал.

Человек в комбинезоне наклонил голову и с минуту молчал.

— Ни, — сказал он, вскидывая голову, — ни, Василь. Не пиду я до офицера и не буду за вас ручатыся. Бо сам не знаю, яки думкы у ваших головах. Не знаю, хлопци. Одне знаю: колы против радянськои влады людына думку держе, глупа та людына и добром вона не скинчыт.

— Пошли, Алексей, — потянула отца мама. И, когда мы отошли несколько шагов, сказала с сердцем: — Я знала, что он в темных делах замешан. Неужели и теперь ты этого не видишь?

— Это о ком ты? — спросил отец, звучно вышагивая в темноте.

— О соседе нашем. Весь пропитан национализмом. Песни эти свои поет.

— Ты песни не трогай, — грубовато сказал отец. — Ты, Лизок, видно, в песнях плохо разбираешься, иначе бы знала, что лучше украинской песни ничего на свете нет.

— Вот спасибо, — сказала мама дрогнувшим голосом, — наконец-то ты мне разъяснил: а я, глупая, полтора десятка лет рядом с тобой жила и все считала, что в музыке кое-что понимаю. Спасибо. Ты сразу все на место поставил.

— Извини, — сказал отец, — жаль мне этого парня, вот я и переборщил.

— За что его жалеть? — подняла голос мама. — За то, что с подонками путается? Может быть, это они хотели убить девчонку и этого военного.

— Ну уж и убить, — сказал отец. — Откуда ты это берешь?

— Ничего, — сказала мама с отчаянием в голосе. — Пусть! Там, в комендатуре, разберутся.

— Нет, парнишка он неплохой, — попридержал шаги отец: мы спускались по каменным ступеням к началу улицы. — Дурь, возможно, сидит в нем, но выбить можно.

— Вот в комендатуре и выбьют, — оскорбленно отрезала мама.

Отец вдруг остановился.

— Время тревожное, — сказал он, словно раздумывая.

Я тоже остановился. Мама продолжала спускаться.

— Погодите-ка секунду, — вдруг сказал отец и кинулся назад во тьму.

Я опять замерз. Подбежал к еле видной в темноте маме, продолжавшей упрямо уходить в темноту, и дернул ее за руку. Она сразу остановилась. Рука у мамы была холодная и подрагивала.

— Он сейчас придет, — сказал я. Мне было страшно в темноте, лишь кое-где пронизанной тусклыми огнями окон. Внизу лежал город. Там было светлее, гирлянды слабо светивших лампочек указывали направление улиц. Рука матери задрожала сильнее в моей ладони.

— Ты что, ма? — я встал на цыпочки н потяиулся к ией. Она обняла меня н притихла.

— Ах, Алексей, Алексей, — сказала она н часто задышала. Мие показалось, оиа плачет. — Вечно его несет в самую бучу, а как попадет туда, начннает сомневаться, кого-то жалеть... Страиный у нас папа, Толя!

— Он хороший, — сказал я. Мне было страшио посредн проиизанной ветром улицы с отдаленными огоиькамн окошек, затеряииых в буйно цветущей лнстве садов. Сверху застучали сапоги. Мы с матерью замерлн. Подошел отец, белея фуражкой и кнтелем, рядом кто-то поииже, весь в темном.

— Вечнр добрый, паии Голубовська, — сказал голос Иваиа.

— Добрый вечер, Иваи, — ответнла мать, взяла отца под руку, подхватнла другой меия за руку, и мы пошли домой. До самого дома никто не сказал ии едииого слова, лишь когда подинмались на крыльцо, отставший Иван сказал глухо в спииу:

— Спаснбо, пане Голубовський.

— Доброй иочи, — сказал отец.

Я сразу заснул, ио ночью несколько раз просыпался от их шепота.

— Будь последователен, — говорила мать, — он человек чужой, ои враг. Возможно, ои даже нападал на нашнх, стрелял в иих...

— Нет, — говорнл отец, — нет. Пока иет. Но еслн мы, опустив руки, будем равиодушио смотреть иа все, что с ним делается, он начиет н стрелять, н нападать на иаших товарищей.

— Что ты можешь сделать? — горячо иесся шепот матерн. — Онн зверствуют вокруг, людей убивают. Онн готовы на все, этн проклятые баидеровцы, а ты влезаешь в этот омут, вытаскнваешь нз него какого-то, почти неизвестного тебе мальчншку, н зачем? Чтобы он потом пустил тебе же пулю в затылок?

— Пробую вытащнть, потому что мы все люди, — упорствовал отец, — ои может ошнбаться. И я могу ошибаться. Но еслн мы забудем то человеческое, что есть в иас, вот тогда мы уже ие будем людьми. Пойми, Лизок, их же опутывают, молодых: самостнйиость, любовь к неиьке — внтчизие! А потом заставят убивать и иаснловать. И кому-то надо спасать хотя бы тех, кого можио спасти. А такнх, как Иван, спастн еще можно.

— Смотри, — раздраженно повышала голос мама. — Самылин отпустил его под твое честное слово. А ты знаешь, что завтра сделает тот же Иван?

Второй раз, уже под самое утро, я проснулся от звука рыданий.

— Зачем ты нас сюда завез, — еле слышно говорил прерывистый голос мамы, — не смог жить без своей Украины? А теперь и сам каждую неделю рискуешь, и мы с Толькой тоже! Разве это по-мужски! Ведь есть места, где война уже забыта, а мы опять возле самой смерти.

В ответ долго молчали. Потом отец сказал каким-то севшим, непохожим на свой обычный, голосом:

— Прости, Лизок, но ты же знаешь: иначе я не мог.

И плачущий голос матери ответил:

— Это-то самое ужасное, что не мог... Ах, Алексей... Алексей...

Потом я уснул.

Утром отец, бреясь и опасливо поглядывая на дверь, куда только что вышла мама, сказал мне:

— Смотри не расстраивай ее. Мама вчера перенервничала, и сейчас ей плохо.

Я кивнул ему, показывая, что понял, и приготовился к тому, что, как только он уйдет на работу, мать возьмется за меня. Так уже бывало. В этот миг вошла мама. Она была бледнее, чем всегда, но, посмотрев на нас, улыбнулась утомленно и лукаво.

— Опять заговор?

Мы с отцом уставились в пол.

— Эх вы, мужчины, — сказала она, забавно морща нос и сразу становясь похожей на девчонку, — один целые дни бегает со своей приятельницей по каким-то жутким местам, возвращается весь в пыли и грязи, но свято хранит секреты, второй спасает от заслуженного наказания всяких подозрительных типов. Нет, я, видимо, чего-то не пойму, — она оглядела нас обоих и фыркнула, — но в глубине души, — сказала она, с улыбчивой строгостью обводя нас глазами, — в глубине души, дорогие мои, это мне в вас чрезвычайно нравится.

4

Однажды, когда я в саду ловил бабочек, набрасывая на них свой берет, ко мне подошел Стефан. Он долго

смотрел, как я гоняюсь за большим, красочно изукрашенным «царьком», потом сказал:

— Вот и я так в детстве... Мы тоже гонялись за бабочками с этим... — он подумал, потеребил волосы у лба, — з тым, як мувить... такый, — он рукой показал палку и на ней колпак.

— С сачком? — догадался я.

— Так-так! — замотал он головой. — Ты маешь?

— Нет, — сказал я. — Дома был. А сюда не привез.

— А здесь не дома?

— Нет, — сказал я. — Дом у меня в России.

— А здесь не Россия?

— Россия там, — махнул я куда-то далеко рукой.

Он усмехнулся, потеребил волосы над ухом и, неожиданно наклонясь, погладил меня по голове.

— То правда. Тутай не Россия.

С этого разговора наши отношения наладились. Иногда, видя меня в саду, он срывал с ветки яблоко или сливу и с поклоном подавал мне.

— У пана естем до того интерес?

Я благодарил и съедал через силу, недоумевая, как он не возьмет в толк, что я и сам могу это сделать, когда захочется. Сад был моим государством. Отец показал мне несколько яблонь и других деревьев, которые теперь принадлежали нам, и скоро я уже очистил от плодов по крайней мере половину из них. Но однажды именно из-за этого все налаженные отношения с соседями чуть не рухнули окончательно.

С утра, когда мы с Кшиськой гоняли по саду, нас отыскал отец.

— Поедешь со мной в Збараж? — спросил он, останавливая меня на бегу.

Я запрыгал от радости. В России отец часто брал меня с собой, и я запомнил деревни под соломенными крышами, гусей на мелких прудах, бешено срывающихся навстречу машине собак, березовые рощи.

В это время подошла Кшиська.

— Пане Голубовский, — сказала она своим особым благонравным голосом, предназначенным именно для таких разговоров. — Можно попроситься к вам?

— К нам? — спросил отец. — Пойдем, — он протянул ей руку.

— Ни, — она покачала головой, на которой какимто чудом только что растрепанные от беготни кудри

пришли в пристойное и причесаниое состояние. — Я тоже хотела поехать в Збараж.

— А, — сказал отец, — почему иельзя? Коиечио, поедем. Еслн Стефан отпустнт.

— Он отпустнт, паие Голубовский.

— Тогда о чем речь, — сказал отец.

После обеда я выбрался в сад и помчался по тропннке в гущу слив, думая, что встречу Кшиську. Ее не было. Я наловил жуков, посмотрел, как оии, помятые, ползают по траве, с трудом распрямляя изумрудио-золотые крылья, потом от иечего делать пошел к моиастырской ограде н сел там под одной нз нашнх яблонь. Было тихо. Шуршала трава, вспыхнвали лучи, пронзая лнству н немедленно исчезая от ее шевелення. Я разморнлся н прилег в траву. Гудел невдалеке ораижевый шмель, нацелнваясь на однчавшнй розовый куст с алыми чашечкамн цветов. Захотелось спать. В это время зашелестела трава. Не поднимая головы, я прнслушался. Шагн были не Кшнськнны, шел кто-то большой и тяжелый, хотя и старался ступать осторожио. Я сел в чаще кустов смороднны и всмотрелся. К монастырской стене, оглядываясь, крался Иван. Он подошел вплотную, припал щекой к холодиому выщербленному камню и секунду слушал, потом взглянул вверх, прнмерился, ухватнлся за выступ н быстро полез на стену. Я изумлеино следнл, как все выше по серой ограде ползет его темная рубаха, н вдруг его не стало.

Я даже протер глаза. Нет, мне не прнснплось. Ивана на стене не было. А ведь за стеной находнлся сумасшедшнй дом. Мы с Кшнськой боялнсь вечером даже подходнть к этой стене. А Иван решнлся спрыгнуть туда. Правда, это днем, ио все равно... Ночью из-за стены порой доноснлся прнглушенный страшный вой, от него даже отцу было не по себе, а я пугался до онемення.

— Припадок у кого-то, — пояснял отец.

Однн раз, во время очередиой поездкн отца, когда мать лежала, глядя в потолок, я выбрался в сад ночью н тут же примчался домой, задыхаясь от страха. На стене я видел совершенио белую фигуру. Мне показалось даже, что она проводит фнззарядку, так необъяснимы былн ее двнжения.

Меня так заннтересовало, что делает Иван в монастыре, что я решнл во что бы то нн стало обо всем дознаться. Одна из яблонь росла, почти прнжавшнсь к

ограде. Верхушка ее возвышалась иад стеиой. Я влез иа иее, царапаясь о сучья, добрался до самой макушкн, ио ветвн загораживали моиастырь. Я вндел только выкрашениые в серое ннзкне двухэтажиые строеиня в глубнне моиастыря и возделаниый сад, подходивший, как и иаш, к самой стеие с другой стороиы. Ивана видио не было. Я решил ждать, устроился иа дереве так, чтобы в спиич мне упиралась гнбкая ветвь, сорвал крупное румяиое яблоко н начала его есть. Вдруг во дворе монастыря показался Иван и с иим кто-то грузиый от толщнны в белом халате н шапочке. В это время внизу раздался лай. Я, вынуждеииый оторваться от наблюдеиия, взглянул туда и увидел белого лохматого шпица н рядом Кшиську, стоявшую уперев руки в бока н что-то крнчавшую мие. Шпиц своим визгливым лаем заглушал ее слова.

— Что? — крикиул я, крепко держась за ствол и, иасколько можио, склоияясь вииз.

Оиа топиула иогой н закрнчала еще звоиче:

— Слезь!

— Что случилось? — спроснл я в полиом недоумеиии.

— То наше джево! — бушевала Кшнська, топая ногами, как коза. — Слезай! То иаш сад!

Тут только я понял, в чем дело.

— Почему это ваш, — сказал я, иегодуя, — мие отец сказал, что эта часть наша.

— Слезь! — опять завопнла она. — Слухай, слезь, бо я позову Стефаиа.

— Зови хоть двух, — крнкнул я, окоичательно выведенный из себя, — кулачка!

Шпиц остался облаивать меня самыми последннмн собачьнмн словамн, а Кшнська понеслась за Стефаном. Через мниуту он уже примчался вместе с ней н со своей неизмеииой берданкой н начал иенстовствовать виизу, требуя, чтобы я слез. Но теперь я уже иакрепко решил ие слезать. Мие было наплевать, чьи это деревья, в конце концов. Что же касается Стефана н Кшнси, то раз оин оказались такнмн собствеиннками, что могли прервать дружбу нз-за того, что человек влез на их дерево и съел их иесчастые яблокн, я нх знать ие хотел. Оин орали виизу в два голоса, как на клнросе, шпиц им подгавкивал, а я сидел себе, вцепившнсь в корявый ствол руками, прнжавшись к иему жнвотом, н смотрел иа иих.

Нет, в этот момент я не был «коханым» для Кшиськи, а сама она, метавшаяся внизу и швырявшая в меня гнилыми яблоками, казалась мне просто ненавистной. На шум и крик прибежала мать, показала на ружье Стефана и довольно спокойно спросила:

— Стрелять будете?

— То мой огрод, — бушевал Стефан. — Я садил то джево!

— И застрелили бы из-за яблока? — спрашивала мать.

— То мой огрод, — кричал, не слушая, Стефан. Шляпа еле держалась у него на голове, глаза сверкали. — Пусть спросит! Я сам позволю! Но то мой огрод! Я в нем господарж! Я!

— Слезай! — приказала мать.

Может, я и поупрямствовал бы, но в это время откуда-то неподалеку из-за кустов вышел Иван и, не глядя на нас, пошел к дому. Обдирая кожу на животе, я скатился с дерева, отшвырнул ногой шпица, кинувшегося мне навстречу, и пошел за ним. Но расспросить его ни о чем не удалось, потому что, когда я подоспел к крыльцу, там сидел один Исаак и понимающе подмигивал мне черным глазом.

После того как отец пришел с работы, мать рассказала ему о случившемся.

— Собственник, — сказал отец. — Ему главное — его ломоть не трогай, тогда он тебе все простит, а тронешь — горло перегрызет.

— На мальчика с ружьем! — возмущалась мать.

— Собственник, — сказал отец. — Это понятно. — Потом, помолчав, прибавил: — Но подумаешь, так и правда обидно. Все создавал своими руками, а домом и садом пользуются чужие люди.

— Странно, — сказала мать, прищуриваясь, — а ты, а я? Разве мы ничего не создавали своими руками из того, чем пользуются другие? Революция — это революция! Все для всех. Город полон бездомных и голодных, а пан Стефан будет жить как граф. Не жирно?

— Я его не оправдываю. Просто сказал, что его тоже можно понять, — с боем отступал отец.

— Никогда не пойму, — отрезала мать. — Никогда!

В это время под окном остановилась машина. Я кинулся животом на подоконник и увидел, как с защит-

ного цвета «студебеккера» спрыгивают и рассыпаются по саду автоматчики.

— За мной? — спросил отец. — На работу вызывают?

Я не успел ответить. В дверь постучали, и вошел офицер с белесыми усиками на широком лице, откозырял и приказал:

— Приготовить документы! Проверка, — он уставился в какой-то список.

Отец оглядел его, вынул из кармана удостоверение и подал его лейтенанту.

Тот просмотрел, откозырял, извинился. Мать подставила ему стул, он сел, снял фуражку и пояснил:

— Весь город проверяем. Чепе.

— Что такое? — спросил отец.

Мать налила чаю и пригласила лейтенанта к столу. Тот поблагодарил, взял чашку красной огрубелой рукою и рассказал:

— Бежали трое. Из комендатуры. Все равно найдем. Двух уже взяли в развалинах. Третьего ищем. Важная птица. Куренной атаман. Это я вам, товарищ Голубовский, в доверительном порядке сообщаю, так что...

— Понятно, — сказал отец, — я товарищеское отношение ценю и вообще человек неразговорчивый.

Офицер кивнул и прислушался. По всему дому шел глухой треск.

— Обыск производим. Видели его тут поблизости... — сказал офицер. — У вас соседи не замечены в чем?

— В чем? — спросил отец.

— В настроениях. — Светлоусый опять посмотрел в список. — Тында, к примеру, это кто?

— Бывший хозяин дома.

— Вот видите.

— Что?

— Не наш... А эти? Шерели?

— Старый человек и внучка. Он сидел у немцев в лагере. Каким-то чудом уцелели.

— Надежный. Дальше. Кудлай?

— Иван?

— Иван и Ганна Кудлай. Эти как?

Отец оглянулся на мать. Она смотрела на него со странным значением.

— Нет, — сказал он, — у нас тут все нормальные

люди, не исключая хозяев. Ни в чем дурном не замечал никого из них.

— Вы партийный товарищ, — сказал, пряча блокнот, офицер, — я вашему слову обязан верить, так что смотрите. Слово — олово.

Отец нахмурился и кивнул.

Офицер поднялся, козырнул, еще раз поблагодарил за чай и вышел. Мать подошла к отцу.

— Если что случится, тебя первого потянут.

— А что случится? — спросил отец хмуро.

— Ты же знаешь, Стефан, Иван...

— Мало ли кто как настроен, — сказал отец.

Мать, ни слова не говоря, вдруг обняла его. Я выскочил во двор. По саду шныряли фигуры в защитных гимнастерках и синих галифе. Какой-то парень в сбитой набекрень пилотке рвал яблоки. Высунулась из окна Кшиська и погрозила мне кулаком.

— Доведчик! — крикнула она.

Я отвернулся. Откуда мне знать все польские ругательства? У Ивана в комнате тоже гремела передвигаемая мебель.

Я подошел к солдату.

— Не надо рвать яблоки, — сказал я, — а то эти... — кивнул в сторону дома, — сердятся.

— Из-за десятка яблок? Пусть сердятся, — сказал солдат, — а ты что, русский?

— Русский, — сказал я.

— Откуда?

— Из Тулы.

— Ну, — сказал солдат и вытер рукавом безусое лицо, — а я сам с Рязани. Вот теперь в спецчастях служу.

— Вз-во-од! — зазвенел у крыльца сержантский голос.

Через минуту машина укатила. Со всех сторон стали выползать на свет божий обитатели дома. Выскочила и понеслась к помойке мать Ивана, неся в обеих руках по ведру мусора. Вышел Стефан с остекленевшими глазами и выбросил под откос какие-то обломки. Посвистывая, вышел смугло-бледный Иван. Он долго смотрел на меня от крыльца, потом подошел.

— Як житуха, хлопче?

— Ничего, — сказал я.

— Трасця их матери, у вас шукали?

— Документы только проверили.
— Ясно. Пошли на речку.
— Пойдем, — сказал я.

Пока мы шли, я все собирался спросить Ивана, что он делал за монастырской оградой, но вокруг было столько интересного, что я поневоле отвлекался. В одном месте проверяли документы, и нам с Иваном пришлось потолкаться в толпе, пока не разрешено было «следовать дальше». В другом — в узкой улочке сошлись носом машина и трактор, и шофер с трактористом, суча кулаками, перли друг на друга грудью. Обсуждая все эти события, мы с Иваном спустились по травянистому косогору к реке и у прибрежных кустиков разделись. Мы сидели на берегу, около самого обрыва. Я смотрел, как внизу, в чистой зеленоватой воде, колышутся водоросли, и слушал, как Иван поет «Думу». Он всегда пел на реке. Песни были длинные, протяжные, с быстрыми, внезапно взрывающимися речитативами, они казались мне похожими на колдовство и молитву одновременно. Я даже спросил у Ивана, не молитва ли это. И он, подумав, ответил, что, может, отчасти и молитва.

Иван сидел на бугре, загорелый, мускулистый, тяжелоногий. Он тянул свою «Думу», и лицо его, длинное, с крупным подбородком, было полно печальным и мужественным светом. Он не просто пел эту «Думу», он наговаривал ее, он ею словно очищался.

Я подождал, пока он замолк, и сказал:

— Иван, а зачем ты утром лазил в монастырь?

Он повернулся ко мне с такой быстротой, что я даже испугался. У него вытянулось, изменилось и отяжелело лицо. Глаз почти не было видно под чернотой густых ресниц.

— В какой монастырь? — спросил он, оглядываясь по сторонам. — О чем ты болтаешь, Толик?

— Да брось, Иван, — сказал я, — я сам видел. Не хочешь говорить, не говори, только я бы, например, к сумасшедшим лазить испугался б.

Иван пристально взглянул на меня, потер лоб, потом подошел к обрыву, посмотрел с него в воду и прыгнул. Коричневое его тело косо вошло в воду, почти не оставив за собой брызг. Я с трудом вскарабкался на столб и тоже нырнул. Вода была приятная, она окружала тело влажной теплыньою. Я плыл за Иваном, а он отмахивал саженками через реку, потом, доплыв до противопо-

ложного берега, повернул в обратную сторону. Мы встретились как раз посреди реки, он мигнул мне и нырнул, и тут я почувствовал, что меня тянут за пятки, я закричал, и вода ворвалась в меня, забила мне горло. Я еще барахтался, но все мутилось в голове, и вода разрывала меня, она была сверху, снизу, с боков, во мне — повсюду.

Я очнулся от рези в желудке. Минут пятнадцать я отфыркивался и рвал водой, потом на смену этому пришла слабость. Иван, вытащивший и откачавший меня, сидел рядом. Он был желт от страха за меня, и тяжелые его скулы были сейчас особенно заметны.

— Спасибо, Иван, — сказал я, когда слабость немного прошла, — если бы не ты, я бы точно утонул.

Он даже растерялся, глаза его округлились, а широкие черные брови изломались на бугристом лбу.

— Гарный ты хлопец, Толик, — пробормотал он, — це я ж тэбе чуть не втопив.

— Но ты ж понарошку, — сказал я, — а потом спас.

— Гарный ты хлопец, Толик, — бубнил Иван и отворачивался от меня.

Постепенно я почувствовал себя совсем хорошо.

— А в Збараже речка есть? — спросил я.

— Е, — сказал Иван, — а що?

— Мы завтра с отцом едем в Збараж.

Иван отвел глаза.

— На машине?

— На «виллисе».

— Это хорошо. А не боится он тебя с собой брать? Ведь там стреляют...

— Отец не боится. Он знаешь у меня какой, он на войне воевал. У него пять орденов.

В это время неподалеку от нас стал раздеваться толстый лысый человек. Он раза два оглянулся на нас: у него было круглое, чернобровое лицо. Брови особенно выделялись на нем, потому что лицо было настолько голым и круглым, что ничто больше не могло остановить на себе внимания. Он, как и я, взобрался на столб и с него нырнул в воду. Ивана вдруг охватил спортивный азарт:

— Побачим, як я! Трохы краше, альбо гирше. Ты суди!

Он взобрался на столб и тоже нырнул, голова лысо-

го была уже далеко видна на зеленой поверхности воды, но Иван своими саженками догнал того, и вскоре они наперегонки шпарили к соседнему берегу, изредка перекрикиваясь. У берега Иван обогнал. Они вылезли из воды, похлопали друг друга по влажным спинам, посмеялись и легли отдохнуть. Потом нырнули, и на этот раз обогнал лысый.

— Кто победитель? — азартно крикнул он, вылезая и шлепая себя по белому брюху.

— Вы, — сказал я с неохотой, я болел за Ивана.

— А шо вы скажете? — церемонно поклонился он вылезавшему Ивану.

— С меня пиво, — как-то нервно улыбаясь, сказал Иван, — хочь и веса в вас десять пудов, а шустрый.

— Девять, — сказал толстый, ложась рядом со мной, — девять пудиков, и ще фунты, их я не считаю. Хорошо, что я такой толстый, верно, хлопец?

— Почему? — спросил я.

— Ничего, кроме веса, не вместится. Ни злоба, ни хвороба. Или не так?

Я засмеялся. Засмеялся и лысый, а за ним и Иван.

Лысого звали Тарас Остапович, а по профессии он оказался поваром. Через несколько минут нас водой нельзя было разлить. Лысый проводил нас с Иваном до самого монастыря и долго еще махал рукой, пока мы взбирались к себе в гору. Дома я рассказал отцу, как плавал и чуть не утонул и как меня спас Иван. Мать очень встревожилась, а отец встал, застегнул на крючки ворот кителя и вышел.

Минут через пять я выскочил в сад. Под вишневыми деревьями за столом сидели Иван и отец. Оба были взволнованы. Иван взлохмачен и красен. Отец серьезен и строг.

— Так что прими мою благодарность за сына, — говорил отец, — но именно потому, что ты стал мне близким человеком, говорю тебе: не с той компанией связался ты, Иван, не те мысли носишь, не те боли в себе тешишь. Украина будет жить в Союзе, как всегда она жила. И ты, рабочий парень, должен быть с нами, а не с ними.

— Так було, не так будет! — сурово говорил Иван и отворачивался, поигрывая желваками.

— Пойми, Иван, — говорил отец, — я уроженец Восточной Украины, которая много веков живет в сою-

зе с Россией. Русский и украинец — братья. Так и должно быть, национальность не может отгораживать человека от человека.

— Москалямы сталы, мову забулы, — не слушая, бормотал Иван.

— Дурак, — беззлобно говорил отец. — Да если хочешь знать, только при Советской власти и язык и культура народа нашего стали развиваться по-настоящему. Знаешь ты об этом? Вся штука в том, кому принадлежит власть... Хочешь посадить себе на шею добродня с нагайкой, чтобы он тебя на панщину гнал? — неожиданно спросил он.

— Ни, — растерялся Иван.

— Тогда почитай историю, поймешь, за что боролись и Петлюра, и гетман Скоропадский, и Коновалец...

— За едыну вильну неньку... — неуверенно ответил Иван.

— За буржуазные порядки на Украине, за свои поместья, за право, прикрываясь национальными лозунгами, драть три шкуры с «братьев»-украинцев.

— Я вам, пане Голубовськый, — сказал Иван, трудно поворачивая к отцу загорелую шею и не глядя в глаза, — я вам дуже за усе вдячный. Спасыби. И що от комендатури врятувалы, и за доброту вам дякую вид сердця.

— Смотри, Иване, — сказал отец, вставая, — жалко, добрый ты хлопец, а стежка, по який пишов, вона до добра не доведе.

— Пане Голубовськый, — со страстным отчаянием воззвал вдруг Иван, — зовсим вы задурылы мени голову, не може коммунист буты такою гарною людыною... Зовсим задурылы вы мени голову, пане Голубовськый... Не знаю зараз, як жыты!

— Жить надо честно, Иван, — сказал отец. — Вот ты в бога веришь, так живи хотя бы, как библия требует: не обмани, не укради и особенно, — отец надавил на плечо Ивана, — не убий!

Он быстро зашагал по дорожке к дому, а Иван еще сидел, тряс головой и бормотал:

— Зовсим задурылы вы мени голову, пане Голубовськый, чи може коммунист буты такою гарною людыною?

Я пробрался домой, когда отец пил чай и разговаривал с матерью.

— Явился, разведчик, — сказал отец весело, — ты чего под кустами разговор подслушиваешь? Лучше готовься к поездке.

— Это к какой еще поездке? — иемедлеиио явилась к столу мать.

— Да мы иадумали тут, — сказал отец, мрачиея и пряча глаза. — В общем, завтра с Толькой едем в Збараж.

— Что? — вскрикиула мама. — Алексей, ты хочешь погубить ребеика?

— Ма, — сказал я, — да мы «вальтер» возьмем!

— Алексей, — сказала мама, и в голосе ее послышались близкие слезы. — Я всегда боялась твоих заскоков. Сейчас же скажи мие, что ты отказываешься от этой абсурдиой поездки.

— Да ты ие волиуйся, — сказал отец, совсем теряя ту легкость взгляда, с которой ои меия встретил, — райои полгода как очищеи от баидеровцев.

— Алексей, — сказала мама, сдерживая слезы, — скажи, что это была шутка.

Отец встал из-за стола, подошел к матери и положил ей руки иа плечи.

— Лизок, — сказал ои, — попытайся поиять...

Мать вытерла слезы, утерла иос и сказала иеприступным голосом:

— Я слушаю.

— Мы все время жили в средией России, — сказал отец, — а теперь иа Украиие, это моя родииа. Я хочу, чтобы Толька посмотрел ее, поиял, полюбил.

— Но ои и так смотрит, — перебила мама, — его с улицы веиком ие загоиишь.

— Родииа — ие улица, — сказал отец, — родииа, Лизок, это поля, дубравы, реки, села, майдаиы, аисты иад крышами... Но, прежде всего, люди. Наши люди. Когда ои еще это увидит?

— Но стреляют же, — сопротивлялась мама, — и потом, что это за иациоиальиые разногласия, разве мы с тобой ие из одиой страиы родом?

— Из одиой, — сказал отец, — вот я и хочу, чтобы ои зиал мою Россию и мою Украииу, ты ие против?

— Береги ребеика, — сказала мать, — у него плохое горло, а в твоем «виллисе» все продувает иасквозь.

И поияв, что поездка разрешеиа, я завопил от восторга.

5

Утром за окном зарычал «виллис», и я сразу вскочил. Спать, конечно, хотелось, но возбуждение было так сильно, что я даже не стал завтракать, хотя заплаканная мама грозила вообще оставить меня дома, если не поем.

Отец еще собирался и укладывал в пухлый портфель заготовленные мамой продукты, а я уже выскочил к машине. Там, навалившись животом на мотор, покуривал шофер Петро. Он подмигнул мне и указал папиросой куда-то в сторону. Я оглянулся и увидел Кшиську, выряженную в короткие мальчишеские, как у меня, брючки, в вельветовую блузку, с огромной шляпой на голове. Она, увидев меня, кивнула и тут же принялась скакать на одной ноге, что-то подбирать с земли, вообще занялась многообразной деятельностью. Я, конечно, никак не отреагировал. Я ее презирал. Разве я на ее месте стал бы так разоряться из-за яблок, как она вчера?

Вышел отец в белой фуражке, белом старом кителе, синих галифе, начищенных сапогах. Я не успел сделать и шагу к машине, как ангельский голос запел сбоку:

— Пане Голубовський!

— Я, — обернулся отец.

— Вы приглашали меня с собой в Збараж, — пела Кшиська, глядя на отца бессовестными чистыми синими глазами, — вы не забулы?

Отец посмотрел на меня, потер лоб, потом засмеялся:

— Не забыл. А Стефан пускает?

— Пускает, пускает...

— А как мне это узнать? Будить его рановато...

Из окна высунулась вздыбленная шевелюра Стефана:

— Дзенькую пану. Пан вправду берет племянницу?

— Раз вы не против, почему нет?

— Дзенькую, бардзо дзенькую пану.

— Ты, Петро, можешь идти, — сказал отец шоферу. Тот помялся, сплюнул под ноги окурок.

— Алексей Сергеевич, если вам неохота, вы скажите...

— Иди, Петро, — сказал отец, — надо так надо.

Шофер с чувством пожал ему руку и, изредка оборачиваясь, зашагал вниз.

— Жена заболела, — пояснил отец, садясь и включая зажигание.

— Воспаление легких? — вежливо поддержала разговор Кшиська. Она уже уселась на заднее сиденье справа от меня.

— Почему воспаление легких? — спросил отец и засмеялся. — Женские болезни.

— Венерические? — с тем же светским интересом выясняла Кшиська.

Я разинул рот, а отец так дернул рулем, что мы чуть не раздавили крайние ряды молодых яблонек. Отец нажал на тормоз, потом прибавил ходу, мы вымчали на дорогу. Я посмотрел в зеркало. Отец был багров, я обернулся к соседке и погрозил ей кулаком. Она высунула язык и отвернулась.

— У одной пани, что приходила два года назад к нашей бабушке, была венерическая болезнь, — повествовала Кшиська, сидя с дамской распрямленностью и лишь изредка высокомерно поглядывая на меня через плечо. — Ей звали пана лекаря, но он сказал, что болезнь запущена и пани не миновать остаться без носа.

Я взглянул на отца. Я решил, что он сейчас остановит «виллис» и высадит нас обоих, но в это время отец издал стонущий звук, я вгляделся и понял, что он просто гибнет со смеху. Тогда засмеялся и я.

Неизвестно, почему это обидело Кшиську, и она замолчала. Мы уже выезжали из города, когда на дороге, подняв руку, остановился человек. Он был почти округлый от толщины и весь перекосился от тяжести огромного желтого кофра. Услышав звук машины, он сорвал с головы брыль и замахал им. Я узнал его.

— Па, — закричал я, — это Тарас Остапович! Он вчера с Иваном соревновался.

— С Иваном? — вскрикнула Кшиська. — Пане Голубовський, поезжайте дальше. С Иваном дружат дурные люди.

— Остановись, па, — молил я, — он такой веселый, давай подвезем.

— Тяжело? — тормозя около толстяка, спросил отец, приоткрывая противоположную от себя дверцу, — садитесь.

— Далеко ли едет пан начальник? — отдуваясь, спросил толстяк, со вздохом облегчения ставя кофр в пыль.

— В Збараж. По дороге?

— Как не по дороге? Ясно, по дороге. Но не стесню ли я пана?

— Садитесь, Тарас Остапович, — высунулся я, — мы вас подвезем.

— Дякую, дякую. Слава Езусу, це ты, Толик?

— Я, Тарас Остапович.

— О це добре, це добре, — бормотал толстяк, с трудом втаскивая и ставя у наших ног свой невероятный кофр, — знакомый на шляху, то добра примета. Що скажешь, хлопчику, чи погано я плаваю?

— Очень хорошо, Тарас Остапович.

— Зови меня просто дядько Тарас. — Он устроился на сиденье и опять накинул на круглый шар головы брыль. — Извините меня, пане начальнику, — сказал он, обращаясь к отцу, — что я вас затрудняю. Я сам по профессии повар, работаю в ресторане, могу испечь вам из живого бегемота отбивную, а из дохлой лошади ростбиф по англо-американски, мне все равно, потому что дело мастера боится...

Я хохотал, а отец, кивая головой под рокот его мягкой мелодичной речи вел машину, изредка поглядывая на нового знакомого.

Дорога, обсаженная по сторонам пирамидальными тополями, то и дело выносила навстречу нам деревни. Это были обычные галицийские деревни, с хатами, крытыми соломой, черепицей и шифером, по крышам можно было определить расслоение здешнего села — одно было неизменно: на каждой крыше — круглая шапка аистиного гнезда. Нередко и сам аист стыл на крыше, подняв одну ногу и с птичьей своей высоты не замечая окружающего земного мира. Около каждого дома бродили важные индюки и гуси, по улицам попадались крестьяне, одетые в пиджаки с непривычными для нас галстуками, нередко в шляпах. Тяжелые их ботинки грузно месили уличную пыль. Кое-где даже в селах тротуары были асфальтированы, на наиболее красивых зданиях висели лозунги: «Хай живе Радянська Україна!», «Хай живе Всесоюзна Комуністична партія більшовиків!»

Под рокот мотора я даже вздремнул. Проснулся я от взгляда. На меня смотрела Кшиська. Я изумился. Она глядела словно издалека. Кшиське, которая сейчас смотрела на меня, было лет сто. Это смотрела мудрая

и злая старуха. Маленькое ее личико с огромными глазами стало еще меньше под шляпой.

— Ты чего? — спросил я.

Она молча перевела взгляд на толстяка, и взрослая свирепая ненависть Кшиськиного взгляда потрясла меня.

Далеко впереди забелели постройки.

— Збараж, — сказал отец.

— Ось тут просымо трошкы тормозинуты, — заулыбался толстяк. — Там я по тропочке. Премного вам обязан. Когда будете свободны, просымо до мене у ресторацию. Останетесь довольны, обещаю. До свидания, пан начальник, до видзеня, Толю, до побаченыя, дивчинонько.

С кряхтением он вытащил свой кофр и поставил его у кювета. Отец тронул, Кшиська прильнула к окошку. Он стоял, прощально подняв брыль.

— Пане Голубовський, — сказала своим звонким голосом Кшиська, — то був бандера.

Отец резко повернулся, но тут же вынужден был отвести глаза — машина чуть не воткнулась в кювет.

— Откуда у тебя это? — спросил он. — Такая маленькая, а уже разучилась верить людям.

— Пане Голубовський, — сказала пронзительным женским голосом Кшиська, — то був бандера, а вы его выпустили!

— Ты нелегкая девочка, Кшися, — сказал отец, но в зеркало я увидел, как сощурились в нешуточном размышлении его глаза.

— Пане Голубовський, — закричала Кшиська, — я знаю, вы маете револьвер, верниться и заарештуйте його.

Отец хотел было что-то ответить, но на дорогу выскочили три солдата в выгоревших гимнастерках и повели автоматами. Мы остановились.

— Документы, — сказал старший с сержантскими лычками на погонах.

Отец вынул документы. В это время скрипнула дверца, и Кшиська выскочила из машины. Из кукурузы вышел высокий молодой лейтенант, и Кшиська уже со всех ног бежала к нему. Я хотел было кинуться за ней, но отец, взглянув на меня, запрещающе мотнул головой.

— Можете ехать, — козырнул сержант.

В это время подошел офицер. Кшиська с выражени-

ем злости и упорства на лице шла за ним, глядя под ноги.

— Простите, товарищи, ваши документы.

— В порядке, товарищ лейтенант, — вмешался сержант.

— Хныченко, — остановил его офицер. Тот козырнул и замолчал.

— Товарищ Голубовский, — сказал офицер, окидывая нас и все, что было в машине, оценивающим взглядом, — вот девочка говорит, что вы подвозили какого-то повара и что он только что сошел.

— Подвозил, и он действительно только что сошел, — сказал отец, спокойно встречая взгляд лейтенанта.

— Он вам знаком?

— Нет.

— Зачем же вы в такое время берете в машину незнакомого человека?

— А это запрещено?

— Вы разве не знаете положения?

— Чего вы хотите? — спросил отец. — Вот и девочку с собой взял, а оказывается, я и ее не знаю.

— Я с паном Голубовським живу в одном доме, — сообщила Кшиська.

— Брать, конечно, можно, — в раздумье сказал лейтенант, продолжая в нерешительности держать на весу отцовское удостоверение, — но...

Отец и я, не отрываясь, смотрели на эту коричневую книжечку, повисшую где-то на полдороге к отцовской руке.

— А почему он вышел перед самым постом?

— Ему, видно, в деревню...

— В какую?

— Не знаю. Он сказал, что пойдет дальше по тропе.

— Непонятно, — сказал лейтенант. — Вы где остановитесь?

— В райзаготзерно.

— Это напротив милиции?

— Да. Деревянное двухэтажное здание.

Лейтенант передал документы.

— Езжайте, а девочку мы захватим с собой.

— Куда? — изумился отец.

— Покажет нам, где сошел он. Мы вам ее сегодня же доставим в лучшем виде.

— Ты, Кшися, согласна? — спросил отец. Он глядел

на нее строго, упорно, словно настаивая на каком-то обоим им ясном ответе.

— Меня привезут, пане Голубовський, — сказала Кшиська, отводя глаза, — дзенькую.

Отец кивнул и дал газ.

Проскочив по узким улочкам между осенних, набухших спелыми плодами садов, мы остановились перед штакетником ограды. Отец вышел из машины и, захлопнув дверцы, прошагал через двор ко входу в двухэтажный особняк. Я бежал за ним, но он меня не замечал. У входа отца встретил крупный, наголо бритый мужчина в хорошо сшитом темном костюме в полоску.

— Сам товарищ Голубовский обрадовал, — заговорил он, сверкая белозубым ртом и тряся руку отца, — рады, рады начальству, без него от забот голова кругом идет. — Он говорил с украинским акцентом, странно утепляющим русские слова. — Голова моя для доброй намывки готова, прошу начинать, товарищ управляющий.

— Переночевать у вас здесь удастся? — спросил отец, вынимая руку из его ладоней.

— У меня, у меня ночевать будем, — сказал с вежливым нажимом управляющий районной конторой, — жинка уже ждет и вареников наварила тьму, не откажите, товарищ управляющий, врага наживете.

— Спасибо, товарищ Калюжный, — сказал отец, — в следующий раз погощу. А сейчас прошу вот о чем: мы тут с парнишкой моим...

— А, — заулыбался Калюжный, подхватывая меня под руку, — добрый хлопец. Так то молоденький Голубовский? Приятно видеть.

От него пахло духами, он был большой, уверенный в себе и говорил любезности не потому, что заискивал, а потому, что считал: так нужно. Я понял это сразу отточенным детским чутьем, и он мне понравился.

— Добре, товарищ начальник, — сказал он, поворачиваясь к отцу, — я приготовлю для вас все в моем кабинете, а придет думка пообедать, прошу ко мне, без церемоний, очень прошу. — Он поклонился.

Отец отдал короткий поклон и прошел в дом. Я побрел за ним.

В кабинете Калюжного было прохладно. Солнце путалось в полузапахнутых шторах из зеленого плюша, косяки его изредка прорывались в комнату и ползли

по полу к длинному письменному столу, но колыхание штор тут же уничтожало их вторжение.

Я сидел в углу, утонув в старом кожаном кресле. Отец с Калюжным о чем-то негромко говорили. В их речи привычно отщелкивались слова, которые всегда шли рядом с отцом: семфонд, ссыппункт, уборка, потери... Калюжный в неторопливой, любезной, но ощутимо не заискивающей манере отвечал отцу на его суховатые вопросы. Отец сидел, скинув фуражку на стол, прямой, с красным от загара лицом, собранный и напряженный. Иногда они замолкали, Калюжный поднимал от бумаг взгляд, и отец, словно пробужденный, опять принимался за вопросы.

В дверь постучались. Калюжный сказал:

— Можно.

Вошел милиционер.

— Товарищ Голубовский будете? — спросил он, глядя на Калюжного.

— Я — Голубовский, — сказал отец и встал. Он стоял сухой, строгий, такой же, как обычно, но тут только я почувствовал, как он весь напряжен и собран.

— Начальник милиции велел передать, чтобы вы до особого распоряжения отсюда не выходили.

— Я что, арестован? — спросил отец.

— Что приказали, то передал, — сказал милиционер, — ждите.

Он вышел.

Отец пригладил волосы и сел. Калюжный посмотрел на него и опустил гладко выбритый яйцевидный череп. Все молчали.

— В Трусках же вот такое положение, — внезапно уставляясь в бумаги, заговорил Калюжный, — семфонд они зарезервировали, поставки же выполнили не полностью.

— Придется за счет семенных, — хрипло сказал отец и пригладил волосы.

— Что случилось, Алексей Сергеевич? — спросил, помолчав, Калюжный. — Я могу помочь?

Отец посмотрел на него и раздвинул рот в улыбке. До этого момента я как-то не понимал, что произошло, но сейчас, глядя на то, как он улыбается, вернее пробует улыбнуться онемевшими губами, я вдруг понял, что случилось что-то страшное. Я встал. Отец был бледен. Даже загар на его лбу и щеках как-то пропал.

— Па, — сказал я, — ты что?

Видно, мой голос подействовал на отца, он вскочил из-за стола и тут же остановил себя.

— Ты чего расквасился? — спросил он. — Милиции не видел?

Я стиснул зубы и не заплакал. Если бы он подошел ко мне, я бы не выдержал.

— Могу взять к себе мальчика? — спросил Калюжный, глядя на меня.

— Па, я буду с тобой.

— Спасибо, товарищ Калюжный, — сказал отец, — я верю вам. Вы друг. Случилось недоразумение, скоро все выяснится. Вы тут ни при чем и в эту историю не встревайте... Идите. У вас работы полно. А кабинет, если можно, я пока займу.

— Можно, — сказал Калюжный, вставая, — и вам спасибо, Алексей Сергеевич.

— Еще не прощаемся, — усмехнулся непослушными губами отец.

Калюжный склонил бритую голову и вышел.

Мы остались вдвоем. Я хотел было подойти к отцу, но он сидел отрешенный, чем-то занятый, краска загара постепенно возвращалась на его щеки.

Я смотрел на него, и мурашки бежали у меня по телу, это было как в тот раз, когда нас троих со двора в Платоновском лесу под Тулой застали ребята с Пушкинской, а мы с ними всегда дрались. Их было много, и они были старше. И они шли к нам со всех сторон, а сзади был пруд, и я не умел плавать. Я смотрел на их лица, и все внутри у меня дрожало, и я знал, что если они это заметят, то обязательно утопят. И я смотрел на них, а они смеялись и шли...

— Мама по нас скучает, — сказал вдруг отец и посмотрел на меня. Я весь сжался.

— Может, она сейчас в саду гуляет? — сказал я. Просто так, чтоб только не было этой тишины.

— А она любит гулять в саду? — с удивлением спросил отец. — Вот дьявольщина, пятнадцать лет вместе, а я даже не знаю, любит она яблоки или нет?

— Вишни любит, — сказал я, — почти как ты.

— А я люблю вишни, — с непонятным интересом спрашивал отец, — ты это точно знаешь?

— Па, — не выдержал я и кинулся к нему, — за что они тебя?

Он обнял меня, на минуту прижал к сухощавому горячему телу и тут же легонько оттолкнул.

— Только без слез, — сказал он, — ты мужчина или курица? Чепуха. Недоразумение. Все выяснится.

Я отошел от него и опять сел в кресло. Он сидел на том же месте, за письменным столом, так мы просидели до самых сумерек. Неожиданно задребезжал телефон. Отец помедлил и взял трубку.

— Слушаю! Да. Голубовский. Сейчас? Мне не с кем оставить мальчика... Хорошо. Иду. — Он встал, надел фуражку и подошел ко мне.

— Толя, — сказал он и погладил меня по голове, — я скоро вернусь. Сиди и жди. Ничего не бойся.

Он вышел, а я остался в большом темном кабинете. В пустом здании. В чужом городе. Один. Сначала было очень страшно, но отец пошел выяснять, значит, все станет на место, — от этой мысли стало легче, я нащупал выключатель. Свет загорелся. В стеклянном шкафу стояло много книг. Но все они были по зерновым культурам. Я отошел, отодвинул штору, выглянул на улицу. Во дворе конторы одиноко боролась с мраком лампочка, напротив, во дворе милиции, в зыбком свете фонарей суетились люди. У ворот пофыркивали машины. Мне вдруг так захотелось туда, в суету, к человеческим голосам, что я выскочил из кабинета, промчался по пустым коридорам конторы и выбежал во двор. Кто-то темный вышел навстречу мне от штакетника, но я обежал его, и булыжники дороги зацокали под каблуками. В ворота милицейского управления въехали две машины. Я проскользнул за ними, и ворота закрылись. Во дворе было светло, проходили люди в милицейской и военной форме. Провели к амбарам в углу двора, где прохаживался часовой, двух волосатых сгорбленных людей в помятой крестьянской одежде. Делать тут было нечего, и я пошел обратно. У выхода стоял, подремывая и клюя носом, часовой, я походил около, но ворота были закрыты, а просить милиционера открыть их и вообще обращать на себя внимание я опасался.

Тогда я отошел к самой ограде двора и сел на траву. Она была мокрая и липкая, я попробовал ее рукой и встал. В это время из одного амбара вытащили какие-то длинные свертки. Часовой распахнул ворота, и плоские носилки одни за другими проплыли на улицу, ворота не закрывали, а часовой, переговариваясь с теми,

кто выносил эти штуковины, не обращал на остальное внимания. Я шмыгнул мимо него и оказался на улице. Около ворот несколько людей что-то делали, копошились, поднимали. Следить за ними было интересно, но я боялся, что они меня заметят. Отец велел ждать в конторе. Еще нагорит. Я побрел по улочке. С обеих сторон ее из-за оград свешивались ветви яблонь. Сорвал яблоко, и, едва только зубы пронзили его кисловатую сладость, голод подступил к самым стенкам желудка. Я вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Рот был полон вязкой слюны. Нет, надо ждать отца. Я повернул и опять пошел к милиции. Ворота были уже закрыты, около них в полной неподвижности стояли трое. Я, чтоб не вызвать у них каких-либо вопросов, перешел на другую сторону, добрел до штакетника ограды «Заготзерна» и оглянулся. Трое стояли по-прежнему и даже, кажется, смотрели на меня. Я отвернулся, сделал вид, что иду в калитку, но во дворе опять кто-то зашевелился, и я отпрянул. Нет, лучше было поговорить с теми, кто стоял у милиции, чем возвращаться. Я смело перешел дорогу и пошел к ним. Луна стояла высоко, но фонарный свет был тускл. Трое передо мной стояли, странно накренясь назад. Еще не понимая, но уже замедляя в безотчетном ужасе шаг, я подходил все ближе и вдруг замер. Передо мной, чуть запрокинувшись и глядя перед собой неподвижными глазами, стоял толстяк Тарас Остапович. Из-за него же все сегодня вышло, из-за него! Я кинулся к нему и тут же встал как прикованный. Что-то странное в самом положении их тел остановило меня.

Трое стояли так недвижно, так немо... Я шагнул ближе, глаза мои уперлись в черные буквы на его груди: «Каждый, кто знает этого человека, должен немедленно сообщить в милицию» было выведено вкривь и вкось на желтом картоне.

Повар стоял не шевелясь. Я стрельнул взглядом в ворота. Часовой покуривал перед ними, зябко подрагивая спиной. Почему они не стряхнут эти вывески? Я обошел всех троих и тут только понял все. В неестественном наклонном положении всех троих удерживали деревянные рогатины, вкопанные сзади. Я обежал их спереди. У повара на лбу зияла черная метина, а у остальных рубахи на груди были покрыты параллельными черными пятнами. И тогда слепящая молния ударила в мозг, и все полетело куда-то...

— Так ты говоришь, имеиио мальчик окликиул его, а не Голубовский? — спрашивал ровный басистый голос.

— Це Толик перший поклнкав, це Толик, — поет в ответ знакомый дискант.

— А Голубовский?

— Вни його пидсадыв.

— Ты думаешь, Голубовский был с ним раньше знаком?

— Я ж не знаю...

— Вел себя он с ним как? Как будто был раньше зиаком или нет?

— Толнк вел как знакомый. А пан Голубовський вел машину.

Голубовский — это моя фамилия. Я пробую разлепнть глаза. Это нелегко, потому что веки слиплись и открывать их прнходится с усилием, как будто на них лежит какая-то латунная тяжесть.

Спиной ко мне сиднт большой человек в синем кителе н фуражке с красиым околышем. Он спрашивает, потом наклоняется и разводит локти. Одии локоть легонько движется. Человек пишет. Кшиськин голос раздается с другой сторойы стола. Кшиськи ие видио. В комнате горнт тусклый электрический свет. С большого портрета на голой стене смотрит Сталин.

— Когда ехали, Голубовский разговаривал с пассажиром?

— С товстым?

— Да!

— Разговаривал, — певуче тяиет Кшнська, — спачала я разговаривала, а как сел тот товстый, он один стал разговарнвать н со миой, и с Толиком, и с паиом Голубовським. Такый брехлнвый...

— О чем они говорили?

— Анехдоты товстый разказував.

— Не помнишь, о чем?

— Очень мне надо! Я анехдотов ие слушаю и сама не рассказываю, — благонравно говорит Кшнська, и у человека в кителе вздрагивают лопатки:

— Ну ладно, ладио, никто тебе эту статью и не паяет.

— А Толнку что паяют?

— Шустрая ты, девчонка, — сказал капитан (я теперь видел его погоны), распрямляясь, — а Толик не говорил тебе, откуда он знал этого пассажира?

Смутное чувство какой-то тревоги охватило меня.

— Один день его и знал, — пробубнил я, приподнимаясь и садясь на стулья, на которых лежал.

— Очнулся! — закричал Кшиськин голос, и тотчас ее прическа с бантом возникла из-за милиционера.

— Ты выйди, Тына, — приказал он и обернулся. — Ожил?

Кшиська, пока шла к двери, успела состроить мне целую гамму гримас — от радости: расширенные глаза и всплеск руками — до презрительной: полуотвернутое лицо и приподнятый в надменном отстранении угол губ, но, когда выходила, опять уже была маленькой высокомерной дамой, знающей, как себя вести в любом обществе.

— Говорить можешь? — спросил меня капитан. У него было усатое, широкое лицо и маленькие глаза, цвет которых нельзя было разглядеть в тени от лампочки.

— Могу, — сказал я.

— Сядь-ка сюда, — махнул он через плечо на Кшиськино место.

Я встал, голова закружилась, но ненадолго. Я переждал, пока предметы установятся на свои места, подошел и сел. Перед капитаном лежали бумаги, под локтем была папка.

— Отец твой знал пассажира? — спросил капитан. — Толстого, что вы подобрали утром?

Я вспомнил широко открытые глаза Тараса Остаповича, его отклоненное назад туловище и странно разведенные руки.

— Его же убили, — сказал я, боясь, что капитан подтвердит, и уже понимая, что прав: конечно, убили. Как же иначе можно стоять с рогатиной, упертой в спину?

— Ты поэтому и упал в обморок? — спросил капитан, прищуренно изучая меня.

Я опять вспомнил, как я кинулся навстречу единственному моему знакомому в этих краях.

— Ты пионер, Толик? — спросил капитан.

— Конечно, — сказал я, — два года.

— Так расскажи мне все. О том, как вы познакомились с Тарасом Остаповичем. Это очень важно.

— Он же мертвый...

— Он по заслугам мертвый. Он наш враг, очень опасный враг, Толя...

Я еще только задумался: могут ли быть опасными врагами такие веселые и смешные люди, как Тарас Остапович, когда заскрипела дверь, и вошел мой отец. Загорелое лицо его было сумрачно, но глаза при виде меня ободряюще дрогнули и засветились.

— Как он? Здоров? — спросил он капитана, подходя ко мне.

Капитан закачался и заскрипел на стуле.

— Голубовский, я ведь не звал вас.

Холодная ладонь отца стиснула и тут же отпустила мой лоб.

— Это мой сын, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — и по вашей милости он сегодня не ел и волновался с самого утра.

— Не по моей милости, а скорее по вашей, Голубовский, — со значением в голосе сказал капитан, и тут же голос его стал отрывист и непререкаем, — сядьте сюда, — он кивнул на стул с другой стороны своего стола, — и не перебивайте.

Отец погладил меня по щеке, перешел за стол с другой стороны и сел. Белая полоса у кромки волос отчетливо выделялась на красном лбу.

— Так как ты познакомился с этим... как его звали? — спросил капитан, не сводя с меня глаз.

Я посмотрел на отца, и капитан посмотрел на отца. Отец ободряюще кивнул мне.

— Я купался, — сказал я, — мы...

— Кто мы? — спросил капитан и насторожил перо над бумагой. Я посмотрел на отца, увидел, как он нахмурился и отвел взгляд. Я вспомнил Ивана и то, как они соревновались, переплывая с толстым белым Тарасом Остаповичем реку, и отчего-то все во мне завибрировало сквозной и непонятной тревогой.

— Мы с Кшиськой поругались... — сказал я, пытаясь, но упорно не желая ничего говорить об Иване.— И я пошел на реку без нее. А Тарас Остапович плавал там. Он очень хорошо плавает. Два раза переплывал реку туда и обратно.

Отец вдруг потер лоб, улыбнулся мне и как-то расслабился, и от этого мне тоже стало легче.

— Значит, он тебя так забавлял, — говорил капитан, что-то записывая и отрываясь изредка, чтобы взглянуть на меня, — а ты что?

— Я? Смеялся.

— Откуда он знал, что вы едете в Збараж?

И тогда я вспомнил, как Иван нырял со мной, как я чуть не утонул, и как он спас меня, и как появился Тарас Остапович и вызвал Ивана на соревнование в плавании.

А ведь Ивану я говорил, что мы едем в Збараж. Неужели они знали об этом оба? Если Иван передал все это толстяку, значит на самом деле все было не случайно. Я посмотрел на отца, и следователь посмотрел на отца, но отец, отвернув лицо, безразлично оглядывал комнату, и только по напряжению его позы я понял, что он слушает и ждет, что я отвечу. Я посмотрел на капитана; капитан, упершись кулаками в стол, смотрел на меня, как кошка на мышь.

— Не знаю, откуда он знал, — сказал я, — я и сам не знал.

— Знал он? — спросил следователь отца.

— Кажется, нет, — сказал отец в раздумье, — я сказал ему только вечером, что беру.

— Товарищ Голубовский, — сказал капитан и встал. Тогда и отец медленно поднялся: — Товарищ Голубовский, — сказал следователь, — а откуда же эта... — он кивнул на дверь, — эта Тында знала, что вы скоро едете в Збараж?

И тогда я понял, что отец сейчас в опасности. Я даже не знаю, почему я это понял, по бледности ли его впалой щеки или по прямоте его взгляда, которым он боролся со взглядом следователя, но я понял, что он в опасности, и крикнул:

— Па, ты же забыл, ты нас с Кшиськой встретил в саду, и она еще проснлась с нами, когда ты сказал...

— Правильно. И прошу меня извинить, — сказал он садясь, — дети знали. Я забыл.

— Кто еще знал? — спросил следователь, глядя на меня.

— Больше никто, — сказал я и увидел еле заметный кивок отца. Вот в чем дело, понял я: и отец не хочет, чтобы я говорил про Ивана.

— Никто? — спросил следователь, он смотрел на меня требовательно и угрожающе, и я сразу ощетинился весь.

— Раз говорю никто — так никто.

— Ладно, — сказал следователь и стал писать. А я сидел, весь дрожа и стараясь сидеть особенно тихо, чтобы он не заметил этой моей дрожи, потому что я знал, что дальше будет вопрос, с кем я купался, и тогда все погибло. Я скажу об Иване, и отец опять нахмурится, и неизвестно, что тогда будет.

— Ладно, — повторил следователь и прекратил писать. — Товарищ Голубовский, — сказал он, — я вас и вашего сына отпускаю. На партячейке, правда, будет разговор. Но пока могу обвинить вас лишь в отсутствии бдительности, а она нужна, товарищ Голубовский, ох как нужна. Подпишите, — он сунул лист с протоколом отцу, потом мне. Я вслед за отцом поставил внизу под косым почерком капитана свою фамилию, увенчав ее кляксой.

— Можете идти, — сказал капитан, козырнул и тут же снял фуражку. Отец кивнул мне на дверь, потом приостановился.

— А девочку мы с собой прихватим или вы доставите?

— Вы забирайте, — сказал следователь, — ты выйди, Толя.

Я посмотрел на отца, он кивнул, я вышел в полутемный коридор, в котором никого не было, и остановился, прижавшись затылком к двери.

— Операция кончилась, накрыли мы крупную дичь, — заговорил следователь, — и в этом помогла нам эта ваша девчонка Тында.

— Умная девочка, — сказал отец.

— Умная, — подтвердил капитан, — к тому же бандеровцев ненавидит. Они отца у нее убили. Говорит, что у вас в доме полно бандеровцев. Правильно, нет?

Я ждал, что скажет отец.

— Бандеровцев у нас нет, — сказал он после молчания, — есть один паренек, Иван. Песни поет старинные, у него весьма своеобразное представление об украинской истории, но до связи с бандами, по-моему, тут далеко.

— Вы в этом уверены? — спросил бас следователя.

— Да, — сказал, чуть помолчав, отец, — и, понимаете, нет смысла его делать бандеровцем.
— Как это?
— Подозревать заранее.
— Это вы бросьте, — отсек капитан, — если есть улики, это не заранее.
— Улик нет, — сказал отец, — вот сегодня вы целый день подозревали меня. Разве я мог быть связан с этим типом? Да я и не знаю, был ли он врагом, мало что почудится девчонке, настроенной против всего украинского...
— Вы сами-то украинец, товарищ Голубовский?
— И вы украинец, товарищ капитан.
— Я прежде всего советский человек.
— И я, — сказал отец, — потому-то я и не могу подозревать каждого.
В комнате помолчали.
— Хорошо, — сказал следователь. — У вас записано, что вы награждены. Чем и когда?
— Имею по Красной Звезде за Ярцево и за бои под Калинином, орден Красного Знамени за Воронеж,— сказал отец, — Славы третьей степени за Прут и Славы второй степени — за Секешфехервар.
— Знакомые места, — сказал капитан, — ну, поделюсь с тобой, Голубовский. Девчонка эта, она лучше любой ищейки... Знаешь, кто толстый этот был? Один из главных их связников. И если на такое дело он пошел, значит трещат у них кости во всей организации.
— На какое дело? — спросил отец.
— Знаешь, что было у него в кофре?
— Нет.
— Он же в нем самого Смагу вывозил.
— Что за Смага?
— «Проводник» их. Недавно бежал из комендатуры. Двоих взяли опять. А его никак не могли найти... И в твоей машине толстый этот вывез его под самый Збараж.
— Дела-а, — помолчав, подавленно сказал отец.
— Понял теперь?
— Понял...
— А ты небось думал, что я тебя напрасно подозреваю, так?
— Думал, — признался отец.
— Теперь осознал?

— ...Осознал.

— Можешь ехать, — сказал следовательский бас, — только вот что... Ты обдумай сам ситуацию, мне-то все равно. А ты подумай. Есть тут одно выпавшее звено, — следователь замолчал.

— Ну? — спросил отец.

— Не хотел я тебя, Голубовский, в это путать. Мужик ты, по всему видать, крепкий, не студень какой-нибудь. Другой бы на твоем месте уже сто коробов наврал, а ты в порядке. Так что уважаю. Признаюсь.

— Спасибо, — сказал неторопливый голос отца.

— Так вот, — со спокойной насмешкой загудел капитан, — есть одно выпавшее звено. Уверен я, что они знали о твоей поездке в Збараж, понимаешь?

Отец молчал.

— Я тебя нарочно не путал. Иначе в этой истории ты никак и никому ничего не докажешь. Потому что вопрос здесь стоит так: верить или не верить. Тебе я верю... Знаю, что ты ни при чем. Но как коммунисту я тебе говорю: сам доведи это дело до конца. Сам. Понял?

— Понял, — с усилием сказал отец.

Послышались шаги. Я отскочил от двери и прижался к холодной стенке.

Открылась дверь, отец обернулся и пожал руку следователю.

— Спасибо, капитан, — сказал он, — хоть имя назови. Долго помнить буду.

— Борис, — сказал капитан, — а помнить, что ж, — это правильно. Помнить надо. Война не кончилась. И в этой войне нам позиций не выбирать. Советские мы люди, Голубовский, и партбилеты нам недаром вручали. Надо уметь разбирать, кто враг, кто друг, и поступать соответственно.

Отец молча взглянул ему в глаза, крепко стиснул руку и подошел ко мне.

— Ну, едем.

Я кивнул.

В это время послышался топоток, и появилась Кшиська.

— Цо? Мы вже едем, пане Голубовський?

— Садись в машину, — сказал отец, оглядывая ее с ног до головы, — садись и жди нас, неусыпная Кшися.

Кшиська важно кивнула и удалилась своей походкой взрослой женщины, уверенной в том, что она привлекает внимание.

— Попрощайся с капитаном, сын, — сказал отец.

Я подошел и протянул руку. Сверху на меня смотрело широкое, усатое, задумчивое лицо с дремучими волосами, с худыми, жестко проступившими скульными и лобными костями, со светлыми проницательными глазами.

— Будь здоров, Толик, — сказал капитан, — но и ты помни: война еще не кончилась.

Он легонько сжал мою руку большой и твердой ладонью.

— Пока, Борис, — сказал отец.

— Пока, Голубовский, и лучше бы с тобой нам больше не встречаться.

Кшиська ждала, прижавшись к ограде конторы. Уличный фонарь еле доносил свой свет во двор. Китель отца, заметный в темноте, мелькал и мелькал вокруг черного силуэта «виллиса». Изредка рядом появлялся часовой. Я не видел его, но вспыхивал и гас рядом со светлым кителем блеск винтовки. Кшиська молчала за моей спиной, молчал и я. Аромат садов, вянущих цветов, гниющих уже фруктов щекотал мои ноздри. Где-то невдалеке в чьем-то саду забилась вдруг птица. Было очень тихо, и только во дворе милиции порой взревывали и скоро стихали моторы «шевроле» и «студебеккеров». Наконец взрычал и наш «виллис». Часовой, приглядываясь к нам в темноте и зевая, отворил ворота. «Виллис» выехал, и отец, высунувшись, махнул нам рукой. Первой вскочила в машину Кшиська, затем полез в темное нутро я. Отец оглянулся, лица его не было видно, блестели лишь глаза.

— Устроились?

— Бардзо дзенькую, пане Голубовський, — тут же откликнулась Кшиська.

Меня прямо затрясло от злости: откуда прилепилась к ней эта манерность? Как будто не она бегала по улицам города в купальном костюме, как будто не с ней мы носились по разрушенным этажам и переходам развалин, как будто не она жилилась и канючила у торговок на базаре. Смотреть на нее я не мог из-за отца. Он на первый взгляд как будто не был взволнован тем, что произошло за эти сутки. Но я-то

знал по неожиданной его разговорчивости, по особому вниманию к нам, что отец, обычно весь погруженный в себя, немногословный, угрюмоватый, на самом деле потрясен тем, что с нами случилось.

— Если устроились, отправляемся, — сказал отец и тронул.

Но тут же пришлось затормозить. Рослый человек жестом остановил машину: в свете фонаря я узнал капитана.

— Голубовский, — сказал он, подходя. — Что это ты выкидываешь?

— Что? — спросил отец.

— Ты едешь домой?

— Нет, в Почаевскую лавру.

— Не до острот... Кто же ездит здесь по ночам, да еще с детьми?

— Дети — лучший пропуск, — сказал, немного помолчав, отец. — И вообще, Борис... Лучше нам уехать.

Капитан долго смотрел на отца, потом, просунув голову в открытую дверцу, оглядел нас, потрепал за волосы Кшиську, возмущенно отстранившуюся от его руки, лапнул меня за плечи и, наконец, убрал свое туловище из кабины.

— Как хочешь, Голубовский, — сказал он и махнул рукой.

Машина рванула, зажглись фары, и раскосый свет их так и понесся впереди нас, показывая нам глянцевитый булыжник улицы, дальние контуры полуразрушенного замка, крайние дома, вишни и яблони, свесившиеся на колья ограды, внезапную часовню у выезда из города с высоко вскинутым распятьем и затем надолго щербатый асфальт шоссе с кустарниками за кюветом, по сторонам дороги.

— Па, — сказал я, когда мы немного отъехали, — чего этот волосатый так долго тебя держал? Там и дураку ясно было, что ты ни в чем не виноват.

— Не смей в таком тоне об этом человеке, — резко повернулся ко мне отец.

— Почему, па?

— Всю ответственность на себя взял. За меня, за тебя, за нас. Поверил... А это, Толя, большое дело: верить людям, когда вокруг стреляют. Не каждый может. Особенно когда стреляют, сын.

Мы уже промчались мимо того места, где нас оста-

новил пост, и отец, продолжая вести машину, оглянулся. Я обернулся и тоже взглянул в заднее стекло. На асфальте замелькали круги от фонарей, фонари мигнули и погасли.

— Проспали, что ли? — пробормотал отец.

— Ни, пане Голубовський, — пропела немедленно реагирующая Кшиська, — у них там телефон. Знаете, такой ящик с катушками. Им, видно, позвонили, и они не стали нас останавливать.

— Все-то ты у нас знаешь, Кшися, — усмехнулся отец.

— Я очень любознательная, пане Голубовський, — кокетливо пропела Кшиська.

— Ты права, — сказал отец, — вот я, например, ничего странного не заметил в том лысом толстяке, а ты... обнаружила.

— Я, знаете, пане Голубовський, сразу его не полюбила, — тут же затараторила Кшиська. — Вы знаете, он был очень противный, и чемодан у него был такой тяжелый, что я сразу подумала: в нем золото. А кто в наше время возит золото: только спекулянты и бандеры. И потом он сошел, не доезжая поста, а там не было никаких домов.

— Это все лейтенант сказал, а не ты, — перебил я, чувствуя какую-то едкую ярость против нее, в особенности из-за того, что по напряженному затылку отца было ясно, с каким интересом он слушает.

— То не лейтенант, а я лейтенанту, — тоже со злостью отразила мое нападение Кшиська.

— Толя, дай рассказать человеку, — отец резко взял руль направо, и нас тряхнуло.

— Он меня всегда перебивает, — начала ябедничать Кшиська, — а я всегда говорю правду, а он...

— А потом где вы были, Кшися? — перебил отец.

— А потом, — Кшиська стала поправлять себе прическу, — потом, пане Голубовський, мы все вскочили на БМВ и помчались к той кукурузе.

— Кто мы?

— Лейтенант, два жолнежа и я.

— И врешь, — перебил я, — на БМВ всего три места.

— Пане Голубовський, если он не перестанет, я не буду рассказывать, — оскорбленно сказала Кшиська, — я никогда не вру.

«Другим мозги закручивай, — подумал я, — мы-то знаем...»

— Один жолнеж сел за руль, лейтенант сзади, а другий жолнеж в коляску и взял к себе меня. Было очень холодно, и он меня почти до лица закрыл плащ-палаткой. Вот!

— Значит, вы подъехали к тому месту, где мы его ссадили? — спросил отец.

Мне было обидно, что он ее расспрашивает, как взрослую, как будто не знает, какое она трепло, но я молчал. Мне и самому хотелось знать, что же там потом случилось.

— Мы доскочылы до теи кукурузы, — с капризным звоном в голосе повествовала Кшиська, — и один жолнеж побежал смотреть кукурузу на иной стороне, другий там, где вылез той толстый.

Она замолчала.

Мы тоже молчали, хотя меня уже смертельно мучило любопытство. Отец тоже молчал и вел машину. Разлетались по сторонам кустарник и высокие пирамидальные тополя, кидался под колеса выщербленный, весь в лунках и выбоинах, асфальт. Кшиська упрямо молчала, молчали и мы.

— Потом лейтенант поговорил с ними, и мы пошли по тропке, через кукурузу, — не выдержала она. — Шли очень быстро, и я устала. Жолнежи все время шарили по кукурузе, как увидят, что она подломлена, сразу бегут туда. — Кшиська теперь говорила без остановки. — Вот один раз жолнеж кинулся и приносит цо? Ни, вы не можете того знаты! Кофр. Той тяжелый чемодан, что вез товстун... Я сразу закричала про той чемодан, но лейтенант мне зажал рот, пригрозил пальцем, и они все побежали. Я побежала тоже... Мы все бежим, а кукуруза очень холодная и скользкая. А там впереди хутор, и мы видим, как к нему подходят трое, и один на ходу блестит лысиной, я сразу его узнала... Они все трое, жолнежи и лейтенант, помчались так, что я отстала. Подбегаю, а тэи трое стоят с ними, размолвляють. Толстяк стоит с усмихом. Я подбежала, и он меня побачив. — Кшиська заволновалась, и голос ее зазвенел, она в таких случаях путала все три славянских языка, которые знала, — и вгеды выймав свий револьвер, и вгеды жолнежи начали пуляты з автоматив, и воны, усы трое, впалы. Еден був совсем бритый,

другый лохматый, а третий — тен самый, що ихав з нами. А мы уси стояли, и ще набигли якись бабы з хутору. Потим едеи жолнеж щез на пивгодыны. Потим прышло миого жолнежей. А меия на машиие довезли до самого мяста и там долго розпытували. Сам паи капитан.

— Да, — сказал отец, — повезло тебе, Кшися, такое интересное приключение. Ты ведь любишь приключения?

— Не так, — сказала Кшиська и замолчала, — то не так, паие Голубовський...

Эта новая серьезиая нотка в ее голосе была так неожидаина, что отец иа секунду обернулся.

— Что с тобой, Кшися?

— Я не люблю приключений, пане Голубовський, — почти шепотом сказала Кшиська, подаваясь к самому сидеиью отца. — Но у вашего Толика естем и татусь и неиька, а у мене их иема. Их убылы бандеры. То ие естем прыгоды. И когда той толстый сел у автомобиль, я услышала голос. Той голос я памятаю. Я сидела за мешками на млыне, а татуся и матку вбывалы, а голос их старшего меии было слышио. Той голос був як у лысого, пане Голубовський.

И мы все в машиие замолчали. Неслись по сторонам стены кустарника, и падали нам навстречу своей чернотой пирамидальные тополя, а мы все молчали. Впереди выплыли из мглы неясные огоньки, и в тот же миг машину тряхнуло, что-то лопиуло, и мы встали посреди дороги.

Фары освещали холмистое поле, по бокам от нас шуршали тополя, а впереди лежало село. Виднелись огни, глухо долетал лай собак. Отец выключил фары и сидел теперь иеподвижно, отвалившись на спинку водительского сиденья. Где-то рядом в кустах высвистывала и продолжительно тянула высокую ноту какая-то пичуга.

— Баллоны лопнули, — сказал отец, сидя по-прежнему неподвижио. — Случайность...

Мы глядели на его белую фуражку.

— Так, — сказал, не оборачиваясь, отец. — Толя, не струсишь?

Я замотал головой, отрицая.

— Нет, па.

— Вылезай, бери с собой Кшисю. Бегите за деревья, прижмитесь к ним... Или вот, — отец не глядя достал и сунул через плечо мне какую-то рогожу. — Спрячьтесь метрах в тридцати и ждите. Пока я сам не позову, ни за что не вылезайте, понял?

— Понял, — сказал я, открыв дверцу кабины, — Кшись, пошли.

Мы вылезли в сплошной ветер. Гудели последние деревья — за ними было поле, шуршали кусты, пахло сыростью. Луна была высоко и просвечивала мертвенным своим золотом сквозь прогалы ветвей. Отец в машине молниеносно скинул китель и рубашку, куда-то сунул их, сорвал и бросил на заднее сиденье фуражку, выскочил из машины, на ходу надевая что-то темное, отчего он стал неуклюжим и неузнаваемым, и, увидя нас еще около машины, резко махнул рукой. Я потянул Кшиську за руку, и мы, осторожно пройдя дорогу и перескочив кювет, освещенный луной, зашли за широкий ствол тополя и встали там. Было холодно, сыро, страшно.

— Ляг, — шепнул я Кшиське. Она упрямо замотала головой в шляпке.

Я все-таки подстелил рогожу, лег сам, и тогда она прилегла рядом. Отогнув холодные влажные ветки куста, я посмотрел, как движется у машины, изредка посвечивая себе фонарем, темная фигура.

Мы лежали у самых деревьев, позади нас было поле, пятнисто освещенное луной с движущимися тенями облаков, а дальше чернел лес. Вокруг гудел ветер, глухо рокотали ветви над нами, лезли в лицо холодные листья, запах гниющей травы щекотал ноздри. Небо было черно и насквозь просверлено алмазами звезд. И кроме еле слышной возни отца у машины, не раздавалось ни одного постороннего звука. Я почувствовал, как дрожит рядом со мной Кшиська, и внезапно испугался. Со всех сторон была тьма и пустота. Я прижался к ней, и она обняла меня. Так мы и лежали в огромной черноте ночи.

Вдруг Кшиська дернулась и вся напряглась. Я поднял голову и не поверил себе. Там, на дороге, с трех сторон подходили к отцу три человека. Тускло блеснули и померкли, спрятавшись в тень, автоматные стволы на груди.

Отца о чем-то спросили.

— Ни, — сказал он громко, — хозяина иемае. Остався у Збаражи.

Однн из троих полез в машину и, подсвечивая себе фоиарем, стал в ией копаться. Двое других продолжали расспрашивать отца. Он тоже полез в машину, что-то вытяиул из бокового ящика и, вылезая, протяиул им.

— На документы дывляться, — еле слышио шепиула мие в ухо Кшиська.

Двое, светя фоиарями отцу в лицо, смотрели докумеиты, а третий все рылся в машиие. Скоро ои вылез и подошел к иим. В свете фоиаря было видио белую фуражку, которую ои протяиул остальиым. Одии из стоявших у машины скинул с себя пилотку и иадел ее иа отца, а сам насуиул иа уши его белую фуражку. Все оии захохотали. Потом иемного отошли от машииы, а отец остался.

Оии стояли все трое плотиой кучкой, фонари были потушеиы, и силуэты их были призрачиы и иеверны в луином свете.

— Молысь, хлопче, — сказал чей-то голос, — молысь, колы можешь.

— За що? — сказал нервный голос отца. — Я такый же украииець, як и вы.

— Ни, — сказал в ответ тот же голос, — ты вже москаль, а не украииец. Молысь.

Я все еще не поиимал, что происходит, или, скорее, я поиимал, ио с тем спасительиым отупеннем, которое приходит в момеит, когда человеческие иервы не могут выиести переиапряжеиия, ждал, что же будет.

Опять блесиул ствол автомата.

Вдруг эти трое быстро заговорили между собой. Я слушал. Издалека, от села, иаплыл далекий гул. Один из троих побежал мимо придорожиых тополей дальше в поле; двое, перебросившись несколькими словами, подошли к отцу. Они что-то говорили ему, а он молча слушал, потом громко сказал:

— Добре. Зроблю.

Оии отошли от иего, огляделись и бегом кииулись в нашу стороиу. Мы с Кшиськой уткиули головы в рогожу. Оиа была холодиой и уже сырой. Рядом зашуршали ветки, и одии из подошедших сказал:

— Як вии их зупыние, рубай його, а я по кузовам.

— Добре, — сказал второй, — затрымаемо на десять хвылын, тут хлопцы и поспиють.

— Эге ж, — согласился первый.

Они устраивались за кустами, шагах в десяти, чуть впереди нас. Я поднял голову. Их спины в телогрейках, раскинутые ноги и голова одного в отцовской белой фуражке были хорошо видны между кустов, рядом со стволами мощных тополей.

Я молча начал шарить руками по земле, Кшиська вцепилась мне в рукав, но я отбросил ее руки и продолжал шарить. Там, на шоссе, у машины курил отец. Видна была алая точка его папиросы. Здесь, почти рядом со мной, лежали двое бандитов, и один из них собирался убить отца, я шарил и шарил по земле, пока не вцепился в рыхлый дерн у самых корней кустов. Я рыл его пальцами, под ногти набилась земля, и концы пальцев болели, но я рыл, зная, что это единственное оружие. Кшиська вдруг поняла и стала тоже подрывать дерн. Скоро и бесшумно мы вырыли по два больших куска дряблого дерна, я хотел было копать дальше, но рев на дороге усилился, и скоро резкий свет автомобильных фар стегнул вышедшего на шоссе отца. Двое впереди нас ощутимо напряглись.

Отец, ошпаренный ударом света, прикрыл глаза и поднял руку, машины замедлили ход. Я встал, держа в руках по куску дерна.

— Товарищи, — крикнул отец, — засада!

И в тот момент я швырнул дерн в головы лежащих и упал. И тогда целый ураган заревел вокруг, нестерпимо стегали автоматы, они били с дороги и рядом с нами. На меня и Кшиську валились срезанные пулями ветки и листья, пели и высвистывали вокруг злые шмели. Продолжалось все это минуты три. Мы лежали с Кшиськой в обнимку под кустами, и я чувствовал, как бултыхалось, то замирая, то словно несясь на стометровке, ее сердце. А в глазах стоял отец, медленно выходящий в белом резком свете фар на середину шоссе.

Вдруг разом все стихло. Мы лежали молча. Я ни о чем не мог думать. Даже об отце. Страха не было, одна тупость и какая-то пустота в голове. Зашуршали шаги, мы с Кшиськой вмялись друг в друга.

— Готовы, — крикнул кто-то, — товарищ лейтенант, вот они оба!

С дороги что-то прокричал властный голос, и первый кричавший ответил:

— Я дальше еще не смотрел.

«Товарищ старший лейтенант», — доходило до меня, — так это ж наши!»

Я рванулся, но Кшиська, вцепившись всем телом, держала меня. Луч фонаря стегнул нам в лицо, мы зажмурились. И опять я подумал об отце. Ведь тот, в телогрейке, держал его на мушке.

— Тут, — крикнул над нами голос, — живые!

— Вставайте, ребятки, — сказал солдат, склоняясь над нами, — а то обыскались вас.

Как пьяные мы вышли на шоссе. В голове звенело, туманилось, плыло. Три «студебеккера» светили фарами, расшибая тьму, впереди в сторону поля шла солдатская цепь, а рядом с высоким, одетым в плащ-палатку, офицером, в нелепой телогрейке и пилотке стоял отец.

— Па, ты жив! — и я кинулся к нему на шею. — Они же в тебя целились!

— Целились! — радостно засмеялся отец. — Да не они первые. Крикнул нашим, а сам брык — по старой солдатской привычке, да еще перекатился метров на десять.

В это время подбежала Кшиська. Она бегала смотреть убитых.

— То мы его спасли, — шепнула она мне, — у едного на спыни той дери, а у другого на самий шыи.

Я только улыбнулся.

7

Сад наш так и благоухает вокруг. Кружевные тени от близко подступивших яблонь лежат почти до самого крыльца. Старый Исаак безмолвно сидит на своем месте под навесом, изредка вскидывая круглые старческие глаза навстречу редкому звуку или движению.

Пахнет свежими яблоками, это Стефан уже выложил в окне первый ряд снятых плодов. Кшиська с теткой ушли по каким-то хозяйственным делам. Я сижу на скамье под нашим окном и слушаю голоса из комнаты. Мать сегодня весь день на дежурстве. Поэтому мужчинам никто не мешает, и они как пришли из своих хождений по конторам и службам, так и засели за бутылку.

— Нет, ты пойми, лет через двадцать я тут буду герой, — кричит своим тягучим голосом Савва, приятель отца, иеожидаино завериувший иа огоиек, — я тут буду первый человек. Потому что я и есть первый человек. Я тут строил Советскую власть. Я тут крепил государство...

Мы приехали сегодия утром. Ночью, после иеудачи иашего первого путешествия, солдаты взяли иа прицеп иаш «виллис» и отволокли его обратио в Збараж. Там отец с кем-то всю иочь его чииил.

Я выскакиваю во двор. Сиизу, видио с базара, тащится с двумя сумками, иабитыми доверху, мать Иваиа, оиа в вышитой украииской сорочке, с очипком в сивых волосах. Чериая юбка волочится по земле.

— Здравствуйте, — подхожу я к ией, — скажите, а Иваи сегодия иа речку пойдет?

— Немае Иваиа, — бормочет оиа, с трудом волоча сумки, — другий деиь як выихав.

— Давайте помогу, — я подхватываю сумки, и сразу руки отвисают от тяжести. — А куда ои уехал?

— Та до родичив, у Львив.

— А-а, — говорю я, с трудом втаскивая иа крыльцо ее сумки. — А когда ж ои будет?

— Ничего ие зиаю, — говорит тетка, доставая из глубокого кармаиа юбки целый ворох ключей, — як прийдэ, тоди и покупаетесь.

— Ладио, — говорю я, опуская у ее дверей сумки, — если быстро приедет, вы ему скажите, что я его ждал.

— Добре, добре, — возится с замком тетка, — дякую тоби, хлопчик.

Что-то плывет и плывет в глазах. Я встряхиваюсь. За окиом раздается свист. Это Кшиська. Я мчусь иа улицу. Кшиська ждет. Оиа сегодия в коротеиькой серой юбке и белой блузке, иа золотистом загаре лица цветут огромиые сииие астры — Кшиськиииы глаза.

— Бежим иа речку, — шепчет оиа заговорщически мие в ухо. Я киваю, мие иадоел Савва, а отцу ие до меня, и мы мчимся во весь дух вииз. Ах, это бегство от домашией опеки, от разговоров взрослых и иотаций их. Мы летим под гору по узкой извилистой улочке в сплошных садах, прыгаем через каиавы, разгоияем кур, высыпавших из чьих-то ворот. Мы иесемся, как кониица, мы

кричим от восторга, ноги сами бегут под гору, свистит ветер, горячая ладошка Кшиськи в моей руке. Я уже забыл, что был зол на нее эти дни за ее пронырливость и ненасытную жажду всюду сунуть свой маленький, чуть вздернутый нос, она отличная девчонка, Кшиська, и настоящая подруга.

Поворот, последние мазанки, высокая стена разрушенного фольварка, и вот она, река, — за болотистым лугом. Мы еле переводим дух. Я скидываю тапки, Кшиська — босоножки, влажная трава заливного луга холодит ступни, солнце настильно бьет нам в спины. Уже близко к вечеру, а еще жарко. Река посредине полна серебряными слепящими заводями. Невдалеке — правее — старый замок, где мы обычно купаемся, но там брод, и издалека видно стадо, разбредшееся по воде.

— Ниц, — говорит Кшиська, — мы тудой не пойдем. Будем здесь.

С травянистого бугра виден обрывистый берег. Я плаваю неважно, а ныряю еще хуже. Зато вода у самой кромки нависшего обрыва прозрачна до того, что видны редкие камни на дне.

— Тутай? — спрашивает Кшиська, заглядывая мне в глаза. В последнее время она совсем перешла со мной на польский. Это, видимо, степень доверия.

— Давай тут,— соглашаюсь я. По правде говоря, мне страшно нырнуть с такого берега, но разве можно отказаться? Эта немыслимая девчонка решит, что я боюсь, а этого невозможно допустить.

Я быстро скидываю свои штаны и рубашку и сажусь, подставив спину солнцу, оно гладит, но не печет.

Рядом копошится Кшиська, потом замирает.

— Пошли? — спрашиваю я, оборачиваясь.

Она в коротких темных трусах, загорелое мальчишеское тело все сложено, как перочинный нож. Она подбородком достает свои колени.

— Так — можешь? — спрашивает она и делает шпагат. Потом встает на руки, потом крутит сальто. У нее тело как гуттаперчевое: все гнется и тянется в любом направлении.

Я осматриваюсь: ага, вон и камень. Я подхожу к глянцевитому небольшому валуну, украдкой трогаю бицепс. В школе я занимался немного гимнастикой, но особенно мы любили поднимать гири, хотя учитель за это нас ругал, и мы это делали обычно на улице. Там у ме-

ня неплохо получалось. Я оглядываюсь на Кшиську, она ждет, с любопытством оглядывая меня с ног до головы. Я прилаживаю к камню ладонь, беру его за округлый край.

— Оп-а! — камень на плече. Я чувствую его тяжесть. Нет, не выжать. Кшиська смотрит. Я пробую медленно отжать его от плеча — и пытаться нечего. Я стою весь в поту и чувствую, как даже глаза заливает пот. Не от усилия, от стыда. Хвастун! Она же смотрит!.. Я кладу камень на ладонь, напрягаюсь и сильно толкаю его всем телом. Все. Он тяжко дрожит на вскинутой ладони.

— Ура-а! — кричит Кшиська. — Виват!

Я роняю камень.

— То-лек! — подбегает Кшиська и прижимается ко мне горячим телом. — Молод-чик! Молод-чик! Ты мой коханый!

Она меня обнимает, а я стою весь красный. Я же не выжал камень, а толкнул. Хорошо, она не знает этих тонкостей.

— Плывем, — говорю я.

Кшиська, как на пружинах, отскакивает от меня, разбегается и, чуть забросив ноги, головой входит в воду. Я несусь за ней, только б не видела, как я ныряю.

Плеск. В глаза лезет вода, ест веки. Ф-фу, теперь можно и глотнуть воздуха. Я плыву, широко разводя руками за пепельноволосой головой Кшиськи. Она уже на середине, вода теплая, нежно холодит тело, упруго расходится под рывками.

Кшиська плывет ко мне, поворачивает, и мы вместе забираемся к броду, туда, где, медлительно помахивая головами, пьют коровы. На берегу торчат соломенные брыли пастухов.

— Поворачиваем? — говорю я Кшиське, отфыркиваясь.

— А тудой? — машет она рукой на середину.

— Там слепни, — говорю я, — ну их.

Мы плывем обратно. Кшиська, вывертывая голову из воды, ровно режет кролем, я отстаю. Мне досадно, но делать нечего. Там, в нашем городе, мы не учились стилям плавания. Летом на речке каждый резвится как умеет. Вот она уже на берегу, прыгает и бегает, как мальчишка, подставляет солнцу ладони.

Я, вытряхивая воду из ушей, вылезаю и тоже на-

чиию прыгать и приседать. Поначалу на берегу чуть холодновато. Кшиська уже лежит на своей юбке, подставив солнцу и без того золотистую спину. Я ложусь рядом. Все тело пахнет рекой, влагой и слегка тиной. Солнце пригревает, тихо, уютно, дремотно. Я закрываю глаза.

— Спи-ишь? — спрашивает Кшиськин голос.

— Нет, — говорю я, — Кшись, а зачем ты тогда Стефана выслеживала?

— Это когда он шел со шлюхой?

Я смеюсь. Кшиська легко говорит такие слова, за которые — оброни я их дома — мне бы крепко досталось. Но что они значат, я знаю. Не подробно, но все-таки. В нашем дворе не было строгих педагогов. И взрослые, и сами ребята легко делились опытом и разными знаниями.

— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я.

— Цо? Шлюха та блондинка альбо ни? Наш Стефан водится только со шлюхами, — авторитетно утверждает Кшиська, — тетка говорит: то к счастью.

— А тебе какое дело, куда ходит Стефан? — перекладываясь на бок, говорю я. — Он взрослый, он сам разберется.

— Цо? — кричит Кшиська. — Он разберется? В чем мужчины могут разобраться? — всплескивает она руками. — Они же безмозглые, як бараны. Цо, ты не зна-ал?

— Нет, — говорю я. Мне лень спорить.

— Не знал? — наклоняется надо мной, присев на корточки, она. — А сам? Ты сам такый.

— Какой?

— Такый. Теля!

— Ах, вот как, — я хватаю ее за руку, она вырывается, отпрыгивает от меня и начинает строить рожи, я кидаюсь за ней, начинается беготня, крик, борьба. Вокруг темнеет. Неожиданно и сразу наступают сумерки. Вода в реке подожжена закатом. Далеко в стороне в багровом золоте излуки медленно движутся черные силуэты коров. Негромко звучит пастуший рог.

— Домой! — говорю я, выпуская распаренную возней Кшиську.

— Ниц, — живо откликается она, — ще не час.

— Пойдем, — говорю я, — лучше в саду побродим.

— Ниц, — говорит она, — будемо купаться.

— Я не буду, — говорю я и ложусь на свои штаны.

Трава уже холодная, зато трусы высохли, и я ие опасаюсь замочить нми одежду.

— А я буду купаться! — говорит Кшиська.

— Ну и купайся, — говорю я.

— Буду, — говорнт Кшнська упрямо, — а ты не мужчина, а теля.

— Пусть теля, — говорю я, — а купаться не буду.

— Я буду! — вызывающе говорит она. — Теля, теля!

— Искупаешься, потом сохни целый час, — ворчу я.

— Не иадо сохнуть, — крнчнт она, — слы-ы-шишь, теля. Надо як я. Дывнсь.

Я слышу рывок воздуха иад собой н вскидываю голову. Золотое тело Кшиськи с четко отделеииыми от этой позолоты бедрами, блистающимн белизиой, иесется к реке. Сиачала мне кажется, что оиа переодела плавки, и вдруг я понимаю: на ней иичего иет! Совсем инчего.

Я падаю лицом в ладони. Жар оплескивает меия. Горят щеки, горнт шея. Ну, девчоика! Я даже не могу поиять, как мие быть, когда она вылезет. Я лежу и слушаю плеск иа реке, он еле слышеи. Не девчонка, а пареиь в юбке, вот кто Кшнська. Но, произиося все это про себя, я вдруг осозиаю, что нмеино сейчас она стала для меня девчоикой. И даже больше того — чем-то особым, манящим, волиующим. Я лежу на локте, под рукой щекотно жнвет трава, ползают и покусывают кожу разиые козявки. Мне как-то муторио. Я теперь уже ие смогу смотреть на Кшиську, как иа товарища. Зачем она это выкииула? Как оиа теперь будет вылезать? Не стыдно ей? Я украдкой кошу глазом на реку. Багрово отцветает закат на середине, иа трепетиой водиой глади никого иет. Где же она? Так ведь и утонуть можно. Я вскидываюсь иа руках и гляжу иа реку. Никого. Может быть, там, в камышах? Я вскакиваю. Тревога трубит во мие. Все в мозгу переполошено. Где она, неистовая моя подруга?

Я оглядываюсь. В иескольких шагах от меия, подчеркиуто отвернув в стороиу голову, лежит почти совсем одетая Кшиська. На ией уже и юбка и майка, только блузка еще не надета. Я начинаю торопливо одеваться. Мие трудио глядеть иа Кшиську, и краем глаза вижу, что оиа тоже старается ие смотреть иа меня.

— Пойдем, — говорю я, ие глядя иа иее.

Она молча идет вверх по тропинке. Я догоияю ее. Оба, ие перемолвившись словом, проходим мимо стены фоль-

варка в зацветшей зелени, гнездящейся в трещинах и бревнах, мимо разрушенной часовни с искривленным облезшим распятием, мимо первых мазанок и огородов окраины. Неожиданно Кшиська сворачивает в переулок. Я плетусь за ней. Из-за оград на меня посматривают мальчишки. Как всегда, им не нравятся мои брюки. Кшиська, не оглядываясь быстро идет в гору. Она опустила голову, вид у нее нездешний и неприступный, такой я ее еще никогда не видел. Я иду сбоку, чуть отставая. Вокруг пахнет пылью, цветами, помоями. Где-то перекликаются высокими голосами хозяйки. Уже совсем стемнело, и в домах зажигаются окна. Вдалеке в конце улицы горит одинокий фонарь.

Кшиська опять сворачивает. Мы подходим к витой чугунной ограде. Это же костел. Кшиська почти пробегает по двору и пропадает в дверях. Я нерешительно подхожу к их выщербленной позолоте. Одна створка отворена. Я решаюсь и вхожу. В костеле темно. Лишь впереди в глубине, тускло мерцает свеча. Я, неслышно ступая, иду между рядами скамей.

Впереди что-то темнеет. Я останавливаюсь, не дохо. Раскинув руки крестом, на плитах лежит Кшиська. Она что-то шепчет. Прислушиваюсь.

— Матка бозка, — шепчет Кшиськин голос, — пан Езус, пани Мария. Пшебачьте меня за грех мий. Пшебачьте, допоки я мала тай глупа...

Я бесшумно выскакиваю из костела, выбегаю за ограду и там жду, прислонившись к чугунным холодным прутьям. Ох и чудная все-таки девчонка Кшиська!

До дома мы дошли, не перекинувшись ни одним словом. У калитки Кшиська протянула мне руку и сказала:

— До видзеня!

Я пожал длинные гибкие пальцы и недоуменно таращился ей вслед, пока она не дошла до угла дома и не свернула за него. Мне почему-то казалось, что за этот день мы с ней подросли оба. Она с ее длинными, не по росту, золотистыми ногами, с крепко обрисованными икрами, с тонкой талией, вокруг которой вилась коротенькая юбчонка, с высоко сидящей на гибкой шее головой, обрамленной пепельным кружением волос, и я в своей пестрой ковбойке, которую уже распирали твердеющие мышцы плеч.

Что-то переменилось с этого мига.

В саду колобродил ветер. Было темно и холодно. Где-то далеко выл пес. Вечер накатывался безлунный, мрачный. Я вошел в комнату, когда мама только что вернулась с работы.

8

Ночь была предгрозовой. В кронах сада бурлил и клокотал ветер. На крыше бренчал отставший железный лист. Я хотел было побродить по саду, как вдруг сердце у меня дрогнуло и остановилось: рядом со мной, в другом углу крыльца, кто-то вздыхал и бормотал. Я попятился к двери в коридор и, лишь коснувшись спиной ее деревянного холода, решился посмотреть в угол. Там кланялась и бормотала что-то длинная согбенная фигура.

— Это вы, дедушка Исаак? — спросил я шепотом.

— То я, мальчик, — ответил мне печальный голос, — что ты бегаешь в такую нехорошую ночь? Разве мало беды вокруг?

— Какой беды? — сказал я, постепенно приходя в себя и обретая утраченную было смелость. — Вы чего испугались, дедушка Исаак?

— Не ходи в такую ночь гулять, мальчик. Такая ночь для дурных дел.

— Это вы туч испугались? — спросил я, подходя к нему. Он стоял, прижавшись к перилам крыльца. Длинные волосы его раздувались ветром. И вид его унылого профиля опять меня встревожил. Но я не подал вида.

— Вы почему не спите, дедушка Исаак? — спросил я. — Где Ревекка?

— У Ревекки тоже нашлись свои дела, — прогундосил Исаак, — у всех молодых в конце концов находятся свои дела. У тебя они тоже уже есть, мальчик?

— Есть, — сказал я и заполыхал, вспомнив сегодняшнюю реку и Кшиську. Хорошо еще, что в такой темени нельзя было разглядеть мое лицо.

— У всех есть свои дела, — сказал Исаак, — только у старости нет своих дел. Остаются одни чужие. Зато она и многое видит, старость. Мальчик, прошу тебя: не ходи сегодня в сад. Тучи над нашим домом. Предчувствую: будет большая гроза. не ходи в сад. мальчик, там не ты один ходишь по ночам; не ходи в сад, мальчик.

Бормоча это, он мелкими шагами все подходил и подходил к двери и вдруг исчез, как растворился. Не заскрипели половицы, не скрежетнули дверные пружины.

Мне стало так не по себе, что уже совсем было я решился идти домой, но тут же устыдился своего страха. Я мерз в своей рубашке, но слова старого Исаака взбудоражили меня неясной, знобкой тревогой. Теперь я уже просто не смог бы уснуть дома.

Я сбежал с крыльца и отправился в сад. Но там все гудело и глухо рокотало от ветра. Гул был такой, что даже падение яблок не столько слышалось, сколько угадывалось.

Я пробежался было немного, но вокруг все шевелилось, какие-то темные силуэты вырастали мне навстречу, стало так страшно, что я решил вернуться домой, но с той стороны сада горело яркое пятно в черной тьме дома. Освещено было окно как раз у Кшиськи. Я обошел их половину сада, прошел через калитку и заглянул в окно. Оно было довольно высоко, и видно было только, что за занавеской движется какая-то тень. Я опять вспомнил сегодняшний день. Что она там делает, читает? Мы с Кшиськой никогда не говорили о книжках, а ведь я читал каждую свободную минуту. Я взглянул вверх. Сквозь листву порой проступало мохнатое от туч небо с внезапными проблесками голубого цвета. Я залез на яблоню и устроился на суку. Вот теперь я видел Кшиську. Она ходила по комнате в белой рубахе до пят, вот подошла к зеркалу, посмотрела на себя. Лицо у нее было сосредоточенное и совсем взрослое. Волосы падали ей на плечи. Она долго смотрела в зеркало, потом вдруг показала язык и отставила зеркало. Еще немного походила, потом села и задумалась. Нет, я не узнавал Кшиськи. Разве раньше способна была задумываться эта воинственная юла, этот неистовый сгусток энергии и желаний? Я смотрел на нее, и мне очень хотелось слезть с дерева, подойти к окну и постучать в него. Она высунется, и мы поговорим о чем-нибудь. О чем? Неважно. Но так волнующе интересно постучаться и поговорить с ней в такую ночь!..

Что-то зашуршало подо мной. Я взглянул вниз. Прямо под деревом стоял человек. Он был большеголовый, гривастый, увесистый. У меня похолодела спина. Он стоял безмолвно и, угрюмо набычившись, смотрел в то окно, где мелькала фигурка Кшиськи. Теперь она взбива-

ла подушки, собираясь укладываться. Человек внизу что-то пробормотал. Потом рука его медленно, словно в раздумье, поползла за лацкан, под полу, и вытянула продолговатый темный предмет. Незнакомец повертел его в руках, потом приложил его к плечу, и вдруг снова опустил его вниз.

И тогда я понял, что это обрез. Сейчас он выстрелит в Кшиську! Я отпустил руку и, с шумом раздвигая ветки, упал сверху прямо ему на плечи. Грохнул выстрел.

Я сидел на земле, а надо мной желтело изумленное лицо Ивана.

— Толик, ты що? Ты як сюды попав?

— Ты хотел убить Кшиську? — задохнулся я от ужаса.

Иван выпрямился.

— Вона зрадныця, — сказал он и оглянулся.

У Кшиськи погасло окно. Во всем доме затопали и закричали. Иван кинулся к калитке, я бежал за ним. Мы выскочили в калитку, и в тот же миг кто-то рванулся навстречу Ивану. Сшиблись два тела, прохрипело ругательство, и над лежащим Иваном встал отец.

— Вставай, — сказал он тяжело дыша, — а ну вставай!

— Па, — сказал я, — это я.

— Домой, — приказал он хрипло и толкнул лежащего ногой. — Вставай, бандюга!

— Па, — сказал я, — это Иван.

— Что? — отец нагнулся над безмолвным телом, повернул к себе его лицо и тут же разогнулся. — А ну домой! — крикнул он мне с такой яростью, что ноги сами понесли меня прочь.

Уйти было невозможно. Немыслимо. Я кинулся в яблони и за их зыбким щитом продолжал слушать звуки и шорохи крыльца. У входа в половину Стефана хлопнула дверь. Истошно закричал голос Марыси, Кшиськиной тетки.

Отец нагнулся, приподнял Ивана и, таща его на себе, побежал в сад. Я помчался за ним. Отец волок Ивана между деревьев, все дальше и дальше уходя от крыльца. У дома уже раздавался голос Стефана, визгливо лаял шпиц.

Отец дотащил Ивана до монастырской стены и, прижав его к ней, заставил стоять.

Я подкрался и встал за могучую старую яблоню.

— Так что же ты творишь, Иване? — спросил отец.

Сквозь вой ветра голос его был еле слышен, я высунулся из-за ствола. Они были от меня в трех шагах.

— Сначала ты подослал ко мне лысого, чтоб я вез вашего атамана, — сказал отец, — потом приходишь стрелять в девчонку... Слышишь меня ты, убийца?

Иван вдруг весь затрясся и зарыдал.

— Не можу, не можу я, пане Голубовськйй, ведить мене в МГБ...

— Дойдет и до этого, — сказал отец, — теперь скажи: зачем ты хотел убить девчонку?

— Вона зрадниця, вона наших продала!

— Кому же она изменила? Помогла задержать преступников?

— Вона наших пид Збаражем выдала «ястребкам».

— Иван, — сказал отец, — ты жил рядом со мной, играл с моим мальчишкой! А я и не догадывался, что ты тоже убийца. Ты ведь так мог и Тольку убить?

— Ни, пане Голубовськйй, ни, — каким-то ревом прорвалось у Ивана. — Я и Кшиську не хотив вбываты, та наши наказалы. Не вбью, мене вбьють.

— Мерзавец ты, Иван, — сказал отец, отступая и подкидывая на руке Иванов обрез. — Пошли.

Иван упал на колени и уткнул голову в землю.

Отец молча смотрел на него.

Прошла минута, другая.

— Добре, — сказал Иван, медленно подымаясь, — я згоден, пане Голубовськйй... Чуть дивчыну не згубив. Я згоден видповидь держаты, пане Голубовськйй.

— Иван, — сказал отец, — пойми ты, дурень, дело их битое, мертвое дело. Такой Украины, за какую они борются, не будет. Да и не нужна она такая. Опять паны, опять кулаки и чиновники?.. Да что говорить. Лопух ты, Иван... Или действительно мерзавец!

— Ладно, — лихорадочно что-то делая со своим пиджаком, шептал Иван, — я согласный. Езус-Мария! — вдруг охнул он и сел на колени, — пане Езус, дякую теби, що врятував мене вид гриха. — Он вскочил, даже в темноте угадывалось, как сверкают его глаза. — Пидемо, пане Голубовськйй.

— Погоди, — сказал отец, — теперь погоди.

Он вынул платок, обтер им шею и, подойдя к соседней яблоне, почти рядом со мной, чем-то тяжело и ловко ударил. Хрустнуло дерево.

Отец вышел к Ивану. Мне не было видно, что они делают, но голоса я слышал.

— Вот эта штука была твоим обрезом, Иван, — сказал отец, — возьми ее себе.

— Ни, — испуганно ахнул Иван.

— Возьми, — строже сказал отец, — выйдешь — выбросишь. Слушай дальше. Завтра ты придешь ко мне в контору. Знаешь, где она?

— Так, — пробормотал Иван, — знаю.

— Я помогу тебе уехать отсюда.

— Спасыби, — из самой глубины легких выдохнул Иван.

— Ты уедешь на Полтавщину. Там тебя пристроят на работу, и ты забудешь весь этот кошмар и людей, что тебя посылали убить ребенка.

— Дуже злякався, пане Голубовський, — забормотал Иван, — я з ними недавно... И вот послали... Дивчинку...

— И запомни, — сказал отец, — если ты завтра сбежишь, плохо будет всем. Я коммунист, Иван. В бога вашего я не верю, но совесть у меня есть. Убежишь, себя подведешь и меня. Себя — потому, что банду в лесах уже прижали, меня — потому, что я сам пойду и расскажу все, что следует.

— Ни, — горячо заговорил Иван, — ни, пане Голубовський, я не пидведу. Ни. Я тильки сховаюсь до свиту, а як вы прийдете до роботы, я буду там.

— Иди, — сказал отец.

Иван уронил голову, постоял так с минуту, потом сказал глухо и торжественно:

— Ось як тут стою, що бы не буты мени живым, що бы не буты мени людыною, я вас не пидведу, пане Голубовський.

— Иди, Иван, — сказал отец.

Их почти не было видно, только белая рубаха отца выделялась в черной мгле.

— Вирьте мени, пане Голубовський, я не пидведу. Спасыби вам.

Что-то зашуршало по кустам, и отец, постояв с минуту, тоже пошел к дому. Я крался за ним.

У крыльца в свете керосиновой лампы, которую держала в руке Марыся, толпились все обитатели дома.

— Що це таке могло буты? — спрашивала Иванова мать, кутаясь в шаль. — И ничего не разбылы, и никого не вбылы хто ж це палыв?

— То бандеры, — уверенно говорил Стефан, потрясая своим ружьем, — то они хцелы спугать Стефана Тынду! Так? Но он не такый пигливый!

— Молчи, — кричала ему Марыся, и лампа дрожала у нее в руке, — як бога кохам, до бяды мувишь!

Около Марыси жалась Кшиська в накинутой на рубаху юбке, из-под которой вылезал длинный подол. Она непривычно для себя молчала и только оглядывала всех ярко светившимися глазами.

— Алексей куда-то пропал, — говорила мама, бесцельно ходя по крыльцу, — и Толи нет.

Отец и я вышли к крыльцу почти одновременно.

— Вот они! — крикнула мама и бросилась к нам.

— Все по домам! — приподнято сказал отец. — Ничего не случилось, какой-то дурак ночью по воронам стрелял.

Иванова мать перекрестилась и удалилась, за ней исчезли в дверном проеме Ревекка с дедом.

— И вы идите, — сказал отец Марысе и матери, — ты, Лиза, постель приготовь. Савва там как?

— Спит, — сразу успокаиваясь, сказала мать, — ему бомбу брось под нос, и то не проснется.

— Вы, Стефан, останьтесь, — сказал отец.

Стефан подтолкнул Марысю, шикнул на Кшиську и опустил наконец свое ружье. Я шмыгнул в коридор и затаился. Слышно было, как прошлепали Кшиська и Марыся, как топчется Стефан, как шумно дышит отец.

— Стефан, — сказал отец, когда все стихло, — уезжайте.

— Як пан мувит? — сказал Стефан. — Уехаць? Это моя земля, зачем мне бросать ее?

— Стефан, — сказал отец, — сегодня стреляли в Кшисю.

— Цо? — изумился голос Стефана.

— Слушайте, Стефан, — сказал отец, — ваша Кшися помогла поймать одного бандеровца. К несчастью, ее видели. Там были посторонние. Вы понимаете, что будет, нет?

С минуту оба молчали.

— Дзенькую пану, — сказал подрагивающий голос Стефана, — дзенькую ото всего сердця. Я останусь. Здесь я родился. Я останусь, и Марыся тоже. Кшися — ни. Ей нельзя.

— Я могу помочь устроить ее в интернат, — сказал отец, — хотите?

— Ни,— сказал Стефан,— дзенькую пану. Она уедет домой. Там у нее есть крэвни. Родственники по-вашему.

— И как можно скорее, — сказал отец, — а то...

— До святу, — сказал Стефан, — дзенькую пану. Бардзо дзенькую!

Отец прошел мимо меня. Я постоял в темноте, хотел было еще раз взглянуть в окно Кшиськи, но раздумал и отправился домой. Отец что-то рассказывал матери, когда я вошел.

— Ты где бегаешь? — кинулась ко мне мать. — Совсем от рук отбился.

— Погоди, — сказал отец, — дай кончу.

На кровати по-прежнему тонкой фистулой завивался храп Саввы.

— И я отпустил его, — отец смотрел на мать.

Она долго качала из стороны в сторону головой, потом сказала:

— Алеша, Алеша, я просто отказываюсь тебя понимать.

— А я все объясню, — терпеливо сказал отец, — ты спрашивай.

— Если уж поймал, то отведи куда следует, — сказала мать, — разве в милиции не разберутся?

— Трудные времена сейчас, — сказал отец, — резкие времена, Лизок, тут можно и не разобраться.

— Но он же стрелял в девочку!

— Он был оглушен, запуган, забит.

— Но ведь он завтра не придет, и что тогда ты сделаешь?

— Сделаю то, что скажет совесть.

— Что?

— Пойду в управление МГБ и все расскажу сам.

— Алеша, — сказала мать и заплакала, — ты как ребенок. Кажешься кому-то сильным, прямым, а сам как ребенок...

Отец странно закосил глазами и отвернулся.

— Из-за этой девчонки попал под следствие, — загибала пальцы мать, — отпустил бандита...

— У него мать есть, как у нашего Тольки, как я ей в лицо посмотрю? К тому же он еще не бандит, его заставили.

— Пусть не растит таких детей! — крикнула мать. — Алешенька, — в голос заплакала она, — придет — не придет этот идиот, прошу об одном, умоляю, не ходи в управление... Ведь никто же не знает!

Лицо его дрогнуло, он посмотрел себе под ноги.

— Конечно, — сказал он, — никто. Это так. Но это же моя страна, Лиза, и я хочу жить с чистыми руками. Мы ведь принесли сюда иную жизнь.

Мать утерла слезы и сжала губы.

— Ты думаешь только о себе, Алексей, — сказала она, — о себе и о человечестве, до нас с Толькой твои мысли не опускаются.

— Зачем продолжать, — сказал отец и сел на постеленный на полу матрац.

— Ты эгоист, — сказала мать и стала сдвигать стулья для моей постели, — ты эгоист, Алексей... — Она выпрямилась и закусила губу. — Алешенька...

Она кинулась к отцу, он встал, и они обнялись.

Я подошел и встал рядом, отец заметил меня и прижал к себе, так и стояли мы трое, обнявшись.

В окно резко забарабанили. Отец дернулся, отвел руки матери и мои и подошел к окну.

— Граждане, — сказал резкий голос за окном, — у вас тут стреляли?

— Да, где-то поблизости, — сказал отец.

— Раз не спите, выйдите на минутку.

Отец прошел к двери, теперь мать сама толкнула меня за ним. Я выскочил на крыльцо. Отец стоял в куче солдат, и все они смотрели на что-то темное на земле. Я подошел. Всмотрелся. На плащ-палатке, забросив назад голову и весь прогнувшись, лежал Иван. В виске его чернела маленькая дырочка, и толстый черный жгут сбегал от виска на щеку.

— Убили? — спросил отец.

— Черт его знает, — сказал невысокий крепыш в фуражке, — может, убили, а может, сам. Вот эта игрушка рядом с ним лежала.

Я взглянул в его ладонь. При свете фонаря отблескивал вороненой сталью маленький браунинг.

Отец молчал, я тоже стоял молча.

— Это наш сосед, — сказал отец, — Иван Кудлай. Тут живет его мать... Но я бы на вашем месте не говорил ей сейчас... Лучше утром.

— Есть, — сказал старший с резким голосом, — мы

его сейчас под ниж стянем, там у нас машина. Отвезем в морг. А утром старушку известим. Берись, ребята!

Они взялись за края плащ-палатки, подняли и понесли вниз тело, шаги их быстро затихли в шуме ветра.

— Эх, дурак, — сказал отец и сел на крыльцо.

— Ты что, па? — спросил я.

— Забыл обыскать его, — пробормотал он, — забыл... — Он вскинул на меня глаза и сдержался.

Сзади скрипнула калитка. Мы с отцом обернулись. Кто-то шел по Стефановой половине.

Мы поднялись. Блеснул и ударил по глазам фонарик и тут же отскочил лучом в сторону.

— То мы, — сказал Стефан, подходя, — Кшися едзет, пан Голубовський.

Я шагнул в темноту и увидел вплотную перед собой лицо Кшиськи.

— То-лек, — сказала она тихо, — я не хочу уезжать.

— Надо, — сказал я, — а надолго, Кшись?

— Надолго, — сказала она, — насовсем.

— Кшиська, — сказал я, — а как же?..

Она вдруг обняла меня и прижалась ко мне мокрым лицом.

— Толек, — шепнул в самое ухо ее голос, — ты мой коханый?

— Опять ты, — сказал я, отодвигаясь, — я же говорил.

Она выпустила меня. И мы стояли друг перед другом, почти неразличимые в ночи. Я видел только ее глаза, они смотрели на меня с взрослой и нежной усмешкой.

Разговор между отцом и Стефаном кончился. И они расстались. Я долго слушал, как затихают в шуме ночи легкие шаги Кшиси.

Утром солнце разбудило меня своим жарким прикосновением. Я вскочил с раскладушки. Выпрыгнул в одних трусах в окно, умылся над колодцем обжигающе холодной водой и, подставив лицо горячему блеску, побрел к крыльцу. Там сидел, покачиваясь, Исаак, а около стояла, розовея щеками, Ревекка. Было воскресенье.

— Здравствуйте, Толя, — сказала Ревекка.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Добрый день, мальчик, — скрипнул Исаак.

Из калитки своей половины сада вышли Стефан и Мария. Мощную грудь Марии обрисовывал стянутый жакет, на голове Стефана достойно сидела шляпа. Они прошли раскланявшись, и я посмотрел, как волочится длинный подол Марии и прыгает при ходьбе своим поженски обрисованным задом Стефан.

— Пошли к мессе, — сказал голос Ревекки.

И вдруг дикая тоска сжала и пронзила сердце. Где же она, синеглазая неугомонная девчонка с загорелыми лодыжками, где ее неистребимая прыть? Неужели я никогда, никогда уже не увижу ее?

И я вспомнил вчерашнюю ночь, ее голос, ее взгляд, полный недетской нежной усмешки, и горькое сожаление зазвенело во мне: ну почему, почему, дуралей, ты не решился сказать ей, что она тоже была твоей коханой!..

Глеб ГОЛУБЕВ

Пиратский клад

Конечно, заводилой этой удивительной истории, как всегда, оказался Волошин. В конце обеда он вдруг откашлялся так многозначительно, что все в кают-компании притихли и повернулись к нему.

— Хочу напомнить отважным мореплавателям, что наш «Богатырь» приближается к весьма примечательному географическому объекту, — торжественно произнес в наступившей тишине Волошин. — По моим подсчетам, сегодня вечером мы должны пройти всего в нескольких милях от острова Абсит. Я не ошибаюсь, Аркадий Платонович? — обратился он к капитану.

— Да, милях в шести. А что? — насторожился капитан.

— Как что?! — воскликнул Волошин. — Само название острова чего стоит: Абсит. Не знаю, как это поточнее перевести с латыни.

— «Не дай бог!» — подсказал Казимир Павлович Бек.

— Пожалуй. Или: «Пусть не сбудется!», что ли?

— Можно и так, — согласился Казимир Павлович. Он заведует лабораторией биохимии, но является и редкостным знатоком латыни, потому что, как я однажды с удивлением узнал, давно занимается расшифровкой рукописей Леонардо да Винчи: многие места в них гениальный итальянец нарочно засекретил, опасаясь, как бы его открытия не были использованы во вред людям. Казимир Павлович надеялся, что расшифровка этих заметок поможет подобрать такой состав газовой



смеси, чтобы, пользуясь ею, можно было с простым аквалангом нырять хоть на километровую глубину *.

Потом я узнал, что разные необычные увлечения были почти у каждого из наших ученых, и перестал этому удивляться. Все на «Богатыре» были интересными людьми и большими оригиналами в своем роде.

Но, конечно, Сергей Сергеевич Волошин остается вне конкуренции.

— Веселенькое название, — сказал наш Дед — старший механик. — Вроде как остров Барсакельмес у нас на Арале. В переводе значит: «Пойдешь — не вернешься...» За что же его так окрестили?

— Остров Абсит? — переспросил Волошин. — Ну, это же поистине уникальный пиратский сейф! Здесь запрятано по крайней мере четыре, а может, и семь кладов. Знатоки оценивают их в сто миллионов долларов. Настоящий Остров сокровищ.

Заявив это, Волошин как ни в чем не бывало принялся за компот. Но, разумеется, со всех сторон зашумели:

— Что за клады?

— Расскажите подробнее, Сергей Сергеевич!

Волошин задумчиво повертел в руках стакан с компотом, поставил его на стол, вытер губы пестрым платочком и начал неторопливо, с интонациями опытного рассказчика:

— Кажется, первым открыл этот остров знаменитый королевский пират Френсис Дрейк. Потом и другие «джентльмены удачи» оценили затерянность его в океане, в стороне от морских путей, и нередко заглядывали сюда, чтобы подлатать в укромных бухточках свои потрепанные корабли и припрятать награбленные сокровища. Но, пожалуй, более достоверны сведения о кладах, которые уже позже, в восемнадцатом веке, здесь запрятали пираты Эдвард Робертс, не слишком почтительно прозванный Ситцевым — якобы потому, что отличался редкостной скупостью и щеголял в полосатых штанах из дешевенького ситца, — и Бич Божий, Александр Скотт со своей подружкой Мэри...

---

* О том, как ему удалось решить эту трудную задачу и спасти Волошина и меня, угодивших в подводном корабле — мезоскафе в объятия таинственного «Морского Змея», я уже рассказывал раньше (повесть «Гость из моря», издательство «Молодая гвардия», 1967).

— Пираткой?! — не удержавшись, ахнула милая подавальщица Настенька и, страшно смутившись и покраснев, поспешила скрыться в посудной.

— Но самым богатым считается тайник, наполненный баснословными сокровищами уже сравнительно недавно, когда времена пиратов миновали, — продолжал Сергей Сергеевич, проводив ее смеющимся взглядом. — История его довольно необычна. В двадцатых годах прошлого столетия вся Южная Америка, как вы знаете, была охвачена освободительным движением, пришел конец унизительной колониальной зависимости от испанской короны. Одна за другой обретали независимость Мексика, Бразилия, Аргентина. Одним из последних королевских оплотов оставалось так называемое Горное Перу со своей столицей Кито — теперь это Эквадор. В свое время немалая часть богатейших сокровищ, награбленных конкистадорами у древних инков, пошла на украшения пятидесяти семи церквей Кито. Неужели теперь эти ценности попадут в руки «безбожных повстанцев»?! С севера к городу уже приближались войска непобедимого Боливара, с юга — генерала Сан-Мартина. В большой спешке летом 1822 года самые драгоценные украшения церквей и другие сокровища испанцы решили вывезти горными ущельями в ближайший порт Гуаякиль. Караваны мулов доставили сюда золотые слитки, мешки с золотыми дублонами и фамильные драгоценности, распятья, усыпанные крупными бриллиантами, жемчужные ожерелья, платиновые и золотые браслеты с огромными рубинами и изумрудами; сабли и мечи, в эфесы которых были вделаны драгоценные камни. Из городского собора вывезли статую Девы Марии, отлитую из червонного золота. Все это привезли в порт, чтобы поскорее переправить в Испанию. Но увы! В Гуаякиле, как на грех, не оказалось ни одного испанского фрегата...

Волошин рассказал, как с отчаяния кто-то придумал воспользоваться для вывозки сокровищ каким-нибудь чужим кораблем. Выбор пал на стоявшую в гавани американскую шхуну «Пресвятая Дева» капитана Иеремии Бенсона. Был он уже человек немолодой, богомольный, солидный и, по отзывам всех местных купцов, имевших с ним дело, честный. Сокровища погрузили на шхуну, но все-таки капитану не сказали, что это за груз. С выходом в море решили помедлить до утра, на-

деясь, может быть, что вдруг случится чудо и повстанцы окажутся разбиты или хотя бы появится какой-нибудь королевский военный корабль.

Это промедление оказалось роковым. Разумеется, все на шхуне быстро узнали, какой секретный груз находится на борту. Иеремия Бенсон и его матросы не устояли перед искушением. В самый глухой час, перед рассветом они перебили испанских часовых, обрубили, чтобы не задерживаться ни на минуту, якорный канат и швартовы, подняли все паруса — и шхуна воровским призраком выскользнула из гавани в открытый океан. Напрасно палили ей вслед с причалов опешившие солдаты. Она скрылась за горизонтом, увозя украденные сокровища...

— Можно сказать: дважды украденные, — вставил кто-то на дальнем конце стола.

— Да, получается, «вор у вора дубинку украл».

Волошин кивнул.

— А через несколько часов в гавань вошел королевский фрегат, которого так ждали. Узнав о случившемся, он поспешил пополнить запасы пресной воды и провизии и бросился в погоню за воровской шхуной. Но где ее искать в просторах Великого океана? На шхуне между тем капитан Бенсон тоже ломал голову, куда же теперь деваться с украденным сокровищем. Ведь времена вольного пиратства давно миновали, и по требованию Испании «Пресвятую Деву» могли объявить вне закона; тогда ни одна страна не предоставила бы ей убежища в своих гаванях. Грабителей наверняка бы арестовали и выдали Испании. Капитан Бенсон долго размышлял над картой и решил направиться к уединенному острову Абсит, чтобы пока припрятать там сокровища, а шхуну перегнать куда-нибудь для отвода глаз в другое место подальше и затопить на рифе...

Кают-компания на «Богатыре» огромная, от одного борта до другого, настоящий банкетный зал. Пол покрыт голубым пластиком. Всю стену занимает неплохая копия с картины Айвазовского.

Обеды проходят всегда весьма торжественно и степенно. А тут, слушая Волошина, все и вовсе притихли. Подавальщицы Настенька и Люда старались ходить на цыпочках.

— Так и сделали. По дороге к затерянному в океане островку разделили украденные сокровища, причем,

конечно, львиная доля досталась капитану. Бенсон рассчитывал не задерживаться на островке, но дележка помешала. Каждый ведь прятал свою долю украденных сокровищ втайне от других, опасался, что подглядели, начинал перепрятывать... Так что шхуна покинула остров лишь на третий день. И это промедление оказалось роковым! Вскоре после того, как остров скрылся за кормой, «Пресвятая Дева» неожиданно нос к носу столкнулась с отправившимся в погоню за ней испанским фрегатом. Сначала он бросился искать ее вдоль американского побережья. Капитан фрегата останавливал все встречные корабли и расспрашивал, не встречали ли они «Пресвятой Девы». Нет, не встречали. Тогда капитан смекнул, что, видимо, искать беглянку надо в другом месте. Где? Он склонился над картой — и взгляд его приковала одинокая темная точка среди океана. Капитан фрегата решил заглянуть на остров, который назывался столь многозначительно: Абсит — «Не дай бог!». Теперь уйти от преследователей «Пресвятой Деве» не удалось. Ее захватили испанцы. Вся воровская команда была тут же повешена на реях шхуны. Отсрочили казнь только двоим — капитану Бенсону и старшему штурману. Затем испанцы потопили «Пресвятую Деву», и та пошла на дно с повешенными на мачтах моряками. А фрегат поспешил обратно в Гуаякиль, надеясь еще успеть принять участие в боевых операциях. Испанский капитан рассуждал здраво: пока сокровища надежно спрятаны в укромном месте, а потом будет достаточно времени и способов заставить заговорить двух пленников, которые, закованные по рукам и ногам, томились в канатном ящике фрегата.

Я огляделся. Все заслушались Сергея Сергеевича. Задумался, по привычке потирая словно всегда не выбритую щеку, начальник рейса профессор Логинов. С насмешливым выражением на обветренном скуластом лице с хитрыми глазами в узеньких щелочках под лохматыми бровями, — но все-таки внимательно! — слушал вечный спорщик Иван Андреевич Макаров, заведующий лабораторией биофизики. А сидевшая рядом его жена Елена Павловна совсем по-детски приоткрыла рот, подперев голову рукой.

— Ну, дальше начинаются во многом темные события, — продолжал между тем Волошин. — Подплывая

к Гуаякилю, роялисты узнали, что опоздали, все побережье уже занято повстанцами, и фрегат повернул на север, к Панаме. Тем временем несчастный штурман не вынес столь долгого заключения в тесном канатном ящике и умер. А капитан Бенсон каким-то чудом сумел будто бы улизнуть от испанцев. Как ему это удалось — осталось тайной. Во всяком случае, Иеремия Бенсон никогда об этом не рассказывал. Двадцать лет он скрывался в маленьком рыбачьем поселке на побережье Ньюфаундленда. Но о зарытом кладе, разумеется, не забыл — терпеливо копил деньги, чтобы снарядить корабль на остров Абсит. Однако он старел, а деньги копились медленно. И Бенсон решил больше не ждать. Узнав, что в соседнем порту некий капитан Бутлер снаряжает бриг в страны Латинской Америки, он попросил взять его пассажиром. За время длинного рейса Бенсон постепенно подружился с капитаном, пригляделся к нему и, выбрав подходящий момент, поведал ему преступную тайну. Он не ошибся в выборе. Бутлер согласился после выгрузки товаров отправиться на остров Абсит за сокровищами, которые они договорились разделить между собой поровну...

История, которую неторопливо, с подробностями очевидца, рассказывал Сергей Сергеевич, становилась все занимательнее. Иеремии Бенсону так и не пришлось воспользоваться краденым богатством. В одном мексиканском порту, куда бриг зашел за водой и продуктами, Бенсон вдруг заболел и через несколько дней умер — при довольно загадочных обстоятельствах, якобы от желтой лихорадки. Но перед смертью он успел нарисовать карту острова, пометив условными значками, где спрятан заветный клад. С этой картой капитан Бутлер, найдя себе нового денежного компаньона — некоего Касселя, поспешил на остров Абсит, забыв, видно, что его название переводится и так: «Пусть не сбудется!..» Что именно там произошло, осталось во многом загадочным. Кажется, два алчных кладоискателя решили присвоить все сокровища тайком от команды. Они сделали вид, будто приплыли к безлюдному островку, затерянному в океане, совершенно случайно. И раз уж так получилось, решили задержаться тут на несколько дней — пополнить запасы пресной воды, дать команде немножко отдохнуть, а самим поохотиться в джунглях. Отправившись вдвоем на берег, авантюристы

отыскали по карте Бенсона пещеру, где были запрятаны сокровища, и стали сюда наведываться каждый день, помаленьку тайком перетаскивая ценности к себе в каюту.

Но долго проделывать это украдкой на корабле, где все друг у друга на виду, конечно, невозможно. Отправившись за очередной порцией сокровищ, пройдохи заметили, что за ними следят, и поспешили запутать следы. Но вечером матросы ворвались к ним в каюту и потребовали честного дележа, дав Бутлеру и его компаньону ночь на размышление.

— Хитрецы, — рассказывал дальше Волошин, — использовали эту ночь для того, чтобы бежать с корабля. Они потихоньку спустили шлюпку, доплыли до берега и скрылись в джунглях. Матросы разделили между собой то, что нашли в капитанской каюте, подняли паруса и отплыли от проклятого острова, оставив беглецов доживать здесь век Робинзонами с богатейшим, но — увы! — совершенно бесполезным в первобытной глуши кладом.

Однако Бутлеру опять удивительно повезло. Побыл он Робинзоном совсем недолго. Всего через месяц к острову в поисках пресной воды и свежей дичины подошла американская китобойная шхуна. Ее случайно завлекла в здешние воды погоня за кашалотами. На берегу моряков поджидал исхудавший человек в лохмотьях. Это был капитан Бутлер. Он рассказал, будто команда его брига взбунтовалась, высадила его на этом пустынном острове, а сама захватила корабль и скрылась. О сокровищах Бутлер, разумеется, не упоминал — как и о том, куда девался его компаньон.

Китобои помогли Бутлеру добраться до родной гавани, где он на те деньги, что выручил за крохи сокровищ, которые смог украдкой, не вызывая подозрения своих спасителей, вывезти с острова в карманах, начал снаряжать новую экспедицию на Абсит.

Но не успел, — сочувственно произнес Сергей Сергеевич и даже вздохнул. — Его свалила болезнь и уже не дала подняться. Перед смертью он рассказал о кладе нескольким своим родственникам и передал им заветную карту. Родственники перессорились, тайна клада стала постепенно известна многим жителям городка. И карт вдруг уже оказалось несколько, причем все разные. Есть весьма веские подозрения, что пута-

ница началась уже с самого начала: умирающий Иеремия Бенсон, видимо, надул своего компаньона и подсунул ему неверную карту...

— Но ведь вы говорили, будто этот его компаньон — Бутлер, кажется? — нашел клад по карте, которая ему досталась после смерти Иеремии? — услышали мы размеренный голос Аркадия Платоновича и переглянулись: неужели и наш капитан тоже увлекся рассказом Волошина?!

— Есть мнение, что карта была все-таки фальшивой, а Бутлер с Касселем наткнулись по счастливой случайности на какой-то другой клад, — пояснил Сергей Сергеевич. — Так что история сокровищ Кито запуталась уже совершенно. Известно лишь, что никто пока не мог похвастать, будто добрался до главного клада, хотя пробовало счастья немало искателей и многие сложили здесь головы, приумножив зловещую славу острова «Не дай бог!».

— Далеко мы пройдем от него? — спросил я.

— В шести милях, я же говорил, — ответил капитан.

— Далеко. Жалко, ничего не увидишь даже в бинокль, — огорчился механик.

— А если подойти поближе?

Эта мысль всем понравилась, и мы начали упрашивать капитана:

— Аркадий Платонович, давайте подойдем поближе!

— В самом деле, что вам стоит чуть-чуть изменить курс.

— Товарищ капитан!

Похоже, романтическая история, рассказанная Волошиным, всех захватила.

— Да зачем вам это нужно? — недоумевал капитан. — Ничего там нет интересного, голые скалы. И подойдем мы к нему уже в сумерках, темно будет, ничего не увидишь.

— Ну все-таки! — наседали мы.

— Такой остров! И ведь никогда больше наверняка не будет шансов попасть сюда...

— Хоть несколько снимочков сделаем!

Аркадий Платонович только успевал поворачивать то в одну сторону, то в другую мощную, багровую шею, туго стянутую воротничком. Со своим круглым добродушным лицом и высоко приподнятыми белесыми бро-

вями, придававшими ему удивленное выражение, он сейчас забавно напоминал филина, пытающегося отбиться от напавшей на него среди бела дня стаи крикливых ворон. Я посочувствовал капитану, но тоже не преминул атаковать его:

— И для печати эти снимки будут очень интересны, Аркадий Платонович. Ведь уникальные! Вы подумайте: ни один советский корреспондент еще на острове не бывал.

Мой расчет был точен: к прессе Аркадий Платонович относится с каким-то пугливым уважением (я подозреваю, что какой-нибудь журналист однажды причинил ему немало хлопот...)

— Но ведь вы же не будете высаживаться! — попробовал отбиться капитан, но тут же безнадежно махнул рукой, вытер белоснежным платком взмокший затылок, позвонил на мостик и приказал вахтенному штурману изменить курс так, чтобы пройти поближе к острову Абсит.

— В пределах безопасности, прикиньте там по карте. И в лоцию загляните! — добавил он.

Вахтенный, видимо, довольно живо выразил недоумение, потому что капитан, побагровев, оборвал его:

— Выполняйте! — и сердито бросил трубку.

По крайней мере за час до подхода к острову все уже высыпали на палубу с фотоаппаратами — не только научные сотрудники, слышавшие рассказ Волошина, но и немало матросов: предания о пиратских кладах уже пошли гулять по кораблю.

Не было видно только Сергея Сергеевича.

«Может, он все это просто сочинил? — подумалось мне. — От Волошина всего можно ожидать. Что-то этот остров Абсит долго не показывается. Может, он вовсе не существует?»

Потом уже я узнал, что скалистые берега острова, отвесно вздымающиеся без малого на двести метров, почти всегда окутаны дождевыми облаками. Этот серый саван сливается с морем, скрывает скалы, и они выступают зловещим призраком из серой мглы лишь в последний момент, когда подплывешь совсем близко.

Как опытный режиссер, Волошин появился на палубе как раз в тот момент, когда на баке кто-то самый глазастый крикнул:

— Вот он, остров! Земля-а-а!

Ветер разметывал клочья тумана, открывая берега, ощетинившиеся лесом. Вершины скал воткнулись в облака. Какое дикое, нелюдимое место! Хотя наступал вечер, на палубе было тепло и душно, как в парилке, но при виде этих угрюмых скал я невольно зябко передернул плечами. От них так и тянуло промозглым могильным холодом... Или это просто наваждение от пиратских историй Волошина?

— Смотрите, крест! — воскликнул кто-то.

— Где? Где?

В самом деле, на вершине прибрежной скалы, почти цепляясь за низко нависшие облака, торчал черный крест. Наверное, он был огромен, если мы увидели его издалека.

Вокруг наперебой щелкали затворы фотоаппаратов, но вряд ли из этих снимков будет толк. Слишком далеко. Опасно приближаться к этим мрачным скалам.

А тут еще стало стремительно темнеть, как и предупреждал капитан. В тропиках ведь сумерек практически нет. Просто солнце вдруг начинает словно валиться в море, а навстречу ему так же стремительно вылезает месяц. В этих краях он больше похож не на серп, как мы привыкли, а скорее на ухват, торчащий рогами кверху. И вот уже солнца как не бывало: над ночным притихшим морем сверкают яркие звезды, и далеко, до самого горизонта тянется золотистая лунная дорожка. Моряки издавна любовно прозвали ее «дорогой к счастью».

Остров с пиратскими кладами быстро таял в темноте, навсегда скрываясь из наших глаз. Вот уже стала чуть заметна у подножия закутанных в облака скал светлая полоска песчаного пляжа...

— Что это за крест, Сергей Сергеевич? — окружили мы Волошина.

— Точно неизвестно. Кажется, его поставила еще в восемнадцатом веке отважная «леди удачи» Мэри Бластер в память своего дружка Александра Скотта, прозванного Бичом Божьим.

И вдруг мы притихли и начали переглядываться. Нет, мне не показалось. Не я один, а все столпившиеся на палубе услышали крик!

Снова и снова с тоской и призывной мольбой звучал он над сумрачным морем. А потом вдруг там что-

то вспыхнуло, запылало. Над скалами заметался тревожный огонек.

Кто-то размахивал факелом, подавая нам сигналы. Это был, несомненно, зов о помощи!

Застопорили машину и зажгли прожекторы, пытаясь их лучами отогнать сгустившуюся тьму. В свете прожекторов все выглядело нереально: полосы тумана, тянущиеся над водой; оскаленные клыки скал; черная фигурка, приплясывающая на песке возле самой воды, исступленно размахивая руками, — а позади нее так же скачет и кривляется черная огромная тень.

— Кто это? — глуповато спросил я у Волошина.

Он пожал плечами:

— Не знаю. Какой-нибудь новый Робинзон. Или вы думаете, будто его я тоже выдумал?

Спустили шлюпку. Матросы, дружно налегая на весла, так и взлетавшие над водой, быстро погнали ее к берегу. А мы провожали их глазами.

Вот шлюпка развернулась... Осторожно, по всем правилам, подошли кормой к берегу.

Крепкие матросские руки подхватили бросившуюся навстречу через пенную полосу прибоя черную фигурку... И вот они уже плывут обратно!

Но тут прожектор погасили, чтобы не слепить рулевого на шлюпке, и она пропала в темноте, показавшейся еще более непроницаемой, чем прежде.

Наконец стал слышен мерный плеск весел. Он приближался. Шлюпка влетела в полосу света, струящуюся на воду с палубы и из иллюминаторов.

С трудом я протолкался поближе к борту и увидел в шлюпке среди матросов какого-то странного человека, все время встревоженно вертевшего всклокоченной головой. Исхудавшее лицо обросло неряшливой, клочковатой бородой, грязная куртка порвана, ноги босые.

Кто он? Потерпевший кораблекрушение? И как мы по счастливой случайности обнаружили его? Совсем как американские китобои, спасшие вороватого капитана Бутлера. Наверное, и тот бегал так же — босиком и в лохмотьях — по этому песчаному пляжу.

В такую странную ночь у скалистых берегов всеми забытого островка со зловещим названием вдруг оживали старые пиратские предания, в них невольно верилось.

Загадочный незнакомец так ослаб и разволновался,

что не смог вскарабкаться по трапу. Матросы буквально подняли его на руках. Некоторое время новоявленный Робинзон стоял, вцепившись в бортовой леер и пошатываясь, словно пьяный, а потом вдруг театральным жестом высоко поднял правую руку и, вглядываясь во тьму, скрывшую из глаз зловещие скалы, что-то громко выкрикнул надрывным, срывающимся голосом — похоже, по-французски.

Его тут же окружили наши медики в белых халатах и повели в лазарет. За ними ушли капитан и начальник рейса.

А мы обступили второго штурмана Володю Кушнеренко, возглавлявшего спасательную экспедицию на шлюпке.

— Кто он такой?

— Что он кричал?

— «Они погибли». И в шлюпке все время это твердил, — ответил штурман.

— А кто погиб?

— Черт его знает, — пожал широкими плечами Володя. — Ничего у него толком не поймешь. Бормочет о какой-то сбежавшей королеве, о том, что из-за ее коварства покончил с собой один его товарищ, а другой спутник тоже погиб, лежит якобы где-то на морском дне в каком-то стальном гробу...

— Может, спятил?

— А ты посиди голодным один на таком островке, тоже наверняка спятишь.

— Да как они сюда попали? С потонувшего корабля, что ли?

Тут Володю тоже вызвали в лазарет: он у нас полиглот, знает шесть языков и всегда служит главным переводчиком. А мы остались на палубе обсуждать в полном недоумении необычное появление загадочного незнакомца.

Я не стал зря тратить время на фантастические догадки и поспешил уйти с палубы, чтобы держаться поближе к судовому конференц-залу, в просторном холле которого, под огромным мозаичным панно, изображавшим тропический остров в красочной манере Гогена, обычно проводились все оперативные совещания.

И не ошибся: вскоре динамики внутрикорабельной

связи стали созывать на экстренное совещание всех начальников отделов. Я тоже поспешил юркнуть в холл и с независимым, сугубо деловым видом уселся в углу, прикрывшись, словно щитом, раскрытым блокнотом.

Несмотря на поздний ночной час, все собрались небывало быстро. Начальник рейса Андрей Васильевич Логинов озабоченно что-то обсуждал с капитаном, а потом поднялся, покосился на меня и, кашлянув, сказал:

— Такое дело, товарищи... Поневоле пришлось вас побеспокоить среди ночи. Надо посоветоваться, как быть. Этот человек, которого мы сняли с острова, — зовут его Леон Барсак, по паспорту он бельгиец, по национальности француз, пока несколько возбужден и рассказывает довольно бессвязно, но все-таки удалось кое-что выяснить. У них тут якобы целая экспедиция, кроме Барсака, были еще двое, — Логинов поднес поближе к глазам листок бумаги и прочитал: — Пьер Валлон, тоже бельгиец, и Джон Гаррисон, американец. Оба они, насколько можно понять, погибли...

Кто-то громко и многозначительно крякнул. Капитан сердито помотрел в ту сторону.

— При каких обстоятельствах? — тихонько покашливая, спросил Казимир Павлович Бек.

— Обстоятельства весьма темные, — развел руками Логинов. — Тут якобы появилась на острове еще какая-то группа авантюристов во главе с австрийской опереточной певичкой, что ли. Эта певичка объявила себя «королевой острова».

Сначала обе группы жили в мире, а потом началась между ними какая-то свара. Пьер Валлон, насколько можно понять, влюбился в певичку и, когда разгорелась вражда, якобы покончил с собой, застрелился...

— Чушь какая-то собачья, — недоумевающе озираясь по сторонам, проговорил заведующий лабораторией биофизики Макаров.

Логинов укоризненно посмотрел на него.

— Но в самом деле! — не унимался Макаров. — Словно нам какой-то бульварный роман пересказывают. Певичка, объявившая себя королевой! Бредятина! — и даже стукнул огромным кулаком по столу. — Да что у них за экспедиция? Что они исследовали?

— Пиратские сокровища, видите ли, приплыли

искать! — не выдержал капитан и, сердито засопев, посмотрел с непередаваемой укоризной на Волошина.

Тут поднялся такой смех и шум, что Логинов начал стучать карандашом по столу, призывая всех к порядку. Лишь Сергей Сергеевич сидел совершенно невозмутимо.

— А третий искатель сокровищ куда делся? — спросил кто-то.

Логинов еще больше помрачнел.

— Тут тоже ничего толком не поймешь, — помедлив, ответил он. — Как уверяет Леон Барсак, Джон Гаррисон был инженером, построил какую-то самодельную подводную лодку и нырял в ней у берегов острова.

— Зачем?

Логинов только пожал плечами и продолжал:

— Неделю тому назад, как уверяет Барсак, случилась какая-то авария, и лодка не всплыла. Гаррисон погиб.

— Н-да, тёмная история, — задумчиво пробасил в наступившей тишине Макаров. — И что же вы теперь думаете делать с этим свалившимся нам на голову подозрительным Робинзоном?

— Для этого мы и собрались, Иван Андреевич, чтобы посоветоваться, — укоризненно ответил Логинов и сел, нервно постукивая карандашом по столу.

— Влопались в какую-то уголовщину, — пробурчал Макаров, качая головой.

— Ничего не поделаешь: он просит помощи. Бросить его на произвол судьбы мы не можем, но и не возить же его с собой полгода, пока не закончится рейс, — пожал плечами Логинов.

— Надо сообщить властям! — решительно сказал капитан и встал, одергивая китель. — Остров принадлежит Перу, я обязан сообщить о случившемся властям в Лиму. Или прервать рейс и доставить этого Леона Барсука...

— Барсака, — под общий смех поправил его Логинов.

— Виноват. Доставить Барсака в ближайший перуанский порт и там передать официально властям. А что вы думаете? — повысил он голос, потому что все опять зашумели. — Дело темное, в самом деле уголовщиной попахивает. Я не имею права его просто так оставить.

— Мне кажется, с радиограммой властям пока надо подождать, — рассудительно заметил Казимир Павлович Бек. — Может, Барсак все это выдумал, насочинял после пережитых потрясений. Утром надо отправить на берег людей и попытаться проверить его рассказ. Ну, а если окажется, что сообщение подтвердится, наш уважаемый Аркадий Платонович, конечно, прав: придется незамедлительно связываться с властями, хотя такая задержка и неприятна.

Тут капитан снова тяжело вздохнул и вдруг неожиданно произнес с какой-то забавной детской обидой в хриплом, прокуренном голосе:

— Втравили вы нас в историю, Сергей Сергеевич...

Опять, конечно, поднялся хохот.

— Можно подумать, что Волошин это нарочно подстроил, что вы, в самом деле, Аркадий Платонович? — покачал головой Логинов.

— А что? С него станется, — хитро подмигнул Макаров. — Я не удивлюсь, если даже выяснится, что Сергей сам всю эту кладоискательскую экспедицию подстроил.

— И двух ее участников к нашему прибытию специально укокошил! — подхватил кто-то.

А Волошин сидел с таким скромным и в то же время довольным видом, что в самом деле начинало казаться: уж не сам ли он все это подстроил?

Наверняка не одному мне в эту ночь долго не удавалось уснуть. Многие, конечно, вертелись с боку на бок в своих каютах, взбудораженные рассказом Волошина и столь неожиданным появлением странного Робинзона-кладоискателя.

Проснувшись, я было подумал, что, может, и Леон Барсак с его путаным рассказом, да и сам остров «Пусть не сбудется!» тоже просто приснились мне. И поспешно оделся, вышел на палубу...

Нет, остров-то, уж во всяком случае, не приснился! Тучи немножко разошлись, словно чтобы дать на него полюбоваться: красноватые скалы, темная бархатистая зелень лесов. Омытая дождем листва радужно сверкала в лучах солнца, прорывавшихся сквозь тучи, все краски были особенно сочны и ярки. Сегодня в острове не было ничего мрачного и зловещего. Даже крест, сиротливо торчавший на скале, вызывал только легкую

грусть и какие-то смутные мысли о бреиности всего земиого...

И Леон Барсак иам вовсе ие присиился. Мы его увидели сиова за завтраком в кают-компаиии. Ои сидел рядом с Володей Кушнереико, который что-то тихоиько объясиял ему, отвечая иа вопросы.

Наш иеожиданый гость смеиил свои лохмотья иа чью-то курточку с погоичиками и иа серые брюки, подстриг бороду, причесался и теперь выглядел вполне пристойио. Только исхудалое лицо, по которому ои то и дело быстро проводил рукой, словио стряхивая иечто невидимое, да лихорадочиый блеск глубоко запавших глаз выдавали его болезненную иервиость.

После завтрака иа берег отправилась шлюпка, чтобы забрать вещи Барсака. Мне повезло: капитан поручил это второму штурмаиу, а у меия с Володей сложились прекрасиые дружеские отиошеиия, так что не составило больших трудов уговорить его взять и меия иа берег, тем более что людей требовалось побольше. Фраицуз весьма настойчиво объясиил, что хочет сразу забрать все свое имущество и больше потом возвращаться иа остров решительио ие намереи.

Мы было заколебались: не взять ли с собой оружие? Кто зиает, чего можио ожидать от «королевы острова» и ее шайки кладоискателей? Но ие осмелятся же они, в самом деле, нас атаковать!

На руль сел боцмаи, усатый крепыш Петрович. Поплыл с иами и Волошии — как представитель экспедициоиииого начальства и, можио сказать, знаток здешиих пиратских мест.

День выдался солиечиый, тумаи растаял, облака подиялись высоко, так что весь остров выглядел радостно и праздиичио в сияиии сверкающих капель иа листве деревьев.

И все-таки, когда шлюпка подошла к берегу и иад нами нависли чериые, мрачиые скалы, увенчаииые крестом, опять возиикло неприятиое чувство смутной и непоиятиой тревоги.

— Вам не подсказывает сердце, что тут явио что-то произошло? — иаклоиившись к моему уху, вдруг миогозиачительно прошептал Волошин.

Я посмотрел иа иего: опять пытается разыгрывать?

Но Сергей Сергеевич покачал головой и серьезио добавил:

— Мне подсказывает...

Пристать оказалось возможным только в одном месте, на узеньком песчаном пляже, по краю которого росли кокосовые пальмы. Именно тут вчера и бегал Леон Барсак — весь пляж был истоптан, словно по нему прошла громадная толпа. У самой воды валялся в песке самодельный факел, которым француз подавал нам сигналы. От него еще попахивало горьковатым дымком.

Барсак вдруг покачал головой и что-то пробормотал прерывающимся голосом.

— Что он сказал? — спросил я у штурмана.

— «О, что было бы со мной, если бы вы не заметили моих сигналов! Я погиб бы, погиб, как они...» — перевел тот.

Продолжая тихонько бормотать и горестно покачивая головой, Барсак повел нас по узкой тропе, змеившейся между скал. Камни были мокрые, скользкие. Мы то и дело оступались.

Потом мы узнали, что на острове почти все время льют дожди. Тот день, когда мы высадились на берег за вещами Барсака, оказался единственным солнечным из всех, что пришлось нам провести на этом злополучном острове.

Крест, который мы видели до сих пор только с моря, издалека, вдруг так внезапно вырос перед нами за поворотом тропы, что все невольно остановились. Он был громаден и словно хотел обнять весь остров своими широко раскинутыми каменными лапами.

А у его подножия было кладбище — целая рощица маленьких крестов, деревянных и каменных. Многие из них покосились, некоторые совсем упали.

— Значит, раньше остров был населен? — спросил я.

— Никогда тут постоянных поселений не было.

— А кладбище?

— Оно разрасталось годами... За счет временных обитателей острова, они ведь то и дело сменяли тут друг друга, — ответил Волошин и, заметив, что я все еще не понимаю, пояснил: — Это все искатели счастья — такие же, как Леон Барсак и его товарищи...

— Сколько же их здесь побывало?

— Как видите, немало. Дьявольское место, оказывается, тоже не бывает пусто.

Леон Барсак, словно поняв, о чем мы говорим, опять

запричитал, повторяя мрачный припев, понятный уже без перевода:

— Они погибли! Они погибли!

Я не мог оторвать глаз от громадного креста. Он был очень старый, весь оброс густым мохом и какими-то красноватыми лишаями, словно в пятнах засохшей крови. Его густо оплели лианы, но крест стоял прямо и твердо — видно, был рассчитан на века.

— А что, его действительно поставила та пиратка, о которой вы вчера рассказывали, Сергей Сергеевич? — поинтересовался я. — Как ее звали — Мэри?

— Мэри Бластер, — подтвердил Волошин.

— Спросите у него, Володя, может, он что-нибудь знает об этом кресте, — попросил я.

Штурман перевел мой вопрос Барсаку, и тот ответил:

— Кажется действительно, существует такое предание. Во всяком случае, крест поставлен очень давно, вполне возможно, еще кем-то из пиратов. Они обычно были весьма богомольны и суеверны, старались замолить грехи.

— Ну, за такой крестик этой пиратке, что его поставила, многое отпустится, — с уважением сказал один из матросов.

От кладбища тропа пошла вниз. На повороте я оглянулся. Само кладбище уже скрыла из глаз густая тропическая зелень, и только крест-исполин одиноко вздымался над скалами, перечеркнув почти половину небосвода.

Теперь тропа шла через лес, тесно обступивший ее с обеих сторон. Это были настоящие джунгли. Деревья, перевитые лианами, стояли сплошной стеной. Ничего нельзя было толком рассмотреть в переплетении лиан, кустарников, в зеленоватом таинственном сумраке. Из чащи тянуло душной, парной сыростью.

В этом лесу царила зловещая, какая-то кладбищенская и в то же время настороженная тишина. Не перекликались птицы. Но в траве все время что-то шуршало, потрескивало, будто подкрадывалось, подползало.

И, атакуя нас, гневно звенели москиты.

— Ух, кто-то меня ужалил! — вскрикнул молодой круглолицый матросик, хватаясь за шею. — Пчела, что ли?

— Это тут такие муравьи... с крыльями, — не очень уверенно перевел штурман пояснения Барсака.

— Во, черт! Никогда про таких и не слыхали!

— Ну и островок!

— Да как же они тут жили?

— А что: охота, брат, пуще неволи.

— Где стоит их хижина, там всегда ветерок, так что возле нее летающих муравьев нету, — перевел штурман ответ Барсака.

В самом деле, вскоре тропа вывела нас в небольшую долинку, полого спускавшуюся к морю. Сначала мы услышали далекий шум прибоя. Потом джунгли поредели, в просветах между кустами сверкнуло море. От него потянул бодрящий ветерок, дышать стало легче. Мы повеселели и прибавили шагу.

Барсак остановился и, широко взмахнув рукой, громко выкрикнул что-то.

— Вот и наш дворец! — перевел штурман.

Убогая, покосившаяся хижина стояла на пустыре среди кустов. Стены ее были кое-как, на скорую руку, сколочены из досок от разбитых ящиков — на некоторых из них еще сохранились фирменные надписи. Покатая крыша хижины была сделана из пальмовых листьев. Кругом валялись ржавые консервные банки, битые бутылки, груды всякого мусора.

Барсак пригласил нас зайти в хижину, но мы лишь заглянули в дверь и предпочли остаться на свежем воздухе. Там тоже все было навалено в полнейшем беспорядке. На шатком самодельном столике рядом с транзистором и киноаппаратом громоздилась грязная посуда. Прямо на полу в углу были грудой свалены книги — в основном детективные романы, судя по пестрым обложкам. Полутьма, вонь, тучи мух...

— Давайте перекурим на ветерке да будем поскорее закругляться, — предложил Володя Кушнеренко, снимая фуражку и вытирая платком шею. — Как, Сергей Сергеевич?

— Да, особенно тут задерживаться нечего. Поторопите его.

Выслушав штурмана, Барсак согласно закивал и вдруг поманил нас куда-то за угол хижины. Недоумевая, мы пошли за ним и увидели среди кустов невысокий оплывший бугорок неправильной формы, уже начавший густо зарастать травой. Барсак простер над ним руки и начал что-то торопливо, со слезой говорить, то и дело закатывая глаза к небу.

— Вот здесь он лежит... Мой дорогой, несчастный друг Пьер. Его погубила страсть, — едва успевал переводить Володя Кушнеренко. — О, как мы были потрясены, вернувшись в тот день и увидев, как он лежит с простреленной головой на грязном полу хижины!

Опять он начал причитать:

— Они погибли! Они погибли!

— А что же они своего товарища на кладбище-то не отнесли? — неодобрительно покачал головой боцман. — Похоронили кое-как, по-собачьи. А теперь надрывается.

Штурман строго посмотрел на него и, конечно, ничего переводить Барсаку не стал.

— Да и пойди теперь проверь, с какой стороны у него там голова прострелена, — подхватил один из матросов. — Дело темное: сам ли он себе пулю в лоб пустил или...

— Разговорчики! — оборвал штурман.

Мы сели в тени, у стенки хижины, словно на деревенской завалинке, и закурили.

Эта долина, похоже, с моря была почти не видна: от штормовых волн и ветров, как и от посторонних взоров, ее надежно закрывали три скалы, торчавших из воды неподалеку от берега.

— Весьма уютное пиратское гнездышко, — одобрил Волошин, оглядываясь вокруг. — А почему они не поселились на том песчаном пляжике? Ведь оттуда можно следить, не появится ли корабль, и сигнал подать в случае нужды.

— Там нет воды, — перевел Володя лаконичный ответ кладоискателя.

Волошин понимающе кивнул и спросил:

— А где же обитает эта опереточная королева со своей свитой?

Барсак начал объяснять, показывая куда-то в сторону поднимавшихся над джунглями скал.

— Они живут на другой стороне острова. В бухте Рено.

— Веселенький островок! — с чувством произнес Володя Кушнеренко и, надевая фуражку, добавил уже командирским тоном: — Ну, надо закругляться, а то начальсгво будет ругать. Доставим на борт этого искателя кладов с его имуществом, и пусть Аркадий Платонович сам решает, как с ним быть.

Барсаку тоже не хотелось задерживаться в своем

мрачном «дворце». С помощью матросов он начал торопливо запихивать в мешки, которые мы принесли с собой, раскиданные по всей хижине вещи: перепачканную и мятую одежду, транзистор, позеленевшие от плесени ботинки, инструменты, какие-то альбомы — матросы только качали головами да крякали, переглядываясь.

— А что же рации я не вижу? — сказал, озираясь, штурман и начал расспрашивать Барсака.

Тот смутился, стал оправдываться, было видно по тону.

— Говорит, не захватили они рацию, потому и не мог он подать сигнал бедствия, — пожимая плечами и недоуменно помаргивая, сказал Волошину штурман.— Многое, говорит, в спешке забыли: спасательные нагрудники, запасные баллоны для аквалангов, даже сахар — пришлось пить кофе несладкий.

— Да, приехали они сюда весьма легкомысленно,— согласился Волошин. — Посмотрите, какие убогие инструменты. Игрушки какие-то.

Один увесистый узел Барсак пожелал нести непременно сам, другой торжественно вручил боцману, внушавшему ему — видимо, своими усами — наибольшее доверие.

— Что в нем, Петрович, не знаешь? — спрашивали матросы.

— Может, клад? Гляди, он с него глаз не сводит.

— Какой клад, — буркнул боцман, разглаживая усы. — Похоже, камни какие-то.

— Сувениры, значит.

Наконец сборы закончились. Барсак первый решительно зашагал прочь, даже не прикрыв дверь опустевшей хижины и ни разу не оглянувшись на убогую могилу бедного друга Пьера. Это походило на паническое бегство.

Что же тут все-таки произошло? Чего он боялся? Нападения «королевы» с ее шайкой? Или пытался убежать от каких-то мрачных видений собственной нечистой совести?

Тревога Барсака словно и нам передалась. Мы торопливо шли за ним через джунгли, отмахиваясь от летучих муравьев, потом опять мимо мрачного кладбища, осененного громадным крестом.

И до чего же приятно было увидеть с высоты пере-

вала сверкающий в лучах солнца безбрежный океанский простор и стоявшее на якоре наше белоснежное изящное судно! Мы сразу прибавили шаг, почти побежали по петлявшей среди скал тропе.

Когда мы вернулись на судно, штурман и Волошин рассказали обо всем, что видели на берегу, капитану и начальнику рейса. Тут же отправили подробную радиограмму в Лиму. Ответ на нее пришел лишь к вечеру, и капитан расстроился еще больше.

Перуанские власти просили нас задержаться на острове до прихода катера с полицейским чиновником. Они обещали выслать катер незамедлительно, как только утихнет шторм, уже третий день бушевавший, оказывается, у побережья материка. Этому чиновнику и надлежало передать спасенного кладоискателя. А пока нам весьма любезно разрешалось заняться как на самом острове, так и в его прибрежных водах любыми научными исследованиями с одной-единственной просьбой: «Зная, как великолепно оборудовано ваше судно для производства сложнейших подводных работ всех видов, надеемся, что вы сможете поднять со дна затонувшую лодку или хотя бы подтащить ее на мелководье», — чтобы полицейские чины по прибытии могли ее тщательно осмотреть и проверить показания Барсака.

Прочтя все это, капитан опять с такой укоризной посмотрел на Волошина, что я уже приготовился снова услышать:

— Ну и втравили вы нас, Сергей Сергеевич...

Но Аркадий Платонович лишь махнул рукой и понурился.

— Какой-то мудрец сказал, что неудобство — это лишь неправильно воспринятое приключение, — как ни в чем не бывало наставительно произнес Волошин. — И наоборот: приключение — это правильно воспринятое неудобство. Все зависит от точки зрения.

Логинов мрачно посмотрел на него и хотел сказать, видимо, что-то весьма ядовитое, но Сергей Сергеевич поспешил продолжить свою мысль:

— Мне кажется, разумнее рассматривать нашу вынужденную задержку возле этого острова как счастливый дар судьбы. Ведь иначе бы мы сюда никогда не попали и не получили бы столь любезного разрешения проводить любые исследования в здешних краях.

А между тем биологи мие говорили, этот островок весьма для них интересен. Верно, Андрей Васильевич?

— Пожалуй, — пробормотал Логинов, и лицо у него посветлело:—Каждый островок, изолированный в океане, — естественный заповедник эволюции. А этот особенно интересен. Его животный мир во миогом такой же, как на Галапагосских островах. Кое в чем и отличается, довольно самобытен.

— Вот видите, — поспешил подхватить Волошин уже двумя нотами выше. — Мы должны радоваться, что судьба привела нас в этот биологический рай! И нам, скромным инженерам и техникам, подвезло. Тоже задачка интересная...

— Думаете поднять эту лодку? — спросил капитан.

— А почему бы и нет? Не линкор, поднимем. Завтра поныряем, обследуем.

— Только никаких поисков кладов, Сергей Сергеевич! — строго сказал Логинов и погрозил ему пальцем.

— Помилуйте, шеф.

— Я вас знаю...

— Но тогда вы должны знать, что я принципиальный бессребреник. На что мне клады? — с наигранным пренебрежением пожал плечами Волошин. — Тем более я буду нырять в море, а клады ведь на берегу. Вот вам придется последить, чтобы кто-нибудь невзначай не раскопал пиратское наследство.

— Ну, уж об этом я позабочусь, — многозначительно сказал капитан. А наш Аркадий Платонович шутить не любит. Несмотря на свою весьма сухопутную, даже в капитанской форме, и добродушную внешность, он умеет держать на судне строжайшую дисциплину — и все это незаметно, без криков и распеканий.

Можно было не сомневаться: шарить в пиратских тайниках острова Абсит никому не придется.

Утром Волошин со своими помощниками отправился искать затонувшую подводную лодку. Я упросил его взять и меня.

— Барсак просит быть осторожнее: тут, говорит, много акул, — озабоченно предупредил Сергея Сергеевича Володя Кушиеренко.

— Ничего. Скажите, у нас есть чем защититься. Но все-таки поблагодарите его за предупреждение.

Действительно, у Волошииа в его лаборатории иовой техники можио отыскать, кажется, прнборы решительио на любой случай жнзнн. Его то н дело донимают ученые мужи самых различных специальностей, столь щедро представленных иа «Богатыре», и Сергей Сергеевнч ннкогда ннкому ие отказывает, внимательио выслушивает самые необычные просьбы и задания и тут же берется их выполнять со своими «эднсонами». Так ои называет деловнтых помощников и ассистеитов, которые табуном ходят за ннм, ловя иа лету ндеи шефа, смотрят иа иего влюбленными глазами и стараются подражать ему во всем. Все онн такие же спортивиые и подтянутые, как Волошин, все любят одеться слегка пижонамн. Но н работать умеют самозабвенио, как Сергей Сергеевич.

Перекндываясь лаконнчными репликами, совершенио иепонятными для иепосвященных, «эдисоны» натащилн в шлюпку целую кучу замысловатых прнборов, один внд которых, по-моему, должен был прнвести акул в содроганне. На руль сел боцман. Провожаемые завнстлнвымн взглядами н шутливыми напутствиями оставшихся иа борту, мы отплылн. Над шлюпкой парила одннокая чайка, словно следя за нами.

— Попроснте его поточнее показать, где именно последний раз погружалась лодка, — сказал Волошнн Володе Кушнеренко.

Барсак стал объяснять так длинно, сбивчиво и путано и с таким смущенным вндом, что меия иачалн одолевать сомнення: а была лн вообще на самом деле эта подводная лодка? Может, он выдумал всю историю ее гнбелн? Но зачем, с какой целью?

— Он говорит, последннй раз видел, как лодка погрузилась примерно против того мыса, — переводнл штурман. — Метрах в двухстах от берега. Но куда она поплыла, в какую нменно сторону, он не зиает. Гаррисон лишь сказал, что хочет обследовать получше береговой склон. Он должен был всплыть через полтора часа, больше не хватило бы воздуха. Но прошло уже два часа, а лодка не появлялась. Тогда Барсак забеспокоился, сел в резиновую лодку и начал плавать вдоль берега. Ему показалось, что в одном месте иа поверхностн воды вроде расплывалось слабое маслянистое пятно, но он не может поручиться.

— А почему он не попытался нырнуть и поискать

товарища под водой? — спросил Волошин. — У них же были акваланги.

— Не захватили запасные баллоны с кислородом, он уже рассказывал, — перевел Володя ответ смутившегося Барсака.

Мы с Волошиным переглянулись. Похоже, француз темнил. Совесть у него явно нечиста.

— Да, в самом деле, он поминал об этом, — кивнул Сергей Сергеевич.

— Так что воспользоваться аквалангом он не мог. Только надевал маску, опускал голову под воду, свесившись через борт лодки, и таким образом пытался рассмотреть что-нибудь на дне. Но тщетно...

— Я думаю, — буркнул Волошин.

— Он плавал вдоль берега до вечера, пока не стемнело. А потом понял, что искать лодку уже бесполезно, и вернулся в лагерь. Он остался один, остался совсем один, — меланхолически перевел Володя горестные причитания француза.

— Ясно, — вздохнул Волошин. — А где же он видел маслянистое пятно, в каком именно месте?

— Кажется, на траверзе той одинокой скалы и метрах в трехстах от берега, если ему не изменяет память. Он просит извинить его, но ведь мосье Волошин должен понимать, что ему тогда было не до точных измерений.

Волошин вздохнул, покачал головой и сказал:

— Ладно. Боцман и вы, Володя, останетесь с ним в шлюпке. А мы попробуем поискать. Давайте отсюда и начнем. Поисковая группа — пять человек. Поплывем цепью. А Петя с Олегом будут прикрывать нас с тыла на случай появления акул. Ясно? Ваше дело следить за акулами, Петя, лодка вас не касается, ее ищем мы. Понятно?

Мы встали на якорь и начали надевать акваланги, потом один за другим осторожно, чтобы не привлекать плеском акул, перевалились через борт шлюпки и погрузились в теплую, прозрачную воду. Сергей Сергеевич роздал «эдисонам» устрашающие приборы и подал сигнал нырять.

Глубина здесь не превышала метров пятнадцати, и мы, держась на таком расстоянии, чтобы не терять друг друга из виду, рассыпались цепью и поплыли над вершинами торчавших повсюду коралловых кустов. Местами они сплошь покрывали дно, образуя густые заросли.

Акул тут, действительно, оказалось немало. Первую мы увидели уже минут через десять — небольшую белоперую акулу в окружении стайки юрких рыбешек-лоцманов. Нападать на нас она, видимо, вовсе не собиралась, но я все-таки с опаской поглядывал в ее сторону...

И вдруг увидел, как Волошин, плывший вторым слева от меня, резко пошел на глубину.

Что он заметил?

Я ринулся за ним, забыв об акуле. Шлейф из серебристых воздушных пузырьков, вырывавшихся из клапана его акваланга, закрывал поле зрения, и я поспешил нырнуть немного правее и глубже.

Дно тут обрывалось уступом. И на его крутом склоне я увидел лежащий на белом коралловом песке словно игрушечный кораблик.

Подплыв, я понял, что он был вовсе не так уж мал, длиной почти в три метра. Но именно потому, что при таких размерах у кораблика были иллюминаторы, рубка и даже ограждение на палубе, как у большого заправского судна, он и выглядел игрушкой, так что я даже не сразу понял, что ведь это и есть затонувшая подводная лодка!

Волошин уже возился возле нее, придерживаясь за край рубки. Я поплыл к нему так быстро, что у меня вдруг заломило в ушах от слишком резкого перепада давления.

Лодка лежала на левом боку. Я заглянул в один иллюминатор, потом в другой, попробовал посветить фонариком, но ничего не увидел. Внутри лодки царила тьма. Свет фонарика не мог разогнать ее, отражаясь в стекле мертвенным, холодным блеском.

Вокруг затонувшей лодки собрались уже все ныряльщики, — конечно, и те, что должны были следить за акулами, постукивали по бортам, заглядывали в иллюминаторы, подавая друг другу знаки, которые никто толком не понимал. Мы прямо изнывали от невозможности поговорить!

Так мы жестикулировали, словно глухонемые на собрании. И вдруг какая-то тень скользнула по серому дну. За ней вторая, третья.

Я поднял голову и обмер. Прямо на нас неторопливо плыли три рыбы-молота!

В первый миг эти редкостные рыбы показались мне

огромными. Но они и в самом деле были солидными — метра по три, не меньше, каждая.

Волошин, опережая всех, двинулся им навстречу, поспешно беря наизготовку один из своих аппаратов. Но пускать его в ход, к счастью, не понадобилось. Акулы, словно звено тяжелых бомбардировщиков, все так же неторопливо и величественно проплыли над нами, будто не видя, и голубоватыми тенями растаяли в глубине.

Мы не стали ждать, пока они передумают и вернутся. По знаку Сергея Сергеевича быстренько прервали наш импровизированный митинг глухонемых на дне Тихого океана и один за другим, теперь уже то и дело озираясь вокруг, начали всплывать.

Пока мы ныряли, погода испортилась. Солнца уже не было и в помине. Все небо затянули тучи, повисли на вершинах скал, укутывая угрюмый Остров сокровищ серым покрывалом. Моросил дождь.

Вынырнули мы довольно далеко от шлюпки. Но штурман и боцман, оставшиеся в ней с Барсаком, сразу заметили нас и поспешили к нам.

— Ну что? Нашли? — нетерпеливо крикнул штурман, из-за плеча которого высовывался приплясывающий от нетерпения Барсак.

Минут через десять мы уже выбрались из воды и, освободившись от аквалангов, поспешили наконец отвести душу после вынужденной тягостной немоты.

— Выходит, не соврал...

— Да, есть лодка. Что же с ней случилось?

— Корпус, по-моему, целый, я с обоих бортов смотрел, Сергей Сергеевич.

— А трещину в носовом иллюминаторе ты не заметил?

— Где?

— По левому борту.

— Ну, может, она появилась уже потом, после удара о дно.

— Как бы не так! Дно-то песчаное.

— Ладно, мальчики, гадать не будем, — остановил их Волошин. — Вот поднимем ее и все выясним. А поднять можно красиво!

— Когда? — перевел штурман вопрос Барсака.

Волошин пожал плечами:

— Хоть завтра. За нами дело не станет. Но, веро-

ятно, придется подъем отложить до прибытия представителей власти.

Вернувшись на «Богатырь», мы поспешили по каютам, чтобы переодеться, а потом встретиться в курительном салоне, — надо ведь узнать, какие будут приняты решения насчет подъема лодки.

Я зашел в лазарет, где мне на всякий случай закапали в уши подогретого камфарного масла, чтобы не разболелись от слишком быстрого погружения на глубину, и поспешил в курительный салон.

Леон Барсак и Володя Кушнеренко уже были тут, тихонько беседовали в уголке, в ожидании Волошина пуская дым под подволок.

В уютном салоне собирались частенько не только курящие. Вот и теперь большая группа болельщиков сосредоточенно окружила стол, за которым Казимир Павлович Бек играл в шахматы с радистом.

Сергей Сергеевич вскоре появился и сказал, что, как он и предполагал, решено отложить подъем лодки до прибытия представителей перуанских властей.

— Бедный Джонни, придется ему еще полежать в этом ужасном стальном гробу, — перевел штурман слова помрачневшего француза.

— Что поделаешь? Ему уже все равно, — философски пожал плечами Волошин, усаживаясь в глубокое кресло и вытягивая длинные ноги. — Володя, спросите у него, пожалуйста, за каким все-таки чертом полез Джо Гаррисон в эту проклятую подводную галеру? Чего он искал на дне?

Кушнеренко начал переводить вопрос Леону. Тот несколько раз кивнул и стал что-то торопливо объяснять, поглядывая то на штурмана, то на Сергея Сергеевича.

— Он говорит, у Джонни была своя идея. Он надеялся найти на дне остатки какого-нибудь пиратского корабля, возможно, затонувшего тут с богатым грузом.

— Ах, вот в чем дело, — понимающе кивнул Волошин. — Резонно. Конечно, кораблей с сокровищами тут побывало немало, и вполне вероятно, что хоть один из них затонул во время внезапного шторма. А на дне клад, конечно, надежнее сохранится, чем на суше. Без водолазных снарядов к нему не доберешься. Ну и что же — нашел он что-нибудь?

Выслушав перевод Володи, Барсак покачал головой и потянулся к рулону каких-то карт, лежавшему на столе возле него. Он начал разворачивать их, что-то объясняя штурману и, как заговорщик, поглядывая на нас.

— Мосье Барсак говорит, что на суше искать сокровища все-таки гораздо надежнее, — перевел Володя. — Тем более имея такие карты!

В руках у француза мы в самом деле увидели карты — и все совершенно одинаковые! На каждой уже ставшие хорошо знакомыми очертания острова Абсит. Зачем ему их столько?

Володя переводил слова француза, жестом ловкого фокусника раздававшего карты всем окружившим его.

— Вот копии той самой карты, на которой перед смертью капитан Иеремия Бенсон пометил условными значками, где именно спрятал похищенные сокровища Кито. Господин Барсак предлагает продать любую из них за два доллара... или за два рубля, все равно.

— Я с удовольствием приобрету уникальную карту, — откликнулся Волошин. — Но хотелось бы получить такую, по которой сокровища будет легче найти: чтобы они не были закопаны в слишком неудобном месте.

Барсак расхохотался, когда штурман перевел эти слова, и начал выкрикивать что-то еще оживленнее, заговорщицки подмигнув Сергею Сергеевичу.

— Он говорит, что такого покупателя, как мосье Волошин, немыслимо обмануть, — торопливо переводил Володя. — Конечно, он прибережет для мосье Волошин самую лучшую карту. На ней указано, что сокровища нечестивого капитана Бенсона лежат на виду, почти прямо на поверхности земли, нужно только нагнуться, чтобы взять их. О, тут есть варианты на любой вкус! Спешите, друзья, выбирайте.

Барсак пустил карты по рукам, и тут я увидел, что они вовсе не одинаковы, как мне показалось сначала. На каждой был действительно изображен один и тот же остров Абсит. Но условные значки, которыми, видимо, были помечены места, где следовало искать «сокровища Кито», на каждой карте располагались в совершенно разных местах! На одной карте указывалось, будто клад запрятан в пещере почти в самом центре острова. На другой — в тайнике прямо на берегу, среди скал. Что за чепуха!

— Н-да, вероятно, таких «копий» насчитывается уже

несколько десятков? И все разные, — насмешливо заметил Казимир Павлович, возвращая карты Барсаку.

— А что ж вы думали, будто этот самый капитан Иеремия Бенсон вам действительно подарит карту, собственноручно пометив на ней все тайники? — вдруг неожиданно послышался голос капитана.

Мы даже не заметили, когда он вошел в салон и тихонько пристроился в кресле у двери.

Наш Аркадий Платонович все делает обстоятельно и не спеша. Вот и сейчас он уселся поудобнее, закинул ногу на ногу и неторопливо, со смаком начал раскуривать одну из своих трубок — их у него не меньше дюжины красуется на специальной подставке в каюте, на письменном столе.

— Не такой он, конечно, был простак, чтобы это сделать, — рассудительно продолжал капитан. — Наверняка всучил своему компаньону на всякий случай для отвода глаз фальшивую карту. Ведь, кажется, он вскоре после этого и умер — и при странных обстоятельствах, как вы рассказывали, Сергей Сергеевич?

— Э, да вы, оказывается, тоже увлеклись кладоискательскими историями, Аркадий Платонович. Вот уж не ожидал! — укоризненно сказал Казимир Павлович.

Капитан так засмущался, громко посасывая незажженную трубочку, что Волошин поспешил к нему на помощь.

— Вы совершенно правы, Аркадий Платонович, — сказал он. — Капитан Бенсон умер на руках своего компаньона при весьма загадочных обстоятельствах.

Прошел день, второй. Мы все стояли на якоре возле мрачного островка. Обещанный катер что-то не появлялся.

Глазеть на затянутые облаками скалы сквозь пелену непрекращавшегося дождя было особенно томительно. На берег разрешалось высаживаться только научным работникам, старавшимся использовать каждый час вынужденной стоянки, чтобы изучить своеобразный животный мир островка. Все, конечно, рвались на берег, вдруг захотели помочь им. А те, посмеиваясь, установили строгую очередь да еще выбирали из добровольцев самых крепких и сговорчивых.

Я тоже упросил Макарова взять меня в одну из их вылазок на берег. Он согласился, хотя и покуражился немного, грозно предупредив:

— Но только, чур, по сторонам не глазеть, никаких кладов не высматривать, а работать честно!

— Конечно, Иван Андреевич!

— Знаю я вас... кладоискателей. Закружил вам всем головы Волошин, прямо с ума посходили.

Высадившись на берег, мы поднялись по знакомой тропе к заброшенному кладбищу. В этот ненастный, дождливый день без проблеска солнца оно выглядело особенно мрачно и печально. Набухшие водой тучи, казалось, зацепились за верхушку исполинского креста, да так и повисли навсегда над кладбищем.

За перевалом мы сошли с тропы и углубились в джунгли. Каждый шаг тут давался с трудом. Тяжелая сырость, сочащаяся по ветвям и льющаяся за воротник вода... Ноги вязнут в хлюпающей грязи, идешь словно по набухшей водой губке.

Моросит дождь, а дышать трудно. Воздух липкий, густой, застойный, будто в оранжерее. И кругом могильная тишина, не пролетит, не пропоет птица, только монотонно шелестит и шелестит дождь.

Мне вдруг подумалось, что природа здесь ведь совсем не изменилась с пиратских времен. Когда «джентльмены удачи» высаживались на остров, чтобы припрятать награбленные сокровища, так же глухо вдалеке шумел прибой, а в лесу было душно и сыро, шелестел в листве вечный унылый дождь, и тучами вились над головой злющие летающие муравьи...

Я невольно начал озираться по сторонам, словно опасаясь пиратской засады. Вспомнился сбивчивый рассказ Барсака о таинственной «королеве» острова и о ее шайке. Мы их пока ни разу не видели, никаких признаков своего присутствия на острове они не подавали, но наверняка наблюдали за нами, прячась где-то в зарослях. Не могло их не интересовать, почему мы, взяв на борт Барсака, не уплываем прочь. Хотя, наверное, у них есть рация, и они, возможно, подслушали наши переговоры с берегом и знают о скором прибытии катера с представителями властей.

Во всяком случае, места для укромных засад тут повсюду были весьма подходящие. Неподвижные лианы жадно обвивают деревья и свисают сверху тесно пере-

плетенными космами. Деревья сгрудились, обнялись, словно вцепились друг в друга мертвой хваткой. Сделаешь шаг — и путь преграждает лиана. Еще шаг — и проваливаешься в яму, замаскированную раскидистыми ветками невиданных папоротников.

А дальше приходится перелезать через трухлявый ствол упавшего дерева, чтобы тут же напороться на новую преграду из предательских острых шипов, раздирающих в клочья одежду и до крови царапающих кожу. Каждая ранка, полученная в этих тропических джунглях, потом наверняка превратится в болезненную и долго не заживающую язвочку.

Если же добавить сюда тучи москитов, свирепых летающих муравьев и еще какой-то бесчисленной мелкой кусачей нечисти, быстро пропадет всякое желание искать сокровища в этом сыром зеленом аду.

Удовольствие от вылазок на берег получали только наши биологи. Их все восхищало — и летающие муравьи, и москиты, и огромные ящерицы игуаны, весьма устрашающие на вид, похожие на доисторических чудищ. При нашем приближении они не проявляли ни малейшего страха, а начинали грозно покачивать головами, вызывая нас на бой. Можно было подойти к ним и даже схватить за длинный скользкий хвост.

Как и на недалеких отсюда Галапагосах, на острове Абсит причудливо смешивалась фауна умеренных широт и экваториальная. Рядом с игуанами тут можно было увидеть греющихся на камнях морских львов, а осенью, говорят, сюда даже заплывали из Антарктики пингвины.

Животные на этом островке вели себя вопреки всем законам логики. Не только игуаны, но и птицы фрегаты с огромными крыльями, и морские львы, греющиеся на прибрежных скалах, подпускали к себе людей почти вплотную. На острове нет никаких хищников, поэтому местные звери просто не привыкли бояться и спасаться бегством.

А в джунглях один из наших исследовательских отрядов случайно наткнулся на большое стадо кабанов. Они сначала атаковали биологов, так что многие поспешили забраться для безопасности на деревья, а потом с треском и шумом обратились в бегство. Одного удалось подстрелить, и оказалось, что это вовсе не дикий кабан, а одичавший потомок самых обыкновенных

свнней, завезенных сюда кем-то из искателей кладов. Еще пираты, китобои и кладоискатели завезли сюда коз и коров, и все они тоже давно одичали, не подпускают человека близко в отличие от местных животных, диких, так сказать, испокон веков.

— Ну не проклятый ли остров?! — не преминул повторить и по этому поводу Леон Барсак.

Он не выражал ни малейшего желания сойти на берег, предпочитая отсыпаться в отведенной ему каюте или бродить из одного салона в другой, даже на палубу выходил редко. Искусственный климат, создаваемый во всех внутренних помещениях «Богатыря» превосходными кондиционерами, казался ему гораздо приятнее опостылевшей сырой оранжерейной духоты.

Улучив, когда у Володи Кушнеренко выдавался свободный момент, я с его помощью заводил с французом беседы, хотя штурману уже надоели обязанности переводчика.

Я пытался расспрашивать Барсака о приключениях, пережитых на острове «Не дай бог!», осторожно заводил речь о погибших товарищах, о самозванной «королеве»... Но Леон сразу мрачнел, начинал нервничать, отвечал туманно, сбивчиво и спешил уйти. Эти расспросы были ему явно не по душе, и я больше не начинал их, опасаясь показаться слишком назойливым. Гораздо охотнее Барсак рассказывал нам с Володей живописные подробности всяких своих прежних путешествий, с гордостью приговаривая:

— Я большой авантюрист, странствующий рыцарь Романтики. Я любитель тайн, и не нахожу покоя, пока не разгадаю их до конца. Меня интересует судьба пропавшего без вести путешественника, корабля, почему-то не вернувшегося из плавания. В поисках тайн я исколесил весь мир, побывал и в Африке, и в Южной Америке — и вот забрался сюда... О, поверьте мне, тайн здесь вполне достаточно! Пожалуй, даже больше, чем нужно.

Иногда к нам присоединялся Сергей Сергеевич. Он, раставивший всех пиратскими историями, совсем не интересовался вроде островом, с утра до вечера как ни в чем не бывало работал у себя в лаборатории или в отлично оборудованных мастерских, которыми всегда любит похвастать. На берег он больше не сходил, ра-

за два нырнул было с аквалангом, но остался недоволен:

— Слишком много акул. А пугнуть их биологи не дают, говоря: нарушу им естественную картину.

Утром мне опять удалось упросить Володю хоть полчасика погулять на палубе со мной и с французом. Только мы разговорились, из двери рубки выглянул озабоченный Волошин.

Увидев нас, он вышел на палубу, потянулся так, что хрустнули косточки. За ним появился Казимир Павлович Бек — видимо, они только что освободились после оперативной летучки.

— Давайте хоть пройдемся, Казимир Павлович, — пригласил Волошин. — А то скоро совсем ходить разучимся. Тем более тут такая милая компания. Побеседуем за клады, как говорят в Одессе. Очень полезно после совещаний!

— Когда же, наконец, вы будете поднимать лодку? — в какой раз уже повторил свой вопрос Барсак.

— Задержка разве за нами? — развел руками Волошин.

— Бедный, бедный Джонни. Лежит там... в этой ужасной консервной банке, — мрачно перевел штурман и покачал головой точь-в-точь как Барсак.

— Н-да...

Все помолчали.

Барсак постоял, опустив голову, словно в почетном карауле у могилы погибшего друга, потом что-то произнес, наставительно подняв палец.

— Вся беда, что он не на ту лошадку поставил, — перевел Володя Кушнеренко. — Если бы Гаррисон не искал мифические клады на дне, а с такой же энергией взялся бы за поиски сокровищ Кито... мы бы их быстро нашли.

— Никогда в жизни! — вдруг решительно произнес Сергей Сергеевич.

Мы все так удивились, что Володя даже не сразу перевел слова Волошина французу.

— Почему мосье Волошин так думает? — поинтересовался Барсак.

— Да потому, что никаких сокровищ Кито никогда не существовало, — преспокойно ответил Волошин.

Представляете, как мы все опешили?!

— Позвольте, Сергей Сергеевич, но ведь вы же сами рассказывали эту историю с такими живописными подробностями, что все загорелись и стали умолять капитана подойти поближе к острову, где эти сокровища якобы спрятаны, — сказал Бек. — А теперь вы же преспокойно заявляете, что их вовсе никогда не существовало! Как это понимать?

— Очень просто, — ничуть не смутился Волошин. — Я тогда пересказал вам историю, показавшуюся мне занимательной. Но разве я уверял, будто она истинна? Ведь нет? Так сказать, за что купил, за то и продал. Просто хотел поразвлечь вас и, признайтесь, своей цели достиг, даже с лихвой, ибо именно благодаря моему рассказу мы попали на этот таинственный остров и получили редкостную возможность познакомиться с мосье Барсаком и оказать ему помощь. Что же касается достоверности преданий о сокровищах Кито, то своего мнения по этому вопросу я ведь пока не высказывал. Но если хотите знать, то я в них совершенно не верю.

— Ну, знаете ли! — только и смог выговорить возмущенный Казимир Павлович.

А француз, внимательно выслушав перевод этого поразительного заявления, вдруг расхохотался до слез и, восторженно глядя на Сергея Сергеевича и поглаживая его по плечу, попросил штурмана перевести, что мосье Волошин ему нравится все больше и больше.

— Он, Барсак, чувствует, что у них с мосье Волошиным родственные натуры, — со злорадством в голосе добавил Володя. — Однако он все-таки хотел бы, чтобы вы как-то аргументировали свою точку зрения.

— Пожалуйста. Только, пожалуй, хватит гулять, давайте перейдем в салон, — предложил Волошин. — Все-таки искусственный воздух в этих краях и прохладнее, и даже свежее природного, надо признаться.

Мы согласились. Только Казимир Павлович сказал, что его ждут дела, и ушел.

— Так вот, несколько лет назад один видный эквадорский историк, запамятовал сейчас его фамилию, которому надоели своими письмами искатели кладов, опубликовал специально статью о том, что ни в одном архиве нет решительно никаких документов о вывозке ценностей из Кито, — сказал Сергей Сергеевич, когда

мы удобно устроились в мягких креслах в прохладном курительном салоне. — И двухметровая статуя Девы Марии с младенцем на руках до сих пор преспокойно стоит в столичном соборе, ее никто никуда не увозил — ученый приглашал убедиться в этом всех желающих. Так что мифические сокровища Кито — это просто легенда...

— Барсак говорит, что читал эту статью, — вставил штурман.

— И она его не убеждает? Хорошо, но разве ему не кажутся подозрительными столь многочисленные слабые места в преданиях о сокровищах Кито? Путаница с картами, совершенно невероятная встреча с преследовавшими воровскую шхуну фрегатом в открытом океане... И почему испанцы, даже не допросив, поспешили повесить всех матросов? Куда им было спешить? Как удалось бежать от них Бенсону? Вопросов возникает масса. И потом уж больно похожа эта история на легенды о столь же мифических сокровищах Лимы, только там похитителем называют английского капитана Китинга, а местом, где он якобы запрятал украденные ценности, остров Кокос. Нет, мне кажется, единственно реальными могут быть лишь какие-нибудь из тайников Александра Скотта и его подружки Мэри, возможно, сохранившиеся на острове. Ведь вскоре после смерти мужа Мэри угодила на каторгу, так что, вполне вероятно, не все укрытые на острове сокровища успела вывезти. А дочка ее искала тайники, но так и не нашла...

— Сергей Сергеевич, вы-то понимаете друг друга с полуслова, но не забывайте и о нас с Володей! — попросил я. — Расскажите подробнее об этой пиратской чете, а то и в прошлый раз только заинтриговали, мимоходом упомянув о них. А тут еще какая-то пиратская дочка объявилась.

— Пожалуйста, с удовольствием, если только не заскучает наш гость, ведь ему-то наверняка все это давно известно, — засмеялся Волошин. — Что и говорить, семейка весьма колоритная! И возникла она по прихоти судьбы необычным образом. Произошло это летом тысяча семьсот шестьдесят второго года. Английский фрегат «Йоркшир», на котором вторым штурманом служил Александр Скотт, подобрал в Бискайском заливе шлюпку. В ней оказался лишь один человек в бессознатель-

ном состоянии — поначалу его приняли за юношу, но потом выяснилось, что это девица. И притом девица весьма боевая: череп и кости — «Веселый Роджер», — наколотые у нее на руке, свидетельствовали, что она принадлежала к преступному клану пиратов. Ну, о прошлом этой дамы, которая назвала себя, очнувшись, Мэри Бластер, существуют противоречивые версии. По одной, более романтической, она якобы стала пираткой, чтобы отомстить за смерть молодого мужа, незаслуженно, по злому навету будто бы брошенного королевскими чиновниками в темницу. Но, наверное, справедливей другая версия: рано потеряв родителей, Мэри еще девочкой попала в служанки к сварливой старухе, пятнадцати лет влюбилась в какого-то матроса и была за это с позором выгнана на улицу. Переодевшись мальчишкой, она поступила юнгой на тот корабль, где плавал ее возлюбленный, а потом попала к пиратам и сама стала «леди удачи», пока судьба не забросила ее, единственную спасшуюся после свирепого шторма, в шлюпку, так счастливо подвернувшуюся на пути английского фрегата.

Видно было, что Барсаку прекрасно известна эта романтическая история, но все равно он слушал с большим интересом, что нашептывал ему на ухо штурман.

— Более достоверна ее дальнейшая судьба. Подозрительную авантюристку с пиратским клеймом на руке хотели было передать властям, но в нее неожиданно влюбился второй штурман. Он даже обвенчался с ней, объявив своей женой перед богом и людьми и не убоявшись всеобщего презрения коллег и сослуживцев. С офицерскими погонами Александру Скотту пришлось расстаться. Он перешел служить штурманом на захудалые купеческие суденышки, да и то часто менял их — видимо, отовсюду его выживали. Наконец ему это надоело: очутившись в очередном рейсе у берегов Панамы, Скотт неожиданно объявил команде, что решил стать пиратом, и предложил желающим присоединиться к нему. Часть экипажа так и сделала, остальных высадили на берег. Обычаи пиратского братства были уже давно детально разработаны в целый неписаный кодекс. Пища должна быть одинакова для всех, и всякий может пить вина вволю. Капитану полагается отдельная каюта, но каждый имеет право в нее зайти

в любое время. Вся добыча будет делиться поровну, однако капнтан, квартирмейстер — он следующий по старшинству, потому что на пиратскнх кораблях у капнтана помощников не бывает, — также боцман, плотник и главный канонир получат дополнительную долю.

Сергей Сергеевич перечислял все это с видом бывалого пирата.

— Вскоре новоявленные «джентльмены удачн» захватили хорошо вооруженный испанский корабль, подняли на нем черный пиратский флаг, и с тех пор Александр Скотт превратился в Бнч Божий, как его стали называть. Пиратская чета несколько лет наводила ужас на все западное побережье Южной и Центральной Америки. А своей укромной базой они сделали якобы этот уедниенный островок. Здесь занимались ремонтом, отдыхали н, разумеется, до поры до времени припрятывали награбленные сокровища. Мэри Бластер участвовала не во всех набегах. Иногда она оставалась на острове, чтобы ухаживать за ранеными пиратами, пока кровавый Бнч Божий рыскал по морям в поисках добычи, к тому же у нее в тысяча семьсот семидесятом году родилась здесь дочка. И вот настал день, когда Бнч Божий не вернулся из очередного набега. Напрасно поджидала его жена, вглядываясь в морскую даль. Потом уже она узнала, что два королевских фрегата подкараулнли пиратский корабль и загнали его на мелководье. Пытаясь спасти товарнщей, Александр Скотт во время жестокой абордажной схватки вызвал на поединок командира испанцев дона Альвареса Мендоза. Но ему не повезло: испанец оказался лучшим фехтовальщиком, выбил нз рук у него саблю, а пистолет пиратского вожака дал осечку... И отрубленная голова Бича Божьего повисла зловещим украшением на бушприте испанского корабля.

Штурман переводил, поглядывая в окно, н вдруг сказал:

— Простнте, Сергей Сергеевич. Шлюпка возвращается с берега. Видать, там что-то случилось.

Мы подошли к нему и тоже заглянулн в широкое окно салона. В самом деле, от берега к «Богатырю» быстро плыла шлюпка.

Мы поспешили на палубу. Шлюпка уже подошла к самому борту. Вместе с матросами в ней была Елена

Павловна, жена Макарова. Рядом они выглядят довольно забавно: высокий, грузный, плечистый, с широким обветренным лицом, Макаров напоминает повадками добродушного медведя, а Елена Павловна — худенькая, коротко остриженная — похожа на подростка, особенно в пестрой клетчатой рубашке и джинсах, которые обычно носит в рабочие будни. Она биолог, работала в отделе Логинова и каждый день отправлялась изучать экзотическую живность в лесах Абсита.

Елена Павловна сидела на кормовой банке, крепко прижимая к груди какой-то сверток.

— Смотрите, они что-то нашли, — сказал Волошин.

— Эй, на борту! Спускайте люльку! — крикнул рулевой.

С борта спустили «люльку» — нечто вроде корзины, сплетенной из канатов. Матросы помогли забраться в нее Елене Павловне, не выпускавшей из рук таинственного свертка.

Что в нем могло быть? Неужели наткнулись на клад?

Возле трапа собралась уже большая толпа.

Стрела плавно перенесла «люльку» с Еленой Павловной и опустила на палубу. Мы обступили ее.

— Осторожнее! — вскрикнула Елена Павловна, поднимая сверток над головой.

Подоспевший Макаров всех растолкал, подхватил жену огромными ручищами и, как ребенка, вынул из «люльки».

— Клад нашли, Елена Павловна? — спросил я.

— Что? — не поняла она. — При чем тут клад?

— А что же вы нашли?

Она начала осторожно развязывать сверток, с которого все не сводили глаз... В нем оказалась стеклянная банка, тщательно завернутая в несколько тряпок и брезентовую куртку. Горловина ее была завязана марлей, а в банке сидела какая-то маленькая зеленоватая птичка и, нахохлившись, склонив голову набок, сердито посматривала на нас.

— Кто это? — растерянно спросил я.

Что-то было не так в этой странной птичке, только я сразу не мог уловить, что же именно. Хохолок на голове, крепкий, характерно изогнутый клюв...

— Это попугай? — спросил кто-то.

И тут Макаров растерянно пробасил:

— Слушай, а где же у него крылья?

В самом деле, теперь я понял, чего не хватало необычной птичке: у нее не было крыльев! Вместо них торчали только два куцых пера, придававших попугаю и забавный и жалкий вид.

— Живой! — обрадовалась просиявшая Елена Павловна. — Боже, я так боялась, как бы не разбить. Это же уникальный вид!

— Где вы его нашли?

— Возле самого берега. Они там, видно, гнездятся в скалах. Надо его скорее устроить...

И, прикрыв опять тряпкой банку с бескрылым попугаем, торжественно держа ее перед собой обеими руками, Елена Павловна в окружении ученых поспешила в лабораторию.

Мы переглянулись.

— Вот вам и клад, — сказал Волошин и засмеялся. — Что вы так ошеломленно на меня смотрите, Николаевич? Это нашему гостю такое в новинку, а вам бы уже пора привыкнуть, что наш брат ученый порой делает весьма странные открытия. Ну что же, пошли и мы?

— Что вы, Сергей Сергеевич! — возмутился я. — Вы же остановились на самом драматическом месте.

— Ладно, пошли в салон, доскажу эту романтическую историю.

Мы вернулись в салон, закурили, и Волошин продолжал рассказ о пиратской семейке:

— Овдовевшая Мэри Бластер воздвигла, по преданию, на помин души своего мужа и всех товарищей-пиратов, нашедших себе могилу в волнах, этот громадный крест, что так назойливо торчит перед нами, наводя на грустные мысли, и поклялась перед ним на коленях жестоко мстить. Она грабила, не разбирая, всех подряд: испанцев, англичан, французов. Но тут уж и все ополчились против нее, и в 1779 году Мэри Бластер поймали соотечественники-англичане. От смертной казни ее спасло лишь то, что с ней была девятилетняя дочка Анни. Ее вместе с дочкой сослали до конца жизни на каторгу, на остров Тасманию, где она и умерла нераскаянной. А пиратская дочка вышла там замуж за сержанта из охраны, некоего Арчибальда Кента, дождалась, когда он вышел в отставку в 1795 го-

ду, и попыталась отыскать «фамильные» сокровища. Она отправилась в Штаты и сколотила нечто вроде акционерной компании кладоискателей. Ей дали денег, помогли снарядить судно, и супруги Кент отправились на нем на остров Абсит. Однако клад они не нашли. Никакой карты у них не было, на каторге Мэри Бластер, конечно, могла лишь на словах, весьма туманно и приблизительно, описать дочери, где находятся тайники. Но прошло слишком много лет, Анни уже не узнавала места, где бегала маленькой девочкой. Пришлось после тщетных поисков вернуться ни с чем. Через несколько лет пиратская дочка затеяла еще одну экспедицию, но так до острова и не доплыла: ее маленькая шхуна пропала без вести в океане.

Француз, внимательно слушавший перевод и время от времени одобрительно кивавший, словно подтверждая рассказ Волошина, что-то громко произнес, театральным жестом прижав обе руки к сердцу.

— Он говорит, бедная Анни предчувствовала свою гибель, — перевел штурман. — Перед отплытием на остров она якобы сказала друзьям: «Осквернить святой крест!.. Небеса не простят такого богохульства...» Мистика, — добавил Володя уже явно от себя.

Волошин засмеялся:

— Сокровища пиратской четы наверняка до сих пор покоятся где-то в укромных тайниках острова.

Тут неожиданно Леон Барсак начал громко смеяться, покачивая головой и хитро поглядывая на Волошина, словно задумал хорошую шутку. Мы, недоумевая, смотрели на него и сами невольно начали улыбаться.

— В чем дело? — спросил Сергей Сергеевич.

— Он говорит, что ему доставляет большое удовольствие, в свою очередь, охладить энтузиазм мосье Волошина ушатом холодной воды, — перевел штурман. — Дело в том, что никаких сокровищ, якобы припрятанных на острове Бичом Божьим и его достойной супругой, тоже вовсе никогда не существовало!

Хорошо, что Казимир Павлович ушел. Представляю, как бы он вознегодовал, услышав это!

— Я ценю остроумие мосье Барсака, но мне хотелось бы, в свою очередь, услышать достаточно убедительные подтверждения его точки зрения, — сказал штурману Волошин.

— Он говорит, что дочка явно ничего не знала о кладах, якобы припрятанных преступными родителями, иначе нашла бы их наверняка. Судя по ее поведению, это была просто ловкая авантюристка.

Тут Барсак снова вдруг, вроде бы совсем не к месту, коротко хохотнул, и мы сразу поняли почему, как только Володя перевел его слова:

— Впрочем, вполне возможно, Бич Божий вовсе и не был ее отцом. Анни его, вероятно, тоже себе просто присвоила. Да и вовсе не исключено, что всю биографию своей мамаши-каторжанки она тоже сама сочинила покрасочнее. Во всяком случае, английские историки до сих пор не могут найти в архивах никаких документов о судебном процессе над пираткой Мэри Бластер. Вполне возможно, ее сослали на каторгу за какую-нибудь вульгарную уголовщину, а вовсе не за пиратские похождения. Может, она просто отравила пьяницу-муженька за то, что слишком часто ее поколачивал...

Волошин, усмехнувшись, покачал головой.

Француз, словно опасаясь, чтобы его не перебили, продолжал еще быстрее:

— Конечно, какие-то, пусть даже не столь богатые, как уверяет молва, пиратские клады на острове были припрятаны. Десятки тысяч уединенных островков затеряны в океане, но ведь почему-то именно с этим молва так упорно связывает истории о припрятанных сокровищах...

Волошин кивнул.

— С тех пор сколько людей здесь копалось! — размахивая руками, уже почти выкрикивал Барсак. — Кто-то подсчитал, что только за последние два века на острове побывало не менее пятисот искателей кладов. Они же перекопали его весь, тут ямы на каждом шагу! Так что никаких кладов здесь уже давно нет, разве только кто-нибудь из пиратов не продал душу дьяволу за то, чтобы тот наделил украденные сокровища чудесной способностью оставаться невидимыми и не даваться никому в руки!

Выкрикнув это, Барсак погрозил в сторону острова поднятыми над головой кулаками и притих, сразу сник.

Волошин о чем-то задумался, рассматривая берег, отороченный белой каймой прибоя. День выдался вет-

реный. По небу низко ползли облака странной, причудливой формы, цепляясь за вершины гор. Иногда в разрывах туч ненадолго проглядывало солнце, но дождь все не прекращался.

Я воспользовался наступившей паузой и поспешил задать вопрос, давно вертевшийся на языке:

— Скажите, Леон, но если вы не верили в пиратские клады и, уж во всяком случае, тоже, видимо, сильно сомневались в достоверности преданий о сокровищах Кито, что же в таком случае вы надеялись отыскать на острове? Ради чего мучились и рисковали жизнью?

— Мы играли беспроигрышно, — неожиданно ответил француз. — Каждый из нас вел подробный дневник: я на бумаге, Пьер Валлон все снимал своей кинокамерой, а Джонни наговаривал впечатления на магнитофон. Даже если мы и не найдем никаких сокровищ, решили мы, то, во всяком случае, сможем увлекательно рассказать о своих приключениях на острове «Не дай бог!». Верно? Вернувшись в Бельгию, мы собирались издать книгу и выступить с целой серией рассказов по телевидению. А потом, чем черт не шутит, нас вполне бы могли пригласить и в Америку: там любят сенсационные передачи и хорошо за них платят. Но кто же мог предвидеть, чем все кончится?! — выкрикнул вдруг Барсак истерически, и Володя непроизвольно повысил голос, переводя его слова.

Барсак снова разгорячился и начал грозить кулаком кресту, торчавшему высоко над угрюмым берегом:

— О проклятый памятник разбитым надеждам! Поневоле начнешь богохульствовать... Хотя, впрочем, я-то жив и вовремя унес ноги. И только я могу рассказать, как все случилось. Ну что же, это будет наверняка сенсационная история!

Француз произнес это таким тоном, и на исхудавшем, нервно подергивавшемся лице его вдруг промелькнуло такое жадное выражение, что как-то уже не захотелось больше ни о чем расспрашивать. Мы разошлись.

Еще два томительных дня прошло в такой же неопределенности. Ученые увлеченно продолжали исследования. На заседании Ученого совета Логинов сделал

сообщение, вызвавшее сенсацию. Оказывается, нелепый бескрылый попугай (их поймали уже несколько) действительно представляет большой интерес для науки!

Логинов объяснил, что подобные виды птиц и насекомых порой встречаются на отдельных островах, в прибрежных районах, где часто дуют сильные ветры. В таких местах природа весьма своеобразно приходит на помощь своим питомцам, лишая их в процессе приспособительной эволюции крыльев, чтобы не унесло ветром в открытый океан, навстречу неминуемой гибели. На Галапагосах, оказывается, живут редкостные бескрылые бакланы, а на Кергеленских островах — бабочки без крыльев.

Но удивительный попугай особенно заинтересовал ученых тем, что схожий вид, как сказал Логинов, только с крыльямн, обитает, оказывается, еще лишь в одном месте на Земле — на восточном берегу Африки. Как же он попал на остров Абсит с противоположной стороны земного шара? Хотя, конечно, крыльев эти птички лишились уже здесь, все равно такое дальнее переселение остается загадочным.

Нет, ученые здесь не скучали.

Волошин возился в мастерской. Один раз и он сделал вылазку на берег, но пробыл там совсем недолго, никаких кладов, разумеется, не нскал, а проводил испытания каких-то своих новых приборов.

Мы жили как бы в двух совершенно разных мирах: Волошин и другие ученые — в реальном и привычном мире научных исследований, а остальная часть экипажа — в каких-то призрачных мечтаниях о кладах.

Но вдруг два этих мира неожиданно столкнулись между собой. И все уже запуталось окончательно!

Вскоре после полудня вахтенный начальник встревоженно доложил капитану, что ему послышалась отдаленная стрельба на берегу.

На острове в этот день работала лишь небольшая группа геологов и матросов. Оружия у них не было.

Вскоре увидели шлюпку, поспешно возвращающуюся с берега.

Оказывается, подверглись нападению наши геологи! Они заинтересовались выходом горных пород в одной из бухточек и только начали копать яму, чтобы взять пробы с разных уровней, как вдруг из зарослей разда-

лось несколько выстрелов. Метили, несомненно, в них: хотя ни в кого, к счастью, не попали, но одного из матросов слегка ранило осколком камня, отлетевшим от скалы.

Геологи и матросы залегли среди скал, не зная, что же делать дальше. Через некоторое время из зарослей вдруг выехала молодая женщина в ковбойском костюме верхом на вороной лошади и что-то прокричала, кажется по-французски, воинственно потрясая винтовкой над головой, и так же внезапно скрылась. Вероятно, это и была опереточная «королева», посчитавшая, будто мы посягаем на клады Острова сокровищ...

Полежав некоторое время на сырой земле под моросящим дождем, наши обескураженные исследователи начали отползать к лесу и поспешили вернуться на судно.

Как ни глупо все это выглядело, непонятно было, что же делать дальше? Как поступить? Не устраивать же облаву в лесных зарослях на бандитов, подставляя матросов под их выстрелы!

На экстренном оперативном совещании решили вести в дальнейшем только океанографические исследования со шлюпок и с палубы «Богатыря», а всякие высадки на берег прекратить.

Теперь торчать возле острова было уже совсем нелепо. Окончательно рассвирепевший капитан уже дважды приказывал радисту запросить: когда же придет катер? На второй запрос с берега наконец ответили, что он вышел.

А еще через день мы увидели его и своими глазами. Небольшое, но, кажется, отличное суденышко — спасательный катер, способный плавать в любую погоду, — встало на якорь возле «Богатыря».

Вскоре к нам приплыли гости — черноусый щеголеватый молодой капитан в огромной фуражке, щедро разукрашенной золотыми позументами, и пожилой, хмурый и усталый на вид лысеющий мужчина в помятом сером костюме. Он предъявил удостоверение инспектора морской полиции и официальное письмо с просьбой передать ему бельгийского подданного господина Барсака, а также все обнаруженные при нем вещи.

В тот же день погрустневший Барсак перебрался со всем своим имуществом на катер. Не знаю, чем он огор-

чался: просто оттого, что расстается с приятной компанией и удобной каютой, или все-таки у него было нечисто на душе и он опасался допросов полицейского инспектора?

А на следующее утро быстро, всего за каких-то три часа, и без особых происшествий матросы под руководством Волошина и его «эдисонов» подняли с помощью надувных понтонов затонувшую подводную лодку и отбуксировали ее прямо к песчаному пляжику.

Правда, был один напряженный момент, когда возле всплывавшей лодки вдруг появилась целая стая крупных белоперых акул.

Но Сергей Сергеевич предусмотрительно расставил вокруг места работ таинственную аппаратуру и, когда появились акулы, приказал всем аквалангистам выйти пока из воды, включил свои приборы — неприятеля словно ветром сдуло! Ни одна акула больше не появлялась до самого ухода «Богатыря».

Полицейский инспектор попросил Сергея Сергеевича принять участие и в осмотре лодки — в качестве технического эксперта. Посоветовавшись с Логиновым и капитаном, Волошин согласился.

Вернулся он на борт усталый, непривычно серьезный и даже мрачноватый и в ответ на все наши расспросы только коротко сказал:

— Ну, рассказывать в деталях, как извлекали из нее то немногое, что осталось от бедняги Гаррисона, я не стану. Галера оказалась весьма примитивная, вся сшита на живую нитку из самых разнокалиберных деталей и неудобная: лежал он там скорчившись, даже повернуться не мог — в самом деле точно в гробу.

Механик спросил:

— А что с ним случилось все-таки?

— Пустяк. Явно несчастный случай, Барсак здесь ни при чем. Заело краник воздухопровода. Гаррисон, видно, не сразу заметил. А когда попытался провернуть кран, то проржавевшая труба лопнула, в лодку хлынула вода, ну и... — не договорив, Волошин махнул рукой и, сутулясь, ушел в каюту.

Вечером к нам снова приехали гости: капитан, инспектор и Барсак, чтобы подписать официальные документы, поблагодарить за помощь и попрощаться.

Барсак был так опечален и так искренно, с новой силой, переживал гибель товарища, что мне стало стыд-

но за свои подозрения. Лодка погибла действительно от аварии, никакой уголовщины тут не было. Наверное, и о самоубийстве Пьера Валлона Барсак говорил правду. Судя по его рассказам, тот был большим неврастеником и вполне мог пустить сгоряча себе пулю в лоб.

А сам Барсак? Пожалуй, я именно потому и относился к нему с подозрением, что впервые в жизни встретил подобного, почти профессионального искателя приключений и сенсаций, гоняющегося за ними по всему свету. Конечно, он был авантюристом, но по-своему честным и бескорыстным. Фигура колоритная и для нас совершенно непривычная.

— Ну, слава богу! Угостим их прощальным ужином, и можно наконец уходить, — удовлетворенно проговорил капитан, подписывая вслед за Сергеем Сергеевичем документы.

Когда мы очень мило поужинали и гости уже начали растроганно прощаться, Волошин вдруг встал и торжественно объявил, что должен сделать официальное заявление.

Все притихли, не сводя с него глаз.

— В чем дело, Сергей Сергеевич? — нахмурился Логинов.

— Дело в том, что я нашел клад, по всей видимости припрятанный на острове Абсит известным пиратом Александром Скоттом, известным под кличкой Бич Божий, и его женой Мэри, — как ни в чем не бывало произнес Волошин.

— Ну что вы, право, Сергей Сергеевич! — рассердился капитан. — Какой клад. Надо все-таки знать место и время для шуток...

— Я вовсе не шучу, Аркадий Платонович, — пожал плечами Волошин. — Я действительно нашел клад. Считаю необходимым официально уведомить об этом представителей властей и прошу их взять ценности под свою охрану.

— Где вы нашли клад?!

— Там, — преспокойно ответил Волошин, кивая куда-то в сторону острова, затаившегося в ночной темноте. — Я его не трогал, оставил в таком виде, в каком он простоял века...

— Простоял? — недоуменно переспросил кто-то.

— Да. Потому что это крест. Огромный крест из чистого серебра, который все вы хорошо видели даже отсюда, с борта «Богатыря».

Каким все это ни казалось невероятным, по тону Сергея Сергеевича было видно, что он в самом деле вовсе не шутит!

Посовещавшись между собой, капитан катера и полицейский инспектор, неуверенно поглядывая на Волошина, предложили:

— Может быть, сеньор профессор будет так любезен подтвердить свое заявление фактами?.. Может быть, он даже согласится, несмотря на позднее время, отправиться для обследования креста? Конечно, сейчас темно, идет дождь. Но если крест действительно сделан из серебра, то мы обязаны немедленно принять меры.

— Пожалуйста, — охотно согласился Волошин, когда штурман перевел эту просьбу. — Только надо взять побольше фонарей, а то там, в скалах, сам черт ногу сломит. Дождь тут всегда идет, он и утром будет. Зачем откладывать?

Необычную экспедицию снарядили быстро. Я настоял, что в ней непременно должен участвовать представитель прессы. Никто из ученых, кроме Волошина, на берег не поехал. Но, поколебавшись, не выдержал и присоединился к нам капитан.

В двух шлюпках мы переправились на берег и высадились на уже знакомый песчаный пляж. А оттуда гуськом двинулись по тропе на кладбище, к загадочному кресту. У каждого в руках мигал фонарик.

Странное это было шествие в ночи, под шелестящим дождем, среди мокрых скал. И заброшенное кладбище в зыбком свете наших фонариков предстало перед нами в какой-то мрачной, колдовской призрачности. От скачущих лучей света кресты на могилах неудачливых кладоискателей, казалось, вдруг ожили и начали метаться, словно пустились в дикий, исступленный танец...

Но тот громадный крест, ради которого мы сюда пришли, стоял крепко, твердо, неколебимо. Замшелый, обросший за века лишаями и густо обвитый лианами, он был величав и мрачен.

Крест из серебра? Чепуха какая!

Сергей Сергеевич подошел к кресту, неторопливо, словно опытный хирург перед операцией, приготовил ин-

струменты — сходство усугублялось тем, что он при этом натянул резиновые перчатки, — а потом, с разрешения капитана перуанского катера, как старшего официального лица, начал осторожно очищать наросший мох.

Все мы завороженно следили за движением его рук.

Вот мох очищен... Под ним открылась темная поверхность. Конечно, это камень, никакое не серебро..

Но Волошин продолжал расчистку... И вдруг в свете наших фонариков под его руками что-то сверкнуло! Еще раз. Вот сверкнуло снова...

— Надо взять кусочек для анализа, Казимир Павлович его быстро проделает. Но это, несомненно, серебро,— сказал Волошин, опуская руки и отодвигаясь в сторонку, чтобы дать нам рассмотреть получше. — И серебро высокой пробы!

Один за другим мы подходили к кресту, словно молитвенно прикладываясь, и разглядывали тускло сверкавший квадратик посреди расчищенной площадки. Да, это был, конечно, металл.

— Крест отлили, потом покрыли черной смолой. Он быстро оброс мохом и лишаями и приобрел древний и почтенный вид, — пояснил Сергей Сергеевич. — И проделала это, видимо, Мэри Бластер, решив после гибели мужа понадежнее припрятать сокровища из прежних тайников. А всех свидетелей она, по пиратскому обычаю, наверняка отправила потом на тот свет, чтобы не проболтались.

Он несколько раз притопнул ногой и добавил:

— Я не удивлюсь, если в основании этого крестика найдется еще тайник с драгоценными камнями.

И тут вдруг Барсак издал какой-то дикий, безумный вопль и бросился ничком прямо в липкую грязь к подножию креста. Он колотил по земле руками и так и захлебывался в рыданиях. Это была форменная истерика!

Волошин быстро отпилил от креста небольшой кусочек металла для анализа и начал складывать инструменты.

— Сколько же в нем тонн будет? — переговаривались моряки.

— Много!

Капитан перуанского катера и полицейский инспектор о чем-то вполголоса совещались, то и дело озабоченно поглядывая на крест. Испанского языка я, к сожалению,

не знаю, но, судя по интонации, они повторили сакраментальную фразу нашего капитана: «Ну и втравили вы нас в историю...»

Володя Кушниренко подтвердил это, пояснив:

— Озабочены, не знают, как быть. Считают, надо теперь возле креста охрану ставить.

«Учитывая агрессивность «королевы» и ее «рыцарей», это совсем нелишние. И еще не так-то просто будет выловить их в дремучих зарослях», — подумал я и сказал:

— Ну и задали вы всем забот, Сергей Сергеевич!

Волошин только ухмыльнулся и начал неторопливо вытирать руки.

— Но как же вы до этого додумались, Сергей Сергеевич?

Наконец-то выдалась свободная минутка, чтобы задать этот вопрос.

Мы стояли с Волошиным на палубе и в последний раз любовались мрачными берегами острова «Не дай бог!». Уже с раннего утра по всему судну началась та веселая деловитая суета, которая всегда предвещает близкий выход в море. Приятно было наблюдать, как оживает «Богатырь», пробуждаясь от унылой и надоевшей дремоты. Повсюду снуют матросы, на широком столе в штурманской рубке уже разложены карты тех манящих краев, куда нам предстоит направиться. Скоро мы отплывем!

— Вы спрашиваете, как я до этого додумался? — задумчиво повторил Сергей Сергеевич. — Пожалуй, теперь уже нелегко восстановить в деталях весь мыслительный процесс. К тому же большая часть его протекала интуитивно. Я мог бы ответить вам как сэр Исаак Ньютон на вопрос о том, как его угораздило открыть закон всемирного тяготения...

— И что же он сказал? Любопытно.

— «Я просто много думал об этом...» Собственно, так можно сказать о любом открытии. «Неотступное думание» — вот в чем секрет.

— Но все-таки не сразу же вас осенило.

— Разумеется, — согласился Волошин. — Как и Леон Барсак, — бедняга, он чуть вчера не рехнулся, — я тоже в глубине души считал, что нет все-таки дыма без огня. Не случайно же именно об этом острове идет такая сла-

ва! И почему его так зловеще окрестили? Ну, можно назвать открытый тобою остров в честь любимой женщины, это я понимаю. Или в ознаменование какого-то события, наконец. Но назвать свое детище «Не дай бог!» или «Пусть не сбудется!»... Сделано явно с целью, с каким-то потайным смыслом, с намеком.

Сергей Сергеевич покачал головой, задумчиво помолчал, чему-то усмехнулся и продолжал:

— Конечно, лингвистические рассуждения еще ничего не доказывают. И очень меня злило, что никак не могу понять скрытый намек. Долго я ломал голову. Верно ведь, что весь остров давно перекопали. Если и были тут клады, то их уже наверняка нашли. Однако о крупных находках ничего не известно, а ведь их не скроешь. Чтобы попасть на остров, непременно нужен корабль, а для него команда. И если уж золото действительно блеснет, редко свидетели такого события разойдутся тихо и мирно... Но ведь должны быть запрятаны богатые клады на острове! Ну, сокровища Кито, конечно, весьма сомнительны, я уже объяснял. Однако ведь Бич Божий в самом деле много лет пиратствовал в этих водах. Была у него здесь, на острове, укромная база, значит, существовали и тайники! И Мэри после его гибели сюда частенько наведывалась, не случайно именно с ее именем молва связывает этот крест...

Крест-тайник был нам отчетливо виден, несмотря на пелену дождя. Сегодня он уже не выглядел таким мрачным и одиноким: у его подножия, словно в почетном карауле, торчали двое часовых в черных блестящих дождевиках.

Мы с Волошиным переглянулись и улыбнулись.

— Да, так вот этот крест... Трудно уже объяснить, как осенила догадка. Знаете, как бывает: возишься, возишься с машиной — ничего не получается. А потом вдруг что-то щелкнуло, сцепилось как надо, замкнулось — и пожалуйста, заработала! В данном случае, пожалуй, роль такого «замыкания» сыграли, как ни странно, скептические возражения Барсака. Помните, он говорил, что весь остров давным-давно перекопан кладоискателями, и если спрятаны на нем какие-то сокровища, то не иначе как дьявол наделил их чудесной способностью быть невидимыми и никому не даваться в руки? «А ведь это идея!» — подумал я. А тут еще память подсказала остроумную ситуацию, положенную в основу давно чи-

танного отличного рассказа Честертона. Там описывается убийство, которое никак не могут разгадать из-за своеобразного психологического ослепления, что ли. Многие, оказывается, видели убийцу выходившим из дома, но никто не запомнил его только потому, что он был в форме почтальона. Привычная, примелькавшаяся одежда словно сделала его невидимым — кажется, рассказ так и называется: «Невидимка».

— Остроумно!

— Очень. И вот вам польза начитанности! Произошло у меня в мозгах нужное сцепление, мысли лихорадочно заработали... Где может быть спрятано сокровище, коли весь остров ископан кладоискателями? Только у всех на виду, где никто его искать не будет! И в таком виде, что и мыслей даже об этом ни у кого не возникнет, — вот самый надежный тайник. Припомните еще слова пиратской дочки, о которых помянул Барсак, — ну, об осквернении креста и о наказании за богохульство. Леон их толковал, конечно, неправильно. На самом деле Анни, видимо, знала, где ее мать запрятала сокровища, только почему-то вывезти их с острова не успела. Так что расчет у Мэри Бластер был дьявольский, но точный. Ведь все искатели кладов люди весьма суеверные. Ни одному из них в голову не пришла бы кощунственная мысль потревожить такой крест. И только я, как убежденный атеист и скептик, свободный от всяческих суеверий, мог взглянуть на зловещий крест трезвыми и непредубежденными глазами. Так я и сделал, и, как видите, не ошибся.

— Но все-таки как вы решились повести нас ночью туда, не проверив сначала свои предположения? Это было рискованно.

— Ну, ничего особенного, — ответил Сергей Сергеевич, но вид у него был такой хитрющий, что я насторожился.

— Постойте... Так вот что за таинственное «испытание аппаратуры» вы там устраивали?! — наконец догадался я. — Она же у вас такая, что позволяет видеть сквозь стены, ни к чему и притрагиваться не надо. Здорово! Сергей Сергеевич, а ведь вам, наверное, полагается какая-то доля найденных сокровищ?

Сергей Сергеевич с интересом посмотрел на меня и спросил:

— А вы действительно думаете, Николаич, будто я стану претендовать на свою долю в пиратском наследстве?

Я смутился, но, к счастью, басовитый отвальный гудок, перекрывший все шумы и голоса, спас от ответа на его ехидный вопрос.

Якоря уже были подняты. Весело прозвенел телеграф в ходовой рубке. Наш «Богатырь» медленно и величаво двинулся в открытый океан.

С катера нам прощально махали и приветствовали певучими, протяжными гудками. Барсак, увидели мы, тоже пытался махать, почти повиснув на бортовом леере. Да, для него удар оказался тяжелым.

— Ну что же, как говаривал старик Гораций: «Плыви по благодатным морям, устремляя свой взор на все, что достойно мудрого и добропорядочного человека...» — с чувством произнес Волошин, когда наступила тишина, нарушаемая лишь приятным шелестом разрезаемой волны за бортом.

Удивительный остров с таким зловещим, но, к счастью, для нас не оправдавшимся названием «Пусть не сбудется!» серым призраком исчезал за пеленой дождя. А мы уплывали навстречу солнцу и ясной погоде, навстречу новым приключениям и открытиям.

Нам действительно довелось в этом плавании повидать много интересного и пережить немало приключений — я еще надеюсь рассказать о них. А пока, немножко забегая вперед,— знаете, что оказалось самым сенсационным и удивительным? Находка клада? Как бы не так!

Теперь остров Абсит то и дело упоминается в научных журналах на всех языках. Только в прошлом году на нем побывало шесть научных экспедиций. И все из-за бескрылых попугаев!

Особенно привлекает ученых загадка их происхождения. Как попали на остров крылатые предки этих попугаев с другого конца Земли? Может, их завез кто-нибудь из пиратов? Но не могли же они за два-три столетия лишиться крыльев и превратиться фактически совсем в новый вид — неужели эволюция может идти такими скоростными темпами? Или... Или же затерянный

в океане островок посещался людьми — и притом выходцами из Африки! — уже в далекой древности?

А может, предки загадочных попугаев все-таки прилетели сюда сами через два материка и океана, когда еще имели крылья?

Загадок, как видите, немало. И пожалуй, привезенные нами с Острова сокровищ странные птички (три пары этих забавных попугайчиков отлично прижились в просторной вольере) скоро затмят славой пиратского попугая одноногого Джона Сильвера, хотя, как ни бился неугомонный Сергей Сергеевич, ему так и не удалось научить их кричать:

— Пиастры! Пиастры! Пиастры!..

Алексей ЛЕОНТЬЕВ

В уездном городке

Памяти одной из первых чекисток,
Прасковьи Ивановны **ПУТИЛОВОЙ**,
посвящается

Монастырь виден издалека. Он стоит на высоком берегу озера. Белые стены башен, позолота куполов, легкие переплеты звонниц...

Паром медленно полз через озеро. Доносился неторопливый колокольный звон.

Саша сидела на корме, полузакрыв глаза, наслаждаясь тишиной и покоем.

Кругом негромко судачили люди: богомольцы, мешочники, окрестные крестьяне. Разговор о Советах, о хлебе, о прежних барах. Тень от борта ушла, солнце припекает, но лень шевельнуться, передвинуться в сторону.

Саша подумала, что в этом году еще ни разу не была за городом.

В Москву ВЧК переехала в марте вместе с Совнаркомом. Весной было не до прогулок. Двенадцатого апреля по новому стилю был день ее рождения — исполнилось восемнадцать. Еще в прошлом году она в этот день ездила с подругами в Царское Село. А этой весной в ночь на двенадцатое апреля все были подняты по тревоге: ВЧК в Москве ликвидировала анархистские банды. В бывшем Доме купеческого общества на Малой Дмитровке, в особняке Грачева на Поварской, на Донской улице анархисты отчаянно сопротивлялись. В тот день погибло двенадцать Сашиных товарищей. И Вася Савенко, милый, скромный художник из Киева, немного ухаживавший за ней.

На похоронах она первый раз увидела Николая. Он был в шинели, страшно худой, обросший. Потом Саша узнала — он только что пробрался в Москву с Украи-

ны, оккупированной немцами. Николай знал Савенко по Киеву.

— Мы теряем молодых, — говорил он у могилы. — Сознание таких горьких утрат было бы невыносимо, если бы мы не знали, что с нами идет к людям самая великая истина, истина социализма, и самая прекрасная любовь — ко всем угнетенным и обездоленным. Только это сознание утешает нас в горькой утрате... И мы говорим, нет, мы не знаем большей любви...

С кладбища они возвращались вместе. Начался дождь. Николай шел ссутулившись, засунув руки в карманы обтрепанной шинели. На Саше была новенькая кожанка из реквизированных складов анархистов, но башмаки разваливались вконец, она чувствовала ступнями обкатанные грани булыжников.

А дождь шел все сильнее. Николай, смущаясь, предложил зайти к нему переждать. Саша согласилась. Идти дальше в ее башмаках было просто невозможно, и потом ей почему-то ужасно захотелось посмотреть, как живет этот усталый, немолодой, по ее тогдашним понятиям, человек.

Шесть комнат бывшей квартиры какого-то присяжного поверенного были почти пустыми, если не считать двух колченогих стульев и кухонного стола.

В доме не было ни заварки, ни сахарина, они пили просто крутой кипяток.

Башмаки пришлось снять, чтобы просушить, на левом чулке оказалась огромная дыра. Несмотря на отчаянные протесты Саши, Николай заставил ее снять чулок, ушел с ним в соседнюю комнату и через несколько минут вернул виртуозно заштопанным. Позже Саша убедилась, что он умеет тачать сапоги, шить одежду, переплетать книги. Шесть лет каторги научили всему бывшего студента Киевского политехнического института.

Первый раз Николая арестовали, когда ему было восемнадцать, в девятьсот пятом, — он вел пропаганду среди солдат гарнизона.

Саша, слушая его, быстренько подсчитала в уме: сейчас ему тридцать один. Таких они с подругами считали стариками, да и выглядел Николай старше своих лет, молодила его только улыбка — юношеская, застенчивая...

Почти два года он просидел в одиночке в самом страшном Александровском каторжном централе. В камере по диагонали было четыре шага. Потом Саша не

раз видела, как занятый своими мыслями Николай часами шагает, заложив руки назад, по просторному кабинету присяжного поверенного: четыре шага в одну сторону, четыре шага в другую, круто поворачиваясь каждый раз, будто перед ним вдруг возникает невидимое препятствие.

Николая переводили из тюрьмы в тюрьму...

В одной из тюрем Николай впервые встретился с Дзержинским. Протестуя против зверств надзирателей, политические заключенные начали голодовку. Дзержинский настаивал, чтобы голодовка была «сухой» — самой мучительной и опасной для жизни. Некоторые колебались, и Феликс Эдмундович, показывая пример, первым отказался не только от пищи, но и от воды...

Дождь прошел, надо было натягивать непросохшие башмаки. Уже уходя, Саша заметила в одной из комнат узкую железную койку. Кровать была аккуратно застелена, но одеяла на ней не было. И у Саши вдруг сжалось сердце при мысли, что этот человек спит здесь один в громадной пустой квартире, укрывшись своей обшарпанной шинелью.

Паром словно застыл посреди озера. Только явственней стал колокольный звон, идущий от монастыря.

Саша почувствовала на себе чей-то взгляд. Она приоткрыла веки и встретилась глазами с Сергеем. Он рассказывал сидящим вокруг мужикам о князе, у которого служил раньше шофером, но смотрел на Сашу, и этот взгляд почему-то тревожил ее.

У него было молодое чистое лицо. Суконная военная рубаха старая, но опрятная, на ногах солдатские обмотки.

Саша встретила его утром, когда шла к озеру тихой лесной дорогой.

Встретились они настороженно, сейчас время такое, не всегда сразу поймешь, кто друг, кто враг. Сергей шел, насвистывая «Белой акации гроздья душистые вновь аромата полны...». На что уж, кажется, старый романс, а сейчас его поют на марше и бойцы Красной Армии, и белогвардейские полки. Только слова разные: одни идут в бой «за власть Советов», а другие «за царя, родину и веру».

Дорогой разговорились. Парень оказался смышли-

вым, на незатейлнвые Сашины шутки охотно улыбался, показывая белые крепкие зубы. Рассказал, что едет нз Петрограда к больной матери, которую не видел уже несколько лет. Вез гостинцы, да в дороге обокрали, вот возвращается домой в чем был, звал Сашу к себе в гости.

Кажется, ей удалось сыграть роль недалекой девушкн нз городского предместья...

На полпутн к озеру их догнал автомобнль, в котором ехал Нннолай с товарнщамн из уездной ЧК. Онн выехали из города позже Саши. Увидев ее с попутчнком, пригласилн подвезтн. Саша застеснялась, стала отказываться, но Сергей охотно согласнлся, «уговорнл ее». Попросил даже пустить его за руль.

Он вел автомобнль уверенно, разговаривая с Николаем, а Саша молча сндела сзади, прнжатая к борту круглолицым матросом — председателем уездной ЧК.

По спнне Николая Саша чувствовала, что ему очень хочется обернуться и посмотреть на нее, но он не смеет это сделать, боится, что взгляд выдаст его.

Их высадили у поворота, ведущего к переправе через озеро.

Уже выходя из автомобиля, Саша не удержалась, будто невзначай коснулась лежавшей на дверце руки Николая. Она почувствовала, как он вздрогнул от ее прнкосновения.

Показалось ей тогда или в самом деле она перехватнла взгляд Сергея?

— Князь твой добром от своего не отступнтся, — пробаснл бородатый мужик. — На все пойдет.

— Это точно, — краснвый рот Сергея покрнвнлся в недоброй усмешке. — Он парень отчаянный.

— А я какой? — вскннулся пегий мужнчонка с торбой через плечо. — Я не отчаянный? У меня шесть душ — все девки, землн было — зайцу перескочить... — Он закашлялся. Без надежды попросил: — Покурить, братцы, не найдется?

— Кто покурнт, а кто и поснднт...

— А у меня газетка есть!

— А ну покажн! — Бородатый мужнк потянул газетку. — Ты что, спятил — на курево? Братцы, вчерашняя! «Известня ВЦИК».

И сразу смолкли разговоры, как будто вдруг исчезли свои заботы, тревоги, повседневные беды. Все сгрудились вокруг бородатого мужика.

— «Сос-тоя-ние здо-ровья това-ри-ща... — старательно читал он по складам — ...В. И. Ульянова-Ленина... О... Офи-циаль... Официальный...»

— Ну? — нетерпеливо подтолкнул чтеца кто-то.

— Да не тяни душу!

— Эй, нет ли кого пограмотней?

Саша перегнулась через спины людей, но ее опередил Сергей.

— Дай сюда!

Выхватил газету. Бегло прочитал:

— «Официальный бюллетень номер двенадцать. Третьего сентября 1918 года. В девять часов утра... Пульс 87, температура 37 и 3, дыхание 20...»

— Двадцать... — вздохнул, покачав головой, пегий мужичонка.

— Нишкни! — толкнули его в бок.

— «Общее состояние хорошее. Ночь спал удовлетворительно...» — Саша облегченно вздохнула.

...Тринадцатого августа утром она была дома, отдыхала после ночного дежурства. Вдруг появился встревоженный Николай. Сказал, что срочно уезжает с Дзержинским в Питер. Только что пришло сообщение — убит председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Урицкий.

А вечером — как гром! — на заводе Михельсона ранен Ленин...

Николай приехал через три дня посеревший от усталости. Не успели даже поговорить — его тут же направили в этот уезд.

Еще в июле они напали на след подпольной организации бывших офицеров «Белая точка». Судя по всему, с ней был связан ряд спецов, которые работали в штабах Красной Армии.

Надо было узнать во что бы то ни стало, кто из членов «Белой точки» работает в штабе главкома.

Во время облавы главарям организации удалось уйти. Офицеры прыгали с третьего этажа, уходили по крышам. Саша помнит высокую фигуру человека в уз-

ком пальто, стоявшего на подоконнике; в сумерках казалось, что у него вместо лица белое пятно...

Следы организации как будто были потеряны.

Но вот три дня назад здесь, в уездном городке, патруль красноармейцев задержал двух подозрительных людей. При препровождении в ЧК задержанные пытались бежать.

В перестрелке один был убит, второй ушел. В убитом опознали военного летчика, бывшего капитана Смирнитского. О нем на Лубянке знали: 31 августа Смирнитский с другими военными летчиками из бывших офицеров пытался захватить в Петрограде два аэроплана, им помешали, летчики скрылись. В ВЧК полагали, что они направились к англичанам, в Архангельск. И вот теперь Смирнитский оказался здесь. В мундштуке папиросы у него нашли записку, написанную по-английски: «Дорогая сестра, если мне не удастся самому добраться до вашей обители, передай все списки организации известному тебе господину Смирнитскому. Он доставит их нашим друзьям. Сейчас чрезвычайно важно, чтобы союзное командование могло в полной мере оценить тот вклад, который «Белая точка» может внести в дело спасения России, и координировать свои действия с нами. Наступил решительный момент. Один удар сейчас может повернуть судьбу нашей многострадальной родины. Твой Сид».

Вчера, когда Саша еще раз перевела записку, матрос — председатель уездной ЧК — переспросил:

— Как?

— Сид.

— Герой Корнеля, — усмехнулся Николай. — Рыцарь без страха и упрека.

Матрос понимающе кивнул, раздумывая, сказал:

— «Дорогой сестре» в обитель, значит, это корниловец писал...

Монастырь медленно приближался. У берега на спокойной воде чернело несколько рыбацких лодок. Пригревало солнце позднего бабьего лета.

Но уже не было ни тишины, ни покоя...

— «Мы будем беспощадны, — читал Сергей, — в борьбе за социализм, против буржуазии, в защиту своей

рабоче-крестьянской власти, против белогвардейских заговоров...»

— Горло перервем, — выдохнул бледный человек в накинутой на плечи шинели. На левой щеке его синела мелкая дробь порохового ожога. — Не выйдет по-вашему! — Он хрипло выругался.

«Союз спасения», «Союз освобождения», «Наша родина», «ЦК БОО», «Белый крест»... Боже мой, каких только организаций не было! Саша вспомнила, как едва упросила отпустить ее в командировку вместе с Николаем — в Москве, в ВЧК, на счету был каждый человек.

Не поднимая измученных бессонницей глаз, член коллегии ВЧК сказал:

— Женскую тоску твою, товарищ Никитина, понимаю, потому отпускаю, а так бы...

Саша, припомнив эти слова, невольно улыбнулась. «Женскую тоску...» Если б ты только, дорогой товарищ, знал...

Вчера утром автомобиль, в котором они ехали в уезд, остановился на дороге. Шофер никак не мог завести мотор. Пришлось выйти и толкать сзади. Саша навалилась вместе со всеми, и вдруг ее пронизала острая, как удар ножом, боль от низа живота вверх, чуть не до сердца. Она еле сдержалась, чтобы не закричать. В следующую секунду поняла: это он, их ребенок... Первый раз дал о себе знать.

Всю дорогу потом она с нежностью смотрела на давно не стриженный затылок сидящего впереди Николая, а сказать ему не могла, кругом были люди. Он вечером, когда они обсуждали операцию, ничего не знал, совсем ничегошеньки...

Письмо «Сида», несомненно, было адресовано настоятельнице здешнего женского монастыря. У местных чекистов был там свой человек, — одна из молодых послушниц. Она иногда прислуживала игуменье. От нее знали, что дверь кельи настоятельницы всегда на запоре, ключ игуменья носит с собой, даже прислужницам не доверяет. Во время уборки она всегда в комнате. Ни во что не вмешивается, но наблюдает... Председатель уездной ЧК был убежден, что если документы в монастыре, так не иначе как в келье самой игуменьи. Он предложил завтра же устроить там внезапный обыск. Николай не согласился. Такой налет может только спугнуть насто-

рожить. Да и как отряду чекистов незаметно проникнуть в женский монастырь? Нет, здесь придется действовать иначе. Чтобы обыск был действительно внезапным, его надо тщательно подготовить. Есть у чекистов подробный план монастыря и кельи игуменьи?

Плана не оказалось. Его должна была сделать молодая послушница, но ее вдруг перевели в какой-то дальний монастырь, они даже следов ее найти не могут. Новых агентурных сведений пока получить не удается — не так-то просто подступиться к монахиням.

Николай задумался, зашагал по комнате, четыре шага в одну сторону, четыре в другую. Саша видела, как на висках, у залысин, у него набухают синие жилки. Действовать надо было немедленно. Нельзя допустить, чтобы списки организации исчезли, попали в руки противника.

И Саша предложила:

— Давайте пойду я...

Ее здесь никто не знает, она переоденется, легко сойдет за богомолку, попытается проникнуть к игуменье.

Николай перебил ее. Не попытается, а обязательно, непременно проникнет к ней! Любым способом. Выяснит, можно ли скрытно подобраться к покоям настоятельницы, запомнит обстановку кельи, расположение мебели. Потом они вместе попытаются прикинуть, где может быть тайник.

А уже после Сашиной разведки приступят к операции. Медлить нельзя, но излишняя поспешность может тоже все погубить.

Матрос предложил: пусть лучше пойдет кто-нибудь из местных, они найдут женщину.

Николай возразил:

— Товарищ Никитина права — на людях он всегда старается не называть ее по имени, — ее тут никто не знает.

Решили, что Саша пойдет в монастырь одна, но чекисты будут где-нибудь поблизости.

Могут они быть в монастырской гостинице, а еще лучше в монастырском дворе? Надо придумать какой-нибудь предлог.

Матрос сказал: можно. Есть предписание уездного Совдепа о реквизиции лошадей. Совдеп уже посылал своих представителей в монастырь. Настоятельница с ними разговаривать не захотела. «Вашей власти, — ска-

зала, — не признаю, а потому делайте что хотите. Грабить можете и без моего согласия». Так что можно туда еще раз по этому делу заглянуть.

Еще долго обсуждали план операции, договаривались о месте встречи, чертили для Саши маршрут к озеру.

Наконец все ушли, и они остались вдвоем. Только теперь смогла она сказать Николаю о том, что случилось утром, когда толкали автомобиль. Николай переменился в лице. Он долго молчал. Потом сказал:

— Ложись. Ты должна отдохнуть.

— А ты?

— Мне надо еще немного поработать. Спи...

Она легла, а он все ходил и ходил по комнате, но так ничего больше и не сказал. Саша уснула под скрип половиц.

На рассвете ее разбудил тихий стук в окно: принесли одежду. Николай сидел у нее в ногах. Он, видно, так и не ложился.

Они постеснялись поцеловаться при посторонних. Саша успела только шепнуть:

— Береги себя...

За себя она не беспокоилась. Да и в ком могла вызвать подозрение скромная девушка из городского предместья, какой она была сейчас по виду?..

Бам...Бам-м... Бам-м-м! — плыл над озером колокольный звон. Берег был уже совсем близко.

Сергей, читавший газету, вдруг умолк. Поднес ближе к глазам бледно оттиснутый лист.

— Ну? — сказал кто-то. — Чего замолчал?

Саша приподнялась на локте. Сергей мельком взглянул на нее поверх газеты.

— «Вчера, — отчетливо прочитал Сергей, — по постановлению ВЧК...»

Его лицо вдруг показалось Саше смутно знакомым.

— «...расстреляна стрелявшая в товарища Ленина правая эсерка Фанни Ройд (она же Каплан)».

— Царствие ей... — подняла было руку пожилая богомолка и тут же осеклась.

Человек с пороховым ожогом бросил на палубу дотлевший до губ окурок, сплюнул, растер сапогом.

Сергей задумчиво грыз крепкими зубами сухой стебелек. Встретился взглядом с Сашей, жестко произнес:

— Собаке — собачья смерть...

Хрустнул перекушенный стебелек.

Вокруг возбужденно гудели люди.

Газетой снова завладел бородатый грамотей.

— «Мед. Сан. Совет Москвы, — читал он по слогам, — в целях борьбы с холерой предписал всем трактирам отпускать населению кипяток с отпуском в одни руки не более четверти ведра за раз...»

«Что же это такое? — с тревогой думала Саша. — Почему он мне вдруг показался знакомым, будто я его видела где-то. Но где? Да и он иногда так смотрит на меня, словно старается что-то вспомнить».

У противоположного борта парома послышался шум. С приставшей лодки на палубу карабкались вооруженные люди. Кто-то испуганно вскрикнул. Дернулся, привстав, Сергей.

— Спокойно, граждане! — крикнул немолодой человек в долгополом пиджаке, перепоясанном солдатским ремнем. — Проверка документов!

Патруль шел по парому, постепенно приближаясь к корме. Тех, у кого не оказывалось документов, и лиц подозрительных отводили в сторону.

Сергей сидел рядом, равнодушно насвистывая: «Белой акации гроздья душистые...»

— Документы, гражданка!

Возле Саши стоял совсем молоденький веснушчатый красноармеец, почти мальчишка. Она опустила руку к поясу и... обмерла.

В кармане, пришитом под корсажем юбки, у нее рядом с браунингом лежал мандат ВЧК. Но нельзя же было показывать мандат, подписанный Дзержинским, здесь, среди людей, которые принимают ее за тихую богомолку! Это значило погубить операцию. Надо же, у самого монастыря...

Саша лихорадочно искала выхода: незаметно переговорить с командиром отряда? Нет, не выйдет, слишком много глаз.

Красноармеец ждал. Патрульные спускали в лодку задержанных, непроверенные документы остались только у нее да у Сергея. Все-таки, видно, придется подойти к командиру. Иного выхода нет.

Саша резко поднялась и тут же, охнув, опустилась обратно. Вновь острая боль пронизала ее. Он, оказы-

вается, с характером, их будущий ребенок, сразу требует бережного отношения.

— Ты что?! — испуганно проговорил паренек.

— Сейчас, — пробормотала Саша. — Сейчас... — Знаком попросила красноармейца нагнуться. Шепнула: — Позови командира.

— Что? — не понял патрульный.

Саша не успела повторить — рядом оказался Сергей. Оттолкнул красноармейца.

— Не видишь — мается баба! Женское у нее. Отойди!

Паренек оторопело посторонился.

«До чего догадливый, дьявол... — подумала Саша. — Надо же...»

Молоденький красноармеец сочувственно смотрел на ее побледневшее лицо.

— Болит?

— Болит... — прошептала Саша.

— Потерпи... Обойдется...

Саша готова была провалиться сквозь землю.

— Шемякин! — окликнул командир. — Все, что ли? Он уже стоял у борта, готовый спуститься в лодку.

— Все!

Паренек, подхватив винтовку, побежал к своим.

— Отлегло? — спросил Сергей, провожая взглядом удаляющуюся лодку.

У входа в монастырь скучными голосами просили милостыню нищие. Толстая монахиня бойко торговала маленькими образками — копиями «чудотворной» иконы.

Сергей попрощался на берегу. Ему надо было идти дальше. Саша несколько раз оборачивалась на его высокую фигуру в суконной рубахе, что-то все больше тревожило ее. На повороте дороги он обернулся, помахал Саше рукой.

В монастырском дворе стоял автомобиль.

Саша огляделась и увидела у конюшен Николая. Вместе с чекистами он осматривал лошадей. По тому, как он поминутно оглядывался на монастырские стены, Саша поняла, что Николай ждет ее и волнуется.

Она отстала от своих попутчиков, подошла к колодцу напиться.

Матрос заметил ее, тронул за плечо Николая. Тот обернулся. Сиял пенсне, протер стекла, снова надел. Наконец увидел Сашу и тут же отвернулся.

Саша вошла в собор. Тускло горели свечи. Длинный хвост богомольцев тянулся к «чудотворной» иконе в тяжелой золотой ризе. Люди благоговейно прикладывались к наперсному кресту и устам святой. Благостность происходящего нарушали лишь две девушки с повязками красного креста на рукавах. После каждого пятого верующего они задерживали очередь и обтирали крест и губы на иконе губкой, смоченной в ведре с каким-то раствором.

— Ох, лишенько... — вздохнула старуха рядом с Сашей. — Поганят нашу матушку-заступницу...

— Так ведь холера же, бабушка.

Старуха гневно обернулась.

— Это на святой иконе холера?! Безбожница! Тоже, видать, из этих...

Саша поспешно отступила в темноту собора. Нет, здесь надо быть очень осторожной...

Она вновь встала в конец длинной очереди. Подойдя к иконе, упала на колени, склонилась, замерла.

Сзади постепенно стали напирать богомольцы. Поднялся ропот, сначала тихий, потом все более громкий. Ее пытались поднять, отвести от иконы. Но Саша не вставала. Она «молилась» самозабвенно, исступленно.

Раздвинув толпу богомольцев, подошли две пожилые монахини. Долго смотрели на Сашу. Богомольцы затихли, ждали, что будет. Наконец одна из монахинь, с сухим, жестким лицом, положила руку на плечо Саши.

— Встань!

Саша будто не слышала. Цепкие пальцы больно сжали плечо.

— Встань, отроковица!

Саша, словно приходя в себя, смотрела невидящими глазами.

— Что с тобой?

— Беда у меня... О чуде заступницу нашу прошу...

Монахини отвели Сашу в боковой придел собора.

— Говори.

— Позвольте матушку игуменью увидеть, ей все сказать! О ней святая слава идет, она моему горю поможет. Скажите ей, умолите допустить до себя. Будьте матерями родными!

Саша вновь грохнулась на колени. Монахини переглянулись. Та, что была постарше, сказала:

— Иди за мной...

Вслед за монахиней Саша вышла на освещенный солнцем двор. Она успела заметить одного из чекистов возле входа в собор. Он проводил ее взглядом.

В глубине двора стояли жилые помещения монастыря. Монахиня открыла небольшую дверь в черной стене. Внутри было холодно, пахло сыростью. Узкая каменная лестница вела вверх. Новая дверь вывела их в длинный коридор.

«Сначала налево, — твердила про себя Саша, — потом мимо трапезной...» Она запоминала повороты, переходы, глубокие ниши в каменных стенах.

Наконец они очутились в небольшой комнате с низкими сводами. Тяжелая, окованная железом дверь вела в соседнее помещение. Монахиня шагнула к двери, прислушалась. Обернулась к Саше:

— Жди.

Негромко постучала раз, другой... Дверь не сразу отворилась. Монахиня скрылась за ней.

Саша осталась одна. Низкая комнатка была без окон, тускло светилась лампадка у божницы в углу.

Саша выглянула в коридор. Там из узкого оконца пробивался солнечный свет. Сверху зеленый монастырский двор выглядел особенно тихим и безмятежным. Саша разглядела худую фигуру Николая вдали, у конюшен.

Скрипнула дверь. Саша метнулась обратно, опустилась на колени перед божницей.

— Войди, — сказала монахиня.

Она пропустила Сашу в комнату, плотно закрыла за ней дверь.

Келья была неожиданно просторна и светла, но убрана просто, даже аскетически. Простая деревянная кровать, покрытая серым солдатским одеялом. Из-под него виднелся край белоснежной простыни.

В красном углу одна-единственная икона богоматери старинного письма.

Простые стулья, грубый коврик для молитвы. И только изящный письменный стол, вероятно, связывал игуменью с прошлой «мирской» жизнью. На столе лежало несколько книг, стоял красивый, тонкого фарфора чернильный прибор, массивное пресс-папье.

— Садись, девушка, — сказала игуменья. — Я слушаю тебя.

Саша осталась стоять, лишь положила на стул свой тощий узелок. Игуменья была нестарой — лет пятидесяти, не больше, со строгим красивым лицом. Серые глаза смотрели спокойно и проницательно. Саше даже стало не по себе.

— Что за беда у тебя?

Саша оглянулась на монахиню у дверей.

— Позвольте, матушка, вам наедине сказать...

Игуменья знаком отпустила монахиню.

— Я слушаю тебя. Говори.

— Бесплодная я... — тихо сказала Саша.

Это она продумала заранее. К таким жалобам в монастыре привыкли.

Настоятельница чуть подняла ровные брови.

— Но ты ведь так молода... Давно замужем?

— Второй год... Муж каждый день попрекает... Будто я в чем виновата!

— Все мы виноваты перед господом, — привычно произнесла игуменья и осенила себя знамением.

Саша тоже перекрестилась.

— В руце божьей жизнь наша, — продолжала настоятельница. — Без его воли и волос не упадет с головы. Молись, обрати сердце свое к богу, и он поможет тебе...

«Следи за ней, — вспомнила Саша наставления Николая. — Она не доверяет даже своим близким, значит, документы где-то около нее... Но она их не носит при себе, это маловероятно, игуменья понимает, что ее могут внезапно арестовать... Внимательно наблюдай, старайся подметить малейшую несообразность, странность поведения...»

— Молись! — говорила игуменья. — Не теряй надежды и веры... Верь во всемогущество господа бога нашего, ибо сама жизнь наша, все вокруг нас ниспослано им.

Настоятельница поднялась. Аудиенция заканчивалась. Лукавый бес будто толкнул Сашу:

— А Советы?

Игуменья нахмурилась. Саша старалась сказать это как можно более наивно.

— Велики грехи наши перед богом, — наконец про-

говорила настоятельница. — Он и холеру нам за них посылает. Ступай!

Дольше оставаться здесь было невозможно. Саша, поклонившись, пошла к двери, оставив на стуле свой узелок.

— Погоди... — остановил ее голос игуменьи.

Она неслышно подошла, заглянула в лицо Саши. Негромко, с женской жадностью спросила:

— А ребенка очень хочешь?

— Очень! — искренне, от всего сердца, прошептала Саша и почувствовала, как невольно краснеет.

Настоятельница внимательно смотрела на нее.

— Ты где живешь?

— В Москве.

— Далеко тебя привело... Значит, воистину хочешь. Погоди...

Настоятельница вернулась к письменному столу. Открыла фарфоровую чернильницу. Вынула из серебряного бювара листок. Быстро, без помарок написала записку, надписала адрес. Протянула Саше.

— Возьми. Пойди по этому адресу. Можешь вместе с мужем. Это очень хороший врач, я прошу его помочь тебе...

Саша, низко склонившись, приняла записку. Следовало, вероятно, в порыве благодарности поцеловать настоятельнице руку, но на это Саша была не способна. Пусть игуменья отнесет ее непочтительность за счет изумления. Она вышла, так и не взяв со стула узелок.

Тяжелая дверь закрылась. Монахини, приведшей ее, не было. Саша скользнула в коридор, прислонилась к стене. Надо было все спокойно обдумать.

В келье вещей немного. Стены комнаты, стол и постель настоятельницы нетрудно проверить во время обыска... И все же документы спрятаны в келье. Но где?

В конце коридора послышались шаги. Саша укрылась в глубокой нише, темневшей в стене. К покоям настоятельницы пробежала запыхавшаяся монахиня.

Через несколько секунд она появилась вместе с игуменьей. Они быстро прошли мимо затаившейся Саши. Настоятельница казалась взволнованной.

Саша вышла из укрытия, бросилась к двери. Келья настоятельницы была заперта.

Ничего не поделаешь, придется уходить. Правда, она

оставила там на всякий случай свой узелок, ну что ж — будет повод прийти сюда еще раз после доклада Николаю, может быть, тогда ей удастся что-нибудь заметить.

Но вдруг у Саши мелькнула смутная мысль.

Что-то в конце разговора с игуменьей показалось ей немного странным. Но что? В тот момент она была слишком напряжена. Что же это было такое? Это имело какое-то отношение к столу, к записке, которую писала настоятельница.

Снова послышались шаги. Уходить уже было поздно. Саша отступила в темный угол, подальше от света лампадки.

Шли двое, но теперь к легким шагам игуменьи примешивался твердый стук мужских ботинок. Говорили вполголоса, Саша не могла разобрать.

Первой вошла игуменья, увидев силуэт Саши, резко остановилась, задержав своего спутника. Настоятельница вгляделась.

— Это ты?! Что ты здесь делаешь?

— Извините, матушка... — жалобно проговорила Саша. — Узелок свой я у вас забыла, а там все харчи... Ради Христа, простите дуру...

Человек за спиной настоятельницы притих в коридоре, не входил.

Поколебавшись мгновение, игуменья открыла ключом дверь в келью.

Саша вошла в келью.

Как же все это было?

Настоятельница присела к столу. Открыла фарфоровую чернильницу. Взяла ручку. Быстро написала записку. Потом... Потом помахала ею в воздухе, чтобы высохли чернила...

Саша даже похолодела от внезапной догадки. На столе стояло массивное пресс-папье. Но настоятельница не воспользовалась им. Может быть, она сделала это бессознательно, но тогда тем более...

Подобрав узелок, Саша метнулась к двери.

— Извините, матушка...

Лампадка погасла. А может быть, ее нарочно погасили. Человек, пришедший с игуменьей, теперь стоял в том самом темном углу, где пряталась Саша. Лица его разобрать было нельзя.

Саша вышла в коридор, сделав несколько шагов, замерла, прислушалась.

— Кто это был? — тревожно спросил по-английски мужской голос. Он показался Саше до удивления знакомым.

— Наивная богомолка.

— У меня уже, кажется, начинаются галлюцинации, бог знает что померещилось.

— Тебе надо выспаться, отдохнуть...

— Нет, нет! Нельзя медлить ни секунды... Кругом патрули, даже здесь во дворе чекисты... Три дня назад на моих глазах застрелили Смирнитского... По дороге я встретил какую-то подозрительную девицу... Сейчас все решают мгновения.

У Саши похолодели руки. Она не ошиблась. Это его голос. Только сейчас он говорил по-английски.

Дверь в комнату настоятельницы закрылась.

Сплетаясь в одну цепь, мгновенно вспомнились прощупывающие вопросы Сергея, настороженные взгляды, кривые улыбки, отчаяние, промелькнувшее в его глазах, и последнее столкновение с красноармейцем — это было для него единственным шансом уйти от проверки документов.

Но, боже мой, как здорово он играл свою роль! Она так и не успела понять. И еще одно воспоминание наконец всплыло в памяти: конспиративная квартира «Белой точки» на третьем этаже в Москве и высокий человек в узком пальто, вспрыгнувший на подоконник...

Саша бросилась было по коридору. Скорее к своим, рассказать все Николаю, матросу. Но тут же остановилась, сдержала себя. С приходом Сергея, вернее «Сида», здесь все настороже, ведь она видела, как забегали монахини. С чекистов сейча наверняка не сводят глаз. Да и за ней будут следить. Если даже удастся сообщить товарищам, то, прежде чем чекисты окажу ся здесь, «Сид» уже скроется, а с ним и документы. Монастырь огромен, попробуй разыщи. В конце концов, они могут просто уничтожить бумаги... Действовать по намеченному плану? Тогда они встретятся с Николаем только на той стороне озера. Это может быть уже слишком поздно. «Сид» покинет монастырь... Нет, здесь, сейчас, немедленно ей самой необходимо принять решение.

Саша вынула браунинг. Она была почти спокойна.

Подошла к узкому оконцу и выстрелила дважды, давая сигнал товарищам.

Дверь кельи настоятельницы распахнулась. Саша загородила дорогу.

— Назад!

Настоятельница в ужасе попятилась. У окна стоял Сергей, он смотрел на свою недавнюю попутчицу.

Сейчас для него тоже все объединялось в одно целое: слова Саши, встреча с чекистами, ее прикосновение к руке Николая. И та девушка в кожанке, что стояла тогда на пороге конспиративной квартиры...

Он рванулся к письменному столу. Саша вскинула браунинг.

— Стой!

Не спуская с «Сида» глаз, подошла к столу. Левой рукой нащупала пресс-папье. Сорвала один тонкий слой промокательной бумаги, второй. Казалось, не будет конца этим тонким, полупрозрачным листкам. Господи! Скорей бы здесь оказался Николай!

Наконец пальцы нащупали то, что искали: сложенный в несколько раз лист плотной бумаги, под ним еще один, еще...

Саша не успела заметить, когда в руке Сергея оказался наган. Боже мой, какая ненависть была в его глазах...

Саша успела выстрелить первой.

— Серж! — отчаянно закричала настоятельница.

Саша бросилась к выходу. В дверях столкнулась с пожилой монахиней, отшвырнула ее в сторону.

Уже в коридоре она увидела бегущих навстречу монахинь. Саша вскинула руку с браунингом:

— Дорогу!

Монахини расступились. Но тут же что-то тяжелое ударило сзади по голове. Саша пошатнулась, схватилась за подоконник.

В узкое оконце было видно, как через двор бежали на выстрелы чекисты. Впереди Николай... Они были уже совсем близко.

Второй раз Сашу ударили у самой лестницы. Она упала. Знакомая боль пронизала тело. Только сейчас она была во сто раз страшней, нестерпимей...

Браунинг выпал из руки — грохнул выстрел. Саша заставила себя подняться, проползти вперед.

Живой воющий клубок катился вниз по ступеням

каменной лестницы. Сашу душили, рвали волосы, раздирали ногтями лицо...

Чекисты отбили тело Саши у озверевших монахинь в тесном закутке на крутом повороте узкой каменной лестницы.

Николай стоял на коленях. Он потерял пенсне и, как слепой, ощупывал ее лицо.

Подошел матрос. Осторожно разжал руку Саши. Вынул исписанные бисерным почерком смятые листы плотной бумаги...

Сашу хоронили ветреным осенним днем. Лицо Николая было мокро от дождя и слез. Говорил член Коллегии ВЧК, сухой, бритоголовый, с темными кругами бессонницы вокруг глаз:

— Нет, с нами Саши Никитиной... Но как ни тяжело оплакивать эту потерю, теперь не время поддаваться чувствительности, когда враг ежеминутно ловит момент взять нас за горло. На это злодейское убийство мы можем ответить только одним — еще более сильным ударом против контрреволюционной буржуазии. И мы поднимем еще выше знамя борьбы во имя светлого будущего трудящихся всего мира.

Юрий АВДЕЕНКО

Фальшивый денежный знак

1

Старуха напоминала деда-мороза — розовощекого, с мясистым носом, паточным взглядом голубоватых глаз, над которыми бугрились седые кустистые брови. Даже усы у старухи были. Разумеется, не столь роскошные, как у деда, но вполне заметные, рыжеватые. Они свисали над губами, точно короткие сосульки, прихваченные улыбчатым солнцем. Не хватало лишь бороды, но ее можно было сладить из ваты. И она запросто легла бы на крупный, округлый подбородок.

Кравца забавляло такое несезонное сходство. Потому что на дворе шебуршила первыми опавшими листьями осень. Горы еще прихорашивались яркой желтизной и видом своим не вызывали тоски. И небо смотрелось над ними просторное, прозрачное и лукавое в синеве, точно детская хитрость.

Безбородый дед-мороз, задержанный на Лабинском рынке, с мешком, в темно-буром шушуне, казался пришедшим из потрепанной книжки рождественских сказок, которыми он, Кравец, зачитывался в детстве. Между тем телеграмма начальника ОГПУ Северо-Кавказского края, поступившая из Ростова, была предельно ясна и реальна:

«На территории края — Армавир, Курганная, Лабинск, Гойтх, Туапсе — имело место обращение фальшивых денежных знаков достоинством в три червонца. Номер фальшивого знака АА 1870015. Всем уполномоченным ГПУ края приказываю принять меры для задер-

жания и обезвреживания преступников. 24 сентября 1928 года».

Допрос вел Чалый, помощник Кравца, переведенный сюда неделю назад из Таганрога. По годам Чалый старше Кравца. Ему тридцать пять. Высокий. Потрепанный внешне, как этот телефон, на который время от времени посматривает Кравец, дожидаясь звонка чрезвычайной важности. Правда, не служебной, а личной. Но для человека, если он сильно ждет, это все равно.

Старуха, точно изваяние, восседала на табурете посреди комнаты, которую никак нельзя было назвать кабинетом, хотя на самом деле это был кабинет уполномоченного ГПУ Дмитрия Кравца. Единственная кабинетная вещь — маленький коричневый сейф — стояла на полу за сундуком и не лезла в глаза, как это делали пузатая печь с двумя чугунными конфорками, обыкновенный обеденный стол, покрытый клеенкой, да четыре табурета, сколоченные добротно и неискусно.

Чалый ходил вокруг старухи артистично и опасливо, точно дрессировщик на арене цирка, иногда посматривал в сторону Кравца с деликатной улыбкой, будто ожидая от него аплодисментов.

— Ты, мать, не финти, — говорил Чалый. — Закрой глаза. Представь, что я батюшка. И выкладывай как на духу. Где взяла тридцатку?

— Как же я представлю, — без злобы, но деловито говорила старуха. — Рожа-то у тебя лихоимская. Пужаться я тебя пужаюсь. А представить в церковном виде не могу.

— А ты поднатужься. Пофантазируй, — уговаривал Чалый. — Может, что и получится.

Нет. С Чалым Кравцу не сработаться. Возможно, помощник человек и опытный, но он еще и позер, и на язык несдержанный. Кравец не уважает таких людей. И придерживается мнения, что помощники — не родители и не соседи. Их-то выбирать можно.

Кравец смотрит на старуху и говорит:

— Фантазию побоку. Это не каждому дано.

Чалый за спиной старухи. Продолговатое лицо его округлилось в гримасе: дескать, не надо вмешиваться, все на мази. Но Кравец сделал вид, что не понял или не заметил неудовольствия помощника. Поглаживая трубку телефона, готовый снять ее каждую секунду, он спросил старуху:

— Объясните нам самыми простыми словами, как попали к вам эти тридцать рублей.

— Сынок, я уже говорила. Не воровка я. Мне семьдесят три года, но за всю жизнь я никогда не брала чужого. В Трутной вам подтвердит любой станичник.

— Охотно верю, мамаша. Однако вы не отвечаете на мой вопрос.

— У меня, сынок, уже язык отсох объяснять вот этому начальнику, — она важно указала перстом на Чалого, — как что было...

Кравец без энтузиазма улыбнулся:

— Ну, а что все-таки было?

— Эту красненькую я получила от покупателя за семечки.

— Вспомните, гражданка Бузылева, как выглядел покупатель?

— Мужик, — подумав, ответила старуха.

— Вы его запомнили?

— Зрение у меня не особливо.

— Пользуетесь очками?

Старуха поморщилась:

— Аптека не прибавит века.

— Вполне возможно, — согласился Кравец. — И все же...

— Мужик твоих лет, сынок. Роста низкого. Светленький. Большего не помню.

— Много семечек он купил?

— Один стакан.

— А привезли вы?

— Мешок. Да и тот лишь на треть продала. Вот начальник как воровку с рынка увел. Перед народом нашим опозорил.

— Ты, мать, не загибай, — назидательно заметил Чалый. — Увел я тебя культурненько, если бы ты сама едало не разинула на весь базар, никто рандеву наше бы и не заметил.

Кравец остановил его коротким жестом:

— Сколько денег вы взяли, выезжая из станицы Трутной?

— Пять рублей, — гордо ответила старуха.

— Запишем. Пять рублей. Стакан семечек на здешнем рынке стоит пять копеек. Или вы продавали по три?

— Как можно? За пять.

— Товарнщ Чалый, сколько стаканов может влезть в треть мешка?

Задумался Чалый, без морщннок на лбу, а чуть прнкусив верхиюю губу. Потом вдруг хлопиул в ладошн, словио собнраясь пустнться в пляс:

— А что гадать, товарнщ уполномочеиный, перемерять можио!

— Ни к чему, — возразнл Кравец. — Во всяком случае, в одном стакаие не меньше, чем сто граммов семечек... В этом мешке шестьдесят кнлограммов. Арифметнка простая. Даже в церковноприходской школе нас этому учнли. Одна треть — двадцать кнлограммов нли двести стаканов семечек. Пять копеек стакан. Итого десять рублей. Пять граждаика Бузылева взяла нз дому. Весь капнтал — пятнадцать рублей. У меня вопрос, граждаика Бузылева, как вы смогли набрать нужную сумму, чтобы дать сдачу с тридцатн рублей за одии стакаи семечек?

Старуха вдруг утратнла сходство с елочиым дедом, и черты лнца ее расплылнсь, как морозный узор, на который подышали.

— Воды, — кнвнул Кравец Чалому.

Ведро стояло в сенях. И пока Чалый бегал за кружкой, старуха, кажется, прншла в себя, вынула из рукава шушуна платочек. Отнрая пот, осмысленно н сурово посмотрела на Кравца:

— Ух ты, аист! Чего-то я сама не сообразнла?

От воды отказалась. Может, побрезговала кружкой с побнтой эмалью. Кравец спроснл:

— Будем говорнть правду?

— Само собой, сынок... Нашла я этн деиьгн. Простн, господн, душу грешиую.

— Где иашлн?

— В тот самый момент, когда он это... Платок вынимал, чтобы карман для семечек ослобоиить, трндцатка и выпала.

2

Чалый взял старуху в ларьке кооперации, где оиа хотела купить снтца. Продавец был предупрежден отиосительио трехчервонных деиег. И прнсматривался к номерам.

Может, Чалый и поспешил. Может, лучше было бы

проследить за старухой со стороны, выяснить, с кем она связаиа. Чалый же предпочел малый результат, ио немедленный. Кравец, который иеодобрительио относнлся к действням помощннка, не успел переговорнть с ннм серьезно, ибо сразу после допроса старухи Бузылевой позвонилн нз Ростова. Пришлось доложить снтуацию. Начальство расценило задержанне Бузылевой как успех. Но справедлнво отметнло, что неграмотная семидесятнтрехлетияя старуха едва лн нмеет склоиность к печатаиию фальшивых купюр. Поэтому следует предположить, по крайнией мере, одио из двух: лнбо кто-то дал ей деиежиый знак для размена, лнбо оиа действительио иашла его. По первому предположенню следует нзучить круг людей, с которыми как-то связаиа старуха. По второму — иужно водворить старуху иа рынок и с ее помощью попытаться опознать того нензвестиого покупателя, который выроинл тридцатку.

Остаток дня Чалый провел со старухой на рыике. К сожалеиию, неизвестиый (еслн таковой действнтельио существовал) меж прнлавков больше ие появлялся.

Кравец разрабатывал другую версню. И здесь ему неожнданно помог внук старухи Николай Бузылев, которого прислал в отделеиие Чалый.

Оказывается, внук утром прнехал в Лабниск вместе с бабкой, ио первую половнну дня провел в механической мастерской, где ему чиииили паяльную лампу. Николай был ровесник Кравца и произвел на последиего самое отмениое впечатленне.

— Давно хотел к вам зайтн, — сказал ои Кравцу. — Да без дела было иеудобно. Я вас еще с гражданской помию. По разведотделу 9-й армни. Я ведь тоже в разведке служил, только в полковой.

Лицо у парня было, в общем, знакомое, но с 9-й армией Кравец расстался еще в мае двадцатого года, когда был переброшен к Уборевичу иа борьбу с белополякамн. Конечио, оии могли где-то встречаться н даже наверняка встречалнсь. Да разве упомннщь!

Поговорнлн тепло.

Выяснились два обстоятельства. Первое — старуха Бузылева была повитуха, поэтому круг людей, с которымн она общалась, без малого вся станнца. Второе — старуха отличалась редкой скупостью и миогнми другимн человеческнми иедостаткамн и едва ли бы упустила возможность взять то, что плохо лежнт.

Прощаясь, Николай Бузылев стеснительно сказал:

— Товарищ Кравец, я хочу пригласить вас на свадьбу. А что? Как старого однополчанина, ведь можно же!

— Когда свадьба?

— Через три недели.

— Попробую приехать...

— За это спасибо.

Вечером Кравец и Чалый обменялись мнениями по делу Бузылевой. Сошлись на том, что старуха скорее всего и вправду нашла эту злополучную тридцатку. Фальшивомонетчики, доверив ей деньги, наверняка бы продумали, как отвечать старухе в случае задержания. Уж чего проще сказать, что взяла она из дому не пять рублей, а двадцать. Вот тебе и сдача для покупателя... Проверяй!

Попили чаю. Потом Кравец предложил:

— Иди спать, Кузьма Самсонович.

Чалый замялся:

— Моя очередь в ночь дежурить.

— Иди... Все равно мне не до сна. Сам знаешь, к телефону привязан.

За двое суток (Кравец вчера по личному делу выезжал в Курганную) в папке «Для доклада» не набралось много писем, документов, требующих немедленного ответа и решения. Папка оставалась тощей, точно отрывной календарь на закате года.

Шел первый час ночи, когда Кравец снял со стены лампу, поставил ее перед собой. Развязал потертые сероватые тесемки.

Лампа хотя и не чадила и горела ровно, но источала запах керосина, подобно тому как папироса источает запахи табака, а осень — дождей и прелых листьев. Тепловатый, несвежий воздух стоял в комнате. Прежде чем приняться за папку, Дмитрий распахнул окно, и, свободно дыша, долго смотрел в темную, спокойную ночь без луны и без звезд, но все же красивую в своей густой непроглядности и пружинящей тишине. Никакие мысли, ни большие, ни малые, не рождались в те минуты в его голове. И он смотрел в ночь не напрягаясь, расслабленно. И что-то обновлялось в нем.

Он вернулся к столу если не отдохнувшим, то во

всяком случае с головой посвежевшей, свободной от тяжести. Укоризненно поглядев на телефон, распахнул папку.

Первой там лежала утвержденная финансистами инвентаризационная опись, затем список книг, поступивших в уездную библиотеку. Третьим — серый почтовый конверт, на котором женским почерком было выведено: «Тов. Кравцу (в собственные руки)». Ни адреса, ни почтовых штампов. Значит, письмо кто-то лично принес сюда, в отделение, вероятно, когда Кравец ездил в Курганную.

Лезвия ножниц будто ради приличия надкусили лишь самый край плотного четырехугольного конверта, из которого Кравец вытащил тетрадный листок в косую линейку и согнутый пополам ярко-красный, хрустящий трехчервонный денежный знак.

«Уважаемый тов. К Р А В Е Ц!
Если вас заинтересуют эти деньги, приезжайте к нам в Трутную или дайте знать, приехать ли мне к вам.

Люся Щербакова,
секретарь комсомольской ячейки молокозавода».

Кравцу не потребовалось мять купюру, смотреть ее на свет. Номер денежного знака был тот же самый, что и в телеграмме из Ростова, что и на кредитке, отобранной у гражданки Бузылевой, — АА 1870015.

3

До самой окраины Чалый шагал впереди брички, которая медленно колесила по лужам и грязи, точно мерин, тащивший ее, был вял спросонья или просто ленив.

Дождь застучал по пыли и веткам чилиги в тот самый момент, когда Кравец вышел из отделения, чтобы отправиться на конюшню запрягать лошадь. Тучи еще не заполонили небо. И звезды дремали сладко. И высота чувствовалась, как ранней весной. Однако капли ложились крупные. Совсем не теплые. Осенние дождевые капли.

При этом дробном, торопливом стуке Кравец первым делом вспомнил, что у него нет плаща, и оделил небо недобрым словом. К счастью, бричка имела откидной

верх. Пусть плохонький, старый, но из настоящего брезента, который с солдатской стойкостью принимал на себя и воду, и пыль, и ветры.

Чалый явился в длинном, по щиколотки, прорезиненном плаще, при роскошном капюшоне, возвышавшемся на его могучих плечах, словно шлем рыцаря. Кравец уже сидел в бричке. И вожжи лежали у него на коленях.

— Взбирайся, — сказал он Чалому.

Тот покачал головой. Вернее, капюшоном. И это получилось очень важно.

— Разомнусь малость. Для дыха со сна полезно.

Произнося слова, он поднял руки к груди и энергично потряс ими, как порой это делает дирижер, предлагая музыкантам активизироваться.

Еще полчаса назад, прочитав письмо Люси Щербаковой, Кравец способен был сделать с Чалым все, что угодно. Нет, он не был горяч по натуре, но злость на помощника вдруг поднялась в нем угрожающе, готовая выплеснуться, точно вскипевшее молоко. А вот подуть на Кравца было некому. И он опять распахнул окно и ходил по комнате широкими шагами.

Как же так можно? Что за халатность? Совершенно очевидно, девушка приходила сюда, хотела видеть Кравца, оставила для него письмо. Почему же Чалый не доложил?

Немедля Кравец послал за помощником. А сам выискивал слова, которыми его встретит:

— Нам придется расстаться. Я освобождаю вас от занимаемой должности.

Но пока пришел Чалый, Кравец уже поостыл. Он понял, что эти заготовленные фразы прозвучат громко, но едва ли продвинут дело вперед. А вопрос, где работать Чалому и в какой должности, решит ростовское начальство, когда получит рапорт Кравца.

Чалый цокал языком и оправдывался:

— ...Приходила в ваше отсутствие такая маленькая и светленькая, как цыпленочек... Вчера приходила. Письмецо оставила. Просила, чтобы вы лично ответили. Я заверил, у нас ничего не остается без ответа.

— Поедете со мной в Трутную, Кузьма Самсонович, — устало сказал Кравец.

...На окраине Чалый энергично взобрался в бричку. И рессора взвизгнула жалобно, словно котенок, которому придавили хвост.

— Возвращались бы лучше домой, Дмитрий Иванович. Звонок из Курганной опять-таки вам дюже интересный предстоит. А Чалый дядька битый. Он и не такие загадки разгадывал.

— Вполне возможно, — и в голосе Кравца не слышалось согласия, проскальзывало лишь нежелание продолжать разговор.

Дождь дружно барабанил о верх брички, терся о брезентовый фартук, которым мужчины накрыли колени, холодил лица, потому что ветер был встречный, клубкастый. Мерин при особенно сильных порывах останавливался, поворачивал морду, точно хотел пожаловаться ездокам.

В Трутную приехали с рассветом. Дождь прекратился. И лужи на дорогах смотрели в небо спокойно, без ряби. И облака плавали в них, точно бумажные кораблики.

Забор вокруг молокозавода строить, видимо, передумали. Только так можно было объяснить существование дюжины почерневших столбов, закопанных в землю на равном отдалении друг от друга. Следов планок, тем более штакетника, на столбах и поблизости не замечалось. Ограду заменили кусты чилизника, низкие, но подстриженные аккуратно, с любовью и знанием дела.

Здание было сложено из кирпича, крыто железом. Окна золотились на восходе большие, широкие.

Из брички было видно, как кто-то в брезентовой накидке нагнулся перед выкрашенными охрой дверьми. Чалый толкнул в бок Кравца. Тихо произнес:

— Гляди-кось.

Кравец ничего не ответил. Потому что видел все и без подсказки Чалого. Человек в брезентовой накидке обернулся, выпрямился. И оказался густобородым стариком с клюкой в руке.

— Лешак меня побери, — беззлобно сказал он. — Табак просыпал.

— Закуривай, батя, — протянул пачку с папиросами Чалый. — Только чешись быстрее, а то лясы точить нам с тобой недосуг.

Старик не проявил особой прыти. Подошел степенно. Папиросу вынул не торопясь.

— Скажи, батя, где будет дом секретаря вашей комсомольской организации Люси Щербаковой?

— Вы из милиции? — по-птичьи склонив голову, посмотрел на них старик.

— Все может быть, — многозначительно ответил Чалый.

— Быстроть очень. Часа два минуло как за вами поехали.

— Кто? — спросил Кравец.

Старик, который настроился на разговор с Чалым, подозрительно перевел взгляд на Кравца и ответил неопределенно:

— Представители.

Чалый поднес старику спичку:

— Не темни, батя. Выкладывай, по какому случаю милиция понадобилась?

Старик уклонился от ответа:

— Дом Щербаковых за углом. Там все село собралось. Сразу увидите.

4

В комнате пахло яблоками. Они лежали в большой вазе, что стояла посреди стола, свежие, краснобокие.

Женщина сидела за столом, прикрыв ладонью глаза, словно стыдилась своего горя.

— Я уполномоченный ГПУ, — сказал Кравец. — Попрошу всех посторонних выйти из комнаты.

Женщина медленно опустила руку. Глаза ее, к удивлению Кравца, оказались сухими.

Кравец воспользовался табуретом по другую сторону стола.

— Как же это случилось? — тихо и грустно спросил он.

— Она редко возвращалась домой поздно, — женщина тщательно выговаривала слова, будто боялась, что сорвется, запричитает и не сможет толком разъяснить представителю власти, оказавшемуся в Трутной со сказочной быстротой, как почуяла беду, случившуюся с дочерью. — Но все же иногда приходила Люся и после одиннадцати. Собрания, заседания, общественные дела, комсомольские... Так вышло и ныне. Не стала я дожидаться ее возвращения. Сердце с вечера у меня покалывало... Прилегла. А в первом часу почудилось мне,

дверь в сарае скрипнула. Подумала я, что неплотно щеколду закрыла, телка, чего доброго, из сарая выйдет. Поднялась я. За порог ступила. И все... Вижу, дверь в сарай открыта, а Люся моя меж ей раскачивается, словно летает. Потому как петлю я сразу не увидела...

— Вы знали, что позавчера дочь ездила в Лабинск?

— Знала.

— Она вам рассказывала, с какой целью совершила эту поездку?

— По делам. В уком комсомола.

— Она имела в станице врагов?

— Нет, — убежденно ответила мать.

— Не замечали в ее характере какие-нибудь изменения за последние неделю-две?

— Изменения, конечно, были... Все-таки к свадьбе готовилась.

— Жених здешний?

— Да. Коля Бузылев.

— Вот как... Размолвки у них не случилось?

— Про это не знаю... Не нравилось Люсе, что выпивает Николай. Да успокаивала я ее, мало какой мужчина по этому делу не грешен.

— Кто вынул тело из петли?

— Тимофей Григорьевич.

— Фамилия?

— Сильнейших... Сторож молокозавода.

— Как он здесь оказался?

Женщина сделала паузу, собираясь с мыслями:

— Я заголосила. Станичники уже спали. А он услыхал. Молокозавод близко...

Позднее, составляя докладную в Ростов, Кравец тщательно перебирал в памяти разговоры того дня. Их было много, разговоров с людьми, знавшими Люсю по станице, по работе, по комсомолу. Общая картина складывалась такая. Вернувшись с работы, Люся поужинала и поспешила в станичный клуб, где самодеятельные артисты начинали подготовку к ноябрьским праздникам. Там она пробыла до одиннадцати часов. Ушла раньше других, когда танцевальная группа еще репетировала. Живой Люсю больше никто не видел.

Несколько человек — сотрудников молокозавода — показали, что накануне девушке угрожал местный алко-

голнк Женька Жнльиый, которого по иастояиию Люси уволили с завода.

Любопытиые сведеиия сообщил сторож Тимофей Грнгорьевич Сильиейших. Он вовсе был ие такой дряхлый, как показалось накаиуие утром Кравцу н Чалому. Старила его борода. На самом деле сторожу исполинлся шестьдесят однн год.

Оии сндели в тесном кабннете директора молокозавода. И за стеклянной дверью Кравец вндел просторный чнстый цех. Громадиые окиа. Выкрашенные в голубое резервуары н желтые шлаигн между ннмн.

Старнк не торопнлся н говорил с расстаиовкой, словио забивал гвозди:

— В семь вечера при заступлении иа дежурство я видел, как аккурат против завода повстречал Люсю Щербакову Женька Жильный. О чем оин говорили, ие прислушивался. А когда Люся пошла, Жнльиый крикиул: «Ты еще пожалеешь, сука!»

Где-то к полуночн сторож слышал пьяный голос Жеиьки, распевавшего непрнлнчиые песни, но самого Женьку не видел, так как находнлся по другую сторону завода.

Выяснилось, Жильный дома не иочевал. И где сейчас иаходнтся — иензвестио.

Мнлиция прибыла в стаинцу что-то около десяти утра: участковый мнлнцнонер, оперативинк из уездиого угрозыска, врач — жеищниа средних лет. С профессиоиальным хладнокровнем оиа осмотрела труп. Констатировала:

— Вначале была задушена. Потом подвешена. Более точные сведення будут получены после вскрытия...

5

На крыльце сельсовета Кравец вынул карманные часы, подареииые ему разведотделом 9-й армни весной 20-го года. Это былн большие серебряиые часы швейцарской работы, иа крышке которых изящио было написаио: «Доблестиому разведчнку Дмнтрию Кравцу за подвиги во имя Революции».

Фигуриая стрелка, по выделке своей представлявшая почти произведение искусства, показывала четверть двенадцатого.

Чалый остался в сельсовете с поручением собрать сведения о людях, проживавших когда-либо в городе. Ои должеи был также выясиить их прежние специальности. Ибо если деиьги печатают в Трутной, то это может делать лишь человек, живший в городе и зиакомый с техиологией изготовлеиия деиежиых зиаков.

Пройдя немощеиой площадью, иа которую с западиой части иаступала громоздкая, как гора, церковь, Кравец свериул в проулок, ведущий к дому Щербаковых. Перед домом по-прежнему было людио. И еще стояла милицейская повозка. И тело лежало на ней, прикрытое бледно-розовым байковым одеялом.

Представитель угрозыска сказал Кравцу:

— Коль иаша помощь ие требуется, мы уезжаем...

— Позаботьтесь о медициском заключении, — попросил Кравец.

Врач и участковый милициоиер уже сидели в телеге.

— Хорошо, — ответил опер. И пошел рядом с лошадьми.

Мать Люси заплакала. Скрип колес оказался тем последиим звуком, после которого не хватило сил сдерживать, таить в себе горе.

Кравец осторожио взял ее за локоть.

— Я хочу посмотреть бумаги вашей дочери. У иее были какие-то бумаги?

— Да, — остаиовилась жеищииа. — На этажерке есть целая папка. И еще оиа вела диевиик. Прятала только, скрывала, глупая, даже от меия.

— Товарищ уполиомоченый! — старик Сильнейших, кажется, бежал или шел очеиь быстро, потому что был потный и дышал часто. — Женька Жильный при доме объявился.

Нельзя сказать, что Жильиый произвел иа Кравца отталкивающее впечатлеиие. Но вид иебритого, заплывшего лица с глазами мутиыми, воспалеииыми не доставлял особого удовольствия.

Жеиа Жильного — молодая, изможденная женщина — и сыиишка лет четырех смотрели с таким жалостливым испугом, что Кравцу стало не по себе. Ои попросил:

— Оставьте нас вдвоем.

Женщина прикрыла дверь с такой осторожностью, точно она была из хрупкого стекла.

— Вы всегда жили здесь? — спросил Кравец.

— Нет. Два года я работал в Тихорецкой. Слесарем в депо. Там и оженился.

— Как попали в Трутную?

— Дом после матери остался.

— Где провели сегодня ночь?

— Не помню.

— Это не ответ.

Женька Жильный пожал плечами:

— Проснулся у леса. В стоге сена.

— Когда последний раз видели Люсю Щербакову?

— Не хочу об этой стерве и разговор держать.

— Убили ее сегодня ночью.

Нет. Не вздрогнул Женька, не ахнул, не раскрыл рот в удивлении. Только покосился на Кравца недоверчиво, подозрительно. Потом, облизав губы, хрипловато сказал:

— Не загибайте.

— А я и не загибаю, Женя. Правда это. Разве жена тебе не говорила?

— Она уже месяц со мной не разговаривает. К матери грозится уехать.

— Довел, значит.

— Точно. — Жильный потер ладонью подбородок. Потом вдруг спросил: — Колька Бузылев-то где?

— Нет Кольки в станице. В Лабинске он со вчерашнего дня.

— Вы с Колькой про это дело потолкуйте. У него догадки и соображения возникнуть могут.

— А у тебя соображений нет?

— Не убивал я ее. И баста.

— Свидетели есть, что ругался ты с ней вчера. Ночью пьяные песни твои слышали...

— Я здесь со всей станицей переругался. И песни по пьяной лавочке почти каждую ночь пою.

— Для следственных органов это все слова. Свидетельства против тебя. Алиби нет.

— Что за алиби?

— Алиби. По-латыни — в другом месте. Юридический термин. Нахождение обвиняемого в момент, когда совершилось преступление, в ином месте, как доказательство его непричастности к преступлению.

— Я в другом месте и был.

— Это еще выяснять надо. А пока придется задержать тебя, Женя.

— За что?

— По подозрению.

Ничего не ответил Женька Жильный представителю власти. Может быть, он и выругался бы сгоряча или запротестовал. Да не успел. Проскользнула в комнату жена его, бледнее тумана. Шепчет, словно страхом давится:

— Дом Щербаковых горит...

Дым карабкался вверх не густой, не темный, а скорее белесый, как над хорошо гудящим костром. Кое-что из скарба громоздилось посреди улицы, где стояли люди, удрученные новой бедой, нагрянувшей в станицу. Пожар начался в то время, когда почти вся станица вышла за околицу проводить милицейскую телегу.

Стены еще не горели, но было очевидно, что дом невозможно спасти, потому что камышовая крыша пылала, словно факел. Отчаянно выла соседская собака, привязанная веревкой к старой, искореженной груше.

Одна женщина говорила другой:

— А Колька Бузылев, как увидел телегу, лицом что смерть стал. Ни словечка не вымолвил и бежма в станицу.

Мать Люси сидела на зеленом деревянном чемодане. И Кравец понял, что седины у женщины прибавилось за это утро много. Он спросил:

— Дневник дочери спасли?

Женщина не подняла взгляда, медленно покачала головой:

— Там он.

— Где? — это Чалый. Он, оказывается, здесь.

— На гардеробе, во второй комнате.

Что греха таить, не ожидал Кравец такой самоотверженности от своего помощника. Другие присутствующие на пожаре люди просто вообще не знали Чалого. Потому их не столь удивил, сколь обеспокоил поступок человека, опрометью бросившегося в огонь.

С воловьей медлительностью потянулись секунды, а пламя, точно в отместку за дерзость, перекинулось на крыльцо, заслонило выход... Потом вдруг крыша стала

оседать с потрескиванием мыльной пены, пламя на секунду исчезло, и сноп искр вырос над домом, красиво устремляясь в небо.

...Чалый выпрыгнул через окно. Он выпрыгнул неудачно, видимо, вкладывал в прыжок последние силы. Он уже не мог без посторонней помощи подняться с теплой, пахнущей гарью земли, но прижимал к груди сероватую общую тетрадку, на которой фиолетовыми чернилами было написано: «ДНЕВНИК ЖИЗНИ».

— Надо брать Сильнейших, — выдавил Чалый. — Если, конечно, дед еще не ушел, не смылся...

6

«— Пойду за тебя замуж, — сказала я Николаю. — С двумя условиями: даешь слово не пить и рвешь дружбу со стариком Сильнейших.

— Пить я брошу. За исключением, конечно, государственных праздников и дней рождения. И с Сильнейших дружбу порву. Только не в один день. С ним нельзя так. Страшный он человек».

Это была последняя запись в дневнике Люси Щербаковой. Ее-то и успел прочитать Чалый там, в горящем доме. Как он успел это сделать? Может, Чалый не смог объяснить бы и сам.

Но это были очень важные строчки. Они логически завершали догадку, вернее подозрение, возникшее у Чалого еще в сельсовете.

Председателем сельсовета оказалась женщина — на язык бойкая, на лицо броская. Повязанная пестрым платком, точно кукла-матрешка.

— Сколько жителей в станице? — спросил Чалый.

Председательша посмотрела на него с таким удивлением, словно Чалый не произнес слова, а пропел их, как в опере. Но ответила быстро:

— Четыре тысячи сто три человека. — И тут же поправилась: — Теперь сто два...

Чалый переминался возле стола, словно примериваясь, с какой стороны к нему подсесть. Председательша, не знавшая привычки Чалого работать стоя, несколько нервничала, обеспокоенная странным поведением сотрудника ГПУ.

— Умельцы есть?

— Где? — не поняла женщина.
— Умельцы, спрашиваю, в станице есть?
— По какому делу?
— Ну уж ясно, не по-любовному, — Чалому показалось, что председательша строит ему глазки. Его длинное, худое лицо порозовело на скулах. Так случалось, когда Чалый стеснялся или гневался.
— В какой станице умельцев нет? Ты что, товарищ, с луны свалился?
«Это явное наступление, — подумал Чалый. — Боевитая женщина! Впрочем, иного не могло и быть. Кто бы несмелую, безответную председателем сельсовета избрал бы».
— Ладно, родная, — сказал он вслух. — Ты на меня варежку не раскрывай. А давай так договоримся, я тебе вопросы задавать стану. Ты же отвечай на них подробно и точно.
— Присядь, родной. Будь ласков, — в тон Чалому ответила женщина.
Чалый шмыгнул носом. Развернул стул. И сел на него — спинка вперед.
— Мужик-то у тебя есть?
— Оженились мы в тысяча девятьсот десятом году. А в одиннадцатом его по этапу за политику отправили. В четырнадцатом году срок прошел, война началась. Месяца не прожили. Двадцать восемь дней...
— Длинно очень говоришь, — вздохнул Чалый.
— Сам просил подробнее, — обиделась женщина.
— Я не про то... Похоже, одна ты.
— Одна.
— Худо это.
— Чего ж хорошего?
— Да... — Чалый решительно встал со стула. — Много станичников в городах работало?
— За какое время?
— За все время.
— Разве сосчитаешь? До революции много кормильцев на путях работали. И в Белореченской. И в Армавире...
— А сейчас?
— Жизнь-то поменялась. Теперь, кто уехал, не возвернется. На рабфаках учатся, на курсах...
— Может, припомнишь, по каким специальностям у вас мастера имеются?

— Мы такого учета не ведем, потому как мужик наш, он на все руки мастер. И плотник, и пахарь, и жестянщик...

— Понятное дело, — недовольно сморщился Чалый. — А люди с редкими городскими специальностями у вас не проживают?

— Как же! — сказала женщина. — У нас тут один старичок живет. Раньше в самом Киеве в университете преподавал. А теперь ночами не спит, в трубу на звезды смотрит.

— Ну? — недоверчиво протянул Чалый.

— Чистая правда... Дама у нас есть одна. Так она до революции всех ростовских барышень бальным танцам учила. Школу свою имела... Или, к примеру, Тимофей Григорьевич Сильнейших, он когда-то для атамана Войска Донского в Новочеркасске деньги печатал. А теперь сторожует на молокозаводе...

Чалый был дядька битый. Всякое дело он схватывал на ходу. Вот почему, выскочив из горящего дома, он собрал последние силы и прошептал:

— Надо брать Сильнейших. Если, конечно, дед еще не ушел, не смылся...

«Смыться» деду не посчастливилось. Он полз через весь двор к оседланной лошади, оставляя от самой конюшни узкий, размазанный след крови. Осколки разбитого кувшина, раздробленная в щепы скамейка свидетельствовали о безжалостной драке, разыгравшейся еще недавно в конюшне.

Николай Бузылев лежал поперек стойла. И рукоятка ножа торчала у него под подбородком.

Кравец вышел из конюшни и молча, словно с удивлением, смотрел на грузное тело старика, пресмыкающегося по земле.

Сильнейших почувствовал этот взгляд, поднял залитое кровью лицо. И они пристально, может, минуту, может, и больше, смотрели друг другу в глаза. Потом сторож тоскливо спросил:

— Стенка мне, гражданин начальник?

На допросе после оказания медицинской помощи он не запирался. И был более разговорчивым, чем в Трутной:

— Все вышло чисто случайно... В двенадцатом часу ночи Щербакова проходила мимо завода, а я возьми и пошути: «Скажу Николаю, что ты в его отсутствие по ночам шляешься». Она в ответ: «Оставь Николая в покое. Иначе худо тебе будет... Я у Николая пачку тридцатирублевок видела. Уж больно новенькие они, хрустящие. Вот сообщу об этом куда следует...»

Она какую ошибку допустила, гражданин начальник. Она не сказала мне, что уже побывала у вас. Если бы она про это сказала, разве я ее бы задушил? Зачем мне мокрое на горбину брать? Я бы на коня — и в горы. Ищи-свищи! Подвела она и себя и меня... Вы спрашиваете про пожар. Пожар тоже мое дело. Я, когда про дневник услышал, обмер прямо. Вдруг девка про меня что накалякала... Забрался я в дом. Обшарил. Нет дневника. Что и делать, не знаю. Пот холодный выступил. И руки трясутся, как у алкоголика. Никогда со мной такого не случалось. Потому что руки у меня крепкие. И к шашке и к труду привычные. А тут, понимаете, себя не узнаю. Прямо-таки затмение находит. Я уже ни с чем и уйти решил, да в сенях запах керосина учуял. И тут мне кто словно сказал: «Пали». А жестянка полная была. На пять литров... Тогда я и решился... Чиркнул спичкой. И огонь загулял...

— Что произошло на конюшне?

— Я седлал коня, когда прибежал Колька. Глаза как у волка. Кричит: «Ты, старый пес, Люську порешил?» Я ему в ответ: «Умолкни. И сматывайся, пока тебя ГПУ за штанину не схватило». Тогда он меня и вздрючил скамейкой по голове. Счастье, дышло тут оказалось. Скамейка в щепы, а меня, конечно, тоже задело. Но не до смерти. Кольке показалось, что я концы отдаю. Нагнулся он, тогда-то я ножом его и подстерег...

— Понятно. А как удалось склонить Бузылева к соучастию? Парень, видать, был неплохой.

— Должен он мне был, потому что пил много. Оно хоть и самогон, а платить все равно надо... Вот и попросил я Кольку, не в службу, а в дружбу, по моим делам съездить. Поначалу вслепую. Привез чемоданчик, увез чемоданчик... Про то, что деньги я изготовляю, он неделю назад узнал. Воспротивился. Да я успокоил его. Говорю, сам завязываю. Последнюю поездку сделаешь. И концы...

— И он поверил?

— Да кто знает. Может, поверил, а вполне возможно, что и нет...

Кравец, подумав, спросил:

— Где же вы освоили ремесло фальшивомонетчика?

— На веку как на долгой ниве, — вздохнул Сильнейших. — Много у меня специальностей, окромя этой. Я и печать сработать могу, и по части подписей положиться на меня можно... Но это прошлое. Так сказать, шалость молодости. Я на этом деле давно крест поставил. Да вот дружки ростовские про меня вспомнили, разыскали... Вы не улыбайтесь. Я не по своей задумке фальшивые знаки делать начал. Да и не осилить мне все это одному. Ну, пусть клише я сделал, пусть пресс. А бумагу, а краски натуральные, где мне их тут взять. Нет, гражданин начальник, я вам адресочки дюже интересные дам. В городе Ростове и в городе Армавире... Уж коли меня изловили, возьмите и тех хлопчиков тоже.

Старуха Бузылева истово крестилась, глядя мимо Кравца на серую стену, где не висело ничего другого, кроме отрывного календаря.

— Господи, прости мя, дуру грешную. Господи, прости мя и помилуй...

Кравцу надоело слушать торопливые старческие причитания. Он укоризненно сказал:

— Гражданка Бузылева, вы не в церкви, а в государственном учреждении.

— Бога вспомнить нигде не лишне...

— Отвечайте, пожалуйста, на мой вопрос.

— Да, сыночек, был такой грех. Пришел Николай намедни пьяненький. Я одежду решила его почистить. Полезла в карман. А там пачка денег. Вот и взяла я одну бумажку. Пропади она пропадом!

Рапорт в Ростов был написан. Кравец промокнул чернила. Посмотрел на телефон. И, словно смутившись под его тоскливым, укоризненным взглядом, аппарат вдруг ожил, заголосив хрипловатым, дребезжащим звонком.

Да, да, да... Это была долгожданная Курганная. Растерянность и улыбка проступили на лице Кравца. Мяг-

ким, как растопленный воск, голосом он трижды повторил слово «спасибо». Опустил трубку. И обалдело уставился в распахнутое окно, где исподволь наступали прохладные васильковые сумерки.

Тумана не было. Но Кравец шагал по улице точно в тумане. Он даже прошел мимо больничного корпуса. И ему пришлось повернуть назад.

Через сестру он передал Чалому записку:

«Кузьма Самсонович!

А у меня родилась дочь. Вес — 4500. Выздоравливай активнее. Жду тебя очень. Кравец».

Сестра вернулась с ответом, написанным прямо на записке Кравца. Чалый писал левой рукой. И буквы получились такие, словно плясали от радости.

«Девчонка богатырь! Держи хвост пистолетом, начальник. С тебя причитается!»

Чалый остался Чалым... Но Кравцу было хорошо читать эти бесхитростные и, может, чуть грубоватые слова, потому что теперь он знал достоинства и недостатки своего помощника. И понимал, что в конечном счете главное, каков человек в трудном деле. Ведь разве не встречал Кравец на своем веку людей вежливых, тактичных, оставлявших по первому взгляду самое приятное впечатление? А пойдешь с таким на дело, где надо рискнуть, не струсить... и от всех его великолепных качеств останется только пшик. И оказывается на поверку тот человек ценным ничуть не более, чем фальшивый денежный знак.

Леонид СЛОВИН

Дебюты сержанта Денисова

ОДНОДНЕВНАЯ КОМАНДИРОВКА

— Сержант Денисов! — вполголоса сказал подполковник.

Денисов, сидевший в предпоследнем ряду, у окна, встал, одернул китель и, стараясь не спешить и не выказывать волнения, пошел меж рядами столов.

Была в скуластом рыжем подполковнике, руководителе семинара, какая-то внутренняя, скрытая сила, которую Денисов ничем не мог объяснить. Держал себя подполковник так же, как и другие преподаватели. Может, только шутил он реже других, и еще: даже когда отходил от своей темы, говорил обо всем серьезно и только самую суть.

— Даю вводную. Разыскивается вооруженный преступник, левша. Вы несете постовую службу в ночное время на улице. Навстречу вам движется прохожий, и вы принимаете решение проверить его документы. Действуйте!

Преподаватель сделал знак рукой, и маленький, юркий крепыш, сосед Денисова, выкатился на средину комнаты.

Денисов встретил «прохожего» под свисавшей с потолка лампой — так, чтобы самому оказаться в тени, предоставив освещенное место партнеру. Держался он левой стороны.

— Попрошу показать документы!

Задача не относилась к числу сложных: проверяя документы, нужно было следить за мелкими предметами, которые партнер быстро достает из карманов, и ско-

роговоркой называть их классу, демонстрируя остроту н цепкость зрення. Кроме того, Деннсов должеи был в случае иападення суметь отразнть его отрепетнроваиным болевым прнемом.

— Закоичнли! — в голосе подполковиика прозвучал особый командирскнй шик. — Деннсов, какие сигналы работинк мнлнцнн подает свистком?

— Трн основных сигнала...

Деинсову нравились н преподаватель и заиятия.

Здесь, в мнлнцнн, очень часто требовалось то, что в его прежней жнзни счнталось иенужным и даже иесерьезным, — вннмаине к вещам, не нмеющнм на первый взгляд ннкакого к тебе отношення.

«Не смотри по стороиам!», «Не отвлекайся!», «Заиимайся своим делом!» — все эти элементарые премудрости уважающего себя занятого человека ннчего ие зиачилн для тех, кто готовил себя к работе в мнлиции. Напротнв, здесь училн замечать и запомниать ие десяткн, а сотнн всякого рода «иенужиых» мелочей, потому что каждая из ннх могла в дальиейшем сыграть важную роль. И, вступая теперь в новый для себя мир, пока еще, правда, ие уголовного розыска, как мечталось, а только постовой службы, Деннсов чувствовал, что и сам иевольно становится другим — более сдержанным, вннмательным и дружелюбным по отношенню к людям, которые теперь будут под его опекой.

— Хорошо, Деннсов.

— Товарищ подполковннк, пусть Деннсов проверит мои документы! — Черкаев, однн нз «старнчков» взвода — тех, кто пришел в мнлнцню в зрелом возрасте, поднял руку.

Смуглый, словно только что с черноморского пляжа, Черкаев счнтался лучшнм в классе после Деннсова, был напорнст, умен, безукоризнеиио исполннтелен н словно рождеи для того, чтобы комаидовать и подчнняться, хотя «иа граждаике» пять лет проработал в таксомоторном парке, где особо строгих порядков ие было.

— Разрешаю, — сказал подполковннк.

И вот они встали друг перед другом — с внду узкоплечнй н худощавый, ио с крупиымн, привычнымн ко всякой тяжелой работе рукамн Деинсов н плотный, но верткий Черкаев.

Черкаев быстро протянул свое удостоверение, верхняя часть которого была закрыта вложеииой под слю-

дяную обложку запиской. Этого не положено было делать, но Денисов не мог тратить время на замечания: Черкаев показывал взводу содержимое своих карманов.

— Ключ, неполная пачка сигарет «Шипка», блокнот, — перечислял Денисов, уткнувшись в удостоверение, — коробка спичек, свисток, юбилейный рубль, брелочки, пуговица, карандаш...

Зная характер Черкаева, он готовился к защите, но и этот партнер не стал нападать.

— Все? — напряженно спросил Черкаев.

— Все...

— Посмотри, чье удостоверение!

Тишина вмиг сменилась взрывом смеха. Многие еще не поняли, в чем дело, но над промахом лучшего ученика смеются особенно охотно. На ладони Денисова лежало удостоверение милиционера, сидевшего за одним столом с Черкаевым. Предательский бумажный листок!

Смех стих не сразу.

— Люди смотрят, сыщики наблюдают, — сказал подполковник. Он сделал вид, будто не заметил уловки Черкаева. — Наблюдательному человеку на платформе не нужно расспрашивать, идет ли поезд, он это поймет по поведению окружающих, на какой путь принимают состав — подскажет суета носильщиков...

Оставшуюся часть урока Денисов внимательно слушал преподавателя, но чувство досады не оставляло его. Ребята иногда оборачивались в сторону Денисова, чтобы посмотреть, как он там после такого промаха. Черкаев тоже несколько раз обернулся: «Вот так-то, брат, знай наших!» Подполковник рассказывал о словесном портрете и особенностях носов и ушных раковин.

Перед окончанием занятий дверь класса тихо приотворилась. Подполковник кому-то кивнул, и в аудиторию вошел милицейский капитан в очках. Он чему-то улыбался, словно в коридоре, перед тем как войти в класс, услышал очень любопытную и смешную историю. Форма сидела на нем щегольски.

— Вы просили по мере возможности брать ваших слушателей на интересные мероприятия, — сказал капитан, — мы как раз едем на осмотр местности... Можем взять с собой одного хорошего парня, если у него острый глаз и он, конечно...

— ...конечно, внимательный и находчивый, — добавил преподаватель и обвел глазами аудиторию.

Денисов, не подымая головы, почувствовал, как уверенный и спокойный взгляд подполковника прошел над ним по направлению к углу, где сидел Черкаев, и заскользил обратно, никого не задев.

— Денисов, — подполковник поднес руку к своим рыжим, без единого седого волоса вискам, — вы поступаете в распоряжение капитана Кристинина. По возвращении доложите лично мне. Можете идти. Желаю успеха.

Покидая класс, Денисов скорее почувствовал, чем увидел, потускневшие глаза Черкаева и прямую, как доска, спину подполковника, отвернувшегося к окну.

— Задача, Денисов, несложная, — сказал капитан Кристинин, сидя за рулем новенькой песочного цвета «Волги», — мы должны с вами осмотреть небольшой безымянный овраг за городом. Преступник после кражи, по всей вероятности, бросил там «фомку».

— Очень хорошо. — В машине было душно, Денисов осторожно поправил воротник рубашки, но снять галстук и расстегнуть пуговицу не решился, хотя по летней форме это разрешалось.

— Мы в управлении переоденемся, — не отрывая глаз от дороги, сказал Кристинин.

— А преступник? — спросил Денисов. — Не ушел?

— Преступник задержан, кража была неделю назад.

Кристинин вел машину легко, с профессиональной небрежностью мастера, заканчивающего свою работу, и Денисов догадался, что ехать им осталось немного. Действительно, за Садовым кольцом они сделали несколько поворотов и остановились у большого серого дома.

В вестибюле к Кристинину подошли двое — полный пожилой с мешочками под глазами: «Старик», — сразу определил его Денисов, — и молодой парень. Оба были в живописных, выгоревших на солнце ковбойках.

— Позвольте представить друг другу, — церемонно и чуть насмешливо сказал Кристинин.

— Горбунов Михаил Иосифович, — назвался Старик.

— Лейтенант Губенко, — молодой чуть коснулся пальцами ладони Денисова и, продолжая прерванный разговор, сказал: — Вы, Михаил Иосифович, зря с ним

возитесь, он же вас форменным образом эксплуатировал. Я бы его в два дня отшил...

— Сейчас мы с вами переоденемся, — сказал Денисову Кристинин.

В это время стоявший у входа милиционер положил телефонную трубку на аппарат и негромко крикнул:

— Товарищ капитан, к дежурному!

— Меня? — переспросил Кристинин и поспешил к лестнице.

Привыкшие, видимо, ко всем неожиданностям своей службы Михаил Иосифович и Губенко продолжали разговаривать. С уходом капитана Денисов сразу почувствовал себя в управлении лишним.

Кристинин появился через несколько минут, и по его лицу Денисов понял: что-то произошло.

— Михаил Иосифович! — крикнул Кристинин прямо со ступеней. — Этот объявился!

Старик и Губенко разом обернулись.

— Сейчас едем! Я попросил только кое-что уточнить.

— Неплохо бы Удальцова взять! — встрепенулся Губенко. — Ну и силища у него! Или Спирина! Но лучше Удальцова.

Денисов второй раз в это утро молча ждал, пока другие решат его судьбу.

— Вот он поедет, — помолчав, сказал Кристинин и кивнул на Денисова. — Удальцов твой сегодня выходной, Спирин ушел в поликлинику. Про остальных ты знаешь, — он еще с секунду помолчал, — нет никого. Да и не требуется больше. Идите пока наверх, я скоро приду.

Губенко больше ничего не сказал. Он зачем-то покрутил тонкое обручальное кольцо, а затем как-то старчески переплел пальцы обеих рук, и они громко хрустнули. И в эту минуту Денисов понял, что будет участвовать не в очередном занятии на внимание, а в настоящей, может быть, даже серьезной и опасной операции.

Михаил Иосифович и Губенко поднялись на лестницу первыми, и Денисов увидел полную сутулую фигуру Старика. Горбунов шел быстрыми короткими шажками, прижав к туловищу пухлые руки. Ладони были смешно обращены назад.

Кристинина ждали долго. Он появился в кабинете только минут через двадцать и бросил на диван ворох одежды. Денисову досталась куртка из водоотталкивающей материи, когда-то белая или кремовая, с красным шерстяным воротником и такими же манжетами, серые джинсы с ржавыми наклепками и кеды, а Кристинин надел серый, изрядно потертый костюм и летние туфли с пряжками.

— Я попросил Ранжина, чтобы он одолжил нам сегодня свой «газик» вместе со всем его снаряжением, благо сегодня настоящие землемеры сидят на профсоюзной конференции. — В новом одеянии Кристинин выглядел старше, но так же щеголевато.

Смысл сказанного дошел до Денисова не сразу.

Покончив с переодеванием, Кристинин вытянулся в кресле и закурил. Денисов обратил внимание на то, что, затянувшись, Кристинин не относит сигарету в сторону, а лишь чуть приподымает ее над верхней губой, не отрывая большого пальца от подбородка, и на лице его, насмешливом и живом, проявляются признаки тщательно скрываемой тревоги и озабоченности.

— Значит, вы Денисов...

— Денисов Виктор Михайлович, товарищ капитан. — Денисов хотел встать.

— Сиди, сиди, Виктор Михайлович. Двадцать шесть лет?

— Двадцать семь.

— Двадцать семь лет, служил на флоте, вернулся на завод...

Денисов искоса взглянул на свой синий якорек на кисти.

— Потом решил пойти работать в милицию. Попал на учебные сборы. Ученик девятого или десятого класса школы рабочей молодежи?

— Десятого.

— А на заводе вы кем работали? — спросил Михаил Иосифович. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу, откинувшись всей спиной назад с каким-то особым стариковским чувством уюта. И был совершенно спокоен.

— Электриком, по шестому разряду. И на флоте тоже. Я на подводной лодке служил, на Севере.

— Вам о прнметах Новожнлова иа сборах рассказывалн?

И тут все трое впервые взглянули на Деинсова с интересом.

Значнт ои в группе, которая будет брать Новожнлова! Это уже ие заиятия, это то самое, иастоящее!

Қабииет, где онн сидели, был аккуратен и чнст. Сбоку от стола иа стеие внсела большая цветиая репродукция — рыжая глупая морда беигальского тигра с седыми усами.

За окиамн н стенами кабниета была жнзнь, здесь — ожндаиие.

— Скоро ои, товарищ майор? — спроснл Губенко у Мнханла Иоснфовича.

— Будем ждать звоика...

Зиачнт, Старик старше Крнстиннна по зваиню, но руководить операцней, по всему чувствовалось, назиачилн Крнстиинна. При этой мыслн Деннсова особеиио порадовало н то, что Крнстинии держался с ннм и с Губенко как с равиымн, а к Старнку обращался почтнтельио, как младший.

Позвоиили ие скоро — минут через двадцать. За это время Крнстнннн успел вычертить на листе бумагн план местности. В центре листа он нарнсовал квадрат, который должеи был обозначать дом, а справа волннстой линией определил граннцу леса.

— Расстояние от дома до леса по прямой сто метров.

Денисов перевел для себя — двенадцать-трииадцать секуид, — ио вслух ничего ие сказал.

Левую часть лнста Кристинин заполнил короткими черточками и написал «луг». Затем между домом и лесом ои изобразил машину и человечка с большой головой, длиииымн рукамн и короткими ножками, под которым размашнсто вывел: «Денисов». Еще через миииуту иа лугу появилнсь что-то отдалеиио иапоминающее теодолит, большой квадрат с подписью «Фуидамеит школы» и неподалеку трн человеческне фнгуркн.

— Нолик, точка, огуречнк, вот и вышел человечек, — удовлетворенио сказал Крнстннии.

Телефон здесь был с каким-то странным глухим звоиком, похожим иа жужжание осы.

— Кристнннн слушает...

Когда Кристинин положил трубку, телефон отозвался неожиданным мелодичным позваниванием.

— Ваше желание, лейтенант Губенко, руководством уголовного розыска удовлетворено, — сказал капитан. — Едем!

— Новожилов подонок, — сказал Михаил Иосифович, — абсолютное дерьмо.

— Ну и что? — спросил Губенко. — Зато у него пистолет!

— Определить правильно явление, — ответил Кристинин, — значит уже наполовину приблизиться к решению задачи. Потом ты тоже это поймешь. А теперь слушайте... С этой минуты мы с вами топографы. Полдня честно «вкалываем» на глазах у всех перед домом, потом, усталые, входим в дом и берем Новожилова... С пистолетом.

В переулке, неподалеку от здания управления, у забора стоял потрепанный зеленый «газик», затянутый брезентом, возле которого суетился длинный, как жердь, худой механик из гаража управления. Денисов это понял по его замасленному, когда-то серому форменному галстуку. Чуть поодаль, на двух положенных друг на друга кирпичах, сидел с хмурым видом шофер «газика». Кристинин ему сочувственно мигнул на свой манер — не улыбнувшись, на секунду зажмурив один глаз.

— Все есть, я проверял, — зачастил механик, — бензина достаточно, все инструменты на месте.

— Пора, — сказал Кристинин, садясь за руль рядом с Горбуновым.

Механику очень хотелось сказать им на дорогу что-то ободряюще-веселое, но он никак не мог найти нужных слов, и, пока он подыскивал их, вытирая масляные пальцы о спецовку, Кристинин, махнув рукой, плавно тронул машину с места.

Денисов и Губенко устроились в кузове. Между ними на полу стояли тяжелый деревянный ящик и ведро с картошкой. Под сиденьями громыхали лопаты, а наружу из-под задней брезентовой шторки кузова на полметра высовывалась длинная деревянная линейка с делениями.

— Теодолит, — ткнул Губенко ногой в ящик, — прибор такой для работ на местности.

— Знаю, — отозвался Денисов. Ему показалось, что лейтенант держится немного высокомерно.

По дороге капитан Кристинин и Михаил Иосифович разговаривали между собой, но Денисов не мог понять о чем.

— Архив Бабаты насчитывает тридцать пять документов, значительная часть которых в хорошем состоянии. Представляете, какая ценность. Договоры об аренде, наследственные документы...

Капитан понимающе кивнул.

— Мне как-то попался на глаза «Кумранский комментарий» в Ташкенте, — разговаривая со Стариком, Кристинин на время отставлял иронию, и в голосе его звучали почтительные нотки, — но я не рискнул купить — у вас он наверняка есть...

По его тону Денисов понял, что, несмотря на свой предпенсионный возраст, а может, благодаря ему, Горбунов в милиции человек очень уважаемый и нужный, и решил впредь более внимательно прислушиваться ко всему, что Старик будет говорить. Но вскоре ему это наскучило, и он вернулся к снаряжению топографической партии. Проверил, как открывается ящик с теодолитом, на всякий случай пощупал картошку в ведре, заглянул в висевшую на крючке сумку. Там лежали инструменты на все случаи жизни, и Денисов, как добрым знакомым, улыбнулся отвертке и кусачкам электромонтера, мотку изоляции и новеньким проводам.

Если в милиции Денисов стоял в самом начале высокой служебной лестницы, которая строго распределяла всех согласно образованию, авторитету и званию, то в жизни он давно уже не был новичком, и несоответствие его прежнего и нового положения мешало ему занять определенную позицию, отвечающую его жизненному опыту и умению.

«Всему свое время», — подумал Денисов. В это время Губенко поправил висевший под мышкой пистолет и посмотрел, не вырисовывается ли сквозь куртку очертание ствола.

Михаил Иосифович неторопливо рассказывал Кристинину все о том же археологическом архиве.

Денисов позавидовал этим двум людям. Позавидовал не их командирскому положению, не образованию, а чему-то такому, чего сам еще толком не понимал и

что сразу же отличало их от него, Денисова, и даже от бывалого Губенко.

Чем дальше они отъезжали от центра, от старых домов, тем выше поднимались крыши и все больше становилось подъемных кранов, блоков, плит и кирпичей по обе стороны шоссе. Потом город кончился. Дорога стала перерезать короткие перелески, маленькие лесные речушки, втягивавшиеся в широкие бетонные трубы под шоссе, как нитки в игольное ушко. Мелькнула кольцевая дорога внизу и красные стрелы, указывающие на аэропорт. Кристинин увозил их все дальше и дальше от Москвы.

У бензозаправочной станции Кристинин свернул на проселочную дорогу. Прохожих здесь не было, только один раз, недалеко от школы, встретилась группа старшеклассников с рюкзаками, и кто-то из них, увидев высовывавшуюся из кузова планку, крикнул вслед: «Привет топографии!»

— Привет, привет! — мрачно пробурчал Губенко.

Как ориентировался Кристинин среди переплетающихся проселочных дорог, было непонятно. Впереди тянулись березовые рощицы, дорога была ухабистая.

— Внимание, — обернулся Михаил Иосифович к Денисову и Губенко, — подъезжаем. Вон на краю леса тот самый дом, а ближе территория будущей школы-интерната.

Справа виднелась заросшая травой красная кирпичная кладка. Впереди, метрах в ста пятидесяти, стоял старый деревенский дом-пятистенок с колодцем у крыльца и зеленоватой жестяной крышей. Этот дом показался Денисову необычным и даже зловещим. У кирпичной кладки Кристинин затормозил.

Вдвоем с Михаилом Иосифовичем они вышли из машины, некоторое время постояли у фундамента и о чем-то поговорили. Потом Кристинин снова сел за руль, а майор стал рядом с ним на подножку, показывая рукой направление. «Газик» проехал еще метров семьдесят и остановился между домом и лесом.

Денисов и Губенко отстегнули брезентовую шторку сзади кузова и стали сгружать на землю лопаты, ящик с теодолитом и еще какие-то незнакомые Денисову механизмы. Кристинин снова слазил в кабину и достал тетрадочку и карандаш, а Михаил Иосифович, воспользовавшись свободной минутой, мгновенно скинул с себя

ковбойку вместе с майкой и бросился на траву спиной к дому: загорать.

Помня инструктаж, Денисов не смотрел на дом. Ни для него, ни для Губенко, предупредил Кристинин, этого дома в природе не существует, потому что иначе может получиться так, что все четверо, не сговариваясь, могут в одно и то же время из разных положений бросить взгляд на окна, и тогда там, в доме, все сразу станет ясно. И кроме того, Кристинин сказал, что непосредственного участия в захвате Новожилова Денисов принимать не должен.

Денисов прилег около машины, просматривая старую «Вечерку», подобранную им в кузове. Он понимал, что не должен браться за дело слишком рьяно. Иногда по зову Губенко Денисов вставал, вооружался лопатой и срывал какой-нибудь бугорок, на который указывал ему все тот же Губенко. Кристинин в это время смотрел в трубу и делал пометки в тетрадке, а Губенко ходил чуть поодаль с планкой. Михаил Иосифович несколько минут подремал, накинув себе на затылок носовой платок; потом встал и принялся помогать Кристинину.

Денисов опасался вначале, что работа, лишенная внутреннего смысла, подействует на них угнетающе, но, к счастью, у Кристинина был наготове целый арсенал анекдотов и шуток. Нервозность у Денисова прошла почти совсем, и ему стало весело, как перед экзаменом. Это было то неудержимо-заразительное веселье, которое может пройти неожиданным холодком по сердцу. Он копал землю, чинил Кристинину карандаш, носил за Губенко планку и вдруг был совершенно сражен одной короткой фразой, которую Михаил Иосифович между дел бросил Кристинину:

— Новожилов нас разгадал.

С того момента, как «топографы» расположились на лугу, хозяин дома, которого в деревне называли Лукоянычем, и его постоялец не отходили от окна.

— Наконец-то возьмутся за школу-интернат, — заметил по поводу «топографов» Лукояныч. — Оно бы хорошо!

Пенсионеру, бывшему бухгалтеру совхоза, живше-

му уже несколько лет бобылем на отшибе деревни, Лукояныч изрядно надоело однообразие его теперешней жизни, и он жаждал вокруг себя движения, суеты, какого-то действия. Его постоялец, приехавший на пару недель из Москвы, чтобы отдохнуть, подышать лесным воздухом после болезни, был настроен иначе. Он сумрачно наблюдал за работавшими, ни на секунду не выпуская из виду всех четверых.

— Детям будет неплохо, — продолжал Лукояныч, — речка рядом, лес тоже, земляника, грибы... Только дорогу подремонтировать. Интернату законно автобус положен, полуторка. Учителя бы в деревне молоко покупали, яйца. На два месяца и мне, пенсионеру, пойти в интернат поработать, — Лукояныч оглядел стены своего запущенного дома. Отсутствие хозяйки чувствовалось здесь в каждом углу, в сыром воздухе плохо проветриваемого помещения. Полы давно уже не подметались, со стен свешивались почерневшие провода, а стоявшая у окна металлическая кровать с панцирной сеткой была чуть прикрыта коротким фланелевым одеяльцем.

— Да, — пробурчал постоялец. — Будет дело...

Давая в управлении уничтожительную характеристику Новожилову, майор Горбунов был недалек от истины. Не в меру вспыльчивый, завистливый и недалекий, Новожилов жил в особом мирке, заполненном до краев извечной подозрительностью, опасениями, личными счетами и какой-то дремучей неосведомленностью обо всем, что находилось вне его узких мелочных интересов и забот. Поэтому даже в делах простых и понятных Новожилов постоянно попадал впросак, отчего его обычная неуравновешенность с годами становилась все заметнее для окружающих и принимала характер заболевания. Дерзкое ограбление, которое стоило жизни сторожу ювелирного магазина и за которое его теперь разыскивали, было, по существу, задумано другими, а Новожилов оказался втянутым в число участников, причем на главную роль. И теперь, вынужденный скрываться в глуши, не получая ни от кого ни помощи, ни поддержки, он проклинал и воров и милицию, а больше всего ту цепь случайных и неблагоприятных для него обстоятельств, которые приковывали его теперь к окну

дома Лукояныча и заставляли сжимать в руке старый и весьма ненадежный в этой ситуации «дамский» пистолет.

За свою достаточно неустроенную жизнь Новожилов имел немало возможностей следить издалека за работой и геологов, и геофизиков, и топографов. И все же, наблюдая за «работягами», возившимися у теодолита, он так и не мог понять, кто перед ним, и, повинуясь одному лишь инстинкту самосохранения, заранее решил, что перед ним именно те люди, встреча с которыми не сулит ему ничего хорошего.

— Сколько детей могут поместить в школу-интернат? — спросил Лукояныч. — Человек триста? Пятьсот?

— Интернат! Олень безмозглый... Здесь такой интернат начнется — только держись!

Лукояныч недоуменно посмотрел на своего обычно сдержанного и молчаливого постояльца и ничего не ответил.

Новожилов быстро прошел во вторую комнату, где жил сам Лукояныч. Отсюда к лесу выходили три окна, и дорога была недлинной, но между домом и лесом, у машины, прилег с газеткой парень в светлой куртке. Он, безусловно, сразу заметил бы Новожилова, если бы тот попытался вылезть из окна и бежать в лес. А к крыльцу все время было обращено лицо второго парня, переносившего планку. Бежать из дома невозможно.

Новожилов нервничал, одно предположение сменялось другим, противоположным, и на несколько секунд каждое из них поочередно казалось ему правильным и единственно верным.

Когда же они думают его брать? Видимо, под вечер. Закончат работу, невзначай подойдут к дому, попросят воды. Или останутся ночевать? А может, подойдут только двое, а остальные будут прикрывать путь к лесу и луг... Во всяком случае, парень у машины должен остаться, в дом пойдут другие. Тут сразу все и станет ясно. Стоп! Новожилов заметил, как парень в светлой куртке не торопясь пошел с лопатой к теодолиту, освобождая тем самым путь к лесу. Неужели в угрозыск нынче стали набирать дураков? А может, он, Новожилов, ошибается? Может, топографы, которые бродят

по лугу с рейкой, все-таки самые обыкновенные топографы?..

Нет, бежать опрометью в лес и тем самым выдавать себя ни к чему, решил Новожилов. Надо подождать.

Он отвернулся к стене, осторожно, чтобы не задеть свесившуюся к кровати электропроводку, достал из кармана свой маленький «баярд», загнал патрон в патронник и снова спрятал пистолет в карман.

Старый работник уголовного розыска, добрейший Михаил Иосифович только на секунду случайно встретился глазами с Новожиловым, но даже издалека, через стекло, ощутил его взгляд, тяжелый, неустойчивый, короткий, по которому в любой сутолоке, в самой многолюдной толпе сыщики и преступники на протяжении многих веков безошибочно узнают друг друга.

— Может, нам сегодня уехать? Приучить его к мысли, что на лугу ведутся работы, а завтра приехать опять и взять? — спросил Губенко с надеждой в голосе.

— Завтра можно и не приезжать — его не будет...

— Действовать надо так, как действовали бы на нашем месте все землемеры, — Кристинин быстро исписывал одну страницу своей «топографической» тетрадки за другой.

— Надо бы оттянуть Денисова от машины, — сказал Старик, — уйти далеко теперь Новожилов все равно не успеет — лес обложен. А эта классическая расстановка сил, за которую в Высшей школе поставили бы пятерку, может все испортить.

Они подождали, пока подойдет Денисов.

— Обычно, — Кристинин выпрямился и отер пот со лба, — настоящие землемеры, и геофизики, и просто нормальные люди в этот час думают об обеде. В нашем положении они командировали бы самого молодого для переговоров в ближайший дом, поставив перед ним ответственную задачу — сварить картошку. Понял, Виктор Михайлович?

Денисов кивнул.

— Чего мы этим добиваемся? Первое: ликвидируем пост у леса, чем вводим в недоумение гражданина Новожилова. Второе: предоставляем нашему молодому другу возможность ввести Новожилова в круг флотских и заводских новостей, что я, собственно, и имел в виду, пригласив Виктора Михайловича в эту поездку. И тре-

тье: мы получаем реальную возможность пообедать. Предварительно все остальные начинают оттягиваться с теодолитом на приличное расстояние от дома и от машины. Новожилов, друзья, он не дурак, он понимает, что мы не пошлем Денисова одного его арестовывать. Пока все. Иди, Виктор Михайлович, чисть картошку. И свободнее, расслабься!

— Хороший план, — сказал Губенко. Он первый двинулся с планкой подальше к лесу. Вслед за ним потянулись остальные.

Почистив картошку, Денисов пошел к дому, стараясь не смотреть на окна. Ведро в колодце оказалось погнутым и ржавым, а толстая цепь из фасонных звеньев напомнила Денисову о морской службе.

Он не спеша выправил смятое ведро, потом отпустил цепь. В это время на крыльце показался Лукояныч, который не сумел вовлечь своего постояльца в разговор о строительстве и поэтому никак не мог упустить нового собеседника. На старике была красная рубашка, заправленная в широкие, сантиметров сорок у обшлага, синие, с искоркой, брюки. В этом одеянии Лукояныч имел вид ухарский, даже, можно сказать, пижонский.

— Вот это да! — непроизвольно вырвалось у Денисова. Воспоминания о бухте, громыхание цепи и нелепый вид Лукояныча сделали больше, чем напутственная инструкция Кристинина «Расслабься!». Он словно вернулся к тем дням, когда был беззаботным и бойким матросом. — Где вы такие клеши отхватили, отец?

— Эти брюки, молодой человек, — с достоинством ответил бывший бухгалтер, — я купил одиннадцатого мая девятьсот сорок пятого года, на второй день окончания войны, во Львове. Материал стоил тогда по девятьсот рублей за метр. Это стопроцентная манчестерская шерсть. И сшил их львовский частник за две банки свиной тушенки.

— О-о-о! — удивился Денисов. — И не подумаешь! Такое впечатление, что настоящий флотский портной. Прекрасная вещь, слово! А мы тут картошку у вас не сварим?

— Сварить бы можно, — сказал Лукояныч, — да только печка с утра топлена, а электричество не работает. Все вызываю монтера, да он у нас человек непьющий...

— Это мы сделаем! — обрадовался Денисов. —

А ну-ка! Ведь я до этой чертовой рейки с полосками электриком был. Шестой разряд, слово!

Он прошел в дом впереди старика, краем глаза схватив всю запущенность обстановки, металлическую кровать с панцирной сеткой в углу и Новожилова, еще более низкорослого и плотного, чем Денисов представлял его себе по ориентировке. Новожилов стоял у окна, сунув правую руку в карман. Выражение лица у него было злое и раздраженное, и чувствовалось, что ему стоит много труда сдерживать себя.

— Здорово! — сказал Денисов.

Его интересовала только проводка.

Старый, со рваной обмоткой черный провод свисал со стены почти до кровати.

— Вот это проводочка! Подождите, изоляции притащу и отвертку.

Денисов выскочил из дома и быстро пошел к машине. У теодолита словно и не заметили его маневров. Вернувшись, он увидел маленькую шаткую лесенку. которую откуда-то притащил Лукояныч. Новожилов оставался в той же позе — насквозь фальшивой и вызывающей. Его так и подмывало на безрассудный шаг. Не хватало только привычного импульса. Новожилову нужна была ссора.

— Сначала проверим проводку, — сказал Денисов. Он заметил нетерпение Новожилова и теперь сразу почувствовал себя намного хитрее и спокойнее своего врага.

— Все-таки решили строить интернат? — спросил Лукояныч.

— Наверно, будут, раз нас пригнали.

— Беспокойная работа у вас.

— Зато деньги большие, — неожиданно охотно ввязался в разговор Новожилов, — форма хорошая, проезд бесплатный. Каждый год сапоги — год хромовые, год яловые... Две фуражки.

— Видишь ли, — Денисов пристроился на верхней перекладине лестницы, чуть в стороне от Новожилова и в то же время над ним и над кроватью. — Деньги не то чтобы большие. Так... А форму не дают. Может, раньше давали? Правда, когда на болоте работали, сапоги выдали на сезон. Потом забрали. А кто себе захотел оставить — деньги внес: стоимость минус амортизация. Полевые и командировочные — шиш, мы здесь на ночь

не остаемся. Ну, машина у нас своя, проезд бесплатный.

— Это мы знаем, товарнщ начальннк.

— Вот нменно, — не поняв, согласился Лукояныч, — без машнны вам нельзя.

— Я н на заводе неплохо зарабатывал, но не то... Днсцнплнна, мастер, наряды, а здесь — по деревням. Самн себе хозяева, — он подмнгнул Лукоянычу. — Ннчего, отец, сейчас свет будет и картошка тоже... Вот, скажем, на заводе координатно-расточных станков, в электроцехе, нмейте в внду, отец...

Деннсов рассказывал не спеша о хорошо знакомой ему жнзнн электроцеха н чувствовал, как в поведеннн Новожнлова появляются ноткн успокоення. Он уселся на кровать поглубже, так, что сетка под ннм прогнулась, однако руки из кармана не вынул. Как только Деиисов умолкал, Новожнлов снова начннал беспокоиться.

— Кроме того, электрнчество вообще штука опасная...

— Вам за то н деньгн платят, чтобы рисковалн, — Новожнлов сделал легкое двнжение рукой в кармане, — тут ведь раз — и вашнх нет!

— Это верно, — согласился Деннсов. Теперь ему было совершенно ясно, что, кроме навязчнвых и противоречивых подозреннй, у его нетерпелнвого, плохо владеющего собой протнвннка ннчего нет, н ему, Деннсову, следует только продолжать свою нгру, не допуская нн одной ошнбки. — Дело рнсковое, опасное... Мастер както говорнт: «В лнфте темно! Полезай после смены наверх, сменишь трансформатор!» Там трансформаторчнк стоял — трнста восемьдесят вольт на двенадцать. Сменнть — пара пустяков: напряженне отключнл, четыре ввнта отвннтнл, новый трансформатор подключнл, четыре винта завннтнл. Работы всего ннчего. А дело было в конце месяца, авральчнк. Лнфт без конца туда-сюда в работе. Мне бы действнтельно дождаться конца смены. А я на футбол спешу — «Торпедо» играет. «Сделаю под напряженнем!» Залез наверх, трансформатор снял — все хорошо. Стою на резиновой прокладке, держусь только за однн выход, не страшно. Ставлю новый трансформатор. Ну, низкнй конец сделал, берусь за высокий. Вдруг лнфт включнлн — а я, видно, задумался, что лн? — н щекой к железной стойке прнкоснулся. Тут

меня и приласкало. Как шибанет! Я через барьер — об стенку... И скорей снова к трансформатору. Как в драке: сначала даже не чувствуешь — ударили, а ты — опять в гущу! Законтачил второй конец, завинтил винты и вниз. Пошел умываться — шея не ворочается. И голова пустая, и на футбол неохота. Старым мастерам рассказал: они меня на кушетку — лежи! Потом в больницу — две недели отвалялся!

Рассказывая, Денисов нашел повреждение в проводке, оно оказалось близ кровати, на которой сидел Новожилов. Привычными, ловкими движениями Денисов зачистил один конец провода, бросил его вниз на спинку кровати и взялся за другой. Новожилов опасливо отодвинулся от шнура, вынул наконец руку из кармана и сел ближе к окну. Теперь он лишь искоса поглядывал на электрика, не упуская из виду топографов, которые все еще возились на лугу. Денисов был целиком поглощен возней со своим электричеством и что-то насвистывал. Потом он выпустил второй конец провода, и тот, упав, запутался в панцирной сетке. Бывший заводской электрик переставил лестницу и перешел к пробкам.

— Да, электрический ток — штука серьезная, — снова заговорил он, — а научно говоря, перемещение электрических зарядов в телах или в вакууме. Ты про электрический стул слыхал?

— Слыхал, — ответил постоялец и зябко передернул плечами. — Сразу насмерть или мучаешься?

«Да он же совсем-совсем темный! — подумал Денисов. — Рассказать кому-нибудь, не поверят!»

Новожилов покосился на почерневшие оголенные провода, лежавшие на кровати, и еще раз отодвинулся, лязгнув сеткой.

— Не двигайся, — сказал вдруг Денисов, сам изумившись странному звучанию своего голоса, — не двигайся, Новожилов, а то поверну сейчас пробку, и будет тебе электрическая кровать!

Рука Денисова застыла на белой фарфоровой пробке. Первым движением Новожилова было сунуть руку в карман за «баярдом». Направленное на него черное дуло было не так страшно — это в его жизни уже случалось. Но рука на белом кружке, на ярком белом кружке, сделанном из материала, чуждого обычному для Новожилова кругу вещей, оказывала гипнотически-

парализующее действие. Ои застыл, ожндая иеминуемого электрического удара.

— Отец, зовите работииков, — сказал Деннсов Лукоянычу, не вндя хозяина, но чувствуя поблизостн его ошеломленное, застывшее лнцо.

— Я сразу догадался, что он работник милицнн! — восхищенно рассказывал Крнстинину Лукояныч, когда Новожнлов и остальные были уже в машине. — Когда еще лестницу попросил! Я даже топор в дом прниес: если что, думаю, я этого постояльца по башке!

— Уж этого нельзя, — сказал Кристннин.

Он тоже, кружа по лугу с теодолнтом, почувствовал, что Денисов попытается взять Новожнлова в одиночку, и проклинал и свое вынужденное бездействие, н тот час, когда ему прншла в голову мысль взять на операцию милицнонера-иовичка, который смог бы внушить Новожнлову мысль, что перед ннм простые рабочие.

— Ну ладно, пусть Деннсов вам все поправнт в проводке. Мы подождем, — Кристнннн попрощался с хозяином н пошел к машнне.

Обратная дорога нз деревии показалась короче и быстрее утренней. Оперативннкн почти не разговарнвали между собой, ио Новожнлов ин на мииуту не умолкал: ругался н задевал и Деннсова, и Губенко, и Кристинина. Ои по-прежнему бессмыслеиио н глупо искал ссоры. А вот о том, что сторожа у магазина убнл не он, а сообщннки, Новожнлов не говорил, хотя это было бы единственной новостью, какую он мог сообщнть работннкам уголовного розыска.

На шоссе их встречал закрытый светло-зеленый фургон. Когда Новожнлова увезли, в «газике» стало тихо.

— Слушай, Деннсов, — спроснл Губенко, — ты после окончания сборов где будешь работать?

— В транспортной милицнн.

— Я поимаю, что в транспортной. А кем?

— Постовым мнлиционером.

— А в уголовный розыск тебя ие возьмут?

— Я же не кончал мнлицейской школы.

— Так! — Деинсов ие уловил в этом «так» особого сожалеиия.

Больше Губенко ни о чем не спрашивал. Простился он с Денисовым очень тепло, даже по-дружески. Кристинин высадил его из машины на Садовом кольце, у площади Маяковского.

Неприятный разговор произошел в кафе, куда они, переодевшись, зашли поужинать. Ослеплённый слегка крахмальной чистотой скатертей и хрустальным великолепием фужеров, Денисов подумал, что работники уголовного розыска хотят отметить свой успех. Может, даже он, Денисов, как удачливый дебютант, был обязан пригласить их сюда, но не догадался?

Но озабоченное, усталое лицо Кристинина отвергало мысль о празднестве и веселье. Они выпили молча.

— Я хочу тебе рассказать о гибели самолета... Это было в тридцать четвертом году. Ты слыхал о таком самолете — «Максим Горький»?

Нет, Денисову не приходилось о нем слышать, он и родился-то в сорок первом.

— Большой был самолет. Самый большой в мире. Восьмимоторный. И сейчас таких нет, восьмимоторных. В этом рейсе на самолете были ударники производства. Некоторые с детьми. Он совершал праздничный рейс, эскортируемый истребителями. И вот летчику одного истребителя пришла в голову мысль совершить мертвую петлю вокруг крыла самолета, несмотря на категорический приказ не совершать в полете никаких фигур высшего пилотажа. Выходя из петли, он врезался в крыло... Весь экипаж, женщины, дети... все погибли из-за недисциплинированности одного человека. Советую тебе сходить на Новодевичье кладбище. Там на стене можешь все прочесть.

Кристинин, не отрываясь, смотрел на Денисова. В нем не было ничего от насмешливого, немного снисходительного человека, к которому Денисов уже успел за день привыкнуть и привязаться.

— Ты подумал, что могло быть, если бы Новожилов застрелил тебя и ушел из дома с оружием? Что он еще мог натворить! Ведь терять ему было бы нечего.

Денисову уже не хотелось есть, и желал он теперь только одного: чтобы обед прошел быстрее. Но официант обслуживал не спеша, как будто специально испытывая Денисова, и даже дважды поменял вилки, найдя их недостаточно чистыми.

Когда обед закончился, Кристинин вызвал машину. Больше об операции никто не говорил, но Денисов все равно чувствовал себя отвратительно.

— Слышали, товарищ капитан, Новожилова поймали? — вихрастый молодой шофер радостно улыбнулся.

— Это вот он поймал, — без улыбки сказал Кристинин, кивнув головой на Денисова. Но шофер воспринял это как шутку, и, самое удивительное, Денисову слова капитана тоже показались шуткой.

Михаил Иосифович сидел молча, глядя на дорогу.

Изрядно надоевшее за время учебных сборов серое здание, мелькнувшее впереди, Денисов встретил с радостью. Он был рад, что возвращается к своим нетрудным и, в общем-то, интересным занятиям и вскоре окажется за надежной серой стеной, где никто не знает о том, что он натворил. После сборов он будет опять стоять на посту в зале транзитных пассажиров, и ему не придется решать такие головоломки, как сегодня.

Он уже принял эту успокоительную мысль, когда Кристинин, протянув ему через сиденье руку, сказал:

— А инспектор из тебя должен получиться толковый. Есть и решительность, и, главное, фантазия. Пока это у тебя не от знаний, а... от бога. Нужно, чтобы и от знаний и от опыта. Ну ладно. Спасибо, Денисов. Желаю успеха. Еще встретимся.

Сердце Денисова вдруг странно забилось. Он стоял, глядя, как разворачивается машина, как улыбается ему вихрастый шофер и медленно подымает ладонь Михаил Иосифович...

— Денисов, поздравляем!

— Телеграмма о задержании Новожилова уже пришла!

Его окружили друзья, каждому хотелось посмотреть, как выглядит человек, вернувшийся с опасной операции.

А Денисов, поднявшись на носки, долго смотрел вслед машине. Она была уже далеко, огоньки скрывались в сумраке, но Денисов не спешил уходить с этого места, где он расстался с работниками уголовного розыска, и больше всего ему хотелось задержать, остановить этот день, который не был похож ни на какие другие дни в его жизни.

Развод заступающих на смену милиционеров проходил по привычной жесткой схеме: сначала дежурный знакомил с оперативной обстановкой, потом ставил задачи, зачитывал свежие ориентировки и — «Встать! Принять посты!».

Служба наряда во многом зависела от поступивших за день ориентировок о преступлениях, их следовало записать и запомнить. Но сегодня ничего такого не было: сутки на вокзале и в городе прошли тихо.

— Фогеля пока не задержали, приметы вам известны, — только объявил дежурный и снова вернулся к задачам наряда.

Фогель был вором-рецидивистом, которого уже вторые сутки разыскивали работники МУРа.

Наконец — «Встать! Принять посты!».

Громко переговариваясь, милиционеры и в их числе Денисов потянулись по заснеженной платформе к зданию вокзала.

Денисов нес службу у автоматических камер хранения. Стальные ящики, поставленные друг на друга, отгораживали с трех сторон площадку в самой средние зала для транзитных пассажиров. Четвертой стеной служил ряд сдвинутых вместе высоких неуклюжих диванов.

Пассажиров в камере хранения было немного. Равномерным шагом Денисов несколько раз прошелся вдоль запертых ячеек и вернулся к выходу. Здесь его неожиданно окликнули.

От дверей навстречу Денисову шел капитан Кристинин, на ходу протирая платком запотевшие стекла очков. Из-за его спины дружески улыбался и кивал Денисову Михаил Иосифович Горбунов.

— Добро пожаловать! — Денисов поправил портупею и попятился, пропуская гостей из МУРа. — Фогеля еще не задержали?

— Если только в последние пять минут, — Кристинин снял шапку, надел очки и пригладил свою смоляную коротко стриженную, как после болезни, голову. — Поверь мне: нам еще придется немало с ним повозиться... Вокзалы, гостиницы, выставки... Я немного Фогеля знаю. В нем ни капли этого воровского тщеславия... —

Кристинин, похоже, продолжал прерванный разговор с Горбуновым.

Несмотря на поздний час, по всему огромному залу сновали люди, без устали хлопали узкими, словно обрезанными, крыльями автоматические справочные установки, монотонно бубнило радио. Массивные стеклянные двери размеренно-тяжело описывали свои стандартные полуокружности.

Пока Кристинин оглядывался по сторонам, к Денисову подошел старшина Ниязов. Майор Горбунов, не упускавший случая попрактиковаться в языковедении, обрадовался.

— Ассалом-алейкум, ака! Яхшимисыз?

Старшина улыбнулся и тоже что-то сказал по-узбекски.

— Интересно здесь дежурить? — отвлек внимание Денисова Кристинин. Это был его второй визит на вокзал за все время их знакомства.

— Не жалуюсь. Правда, такого, как тогда, — Денисов вспомнил свое знакомство с Кристининым, задержание Новожилова, — здесь не случается. Спокойнее. Но все-таки есть боле-мене... — Милиционер неожиданно поперхнулся: он больше всего боялся отпугнуть капитана каким-нибудь неправильно произнесенным словом или не так поставленным ударением. И вот, пожалуйста, это косноязычное «боле-мене»!

Но Кристинин словно не заметил.

— Надо уметь ждать. А пока тренируй глаз, набивай руку!

— В Ташкенте говорят «борвотман» — «я иду», — пояснил в это время старшина Горбунову, — в Наманган — «боруттиман»...

Долгий рабочий день майора Горбунова уже закончился, можно было и передохнуть, но он предпочел заехать вместе с Кристининым сюда, на вокзал, к «подшефному» милиционеру, обещавшему в недалеком будущем вырасти в талантливого оперативного работника.

Со вновь прибывшей электрички через входную дверь к буфету выплеснуло очередную жидкую порцию пассажиров.

— Дорогу дайте! — еще издалека крикнула им буфетчица: две посудомойки в мятых халатах несли низ-

ко, над самым полом, блестящий никелированный термос с кофе. — И мелочь готовьте, сдачи нет!

Впереди, у двери, мелькнули брезентовые кобуры инкассаторов.

— По нашим подсчетам, деньги у Фогеля кончились дня три-четыре назад, до прибытия в Москву, — говорил Кристинин Денисову, — как мне кажется, занять ему негде, остается только украсть. Причем украдет он в первый раз не особенно много — ты потом сам убедишься, — чтобы не привлечь к себе внимания. Сейчас надо быстро раскрывать все мелкие кражи! — Кристинин вдруг засмеялся и потянул Денисова за рукав. — Да что я о Фогеле да о Фогеле! Колоритные типажи встречаются на вокзалах! Так карандаш и просится в руку.

Под потолком, жужжа, разгоралась еще одна лампа дневного света. В камере хранения стало светлее.

Кристинин продолжал рассматривать пассажиров.

— Обратите внимание, Михаил Иосифович, на пассажирку у входа! Какое умное, грустное лицо! Кто она? Откуда едет? Зачем? А? Засекаем время на обдумывание. Пять... Четыре... Товарищ Денисов! Ваше слово!

Денисов посмотрел на девушку, о которой говорил Кристинин, и не заметил в ней ничего особенного, кроме того, что была она голубоглазая и полная, в выцветшем тонком пальто и коротких войлочных полусапожках. Вещей при ней не было. Денисов присмотрелся внимательней.

— Пожалуйста... Она приезжая, с Украины или Донбасса. Волнуется, потому что кого-то ждет. Указательный палец на левой руке порезан, — Денисов мысленно обошел круг привычных профессий, — думаю, она работает продавцом в гастрономическом отделе...

Кристинин засмеялся.

— Михаил Иосифович, могли бы вы что-нибудь добавить?

Майор Горбунов был из тех легких характером людей, которых в любом возрасте можно втянуть и в безобидную мальчишескую игру, и в тяжелую, связанную с опасностью работу. Он на минуту задумался, сжав пухлые пальцы в замок.

— Ну, во-первых, потому что она стоит у камеры хранения без вещей, ее вещи лежат в одном из этих

ящиков. Она кого-то ждет, чтобы получить вещи и уехать. Ее волнение связано с этим опаздывающим человеком. Что касается ее профессии, то я склонен думать, что она закончила недавно гуманитарный вуз. А ваше мнение, Кристинин?

Прежде чем ответить, Кристинин по привычке круто пригладил ладонью виски и затылок, с секунду, не мигая, смотрел на девушку, потом отвел глаза.

— Что-то сегодня не получается. Впрочем, одно из преимуществ оперативника перед другими психологами, практикующими на вокзалах, состоит в том, что они легко могут проверить результаты наблюдений своих более проницательных друзей! — Он приблизился к девушке. — Извините, здесь есть свободный стул, и мы с удовольствием вам его предлагаем.

Пассажирка удивленно посмотрела на Кристинина, потом перевела взгляд на Горбунова и Денисова.

— Спасибо, — она улыбнулась, — но я боюсь пропустить своих знакомых! — Горбунов незаметно ткнул Денисова кулаком в бок. — Вместе положили вещи в камеру хранения, а потом потеряли друг друга...

Денисов оставил обоих инспекторов и прошел вдоль камер хранения. В узком проходе пассажиров почти не было: первый утренний поезд уходил через пять часов.

«Сейчас полы начнут мыть!» — подумал Денисов, возвращаясь, и тут же, как по волшебству, в дальнем конце зала надрывно завыл горластый поломоечный комбайн.

— ...Модельеры-художники решают десятки вопросов, — рассказывала девушка, обращаясь преимущественно к Кристинину. Ее красивая большая голова возвышалась над кургузым легким пальтишком. — Может, вы видели в магазинах куклу «Шагающая Маша» — белая пачка, белая блузка, пришивной парик? Это наша работа...

— А как вы палец порезали? — спросил Денисов.

Вопрос прозвучал бесцеремонно, Денисов от неловкости покраснел.

— Это я сыр резала. Тупым ножом...

— Теперь расскажите, как вы потеряли друг друга, — попросил Кристинин.

— Прибежали в кинотеатр перед самым началом

последнего сеанса. Я говорила им: «Мальчики, незачем ехать, все равно не успеем!» А они: «В честь знакомства! Как это, в Москве были и никуда не попали?» Мои вещи и свою сумку — в девятую ячейку и бегом! Я даже шифра не записала. В метро, потом на трамвай. Билеты купили с рук и все в разных концах зала! После сеанса я вышла на улицу: их нет! Ну, и сюда поехала... А может, они и сейчас меня там ждут?

— В каком вы кинотеатре были? — спросил Горбунов.

— В «Алмазе»... Я, пожалуй, еще к метро подойду, может, они там? — девушка невесело улыбнулась и медленно пошла к выходу.

— Ну, что ты еще добавишь к ее психологическому портрету? — спросил Кристинин у Денисова.

Денисов пожал плечами.

— Смелее. Отвечай: у нас из камеры хранения часа три тому назад были украдены вещи одной симпатичной девушки, — вмешался Горбунов.

— Я так и подумал, — кивнул головой Денисов, — от вокзала до «Алмаза» идет трамвай, и никто из москвичей не поедет сначала на метро, а потом на трамвае. Ее просто хотели запутать, чтобы она не сразу потом вернулась на вокзал.

— Девушка сказала, что вещи в девятой ячейке? — В глазах у Кристинина зажегся нетерпеливый огонек.

— В девятой, — кивнул Горбунов.

Неразговорчивый молодой человек с тонкими рыжеватыми усиками — дежурный механик, — посвистывая, быстро вывернул контрольный винт. Из стальной ячейки раздался резкий дребезжащий зуммер.

— Вот именно, — сказал Кристинин. В ячейке лежала расползшаяся по дну ящика красная авоська со свертками, сверху пара огромных подшитых валенок, — закрывайте. Нужно объявить по радио, чтобы пассажир, положивший вещи в эту ячейку, подошел сюда.

Механик поставил на место винт, отошел в сторону и скрестил руки на груди: он был по специальности техником-конструктором и работал на вокзале по совместительству.

— Спасибо. Можете идти, — сказал ему Кристи-

ии. — А ты, Денисов, найди старшину. Михаил Иосифович обо всем подробно расспросит потерпевшую...

Несколько минут, пока радио разносило по залу: «Пассажир, положивший вещи в ячейку номер... Вас просят...», работники МУРа стояли молча. Девушка, видимо, все еще дежурила у метро, Горбунов пошел ей навстречу. Еще несколько пассажиров с чемоданами вошли в камеру хранения, прежде чем в узком проходе показалась обвязанная шерстяным платком высокая женщина, недовольная и заспанная. Шаркая комнатными туфлями по кафелю, она подошла к ячейке и дернула ручку.

— Что там насчет девятой? По радио вызывали... — обратилась она к Кристинину, стоявшему у ячейки.

— Все в порядке, — сказал Кристинин, — только ответьте на несколько вопросов, вы недавно клали вещи?

— Ну да, недавно! — у нее оказался самый низкий и редкий из женских голосов — контральто. — Еще десяти не было!

— Скажите, ячейка была пустой?

— Ну да, пустой! Минут двадцать ждала, пока освободилась!

— За вещами к ячейке подходили два пассажира?

— Вот еще — два! Один был, а второй уж потом подошел!

О чем бы Кристинин ни спрашивал, его собеседница начинала с отрицания. Тогда он переменил тактику.

— Они между собой не разговаривали?

Женщина чутко среагировала, поэтому облекла свое несогласие в новую форму.

— А чего им разговаривать?! — спросила она. — Взяли и пошли!

— Вы с ними рядом не стояли? Какие они из себя?

— А где же мне стоять? Не для того я ждала! Какие из себя?! Мне их рассматривать некогда! Какие вопросы задают!

— В соседнюю ячейку кто-нибудь в это время не укладывал вещи?

Она на секунду задумалась.

— Мужчина был. Напротив меня сейчас сидит на диване. Бородатый, таких я называю тунеядец! — И тут

же, словно спохватившись, добавила: — А почему ему не класть! Вот еще! — Ей словно нравилась эта игра.

— Покажите его милиционеру, — сказал Кристинин, кивая на Денисова. — Спасибо за подробную информацию.

У мужчины, которого через несколько минут привел Денисов, было тонкое лицо, тонкий с горбинкой нос и великолепные черные баки, переходившие на подбородке в курчавую мефистофельскую бородку. С Кристининым они нашли общий язык с полуслова.

— Видел, — сказал бородач, — двое. Взяли из девятой ячейки чемодан и сумку. Молодые симпатичные ребята.

— Вы случайно не слышали, о чем они говорили?

— Две реплики. Первая: «На такси или трамваем?» Вторая: «На трамвае, сойдем перед мостом». Они украли вещи?

— Да.

— Может, помочь запрограммировать?

— Спасибо. У нас еще нет такой машины.

— Тогда я вам сочувствую...

Большие вокзальные часы показывали пять минут второго. Шум в зале понемногу стихал. Наметанным глазом Кристинин уловил изменение в расстановке постовых. Один из них оттянулся к самому выходу и теперь стоял почти в дверях, внимательно оглядывая каждого пассажира.

Издалека прямо к Денисову и Кристинину направлялся старшина, что-то на ходу рассказывая невысокому чернявому человеку в запорошенном снегом демисезонном пальто и меховой финской кепке.

При виде его Денисов встревожился.

Знакомый со всеми скрытыми от непосвященных тонкостями и пружинами милицейского действования Кристинин с интересом следил за инспектором.

— Меньше посторонними разговорами надо отвлекаться, — сказал человек в финской кепке, не здороваясь, вскользь стрельнув глазами в Кристинина, — теперь вот бегай и ищи неизвестно кого!

— Это в дневную смену случилось, — сокрушенно вздохнул старшина, — не везет Мотину...

— Вот когда задержим, тогда точно узнаем, в чью смену! Потерпевшую направьте в отдел! — Оператив-

ный работник вокзала намеренно игнорировал присутствие Кристинина, которому не был подчинен. — А его, — он кивнул на Денисова, — на всякий случай переоденьте, будет тоже искать! Ведь сколько предупреждаешь на разводах, чтобы внимательнее...

— Ну и ну! — покачал головою Кристинин, когда инспектор ушел. — Кто это?

— Капитан Блохин, — старшина помедлил. — Иди, Денисов, в общежитие, переоденься!

— Ну, я пошел, — смущенно попрощался Денисов, — желаю вам поскорее разыскать Фогеля! Извините, что так все получилось...

Кристинин рассеянно наблюдал за поломоечным комбайном, с ревом приближавшимся к автоматической камере хранения. Им управляла энергичная женщина в комбинезоне, две другие ей помогали. Пассажиры стали поднимать вещи, освобождая проход. Женщины спешили. В жестких щетках поломоечного агрегата беззвучно прыгал и вертелся пустой бумажный стаканчик.

У входа в зал показались Горбунов и уже знакомая Кристинину девушка. Майор что-то ей объяснял, растерянно разводя руками...

Вернувшись через двадцать минут к камерам хранения, Денисов снова увидел Кристинина и Горбунова. Они и не думали уходить.

— Поедешь с работниками МУРа, — сказал Денисову старшина, — есть одна зацепка, проверите. Может, найдем вещи!

Пока они были на вокзале, на улице потеплело и пошел снег. Вокруг почти ничего не было видно от стремительно налетавших белых шквалов. И все-таки здесь дышалось легче, чем на вокзале. И было тише.

— Может, вам лучше отдохнуть? — спросил Денисов. — Вы ведь с самого утра! И завтра опять весь день мотаться по городу!

Кристинин ничего не ответил. Денисов был молод и еще не знал всех тонкостей профессиональной этики. Горбунов несильно смазал Денисова рукой по шапке.

В машине Кристинин включил внутренний свет, достал карту Москвы и расстелил рядом с собою на переднем сиденье. Майор Горбунов и Денисов расположились сзади.

— Место, куда стремились уехать преступники, должно находиться недалеко от какого-то моста, до него можно доехать трамваем, — Кристинин снова стянул с головы шапку, — смотрим трамваи: третий, тридцать восьмой, тридцать девятый, «А»... Мосты: Краснохолмский, Устьинский, Автозаводской...

— Краснохолмский отпадает, — сказал Денисов, — до него от вокзала рукой подать! Ясно, что они не взяли бы такси на такое расстояние! И для таксиста подозрительно.

— Дальние мосты тоже отпадают — на трамвае они туда не поедут!

Горбунов перегнулся через спинку сиденья и включил радио. По УКВ шел репортаж с первенства Европы по фигурному катанию, предназначенный для телезрителей.

— ...Наша замечательная пара Людмила Пахомова и Александр Горшков заканчивают катание! Мы с вами! — донеслось из шума атмосферных разрядов. — Мы с вами, Людмила и Александр, все, все, без исключения, кто сейчас смотрит нашу передачу...

— Путь к мосту должен быть простым, — продолжал Кристинин, — простым и не очень далеким, чтобы на трамвае было даже удобнее, чем на такси, с учетом одностороннего движения...

— Еще минуточку, — ни к кому не обращаясь, попросил Горбунов, — сейчас объявят очки!

— ...Английская пара Таулер — Форд прима-танцоры, но только танцоры, исполнители, но не создатели...

Внезапно наступила пауза, пронизанная ветрами и хрипотой.

— Надо же в такой момент. Ну ладно, — майор махнул рукой, и Кристинин, словно только дожидавшийся этой секунды, без сожаления нажал на клавиш радиоприемника. Свист и дыхание космоса сразу исчезли, в машине стало тихо.

— Я вижу только один такой мост — Автозаводской. К нему от вокзала идут два трамвая, и оба кратчайшим путем. Если же ехать к мосту на машине, то надо сначала выехать на Садовое кольцо, к метро «Добрынинская», оттуда на Тульскую. Сейчас проверим еще одну деталь, — Кристинин поискал глазами по карте, — ну

да, и «Алмаз», в общем-то, недалеко. Район им знакомый.

— Я думаю, что нужно связаться с трамвайным депо. Пассажиров вечером на этих линиях негусто, — Горбунов откинулся к спинке сиденья, азарт спортивного болельщика в нем утих, он лишь похрустывал костяшками пальцев.

— Может, водители трамваев кого-нибудь вспомнят? Молодые веселые ребята с чемоданом и сумкой — это уже немало!

— Согласен, — Кристинин включил зажигание, и еще несколько минут, пока мотор прогрелся, они сидели молча, наблюдая, как оконные «дворники» медленно и неловко царапают ледяные наросты на стеклах. Потом Кристинин плавно тронул машину с места.

В белой пелене ехать пришлось осторожно.

— А нет сведений, что Фогель пытался выбраться из Москвы? — Денисову хотелось быть чем-то полезным. — Если так, то самое главное сейчас — вокзалы!

— Трудно сказать, — отозвался Горбунов.

Майор объяснил Денисову, что ни он, ни Кристинин не руководят розыском Фогеля, а включены в оперативную группу как сотрудники, знающие его в лицо. Словесный портрет Фогеля, в котором чаще других признаков в разных сочетаниях варьировалось слово «средний», нельзя было назвать особенно запоминающимся, а фотографии Фогеля должны были поступить сегодня ночью.

— Вот и приходится пока разыскивать силами тех, кто его знал раньше, — закончил Горбунов, — дело не очень рациональное...

— Я давно говорю: надо, чтобы портрет по возможности был художественным, — вмешался Кристинин, — помните, у Гоголя Ноздрев — среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами. Свеж как кровь с молоком! Любо-дорого искать! Или Ионыч Чехова — полный, ожиревший, тяжело дышит, ходит, откинув голову назад, оттого, что горло заплыло жиром, голос тонкий и резкий... Так и видишь!

У трамвайного парка Кристинин затормозил.

Майор Горбунов поднял воротник.

— Я буду у диспетчера. Звоните.

— Там у них буфет есть ночной, — не обернувшись, сказал Кристинин, — и кофе всегда черный.

Когда они выехали на Серпуховский вал, снежный вихрь изменил направление и бил в лобовое стекло. Ветер заметно усилился, и несшиеся на большой скорости снежинки казались тонкими белыми пиками, летевшими в машину. На тротуарах прохожих не было.

— Я люблю жару, — неожиданно признался Кристинин, снимая руку с руля, чтобы еще туже перехватить на горле кашне, — и хотел бы оказаться сейчас где-нибудь на полустанке в жаркий летний день. Чтобы нагретые на солнце рельсы. Тишина. А рядом какое-то картофелехранилище, в лопухах по самую крышу... Знаешь, такое округлое, смоляное.

— И длинный грузовой состав ждет встречи со скорым, — попытался дофантазировать Денисов, — и речка впереди с деревянным мостом.

Оставаясь один на один с Кристининым, Денисов чувствовал себя свободнее, и ему даже казалось, что он понимает капитана: был Кристинин в чем-то похож на командира подводной лодки, с которым три года ходил Денисов на Севере. Но появлялся майор Горбунов, говорил об устройстве играющих в шахматы машин, о раскопках и древних рукописях, корнях незнакомых слов и выставках, и оказывалось, что у Кристинина в жизни есть что-то еще, чего не было ни у командира подлодки, ни у Денисова.

— Я хочу спросить вас, товарищ капитан, вы сначала тоже были постовым? До того, как попали в уголовный розыск?

Кристинин помолчал, прикуривая.

— Нет. Это длинная история. После университета я несколько лет работал адвокатом, потом следователем... Собственно, у меня была такая программа...

— А на моем месте какую бы вы избрали программу?

— Осенью ты пойдешь в юридический институт? Это хорошо. А сейчас? — он помедлил. — Что можно сказать о поезде, зная только его номер? А как делят между собою вагоны носильщики? Смог бы ты рассказать мне про путь, который проделывает выброшенный на вокзале клочок бумаги? Когда и кто перенесет его из урны в контейнер, как он окажется на заднем дворе, а потом на городской свалке?! В каком месте на вок-

зале проходит теплоцентраль и где можно ночью отсидеться в тепле? Ты все это знаешь?

— По правде говоря, я не думал об этом...

— Ты должен знать по возможности все и обо всем... Постой, мы, кажется, приехали...

Автозаводский мост был широк, пуст и бел. Снежный буран утих.

— «Иди туда, не знаю куда, принеси мне то, не знаю что», — сказал Кристинин, выходя из машины, — такова задача, и все же работник розыска обязан надеяться на успех, разыскивая неизвестно кого, без фамилии и адреса, ночью, на незнакомом безлюдном мосту.

— В таких случаях я обычно нахожу большую котельную, — поделился своим скромным опытом Денисов, — там собираются кочегары из окрестных маленьких, курят, калякают...

Тем не менее в котельной, которую они разыскали, никого не было.

— Видно, здешний кочегар вынужден сам ходить в гости.

Напротив котельной, в проходной маленького заводика, Денисов заметил огонек. Денисов постучал в дверь, пригнулся к маленькому окошечку, но никого не увидел. Тогда он снова постучал в дверь и, сложив ладони рупором, крикнул:

— Ми-ли-ци-я!

— Я и смотрю: никак милиция! — тотчас послышалось под самой дверью. На пороге проходной показалась маленькая сухонькая старушка с вязаньем в руках. В ногах у сторожихи кружился и косо посматривал на пришельцев грязноватый щенок.

— Вечер добрый! Вот и внучку теплые носки! — поздоровался Денисов, кивая головой на вязанье. — Такое дело, мамаша... Не видели, часов в десять-одиннадцать никто по переулку не проходил с чемоданами?

Старушка забеспокоилась и отложила вязанье.

— Не проходил, сынок. С чемоданами никто. В десять милиционер как раз приходил, Вася. Он у клуба «Коммуны» дежурит. У него тоже неприятность вышла. Только он ко мне зашел, и проверяющий — шасть! А Вася чай пьет. Вот из этого стакана. Уж как просил Вася не записывать его в книжку! Да разве уговоришь? Прямо беда! А так никто не проходил...

Когда они вышли на улицу, Денисов сказал:

— Я напрямик пойду к клубу, — он как-то странно, плечами поддернул пальто, — а вам придется вон там разворачиваться!

Кристинин заметил, что Денисов носит пальто, застегивая его не на первую, а только на вторую пуговицу, и притягивает ее вверх, к подбородку. Поэтому поднятый воротник топорщится у него на спине, чуть повыше лопаток, и весь вид Денисова от этого какой-то очень решительный и спортивный.

Подождав за рулем, пока загорится зеленый огонек светофора, Кристинин сделал запланированный Денисовым разворот по широкой пустой улице. Денисова и милиционера Васю он нашел недалеко от клуба, у овощного магазина. Через дорогу со стороны моста к ним подошел еще один постовой, неизвестно каким путем узнавший о постигшей Васю неприятности.

Прошелестел шинами экспресс к последнему отправляющемуся из Домодедова рейсовому самолету на Читу. Ночная жизнь шла по своим обычным ночным законам.

— Я видел двоих с чемоданом, — рассказал Денисову Вася, — примерно в двадцать два. Мне с трамвайной остановки хорошо было видно... По Холодильному переулку пошли, должно, в дом три. Из остальных уж всех выселили: на снос готовят! — Вася был юн, но широк и тяжел телом. — И как это меня в проходную занесло!

Он снова переживал свои служебные неприятности.

— Если бы ты нам преступников нашел, тебе сегодня бы все простилось, — сказал Денисов.

Из автомата Кристинин позвонил в трамвайный парк Горбунову.

— Пока ничего обнадеживающего, — вздохнул Горбунов, — правда, с двумя вроде подходящими водителями мне еще поговорить не удалось. А у вас что?

— Сейчас проверим один адрес. На завтра ничего не отменяется?

— Все остается в силе. Только мы с вами опять поедем в гостиничный комплекс «Останкино». В Домодедово едет Губенко.

— Неплохо! Вы не предложили искать этого типа на симпозиуме?

— Нет.

— Ну пока!

Снова проехав к мосту, они свернули на трамвайные пути и двинулись в обратную сторону.

— Кажется, это и есть Холодильный переулок! — наконец неуверенно сказал Денисов. — Нумерация домов идет к мосту.

Кристинин затормозил машину у высокого, выложенного белым кирпичом корпуса какой-то большой фабрики. Напротив тесно, плечом к плечу, ютились маленькие домики приговоренного к сносу квартала.

— Слышите? — спросил вдруг Денисов. Он снял шапку. Где-то недалеко, несмотря на поздний час, играла радиола.

— Я оставлю машину здесь, у фабрики. Пошли.

Третьим оказался старый кирпичный дом, высившийся темным прямоугольником рядом с трамвайной остановкой. Мощные звуки радиолы неслись с верхнего этажа.

— Зайдем, — сказал Кристинин, — поговорим с жильцами.

Парадный ход оказался грубо заколоченным толстыми досками, входить пришлось со двора. Изнутри дом выглядел еще более старым, со следами многократных конструктивных переделок. В поисках лестницы Кристинин и Денисов некоторое время плутали в узких полутемных коридорах первого этажа, то и дело попадая в большие притихшие коммунальные кухни, двигаясь почти на ощупь мимо не прекращавших ни на минуту свое угрюмое бурчание туалетов и старых, изъеденных коррозией, слезящихся труб.

Наконец они обнаружили лестницу и поднялись по ней на третий этаж. Радиола играла где-то совсем близко.

На лестничной площадке разговаривали двое парней. Увидев высокую худощавую фигуру Кристинина, его узкое бледное лицо, один из парней прервал себя на полуслове, отбросил в сторону сигарету и, внезапно обеспокоившись, пошел навстречу. На парне был строгий черный костюм, белая нейлоновая сорочка и черный галстук-«бабочка».

— Поздравляю вас с большим чудесным днем, — серьезно сказал ему Кристинин, — мы хотели...

Но парень его не слышал. У него было скуластое длинное лицо и длинные руки, в которых чувствовалась

тяжесть выпитого за вечер алкоголя. Его руки тосковали теперь по крепким мужским пожатиям, жаждали работы или игры и с самого начала показались Кристинину чем-то враждебными, как всякая сила, грозившая выскользнуть из подчинения разуму.

Парень крепко пожал ладонь Кристинина.

— У нас с вечера два баяна были, гитара! Что же вы?!

Из-за обитой коленкором двери на его голос выглянуло несколько любопытных. Сжав локти вновь прибывших требовательными мускулистыми пальцами, парень повел Кристинина и Денисова к двери.

— Ася! Асенька!

Тоненькая девушка в белой фате смущенно вышла в коридор.

— Я говорил, что придут! Пусть поздно, но все равно придут! Начальство всегда задерживается. Штрафную!

— Штрафную! Штрафную! — подхватила вслед за женихом появившаяся из комнаты маленькая круглая женщина с металлической брошью величиной с небольшое блюдце на груди и длинными, раскачивающимися на цепочках серьгами.

— Будем знакомы, — сказала она, — Толина сестра, Анна Ивановна. Можно Аня... Спасибо, что вы Толю вспоминаете не только на производстве... Он рассказывал...

Хозяева, разгоряченные вином и музыкой, заставили Кристинина и Денисова раздеться. Невеста и Анна Ивановна скрылись в кухне. Жених снова стиснул Денисову локоть, другой рукой еще крепче обнял Кристинина.

Так, все трое, теснясь и уступая дорогу друг другу, они вступили на мягкий пушистый ковер, расстеленный в комнате.

— Знакомьтесь! — ухнул жених с порога. — Это с Асиной работы.

Кристинин взглянул перед собой и вдруг почувствовал, что его холодный еще с мороза лоб покрылся испариной.

Прямо перед ним по ту сторону стола сидел среди других гостей полный, крепкий мужчина. Осторожно, чтобы не закапать скатерть, он сосал мятый соленый помидор. Увидев Кристинина, мужчина замер и хотел

подняться. Но Кристинни, энергичио подталкиваемый женнхом, был уже в дальием углу комнаты, у окна, и теперь двнгался вдоль стола, поочередио протягивая руку каждому нз гостей.

— Крнстинни, Кристииии... — Тревожиое предчувствне опасностн уже разлнлось по всему телу, но внешне он ннкак не нзменнлся, только голос зазвучал мягче и глуше, чем обычно, и все его двнження тоже словио сталн мягче н пластичнее. Кристннин любил рнск, и единственное, о чем он жалел в эту мннуту, было отсутствне Горбунова, которому ничего не надо было рассказывать н объяснять.

Гостн поочередно вставалн, дружелюбно заглядывая Крнстнннну в лнцо. Крнстннин первым подал руку плотному крепышу.

— Борис, — буркнул крепыш.

По паспорту он значнлся Вячеславом Ивановнчем Романовым. Фогель была его кличка.

Крнстнннна усадили во главе стола по левую руку от жениха. Справа иаискосок через стол сндел Фогель, а Деннсова, как младшего по возрасту, прнстронлн в углу стола, кое-как втиснув между стульямн прннесенный для него из кухии табурет. Крнстнннн не успел даже обменяться взглядом со свонм помощником.

Женнх дал команду разлить внно н самолнчио наполннл рюмку Крнстннина бесцветной жидкостью, в которой болотиой ряской плавали мелко нссеченные лнмонные коркн.

— За всех прнсутствующих! — провозгласил жених н опрокннул стопку в рот. Потом ои, ие закусывая, иалил себе еще и, держа стопку в руке, вышел из-за стола. Невеста тревожио следнла за ним. Расплескивая внно, жеинх потрепал свободной рукой кого-то из гостей по плечу, расцеловался с сестрой, мимоходом чокнулся с Фогелем и вериулся на место.

Большне стеииые часы показывали конец третьего часа.

Положение, в котором находнлся Крнстнннн, было не нз лучшнх. За окном, которое казалось совсем маленьким от завалнвшнх подокоииик подарков — каких-то кофточек, блузок, тарелок, даже нгрушек, из горы свертков торчала голова куклы, — рассвет и ие думал иачинаться.

Кристинин сидел на виду у всех, никому не известный, кроме Фогеля, отрезанный длинным рядом гостей от двери и от Денисова. Все остальные гости знали друг друга или успели уже освоиться и подружиться. За столом могли находиться и дружки Фогеля, готовые в любую минуту прийти ему на помощь. Поэтому любая попытка арестовать Фогеля здесь, в этой комнате, ночью, среди незнакомых Кристинину нетрезвых людей, могла закончиться дракой, которая позволила бы Фогелю скрыться.

Несколько раз Кристинин безуспешно пытался перехватить взгляд Денисова, но молодой милиционер не смотрел в его сторону. Возле него образовался маленький веселый кружок гостей, в котором выделялась сестра жениха, Анна Ивановна, со своими длинными серьгами и огромной брошью. Денисов делал бутерброды с сайрой, щедро орошая рыбу соком лимона.

Кристинин вдруг поймал себя на том, что мучительно вспоминает, откуда Фогель получил свою странную кличку. Крепкий, жилистый Фогель сидел за столом уверенно и тяжело, а его бесцветные глазки, запрятанные в глубь крепкого шишковатого черепа, поблескивали злобно и выжидающе.

Так ничего и не вспомнив, Кристинин обвел глазами стол. Как кстати был бы сейчас вместо их «крестника», подающего надежды Денисова, опытный, понимающий все с полуслова майор Горбунов!

Свадьба, прерванная их приходом, шла своим чередом. Денисов пригласил Анну Ивановну на танец, и они, держась за руки, прошли на середину комнаты, за спину Кристинина. Когда Денисов проходил рядом с ним, Кристинин сделал последнюю попытку привлечь внимание молодого милиционера: он резко подвинул стул назад, задев Денисова. Но тот не обернулся.

У Кристинина появилась смутная надежда.

Он мысленно представил себе ориентировку с приметами Фогеля, которую должен был слышать на разводе Денисов: «На вид 33—34 года, плотного телосложения, лицо круглое...»

Теперь это лицо было рядом. Мясистое, с уплотнениями на бровях и маленькими прижатыми ушами, оно напоминало виденную им в магазине игрушек резиновую маску, в которую сзади вставлялись пальцы, отчего маска приобретала множество различных выра-

жений — от самых невинных до фантастически-уродливых.

Маленьким острым язычком Фогель поминутно трогал чуть отвисшую нижнюю губу.

Оставалось ждать. Под насмешливым взглядом Фогеля Кристинин не спеша стал закусывать. Он знал, что всякой физической схватке, если только тебя не застали врасплох, предшествует короткая или длинная война нервов, победа в которой и определяет успех всего последующего.

Фогель, казалось, тоже ждал помощи со стороны. Эта помощь могла прийти с минуты на минуту, и Фогель заметно тревожился, беспокойно переступая под столом ногами в старых домашних шлепанцах жениха. Полуботинки он, как и большинство гостей, оставил в передней, чтобы поберечь ковер. Только поэтому не мог он теперь рвануться из-за стола, попытаться сбить с ног высокого, на вид не отличающегося особой физической силой капитана и броситься в коридор, на черную лестницу. На всякий случай Фогель взял со стола нож, попробовал щербатым пальцем его остроту и понятным одному Кристинину жестом положил рядом с тарелкой с правой стороны.

Как только поступило предложение снова выпить за родителей жениха и невесты, все стопки и бокалы потянулись к Кристинину: всем хотелось чокнуться с интеллигентным трезвым человеком, смотревшим вокруг добрыми внимательными глазами. Под надзором жениха и гостей Кристинин выпил небольшой стаканчик разведенного спирта и запил лимонадом. Фогель не пил совсем. Денисов чокнулся большим бокалом вина, но выпил, как заметил Кристинин, из другого бокала лимонада или кваса. Маленькой, приятной Анны Ивановны, его партнерши по танцу, рядом с ним уже не было, а сидела совсем юная девочка — младшая сестра невесты. Кристинин на всякий случай поискал глазами огромную брошь и длинные серьги — после танца с Денисовым они в комнате не появлялись.

Вспышки веселья за столом становились все короче и реже. Невеста тоже куда-то вышла. Гости явно скучали.

— Анатолий! — Фогель бесцеремонно подозвал жениха пальцем, посадил рядом и тихо заговорил. После первых же слов Фогеля жених попытался вскочить со

стула, но Фогель придержал его до поры, положив руку ему на плечо.

Кристинину теперь уже вовсе было трудно хранить на лице то выражение меланхолического удовлетворения, которое свойственно людям, попавшим по обязанности на чужое торжество.

Наконец жених встал и, ни на кого не глядя, пошатываясь и задевая на ходу гостей, принес в комнату ботинки. Фогель сразу же под столом стал их надевать. Потом, так же пошатываясь, жених подошел к Кристинину и остановился перед ним, зажав в руке стакан с пивом.

— Значит, вы будто бы на нашем заводе работаете? Почему же я вас никогда не видел? Я думал, вы с Асиной работы, но и она вас не знает.

«Вот оно! — подумал Кристинин. — Началось!»

Фогель последними судорожными стежками дошнуровывал полуботинки.

Внезапно в комнате появилось еще двое гостей, их ввела маленькая Анна Ивановна.

Высокий, почти под потолок, здоровяк с жидкими рыжеватыми волосами и гладким лоснящимся лицом смущенно улыбался, как будто стыдясь своего огромного роста и тяжелых жилистых кулаков, высовывающихся из-под рукавов куцего, не по росту, пиджака. Его спутница была маленькой и худой, с каким-то дефектом на лице, она все время старалась повернуться к гостям в профиль.

Появление нового человека внесло изменение в сложившуюся за столом расстановку сил. Кристинин и Фогель обменялись против воли быстрыми взглядами. Один Денисов был невозмутим по-прежнему.

— Извиняйте! — улыбаясь всем гостям сразу, повторял новый гость с приятным украинским акцентом.— Вот как вышло! Такси пришлось брать! Вот! — У него получалось «уот».

Здоровяк так же, как в свое время Кристинин, двинулся вдоль стола, знакомясь с гостями. Со стеснительным лицом он дольше, чем требовалось, извинялся перед каждым за опоздание и переходил к следующему. Кристинин не сводил с него глаз... Казалось, что он уже видел где-то это смущающееся лицо, маленькие

пшеничные усики. Вот новый гость протянул руку Фогелю...

В ту же секунду Кристинин увидел, как острый язычок Фогеля словно прилип к губе и все лицо его внезапно изменилось, будто невидимые пальцы, вставленные в игрушечную резиновую маску, сжались: мясистый лоб и жирный подбородок внезапно подались навстречу друг другу, а переносье сузилось и ушло назад.

— Почему так горчит вино? — поднялся над столом Денисов.

Его соседи по столу оживились.

— Одну минутку! Человеку плохо! Уот! — сказал здоровяк и, перехватив Фогеля другой рукой под локоть, стал выводить из-за стола. Выражение лица у Фогеля и впрямь было страдальческое.

Он даже не мог ничего сказать. Кисть его руки застыла в неестественном, странном положении, подвернутая могучей ладонью атлета.

«Помощник дежурного с вокзала, — вспомнил наконец Кристинин. — Старший лейтенант».

Денисов выскользнул в дверь вслед за ними, а к Кристинину подошла Анна Ивановна. Ее длинные серьги раскачивались в ушах, как маятник. По сияющему лицу Кристинин понял, что это она по просьбе Денисова вызвала милицию. Капитан поднялся навстречу.

Анна Ивановна быстро заговорила:

— Вы только, ради бога, не подумайте о нас ничего плохого! Борис этот приехал в командировку, живет здесь в восемнадцатой квартире... Ну и зашел с подарком! Ведь не выгонишь! А Анатолий наш сантехником работает... Хороший парень, мухи не обидит! Выпил сегодня лишнего. Ну, ведь свадьба?

— Далеко пришлось бегать? — спросил Кристинин. — У вас и так хлопот со свадьбой, а тут еще мы!

— До почты. У нас в переулке всегда с автоматом что-нибудь... Ничего, будет что вспомнить!

— Спасибо вам большое. А у кого этот Борис остановился, не знаете?

— Вот кем бы еще вам надо заняться! Молодой парень, косая сажень в плечах, до двадцати лет на шее у матери сидит... Сегодня с другом весь вечер где-то лазил, сейчас пьяные лежат... И про Бориса своего забыли!

В комнате показался Денисов. Он был в пальто.

— Хорошо получилось, товарищ капитан! Я как только эти дары увидел и на вас посмотрел, все понял! — Денисов показал головой на куклу, лежавшую среди других подарков. — Вот она, думаю, «Шагающая Маша»! А под ней не та ли розовая блузка с мережкой, которая была в чемодане потерпевшей, — сорок восьмой размер, рукав вшивной, снизу приталена?! Остальное уж мне Аня подсказала, насчет восемнадцатой квартиры... Они еще ничего не успели промотать, только на «подарок» дали, чтобы не с пустыми руками идти...

Денисов радовался, как мальчишка.

— ...Этот, видать, у них за главного был! Сам воровать не ходил!

— Это был Фогель, — сказал Кристинин, когда они, простившись с хозяевами, шли по коридору.

Денисов удивленно посмотрел на него и замолчал.

У восемнадцатой квартиры Кристинин увидел финскую кепочку инспектора Блохина. Хриплым голосом он давал указания незнакомому младшему лейтенанту.

В доме уже начинали просыпаться, за дверями слышались негромкие разговоры. Где-то совсем близко, за окном, прогрохотал в темноте первый трамвай, заскрипела под ногами старая деревянная лестница.

— Денисов, — крикнул, перегнувшись через перила, капитан Блохин, — немного отдохнешь и зайди в отдел, напиши рапорт.

Когда Кристинин с Денисовым вернулись в пассажирский зал, людей там было уже меньше, и сам зал без электрического освещения выглядел другим — полупустым, сумеречным, тихим. Пассажиров, прибывших на вокзал с утра, можно было легко узнать по свежему румянцу, нерастраченной энергии, с которой они устремлялись к только что открывшимся суточным кассам.

Горбунова они нашли у камер хранения — он разговаривал со старшиной. За ночь, казалось, Ниязов еще больше пожелтел, лицо его выглядело болезненным, худым. Рядом с ними стояла девушка-модельер. Увидев Кристинина и Денисова, она пошла навстречу.

— Большое, большое вам спасибо. Я все знаю! — Девушка постояла с секунду, потом, еще несколько раз

кивиув головой, смущеиио простилась. — Меия к следователю вызывают...

Оиа сделала иесколько шагов к выходу и сразу же затерялась среди других пассажиров.

Деиисов проводил Кристиииииа и Горбуиова к машиие.

— Счастливо! Приезжайте, когда время позволит...

Кристииии устало кивиул головой и молча, ие улыбиувшись, прищурил одии глаз — Деиисову была знакома эта его маиера прощаться и здороваться.

— Хороший у тебя комаидир, — сказал Горбуиов, — и живопись ои отличио зиает.

Деиисов хотел сказать, что старшиив прослужил лет двеиадцать в полку ведомствеииой милиции по охраие музеев и выставок, ио раздумал.

Ои взгляиул на часы — смеиа закаичивалась через иесколько мииут. Пора было сдавать оружие.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Сборник приключенческих повестей и рассказоа. М., «Молодая гвардня», 1971.
464 с., с илл.

Р2

Составителн Понизовский Владимир Мироновнч, Смирнов Виктор Васильевич

Редактор А. Строев
Художестаенный редактор Б. Федотов
Технический редактор В. Лубкова

Сдано в набор 22/IX 1971 г. Подпнсано к печвти 1/11 1972 г. А01132. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага № 2. Печ. л. 14,5 (усл. 24,36). Уч.-нзд. л. 24,9. Тираж 200 000 экз. Цена 84 коп., в переплете 97 коп. Т. П. 1971 г., № 211. Заказ 1834.

Типография нздательствв ЦК ВЛКСМ «Молодая гаардня», Москаа, А-30, Сущеаская, 21.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ СЕРИЯ «СТРЕЛА»

В 1971 ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

В. АРДАМАТСКИЙ,	**Ленинградская зима**
П. ШЕСТАКОВ,	**Через лабиринт**
Е. КОРШУНОВ,	**Операция «Хамелеон»**
А. ИМЕРМАНИС,	**Призраки отеля «Голливуд»**
В. СМИРНОВ,	**Тревожный месяц вересень**
В. ИВАНОВ-ЛЕОНОВ,	**Копья народа**
В. КАЙЯК,	**Следы ведут в прошлое**

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Д. ТАРАСЕНКОВ,	**Человек в проходном дворе**
В. ПОНИЗОВСКИЙ,	**Ночь не наступит**

84 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ